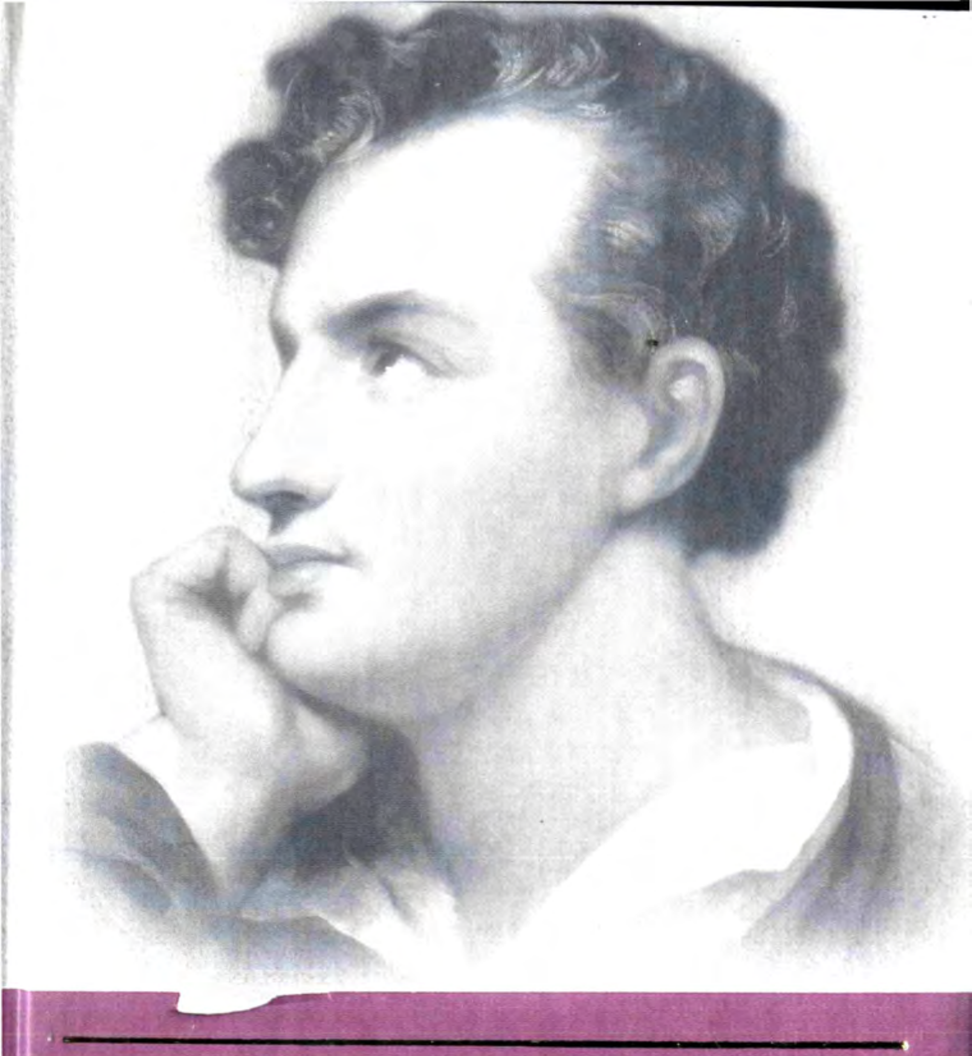


ДЖОРДЖ ГОРДОН

БАЙРОН

Андре Моруа

Дон Жуан, или Жизнь Байрона



АНДРЕ

МОРУА



Дон Жуан, или Жизнь Байрона

Биографический роман





Астрель
Полиграфиздат
МОСКВА

УДК 821.133.1
ББК 84 (4Фра)
М79

André Maurois
DON JUAN OU LA VIE DE BYRON

Перевод с французского М. Богословской

Печатается с разрешения
издательства Editions Grasset & Fasquelle.

Моруа, А.

М79 Дон Жуан, или Жизнь Байрона биографический роман / Андре Моруа; пер. с фр. М. Богословской. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 478, [2] с.

ISBN 978-5-17-054184-3 (ООО «Изд-во АСТ») (С.: Заруб. классика)
ISBN 978-5-271-30833-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-4215-1390-2 (ООО «Полиграфиздат»)
Компьютерный дизайн Ю. М. Мардановой

ISBN 978-5-17-068522-6 (ООО «Изд-во АСТ») (С.: Биография (нов.))
ISBN 978-5-271-30834-5 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 978-5-4215-1391-9 (ООО «Полиграфиздат»)
Компьютерный дизайн Э. Э. Кунтыш

Лорд Байрон.

Великий поэт. Основатель романтического направления в английской литературе.

Знаменитый денди, ставший настоящей иконой стиля для своего поколения.

Но прежде всего — самый скандальный ловелас эпохи. Покоритель сердец. Обольститель, власть которого над женщинами считалась поистине дьявольской.

Так ли это было в действительности?

Андре Моруа в знаменитой новеллизированной биографии ищет истину в легенде о жизни и приключениях лорда Байрона — и находит ее, причем зачастую эта истина решительно расходится с мифом...

УДК 821.133.1
ББК 84 (4Фра)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
НЬЮСТЕДСКИЕ БАЙРОНЫ

В чудесном лесу Шервуда, в окрестностях Ноттингема, несколько монахов в черных рясах, верные последователи св. Августина, задумали построить монастырь. Генрих II, король Англии, которого папа грозил отлучить от церкви за убийство Фомы Бекета, дал обет покаяния и щедро жертвовал на монастыри. Монахи выбрали небольшую долину близ ручья, невдалеке от лесного озера. Вековые деревья падали во славу божию и во спасение королевской души. Расчистили обширный участок. Серые камни сложились в огивы* и розы, в небольшой, но красивый монастырь. Приветливый ландшафт смягчил суровость монастырской обители. Монастырь был посвящен Пресвятой Деве и назван Ньюстед, что значит Новое Место, Sancta Maria Novi Loci.

Устав ордена был прост. Монахам запрещалось иметь собственность; они должны были любить Бога и ближнего, побеждать плоть постом, не делать ничего, что могло бы когонибудь обидеть, и не смотреть на женщин. Кроме того, в память основателя ордена они ежегодно раздавали милостыню.

В течение трех веков ньюстедские аббаты жили на берегу лесного озера. Но времена становились суровее и щедроты благочестивых христиан скупее. Стала распространяться любовь

* Стрельчатые своды *(фр.)*. — *Примеч. ред.*

к знанию. Обители, рожденной королевским раскаянием, угрожал королевский каприз. «Мадам Анна Болейн не принадлежала к числу первых красавиц. У нее была темная кожа, длинная шея, большой рот и плоская грудь, гордиться, в сущности, ей было нечем, кроме прекрасных черных глаз и нежной привязанности короля». Однако она была причиной церковного раскола. Генрих VIII попросил папу уничтожить буллу, узаконившую его брак с Екатериной Арагонской. Папа отказал. Лорды, сторонники Болейн, внушили королю, что, презрев папский авторитет, он сможет одновременно ублаготворить свою любовь к Анне и свою любовь к деньгам.

Был издан акт, согласно которому в пользу короны конфисковывались все монастыри, получавшие меньше двухсот фунтов дохода. Представители церкви и королевские сборщики начали ревизию монастырей. Закон, всегда пользовавшийся уважением в этой стране, предписывал производить конфискацию «с согласия и добровольного отречения монахов». Прославился своим искусством быстро добиваться согласия доктор-законовед Лондон. Как только подписывался акт соглашения, монастырь переходил в собственность короля; король продавал монастырское имущество, а владение отдавал какому-нибудь знатному сеньору, заручаясь его верностью новой церкви. Продажа монастырского имущества разоряла монахов, но не обогащала короля. Церковные рукописи покупались лавочниками на обертку. «Старые певческие книги: шесть денье». Такова была опись монастырских библиотек. Что же касается разоренных церковных служащих, то кое-кто из них получал «назначение», то есть право поступить на гражданскую службу, кое-кто — пенсию в несколько шиллингов. Почти все они покинули страну и эмигрировали в Ирландию, Шотландию, во Фландрию.

Акт отречения под давлением доктора Лондона был подписан 21 июля 1539 года в Ньюстеде настоятелем Джоном Блеком и одиннадцатью каноником. Настоятелю назначили пенсию в двадцать шесть фунтов, всем остальным — по три фунта шесть шиллингов и восемь денье. Покидая монас-

тырь, монахи бросили в озеро хартию, составленную при основании монастыря, и аналой с изображением медного орла, который им удалось спасти от солдат доктора Лондона. Затем они удалились. Никто под сводами Ньюстеда больше не молился о спасении королевской души. Уже голова мадам Анны Болейн, увенчанная короной черных волос, пала под топором палача. Крестьяне, вспоминая монахов, поговаривали, что они будут являться теперь в пустых кельях и что монастырь принесет несчастье тому, кто осмелится его купить. Год спустя он был продан королем Генрихом VIII за восемьсот фунтов своему верному подданному сэру Джону Байрону, известному под именем Маленький сэр Джон Большая Борода.

Байрон, поселившийся на смену монахам в Ньюстеде, был главой одной из самых старинных фамилий графства. Байроны, или Буруны, пришли из Нормандии с Вильгельмом Завоевателем, они отличились во время крестовых походов, затем при осаде Кале, владели обширными поместьями не только в окрестностях Ноттингема, но и в Рочдэле, Клейтоне, Ланкашире. Их девизом было «Верь Байрону» — Crede Biron, так они писали свое имя на французский лад, будучи в родстве с маркизами де Бирон. Маленький сэр Джон Большая Борода преобразил готическое аббатство в замок с бойницами, и его потомки привязались к этому жилищу. Столетием позже один из них, преданный друг Карла I Стюарта, командовал кавалерийским полком во время гражданской войны и проявил наряду с большой храбростью не меньшую неосторожность: преждевременно открыл стрельбу в Эджхилле, а затем в Марстен-Муре; за эту двойную ошибку его сделали пэром королевства и лордом Байроном Рочдэльским, в то время как принц Руперт отметил у себя в дневнике: «Преждевременная стрельба лорда Байрона причинила немало вреда».

Но постоянство нового лорда было ценнее его стратегических способностей. Он никогда не отступался от короля. Ньюстед был осажден приверженцами парламента, старые стены заливались серой и расплавленным свинцом; зеркала

вод, внимавшие когда-то пению гимнов и псалмов, разносили по лесу предсмертные крики, щелканье мушкетов, призывы военных труб. После победы Кромвеля лорд Байрон эскортировал во Францию Карла II Стюарта, и его верность оставалась неизменной, ибо его жена, леди Байрон (как утверждает мистер Пэрис), была семнадцатой любовницей короля-изгнанника.

Между тем лес вокруг аббатства постепенно уступал место пашням, фермам и селениям. Под дубами укрывались обширные стада ланей. Поместье Байронов не было уже таким уединенным, в этих местах выросли дома других богатых семей. Ближайшая и самая красивая усадьба была Эннсли, где жили Чаворты; с Ньюстедом их владение соединялось дубовой аллеей, носившей название «Брачной аллеи», так как третий лорд Байрон женился на дочери графа Чаворта — Элизабет. Этот третий лорд Байрон, живший в конце XVII столетия, был уже почти разорен. Сбылись предсказания, передававшиеся со времени продажи аббатства, — призрак монаха в черном клобуке бродил по ночам под сводами коридоров, и счастья не было роду Байронов. Судьба сыновей четвертого лорда укрепила веру в мрачную легенду — старший сын, пятый лорд Байрон, за убийство был судим пэрами королевства, младший, моряк, был самым злополучным адмиралом во флоте.

История убийства лордом Байроном своего кузена, друга и соседа, хозяина Эннсли, трагически нелепа. Дворяне, владельцы поместий в графстве Ноттингем, жившие в Лондоне, имели обычай собираться раз в месяц в гостинице Звезды и Подвязки. 26 января 1675 года состоялось обычное собрание, все были очень веселы, разговор зашел о том, как лучше всего сохранить дичь. Мистер Чаворт утверждал, что лучшая мера — это сурово преследовать браконьеров, лорд Байрон считал, что лучший способ сохранить дичь — это поменьше ею заниматься. Мистер Чаворт не без ехидства заметил на это, что у сэра Чарлза Сидлея (их общего соседа), а также и у него на каких-нибудь пяти акрах побольше дичи, чем у лорда Байрона во всем его владении, и что если бы он не принимал мер

предосторожности, у него и вовсе не осталось бы ни одного зайца. Лорд Байрон спросил, где находится владение сэра Чарлза Сидлея. Мистер Чаворт ответил:

— Если вы интересуетесь сэром Чарлзом Сидлеем, он проживает на Дин-стрит, что же касается меня, ваша светлость знает, где меня найти.

Эти слова, произнесенные сухим тоном, положили конец разговору. Когда Байрон вышел из зала, он встретил мистера Чаворта на лестнице. Они обменялись несколькими словами, затем попросили слугу провести их в пустую комнату. Мальчик поставил на стол свечу, и джентльмены заперлись на ключ. Через несколько минут раздался звонок. Мистер Чаворт был опасно ранен. Его перенесли домой, где он умер.

Убийцу пэра может судить только палата лордов. Несколько месяцев спустя лорду Байрону предложили переселиться в Тауэр, отсюда в карете, сопровождаемой конным конвоем, его отвезли в Вестминстер-Холл. Топор палача был положен рядом с заключенным, лезвием к нему. Ноттингемские дворяне, присутствовавшие во время ссоры, были подвергнуты допросу. Первый осторожный свидетель ответил:

— Я, джентльмены, туг на ухо.

Хирург засвидетельствовал, что шпага вошла в пупок и сделала большое отверстие в желудке. Его спросили, является ли эта рана причиной смерти мистера Чаворта. Он сказал, что в этом не сомневается. Лорд Байрон не признал себя виновным. Затем последовал опрос мнений, начиная с наименее родовитых дворян и кончая принцами крови. Подсудимый был признан невиновным в убийстве, но повинным в человекоубийстве, что по специальному статуту пэров было равносильно оправданию. Глашатай провозгласил:

— Слушайте, слушайте!

Прочли приговор. Лорд-канцлер переломил белый жезл, и Уильям, пятый лорд Байрон, вернулся в свое владение в Ньюстед.

По правде сказать, никто из друзей дуэлянтов не мог считать это убийство большим преступлением, так как мистер

Чаворт был всем известен как отчаянный бретёр. Победитель хранил до самой смерти на стене в своей спальне шпагу, которой он пронзил своего кузена. Но в окрестностях Ньюстеда, где его давно уже прозвали Злым Лордом, это убийство создало ему дурную славу. Про него ходили ужасные рассказы, из них немало вымышленных. Неправда, что он в припадке ярости застрелил своего кучера, посадил его труп в коляску рядом со своей женой, а сам сел на его место и возил несчастную пару, а потом утопил эту женщину в одном из прудов своей усадьбы. Но сущая правда, что у него был бешеный нрав, что он всегда носил пистолеты за поясом и так отравлял существование леди Байрон, что она в конце концов сбежала из Ньюстеда, а ее место в доме заняла одна из служанок, которую крестьяне прозвали леди Бетти. Под грубым владычеством леди Бетти замок пришел в запустение. Она превратила в хлев готическую часовню и заняла под конюшни несколько прекрасных залов. Что же касается Злого Лорда, то после того как единственный сын против его воли женился на своей двоюродной сестре, он совсем удалился от людей, стал вести странную жизнь — прилагал все усилия, чтобы разорить своих наследников, платил карточные долги дубами из своего парка, срубил их на пять тысяч фунтов и почти свел этот роскошный лес. Уолпол, проезжавший в то время в этих краях, писал: «Я в восторге от Ньюстеда; вот где поистине соединились готика и изящество. Но, — прибавлял он, — нынешний лорд — сумасшедший человек: он вырубил все деревья и посадил кучу шотландских сосен, имеющих вид холопов, которых по случаю торжественного дня нарядили в старинные фамильные ливреи». Чтобы вконец разорить сына, лорд Байрон перебил в своем парке две тысячи семьсот ланей и сдал в аренду на двадцать один год за баснословно низкую цену — шестьдесят фунтов в год — поместье Рочдэл, где только что открыли залежи каменного угля.

Он развлекался, как испорченный ребенок. Открывал по ночам речные шлюзы, чтобы нанести ущерб хлопчатобумажным фабрикам; опустошал пруды своих соседей; на берегу

своего озера построил два маленьких форта и спустил на воду игрушечный флот. Целыми днями он забавлялся, устраивая бои между кораблями и фортами, паля из крошечных пушек. Лорд Байрон укрывался в одном из фортов, а его камердинер Джо Меррей, растянувшись в лодке, командовал флотом. Иногда его светлость укладывался на каменном полу в кухне и устраивал на своем собственном теле скачки сверчков, подстегивая их соломинками, когда они не проявляли достаточной живости. Слуги утверждали, что сверчки знали хозяина и повиновались ему.

Жизнь младшего брата Байрона была не менее богата трагическими приключениями. Этот Байрон (дед поэта) был храбрый, но злосчастный моряк; товарищи прозвали его Джек Непогода, потому что стоило ему поднять паруса, как начиналась буря. Он отправился в плавание в 1740 году мичманом на борту «Уэджера», который должен был принять участие в экспедиции против испанских колоний, но разбился о подводные камни у берегов Чили. Это была ужасная катастрофа: огромные волны перекатывались через разбитый корабль, один из матросов сошел с ума, экипаж взбунтовался, и капитан вынужден был стрелять в своих людей. Впоследствии молодой Байрон написал рассказ о кораблекрушении, который был напечатан под заглавием «Гибель «Уэджера». В нем описывались ужасные бедствия, перенесенные им и его товарищами на берегах Патагонии. Этот рассказ имел успех и стал в своем роде классическим образцом описания моря.

В 1764 году капитан фрегата Байрон получил приказ отправиться на корабле «Дофине» в кругосветное плавание для открытия новых земель. Он проплыл Магеллановым проливом, обогнул Патагонию и закончил свое кругосветное плавание с такой быстротой, что не открыл ни одной новой земли, кроме островов Разочарования. «В действительности же на его пути было столько неоткрытых земель, — говорит его биограф, — что нужно было ухитриться миновать их». По возвращении этот скромный исследователь получил пост губернатора Ньюфаундленда, затем был произведен в адмира-

лы и в 1778 году во время американских войн командовал флотом. У него было задание задержать наступление французского флота, которым командовал граф д'Эстанг. Едва адмирал Байрон вышел в море, поднялась буря, один из его кораблей затонул, другие сильно пострадали. Выйдя вторично, он нагнал флот Эстанга, но, верный фамильным традициям, слишком рано повел атаку и потерпел поражение. С тех пор ему больше не поручали командования, и в 1786 году он скончался в чине вице-адмирала.

У адмирала Байрона было два сына. Старший, Джон (отец нашего героя), был военным; второй, Джордж Ансон, — моряком. Джон кончил военную французскую академию. Он поступил в гвардию и еще почти ребенком участвовал в американских войнах. За бешеный характер, безумные поступки и невероятное количество долгов его прозвали Безумный Джек. Двадцати лет, вернувшись в Лондон, он покорил сердце маркизы Кармэрсин, молодой и очень красивой женщины. Лорд Кармэрсин, ее муж и будущий герцог Лидский, камергер его величества, был человек весьма образованный, со спокойным характером. Его супруге был, по-видимому, больше по душе сумасшедший нрав молодого Байрона, потому что, получив после смерти отца наследство в четыре тысячи фунтов годового дохода и титул баронессы Конэйер, она убежала со своим любовником, бросив камергера с тремя детьми. Лорд Кармэрсин потребовал развод и получил его.

Молодые любовники жили некоторое время в замке Эстон-Холл, принадлежавшем леди Конэйер, затем отправились во Францию, спасаясь от дурной молвы и от кредиторов. Во Франции леди Конэйер произвела на свет дочь, ее светлость Августу Байрон, и в 1784 году умерла; в лондонских светских кругах говорили, что она не выдержала дурного обращения супруга, но Байроны утверждали, что причиной ее смерти была ее собственная неосторожность — она выехала на охоту, едва оправившись от родов. С ее смертью прекратилась оставленная ей в наследство пожизненная рента.

II
ГАЙТСКИЕ ГОРДОНЫ

Воды Бата считались модным курортом. Молодой вдовец отправился туда рассеять свое горе. Там познакомился он с сиротой-шотландкой, богатой наследницей мисс Кэтрин Гордон Гайт. Низенькая, толстенькая, длинноносая, чересчур румяная, она не могла похвастаться красотой, но смерть отца сделала ее обладательницей его капиталов, что составляло двадцать три тысячи фунтов стерлингов, из них три тысячи наличными (большое удобство для оплаты неотложных долгов), а остальное — в родовом поместье Гайтов, в лососевых промыслах и в акциях Абердинского банка.

Если Кэтрин Гордон не могла похвастаться красотой, то она была «горда, как Люцифер», своим родом, одним из самых старинных в Шотландии. Первый лэрд* или сеньор Гайтский, сэр Уильям Гордон, был сыном графа Хэнглея и Аннабеллы Стюарт, сестры Иакова II. Но история этого рода, ведущего начало от королей, в дальнейшем представляет собой как нельзя более трагическую цепь событий. Уильям Гордон утонул, Александр Гордон убит, Джон Гордон повешен в 1592 году за убийство лорда Морэя, второй Джон Гордон повешен в 1634 году за убийство Валленштейна; можно сказать, что Гордоны Гайты были повешены на всех ветвях своего генеалогического дерева. Дикие феодальные нравы сохранялись в Шотландии дольше, чем где бы то ни было. Гордону ничего не стоило открыто убить абердинского судью за то, что тот осмелился схватить под уздцы лошадь одного из его друзей; и хотя королевская власть поощряла граждан наказывать преступника, городская буржуазия осторожно воздерживалась. Так возникла эта опасная порода аристократов-бандитов. Темперамент Гордонов проявлялся с самого детства. В 1610 году трое малолетних Гордонов, устроив засаду в абердинской школе, продержались там всю ночь, защищаясь

* Лэрд — владелец поместья в Шотландии. — *Примеч. ред.*

пистолетами и шпагами. Их инстинкты были сильнее их. Они такими родились. Шестой лэрд, сознательный преступник, говорил о себе: «Я не могу удержаться. Я знаю, что умру на эшафоте. У моей руки дурные инстинкты».

В течение целого столетия гайтские сеньоры наводили панику на окрестные деревни. Шотландские баллады были полны «подвигами» этих жестоких, обольстительных и циничных людей. В одной из этих баллад рассказывается история Гордона, влюбленного в прекрасную даму Бинье. Он был приговорен к смерти за убийство пяти сирот, имущество которых хотел себе присвоить; в день казни его жена бросилась к ногам короля, умоляя простить его:

Я вас люблю всем сердцем,
Что ревность для него.
И птицы в синем небе
Одни поймут его.

Король, тронутый ее преданной любовью к мужу, помиловал преступника, а Гордон, выйдя на свободу, закричал своей жене, которой он обязан был своим спасением:

Но пальчик дивной дамы,
Кем мысли пленены,
Дороже, чем вся прелесть,
Которой вы полны.

Таковы были сеньоры Гайты, отмеченные трагической судьбой. Королевская власть, укрепившая свой авторитет в XVIII веке, сумела заставить их подчиняться законам, но насильственная смерть не прекращалась в роду Гордонов. Александр Гордон утонул; Джордж Гордон, его сын, утопился в канале Бата. Осталась Кэтрин Гордон, его дочь, воспылавшая несколькими годами позже безумной любовью к прекрасному капитану Байрону, любовью такой же несчастной, как любовь преданной супруги из шотландской баллады.

Кэтрин Гордон воспитывалась у своей бабушки, шотландки из рода Дюффов. Бабушка дала ей неплохое образование,

приучила быть экономной и привила ей либеральные традиции рода Дюффов. Кэтрин Гордон любила чтение, писала выразительно и живо, хотя письма ее и отличались некоторой непоследовательностью. У нее были крутой характер и вспыльчивость Гордонов, а также и их смелость. Она доказала ее, выбрав себе самого опасного супруга и обвенчавшись с ним 13 мая 1784 года в Бате, где покончил с собой ее отец.

Молодые отправились в прекрасное поместье Гайтов и были встречены весьма неприветливо родными и друзьями Гордонов. Капитан Байрон перенес с собой в эту пуританскую деревню свои безалаберные привычки. Все ночи напролет в поместье танцевали и кутили. Шотландцы относились с презрением к этому иностранцу, который пускал по ветру шотландское наследство. Они осуждали безумную наследницу, которая считала себя красавицей, рядилась в шелка и перья, прикрывала слишком короткую шею драгоценностями и дала себя одурачить, выйдя замуж за человека, которому нужны были только ее деньги. Анонимные стихоплеты, не стесняясь, говорили об этом:

Из Англии приплелся
Гуляка и злодей,
В Шотландии не знают,
Как звать его, ей-ей!
Он женщин соблазняет,
Не платит по дворам
И Гайтов все богатства
Развеет тут и там.

И другой:

И вот уж Джонни Байрон
Стал мужем для тебя.
Пропали все владенья,
Вся гайтова земля.

Они были правы. Молодой англичанин быстро уничтожал богатства Гордонов. В первую очередь исчезли три тыся-

чи фунтов наличных денег, затем капитан заставил жену продать акции Абердинского банка, а затем и право рыбной ловли. Лес во владении вырубили, и восемь тысяч фунтов было получено под ипотеку. В гайтском поместье водились цапли, которые уже целое столетие вили гнезда около пруда. В роду существовало поверье:

Когда же цаплям время
Приспеет улететь,
Не будет лорд из Гайта
Землей у нас владеть.

В 1786 году гайтские цапли улетели в расположенное против Гайтов владение лорда Хэддо. «Пусть прилетают, не гоните их, — сказал лорд Хэддо, — за ними последуют земли». На следующий год он купил поместье Гайтов за семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят фунтов, которые были переданы на хранение шотландским поверенным, так как на них посягали кредиторы.

Байроны уже год как покинули гайтское поместье, где жить им стало не по средствам. Они некоторое время скитались по Англии, но когда судебные приставы стали слишком назойливы, переплыли Ла-Манш. Шотландская родня миссис Байрон жалела «несчастное погибшее создание». Во Франции ее супруг, запросто бывавший у маршала де Бирона, который относился к нему по-родственному, вошел в круг аристократов, стал жить на широкую ногу, играл в азартные игры, держал кокоток и увязал в долгах. Кэтрин Гордон мужественно по-шотландски старалась жить экономно и воспитывала маленькую Августу. В Шантильи, где супруги прожили довольно долго, Августа серьезно захворала, и мачеха ухаживала за ней. «Я еще сейчас с ужасом вспоминаю, — писала она двадцать лет спустя, — эти ночи без сна и мучительные дни, которые я проводила в слезах у твоей кроватки, в то время как ты металась без сознания почти на пороге смерти. Твое выздоровление было, конечно, чудом, но и я, слава богу, исполнила свой долг». Действительно, ей не в чем было себя упре-

кать. Она обожала своего «Биррона», так произносила его имя на шотландский лад, крепко напирая на букву «р», любила его красоту, его храбрость, но ее страшило будущее. В 1787 году она забеременела. Когда подошло время родов, она пожелала вернуться в Англию. Бабушка Августы с материнской стороны, леди Хольдернесс, предложила взять девочку, которая с тех пор и воспитывалась у родных матери.

В Лондоне миссис Байрон, этот странный отпрыск Стюартов, сняла себе помещение в довольно приличном квартале. Будучи в том состоянии, когда женщине особенно важно заботливое отношение, она чувствовала себя покинутой. Капитан жил в Дувре или в Париже, показывался к ней только тогда, когда ему нужны были деньги, и затем в несколько дней растрачивал суммы, которые ему удавалось выманить у нее, пользуясь ее слабостью. Единственный человек, кто принимал в ней участие, был поверенный Джон Хэнсон, которому ее рекомендовали абердинские друзья. Его жена нашла для миссис Байрон кормилицу и акушера. Ребенок родился 22 января 1788 года, его назвали Джордж Гордон Байрон, так как завещание требовало, чтобы наследник Гордонов Гайтских носил их имя. Это было все, что досталось ему в наследство.

Вернувшись в Англию, миссис Гордон узнала, что она разорена. Продажа гайтского имения не помогла, у капитана был такой аппетит, что имения ему хватило не больше чем на месяц. Едва только погашали один вексель, сейчас же появлялись новые. Джон Байрон знал, что неисправим.

— Я за себя не отвечаю, — говорил он.

Иногда подумывал уехать в Уэльс. «Но я там наделаю глупостей, начну покупать лошадей, заведу целые табуны». Шотландские поверенные писали своей клиентке строгие письма. Вексель на четыреста фунтов стерлингов за подписью Джона Байрона был предъявлен им парижским поверенным; на той же неделе требовалось послать пятьдесят фунтов миссис Байрон и тридцать фунтов в Дувр мистеру Байрону. Дальше так не могло продолжаться. Из денег, вырученных от продажи гайтского имения, оставалось только две тысячи двести

двадцать два фунта стерлингов (из них сто двадцать два фунта гарантии под закладную), остальные три тысячи были вложены в пятипроцентную ренту неприкосновенно на имя миссис Байрон и ее сына, и шотландский поверенный поручил своему лондонскому коллеге выплачивать из процентов сто пятьдесят фунтов миссис Байрон небольшими суммами. Узнав это, она в первый же день прислала к нему свою служанку с распиской на сто фунтов. Он отказал. Через несколько часов служанка вернулась с распиской на двадцать пять фунтов и умоляющим письмом.

Кэтрин Гордон, экономная и суровая по отношению к себе, вполне могла бы существовать на сто пятьдесят фунтов в год, но не могла противостоять своему мужу. Когда она узнавала, что за три недели он делал на тысячу триста фунтов долгов, в ней подымалась бешеная ярость Гордонов; она рвала на себе платье, чепец, швыряла посудой в голову служанке, но терялась, стоило ей увидеть своего Байрона. «Миссис Байрон опасается, что она никогда не в состоянии будет отказать в деньгах своему супругу, если он сам явится просить ее, — писал лондонский поверенный своему шотландскому коллеге. — У него же в буквальном смысле слова нет ни сантима, и она в таком же положении».

Ей было двадцать три года. В юности она видела себя наследницей старинного имени и больших капиталов; она поддалась слабости, вообразив, что любима; верила в это; сама любила и сейчас (ее девизом было: «Меня изменит смерть»). Теперь ей пришлось убедиться, что была обманута, что ее обобрали дочиста и что она осталась без средств, с необходимостью содержать ребенка, мужа, кормилицу, оплачивать помещение. Многие женщины потеряли бы голову, с ней это и случалось по временам. В отчаянии рвалась уехать в Шотландию, в Абердин. У нее не оставалось там ни клочка земли, но в родной суровой Шотландии она, по крайней мере, не чувствовала бы себя чужестранкой. В Лондоне, постоянно преследуемая кредиторами, она была совершенно подавлена. Кэтрин Гордон уехала.

Капитан Байрон не сразу последовал за ней. Потеряв прекрасную леди Конэйер и ее четыре тысячи фунтов ренты, позволявшие ему весело проводить время с французскими друзьями, он видел себя связанным с разорившейся женщиной, которая и раньше не отличалась красотой, а теперь, благодаря своей толщине, казалась просто смешной и, несмотря на царственную кровь в ее жилах, похожей на жену деревенского лавочника. И эта женщина хотела его увлечь в глухой край с суровым климатом, где честные, добродетельные люди с презрением относились к блудному англичанину. Он не торопился.

В Абердине миссис Байрон сняла за умеренную плату меблированное помещение. Она поселилась там с двумя шотландскими служанками — сестрами Мэй и Агнессой Грэй, которые по очереди исполняли обязанности няньки при малютке Джордже, или, как его назвали в Шотландии, Джорди. Ребенок был так же красив, как его отец, но как только начал ходить, мать с ужасом обнаружила, что он хромает. Ступни были правильной формы, ноги одинаковой длины, но как только он ступал, нога подвертывалась. Он мог стоять только на носках. Консилиум врачей установил, что причиной этого является неправильное положение во время родов (результат чрезмерной стыдливости миссис Байрон) — связки щиколотки, по-видимому, были парализованы. Абердинский доктор списался со знаменитым лондонским акушером. Тот заказал для ребенка специальную обувь и послал в Шотландию, но малютка Байрон все же продолжал хромать, шагая рядом с Мэй Грэй по улицам Абердина.

Ребенок был очень развитой и отзывчивый, но отличался крайней вспыльчивостью. Как и его мать, он способен был внезапно приходить в бешенство. Однажды, когда он был совсем крошкой, его отчитали за испачканное платьице, он схватился за платье обеими ручонками и, молча, в ярости, разорвал его сверху донизу, вызывающе глядя на свою няньку. Детские суждения о жизни складывались у ребенка с самых ранних лет. Что же он видел вокруг себя? Его отец и мать

пытались жить вместе, но им пришлось отказаться от этого. Озлобленная несчастьями, миссис Байрон стала крайне раздражительной. «Она приветлива на расстоянии, — писал ее супруг, — но я предостерегаю вас и всех святых апостолов пытаться прожить с нею хотя бы два месяца, потому что если кто-нибудь и способен переносить ее, так только я. Но какой же это союз, когда приходится пускать руки в ход». Некоторое время они жили в Абердине на разных квартирах: он на Куин-стрит, она на Броад-стрит. Ходили друг к другу в гости на чашку чая. Она по-прежнему не могла устоять перед своим супругом, ему удалось убедить ее занять для него триста фунтов, она же выплачивала за них проценты, что сократило пенсион до ста тридцати пяти фунтов. На эти деньги она жила, не занимая для себя ни одного пенса, по-прежнему гордая, как Люцифер, но на нее находили такие приступы ярости, что фарфоровая посуда летала по всему дому.

Ребенок наблюдал своих родителей с глубоким любопытством. У других мальчиков были мамы и папы, которые жили вместе и любили друг друга. А его детское сознание пробуждалось среди злобных выкриков, жалоб и упреков. Он видел, что служанки считают его родителей сумасшедшими, опасными людьми, а иногда смеются над ними. И разница была не только в семейном быту. Он еще сильнее ощущал ее в своем убожестве. Почему у него подвертывались ноги? От стыда он никогда не осмеливался об этом спрашивать. Однажды на улице какая-то женщина сказала Мэй Грэй:

— Какой хорошенький мальчик, этот маленький Байрон. Как жаль, что у него такие ножки!

Он ударил ее своим хлыстиком и крикнул:

— Не говорите об этом!

Вечерами ребенок подвергался мучительным процедурам — ему туго забинтовывали ногу на ночь, надеясь таким образом вылечить.

К концу 1790 года Джон Байрон получил от жены и от своей сестры, миссис Ли, немного денег и решил сбежать во Францию. У миссис Ли был дом в Валенсии. Туда-то и от-

правился блудный капитан, там затесался во французскую революцию, не понимая ее, заигрывал со служанками гостиниц и жил по-прежнему, не имея ни сантима за душой. Несколько дошедших до нас писем к миссис Ли рисуют последние взлеты этого сбившегося с пути корабля: «Валенсия, 1 декабря 1790 г. Итак, я и здесь влюблен, в кого же? В новую актрису, приехавшую из Парижа, она хороша собой и вчера вечером выступала в «Сельском опыте»... Что до мадам Шонер — действительно, она сказала мне, что любит, но была пьяна, и я не знаю, что делать... Кредиторы отстали, потому что Фанни с ними расправляется по-своему, а меня никогда дома нет... Мы живем неплохо, Жозефина делает свое дело — ей достается немного денег и сколько угодно ругани, это единственный способ с ней ладить... Ставили новую пьесу Рауля Крэки, там есть такая фраза: «Я спас моего короля, но умираю охотно». Все стали кричать: «Бис! Да здравствует король! Да здравствует народ!» Я тоже, воодушевившись виноградным соком и вспомнив, что мои предки были французы, стал громко кричать, а теперь они говорят: «Этот англичанин — дьявольский аристократ». Что до моих любовных похождений — все кончено, про меня говорят, что я чрезвычайно влюбчив, но очень непостоянен. Клин клином вышибают, и я, кажется, перелюбил треть валенсонских женщин, в частности одну девушку из «Красного орла», это гостиница, куда я как-то зашел вечером пообедать, когда шел дождь... Рослая, красивая, она мне и сейчас еще не надоела». К концу 1791 года письма становятся трагическими: «У меня нет ни одной сорочки... ни одного су денег...» Булочник, мясник перестали его кормить в кредит. «У меня спина едва прикрыта лохмотьями... Я бы предпочел быть на галерах... Мне буквально нечего надеть, нечем прикрыть тело, последние лохмотья, что были на мне, совершенно истлели...» Спустя несколько дней он умер. Говорили, что он покончил с собой.

Его смерть сильно подействовала на жену, которая никогда не переставала его любить. «Chère madame, — писала она своей золовке. — Вы плохо судите обо мне, думая, что я

могу отнестись спокойно к смерти мистера Байрона. Она причинила мне большие страдания, особенно тяжело, что я была лишена печального утешения видеть его перед кончиной. Если бы я знала, что он болен, то приехала бы ухаживать за ним... Несмотря на все его слабости (ведь иначе их и нельзя назвать), я всегда искренно его любила... Вы говорите, что он до последней минуты не терял сознания. Говорил ли он обо мне? Долго ли был болен? И где его похоронили? Будьте добры, напишите мне обо всем этом и пришлите мне прядь его волос».

Маленький Джордж не забыл отца, он всегда относился к нему с детским восхищением. Ему предстояло вступить в жизнь одному с сумасбродной женщиной, у которой град поцелуев сменялся градом побоев. Он знал, что мать несчастна, боялся ее и жалел. Бывая в саду Джона Стюарта, учителя греческого языка в Абердине, он просил позволения нарвать яблок «для бедной дорогой мамочки».

III
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

«И Всевышний принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял, и Каин вознегодовал, и лицо его омрачилось. И спросил Всевышний Каина: почему ты негодуешь и почему мрачен лик твой?» Мэй Грэй читала Библию вслух. Маленький Байрон жадно слушал. Он не понимал некоторых слов, но наслаждался непонятной и страшной поэзией этой книги. Почему Всевышний не принял жертвы бедного Каина? «Из-за греха Каина», — говорила Мэй Грэй. Грех? Что это такое? Ведь Каин еще не убил Авеля? Нет, но Каин был осужден, — поясняла Мэй Грэй. Осужден? Что это значит «осужден»? Это значит, что его возьмет дьявол, и он будет гореть вечно на адском огне. Мэй Грэй часто говорила о дьяволе. Она любила пугать. Она рассказывала о привидениях, говорила, что в

доме появляется призрак. Вечером, забинтовывая туго-натуго больную ножку мальчика, она заставляла его повторять псалмы. Ему нравился этот твердый ритм, эти песнопения. Мэй Грэй, уходя, гасила свет. В ее обязанности входило дежурить около него в соседней комнате, но он знал, что служанка уходила. Как только он оставался один, на него нападал страх. По всей Шотландии бродили призраки, а рядом с домом — кладбище. В темноте, казалось, он видит двигающиеся тени. Он выползал из комнаты в вестибюль, где из окна виднелся свет, и сидел там, пока холод не загонял его обратно в постель.

Мэй Грэй была суровая женщина. Миссис Байрон — сумасшедшая. Иногда она кричала на него: «Гадкий щенок, настоящий Байрон, такой же злой, как твой отец». Иногда она душила его в объятиях и говорила, что у него такие же красивые глаза, как у капитана. Она внушала ему, что он — потомок Гордонов, что это были могущественные сеньоры королевской крови, но Мэй Грэй и ее приятельницы рассказывали ему, что Гордоны были убийцами, висельниками и утопленниками, наверно, они были осуждены, как Каин, и, конечно, их захватил дьявол. Мать мало рассказывала ему о Байронах, она считала их род низшим. Но от няни он слышал, что где-то на севере Англии в старом замке живет Злой Лорд, глава их семьи, что семья эта старинного рода и что из него вышли великие воины и мореплаватели. Ему казалось, что быть Байроном — это значит каким-то таинственным образом быть выше матери и всех этих маленьких шотландских мальчиков с крепкими ножками и добродушными родителями, которые вызывали в нем зависть. Как-то раз, бросив камнем в воробья, он ушиб маленькую девочку. Она заплакала. Его пытались заставить попросить у нее прощения. Он замкнулся в упрямой злобе.

— Знаешь ли ты, что я сын Байрона? — заявил он ей.

Через час он принес своей жертве конфет.

Когда ему минуло четыре года и десять месяцев, его отдали в школу мистера Боуэрса, в нескольких шагах от дома.

Плата в этой школе была пять шиллингов за триместр. «Я поручаю вам Джорджа, — писала миссис Байрон мистеру Боуэрсу, или просто Бодси, — чтобы вы приучили его вести себя спокойно». Школа представляла собой низкую грязную комнату с дырявым полом. Дети учились читать по складам: «Бог сотворил человека — возлюбим Бога». У Байрона была прекрасная память, он скоро запомнил наизусть первую страницу и заявил, что умеет читать. Он без запинки прочел матери первую фразу, чем привел ее в восторг, но когда она перевернула страницу, начал снова: «Бог сотворил человека — возлюбим Бога» — в книге же было совсем другое, и разозленная миссис Байрон закатила сыну пощечину. Вернувшись в школу Бодси, он узнал, что на второй странице было напечатано: «Бог создал сатану — сатана создал грех». В шотландских школах любили рассуждать о сатане и грехе.

Найдя преподавание Бодси неудовлетворительным, миссис Байрон наняла для сына двух учителей из колледжа. Один из них, богомольный пастор Росс, занимался с мальчиком очень успешно и внушил ему любовь к истории. Другой учитель, меланхоличный молодой человек, сын сапожника, был хорошим латинистом. С ним Байрон начал заниматься латынью и под его руководством продолжал свое религиозное образование. Петерсон, как и Мэй Грэй, был ярым пресвитерианцем. Он старательно проповедовал ребенку кальвинистское учение. «Мы родимся греховными, потому что над нами тяготеет первородный грех. Воздействие же святого духа зависит от воли Божьей, которая одних предназначила к жизни вечной, а других — к преисподней». Эти рассуждения погружали семилетнего ребенка в мучительные сомнения. Был ли он среди избранных или среди осужденных? Уж, наверно, все эти неистовые Байроны и Гордоны осуждены. Он сам чувствовал, как им иногда овладевает внезапный неудержимый гнев; в такие минуты кровь бросалась ему в голову, и он не помнил, что делает. Может быть, в него вселялся дьявол? Но в то же время он чувствовал себя таким добрым и ласковым. Как все это страшно. Но правда ли это?

Его жадный ум с увлечением следил за событиями французской революции, которые разделяли обитателей маленького шотландского городка на две партии. В абердинской газете появились статьи «Бегство в Варенн», «Дантон»; сообщениям местного порядка, происшествиям отвели столбец внизу. Миссис Байрон, разорившаяся аристократка, воспитанная в либеральном духе своей бабушкой Дюфф, придерживалась передовых взглядов. Она писала в Валенсию своей золовке, миссис Ли: «Я очень интересуюсь действиями французов, но думаю, что мы с вами в противоположных лагерях; я вполне демократка и считаю, что король не заслуживает, чтобы его снова вернули на престол после измены и вероломства. Безусловно, народом тоже были допущены ошибки, но если бы восторжествовала другая партия, она бы действовала с не меньшей жестокостью».

Маленький Байрон, как и его мать, был на стороне народа. Он теперь много читал сам. Книжный магазин Броуна, где в витрине была выставлена голова Гомера, держал последние новинки. Миссис Байрон, несмотря на свою бедность, взяла у Броуна читательский абонемент. Сын просил ее брать для него все по истории Греции, Рима и Турции. Он с замиранием сердца прочел также рассказ о кораблекрушении, написанный его дедом. Кругом все говорили о войне. Добровольцы упражнялись на площади. Его первые мечты были о военной славе. «Я бы хотел, — говорил он, — набрать полк кавалеристов. Я одел бы моих солдат во все черное и дал бы им черных лошадей. Они назывались бы Черные Байроны, и все говорили бы об их подвигах».

Однажды (это был 1794 год) миссис Байрон пила чай у соседей. Кто-то из присутствующих спросил ее, знает ли она, что сын лорда Байрона умер. Она вскочила вне себя от изумления. Казалось невероятным, что такой молодой человек вдруг умер, но еще более невероятным было, что ее сын оказывался наследником титула, поместья Ньюстед и всего родового имущества, и никто даже не подумал поставить ее об этом в известность. Тем не менее это оказалось истиной. Сын

лорда Байрона умер на Корсике при осаде Кальви, и между титулом пэра и ее сыном стоял только полусумасшедший старик, который забавлялся в Ньюстеде игрой в морские сражения на озере со своим лакеем или, укладываясь в кухне на полу, устраивал скачки сверчков. Мать наследника написала миссис Ли строгое письмо, высказывая свое возмущение по поводу того, как с ней обошлась ее семья. Какое унижение — узнавать такую новость от чужих. Само собой разумеется, что лорд Байрон теперь должен помочь матери будущего главы семьи дать ему воспитание, приличествующее его положению. Но лорд Байрон не иначе как с жестоким злорадством думал об этом «жалком хромом абердинском мальчишке», дожидавшемся его смерти. Он не отвечал на письма и продолжал бессмысленно и методично разрушать поместье и имущество Байронов.

Миссис Байрон, как она ни неистовствовала, не пришлось отдать сына в аристократический колледж. Он поступил в среднюю школу в Абердине. Но это была школа почтенных традиций, основанная в 1256 году, одна из самых старинных в трех королевствах. Ветхий домик был покрыт соломенной крышей. Главным предметом занятий считалась латынь, которой посвящалось пять часов в день. Почти все ученики были из бедных семей, их карманные деньги не превышали пенни в неделю. Джордж Байрон быстро приобрел репутацию превосходного игрока на бильярде. Товарищи любили его, хотя вначале он несколько удивлял их своим мягким, но вспыльчивым характером. Швейцар колледжа нередко гонялся за этим рыжеватым мальчишкой в красной курточке, который, прихрамывая, приходил подразнить его. В городе Байрона называли не иначе, как «хромой чертенок миссис Байрон». «Очень интересный ребенок, — отзывался о нем один из учителей, — но воспитывать его трудно». Несмотря на свою хромоту, Байрон отличался большой смелостью и обычно сам нападал на противника, не дожидаясь, когда его побьют. Дрался он стоя на кончиках пальцев и мог держаться так довольно долго. Как-то раз его обидел какой-то мальчик, и Байрон, не имея

возможности побить его тут же, пообещал отплатить ему после. Через неделю он остановил его на улице и поколотил. Когда он вернулся домой, Мэй Грэй спросила, почему он так запыхался, мальчик ответил, что ему сейчас пришлось сдержать одно обешание и что должен был это сделать, потому что он Байрон, а девиз Байронов гласит: Crede Biron. Помимо школы, он брал частные уроки чистописания и французского языка, однако без особого успеха. Но читал он гораздо больше своих сверстников. «Меня никогда не видели за чтением, все считали, что я только болтаюсь, играю и шалю. На самом же деле я читал за едой, в постели, в часы, когда никто не читает, и я прочел все, что можно было прочесть с пятилетнего возраста». Библия пробудила в нем интерес к Востоку, и он особенно любил сказки из «Тысячи и одной ночи», «Мемуары» барона Тотта о его пребывании в качестве посла в Турции, письма леди Мэри Уортлей Монтэг и «Зелуко» доктора Мура. «Зелуко» в то время был модным романом, и его герой не раз оставлял без сна маленького Байрона. Подобно ему, Зелуко рано потерял отца. Он рос сиротой и при малейшей обиде вспыхивал, как порох, и, впадая в ярость, метал громы и молнии. Зелуко приручил воробья, ухаживал за ним, но в конце концов убил своего любимца. Роман кончается тем, что Зелуко убивает собственного ребенка. Эта книга восхищала и мучила Байрона. Он боялся быть похожим на Зелуко, но этот страх доставлял ему наслаждение. В роду Гордонов были злодеи такие же чудовищные, как Зелуко.

Когда учитель немецкого языка дал ему прочесть «Авелеву смерть» Гесснера, он обрадовался случаю перечесть загадочную историю Каина, которая не давала ему покоя. Трагедия показалась ему скучной, и, переводя ее, Байрон думал, что избавить мир от такого идиотического существа, как Авель, не может считаться преступлением. Но загадка «Каина» по-прежнему продолжала мучить его. В своей детской жажде справедливости он жалел обреченного. Почему Бог допустил, чтобы Каин убил своего брата? Почему Бог допускает, что ему,

Джорджу Байрону, хочется иногда быть жестоким, нечестивым? Мерещились огненные языки преисподней. У него было живое воображение. Товарищи по школе охотно слушали рассказы, которые он сочинял из всего прочитанного. Зимой, когда снежная буря задерживала их в школе, Байрон рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи», и малыши забывали о холоде.

В 1796 году, после того как Байрон перенес скарлатину, мать увезла его на несколько дней в деревню. Он полюбил горы, затянутые голубым туманом, дикую красоту долины Ди и пика Логнагар, вершина которого иногда показывалась из-за белых, как снег, облаков. Ему нравилось бродить между причудливых скал и горных водопадов; он ходил, тяжело прихрамывая, и во время прогулок любил слушать рассказы про атаманов разбойничьих шаек, про своих предков. В шотландской шапочке, с пледом через плечо, он чувствовал себя истинным шотландцем. В этой горной долине пробудилась в нем первая детская любовь к дочери фермера. Избранницу его сердца звали Мэри. У нее были длинные золотые кудри. В ее присутствии он испытывал острое и сладостное волнение. Его чувственность, так же как и чувствительность, проявилась рано и с большой силой.

В девять лет он узнал, какое счастье доставляет присутствие любимого существа. Вернувшись в Абердин, он влюбился в свою кузину, Мэри Дюфф, темноволосую девочку с карими глазами. Он любовался чертами ее лица, казалось, что ничто не может быть прекраснее ее, ходил с ней гулять и любил сидеть рядом, тихонько поглаживая ее. Ее лицо, ее платье — он ни о чем другом не мог думать, ночами не спал, только о ней и говорил. Когда ее не было, он приставал к матери с просьбой написать Мэри Дюфф, и любовь делала его таким настойчивым, что волей-неволей Кэтрин Байрон, пожимая плечами, изображала из себя секретаря своего сына*.

---

* *Записки Хобхауза:* «По поводу преждевременного развития подобных наклонностей у Байрона мне известен факт, который я затрудняюсь рассказать; но он значительно менее романтичен и более убедителен, чем его любовь к Мэри Дюфф».

Страсть боролась с робостью. Когда он вспоминал о своей хромой ноге, о своей подпрыгивающей походке, то чувствовал себя смешным и мучился от стыда. Он готов был спрятаться, провалиться сквозь землю. Мечтательный, сентиментальный, он вдруг внезапно, без всякой видимой причины, впадал в ярость. Иногда после долгого молчания вдруг проявлялась невероятная грубость, которую ничем нельзя было объяснить. Однажды за столом он схватил нож и так сильно ударил себя в грудь, что мать замерла от ужаса. Причины таких событий угадать было трудно, потому что он был злопамятен и долго скрывал обиды. Поводом для таких приступов злобы нередко оказывался какой-нибудь старый, всеми забытый инцидент.

В 1798 году, когда ему минуло десять лет, пришло известие о смерти хозяина Ньюстеда. Злой Лорд простился с земной жизнью. Наверно, он отправился в преисподнюю. Маленький Джордж Гордон Байрон сделался шестым лордом Байроном. Он был в школе, когда пришло это известие. Учитель, уведомленный, очевидно, миссис Байрон, позвал его к себе, угостил пирожным и вином и сообщил, что его дорогой дедушка скончался, и теперь он — лорд. Вино, пирожное и почтительный тон учителя — все это вызвало у мальчика необычайно высокое представление о своем новом положении. Вечером, вернувшись домой, он подбежал к зеркалу и спросил мать, находит ли она в нем какую-нибудь перемену, которой он сам, может быть, не замечает. На следующий день в ветхой школе, крытой соломой, учитель во время переклички, взглянув на Байрона, назвал его не просто Байрон, а «Domine de Byron»*. Он не смог ответить «Adsum»** и разразился слезами.

Настало время покинуть Абердин, чтобы вступить во владение наследством; осенью 1798 года миссис Байрон с сыном и Мэй Грэй отправилась в Ньюстед. Перед отъездом мис-

* Господин Байрон *(лат.)*.
** Я здесь *(лат.)*.

сис Байрон продала свою обстановку, за все имущество мать юного лорда выручила семьдесят четыре фунта, четырнадцать шиллингов и семь пенсов.

IV
АББАТСТВО

Из трех путешественников самый юный, конечно, всех живей воспринимал это романтическое путешествие. Рассудительный резонер, он смотрел во все глаза на озера, на обширные, поросшие вереском луга шотландских деревень, на поля и леса Англии. Когда они проезжали мимо Лонглэвена, миссис Байрон рассказала сыну историю бегства королевы Марии и напомнила ему, что он — потомок Стюартов. Итак, он лорд Байрон и едет вступить во владение своими поместьями! Все эти события казались ему такими же удивительными, как сказки из «Тысячи и одной ночи».

В нескольких милях от Ноттингема карета с путешественниками въехала в Шервудский лес. Перед ними была ограда — это была ньюстедская застава. Впереди возвышался гигантский дуб, спасенный от топора Злого Лорда изобретательными соседями. Вправо от дуба тянулась решетка, преграждавшая въезд в парк. Миссис Байрон со скрытым торжеством, но делая вид, что ничего не знает, спросила у привратницы, кому принадлежит этот замок. Та ответила, что хозяин его, лорд Байрон, только что умер.

— А кто же наследник?

— Говорят, какой-то маленький мальчик, который живет в Абердине.

— Вот он, да благословит его Бог! — сказала Мэй Грэй и, повернувшись к юному лорду, сидевшему у нее на коленях, поцеловала его.

Карета въехала в лесную чащу, миновала сосновый лес, и внезапно на повороте путешественникам открылся Ньюстед. На берегу большого озера, наполовину заросшего камышом,

возвышалось грациозное готическое здание аббатства, серое на сером небе, спокойное и строгое. Как все дети, одаренные богатым воображением, Байрон в своих мечтах рисовал себе замок, в котором он хотел бы жить и царствовать. Ньюстед превзошел все его мечты.

Путешественники вышли из кареты, их встретил старый слуга Джо Меррей и повел осматривать дом. Замок был в страшном запустении и производил впечатление руин. Крыши, стены и полы не ремонтировались десятки лет. Всюду царили невероятная грязь и хаос. Слуги в свое оправдание рассказывали о безумствах старого лорда. Мальчик чутко прислушивался. Рассказ о невероятном образе жизни старика-мизантропа будил в нем какие-то неведомые чувства. «Он всегда носил при себе оружие, в каждом кармане по пистолету...» Как мальчик понимал его! Он сам чувствовал себя нетвердо на хромых ножках, всегда опасался в драке со школьниками, что его тело изменит ему, и пистолет представлялся ему оружием, которое восстановило бы равновесие между ним и здоровыми мальчиками. С семи лет он всегда носил в карманах игрушечные пистолеты. Затем следовал рассказ о дуэли с Чавортом: «Вонзил шпагу и заколол его насмерть...» Так и следовало. Это было справедливо. Старик Меррей показал им Брачную аллею, которая вела к владению Чаворт Эннсли. Рассказал про сверчков. «После смерти милорда они покинули Ньюстед; они шли такой массой, что весь холл был черный, их давили сотнями...» Еще бы, они потеряли своего хозяина, волшебника, дьявольского чародея, который дрессировал их соломинкой! Каким темным и прекрасным казался ему род Байронов, его род! Слушая рассказы старого слуги, переходя с ним из комнаты в комнату («Здесь появляется привидение, многие видели монаха в черном клобуке... Здесь вот столовая, это кухня... Вот эта голова сарацина, выгравированная на стене, похожа на Руперта Байрона, погибшего в крестовом походе...»), он вступал во владение наследством более реальным, чем дом и поля, более существенным, чем

серо-голубые глаза или медный оттенок волос — он получал представление о своих предках.

После первого же посещения Байрон привязался к Ньюстеду с не меньшим пылом, чем к Мэри Дюфф. Он осматривал со старым Мерреем сводчатые коридоры, подземный монастырский ход, аллеи, ручьи и источники. Он посадил желудь в землю и сказал, что здесь должен вырасти его дуб. Он не хотел расставаться с этим сказочным наследством, но миссис Байрон заявила, что нельзя жить в разрушенном доме. Отремонтировать аббатство было нелегко. Управление имуществом Байрона, несовершеннолетнего пэра Англии, подлежало ведению канцлера казначейства; матери не разрешалось широко им пользоваться, а кроме того, оно заключалось главным образом в землях. До полной проверки имущественных счетов матери юного лорда приходилось существовать на свои сто пятьдесят фунтов. Она взяла в поверенные Хэнсона, который вел дела и помогал ей, когда она была беременна, и через несколько дней уехала в Ноттингем.

В Ноттингеме они поселились в высокой части города, недалеко от дворца, на темной и узкой улице. Снятый ими крошечный домик был не лучше того, который они покинули в Абердине. Какое разочарование для ребенка: сказочный дворец превращался в шалаш. В этом незнакомом городе он чувствовал себя несчастнее, чем в Шотландии. Миссис Байрон пришлось несколько раз ездить в Лондон, чтобы выхлопотать у короля пенсию до совершеннолетия сына. Она оставляла мальчика в Ноттингеме на попечение Мэй Грэй, которая не заслуживала такого доверия. Хэнсон, приехав из Лондона познакомиться со своим юным клиентом, очень привязался к ребенку и, узнав от соседей о положении вещей, пришел в негодование. «Разрешите мне уверить вас, сударыня, — писал он миссис Байрон, — что я не позволил бы себе вмешиваться в ваши домашние дела, если бы не считал необходимым уведомить вас о поведении вашей служанки, миссис Грэй... Мой юный высокочтимый друг, несмотря на всю свою сдержанность, не вытерпел и рассказал мне о жес-

током обращении, которому она его подвергает. Он рассказал мне, что она беспрестанно его бьет, так что у него иногда болит все тело, приводит в дом людей самого низкого разбора, уходит поздно вечером, и ему приходится ложиться спать одному, вечно пьянствует в кабаках с кучерами... Я чувствую глубокое расположение к лорду Байрону и смею надеяться, что буду не только его поверенным, но и другом. Я представил его лорду Грэнтлею и его брату генералу Нортону; они оба были совершенно очарованы им, и мне крайне прискорбно, что возвышенные чувства моего маленького друга оскорбляются недопустимой бестактностью служанки. Он отличается умом и сообразительностью, твердостью суждений, какую редко можно встретить у такого юного существа. Он может быть другом зрелого человека, и нужно очень осторожно выбирать людей, которые с ним будут жить».

Хэнсон был прав. Маленький лорд Байрон обнаруживал силу ума, чрезвычайно редкую для ребенка его возраста. Тяжелая жизнь часто способствует раннему развитию интеллекта. Счастливый ребенок живет беспечно и принимает от своих родителей готовые истины; ребенок, который растет среди криков, судит своих родителей и создает свое представление о мире, нередко очень жестокое. Мэй Грэй говорила ему, что дурные люди осуждены гореть на вечном огне. Если бы она верила в это на самом деле, разве она могла бы вести такую жизнь? Значит, все это неправда. Сказка для взрослых. А может быть, Мэй Грэй обречена в вечности, как Каин? И тогда ни кучера, ни трактиры ничего не изменят. Но тогда, значит, Бог несправедлив? Чему верить? Почему он, невинный, должен страдать? Миссис Байрон с тех пор, как сын ее сделался лордом, не могла примириться с мыслью, что он останется хромым. В Ноттингеме ей рекомендовали какого-то шарлатана по фамилии Лэвендер; она доверила ему лечить своего сына. Этот Лэвендер был сущей скотиной. Все его лечение состояло в том, что он изо всей силы вытягивал ногу ребенка, а затем массировал, вращая в каком-то деревянном аппарате. Байрон в это время занимался латинским языком с

американцем мистером Роджерсом, и тот, читая с ним Цицерона или Вергилия, очень жалел его и огорчался, видя, как мучительно искажалось лицо ребенка от этих орудий пыток.

— Мне тяжело видеть, милорд, что вы так страдаете.

— Не обращайте на меня внимания, мистер Роджерс, я постараюсь не обнаруживать больше, что мне больно.

Роджерс, как и Хэнсон, быстро проникся симпатией к этому мужественному мальчику. Десятилетний ребенок сам просил — редкий случай — прибавить ему часы занятий. «Мистер Роджерс, — писал Байрон матери, — мог бы заниматься со мной ежедневно по вечерам. Я советую вам принять это предложение, потому что, если вы не предпримете что-нибудь в этом роде, меня прозовут или, вернее, заклеймят кличкой шалопая, а вы знаете, что я этого не перенесу». Даже посторонние люди, соседи Байронов, вчуже страдали, видя это юное пылкое существо покинутым на таких людей, как Мэй Грэй и Лэвендер. Последний во время своих врачебных сеансов нередко посылал юного лорда за пивом, и жители Ноттингема возмущались, видя, как хозяин Ньюстеда, прихрамывая, шел по улице, бережно неся пинту пива доктору-шарлатану.

Но тем не менее Байрон не терял своей веселости, даже его попытки отомстить своему мучителю отличались юмором. Лэвендер, напыщенный невежда, хвастался, что он знает все языки. Байрон написал на клочке бумаги буквы алфавита без всякой последовательности, но в виде отдельных фраз, и, показав эту бумажку шарлатану, спросил его, какой это язык. «Итальянский», — ответил тот, и Байрон торжествующе расхохотался. Обманщики, вот они кто, этот Лэвендер и Мэй Грэй. Сильнее всех других чувств укоренилась в нем ненависть к лицемерию и лжи.

Миссис Байрон удалось, наконец, выхлопотать у короля пенсию в триста фунтов стерлингов, что давало ей возможность поселиться в Лондоне. Джон Хэнсон присмотрел для Байрона подходящую школу — школу доктора Глэнни — и

уговорил лорда Карлейля, кузена капитана Байрона, взять опеку над ребенком. Граф Карлейль в молодости был сногсшибательным денди — носил расшитые шелком жилеты, которые ездил покупать в Лион; когда-то он печатал оды, трагедии, потом, женившись, сделал крупную политическую карьеру, был лордом-наместником Ирландии, затем министром. Если бы не миссис Байрон, возможно, что он был бы для Байрона заботливым опекуном. Но с первой же встречи между этим утонченным, изящным аристократом и крикливой, раздражительной и смешной женщиной установились неприязненные отношения. Миссис Байрон нашла Карлейля высокомерным позером и отнесла его к числу своих «врагов»; что же касается почтенного лорда, он раскаялся в своем добросердечии и решил как можно реже иметь дело с этой плохо одетой и говорящей с грубым акцентом женщиной, от которой пахло виски.

Доктору Глэнни, новому учителю Байрона, пришлось также довольно скоро познакомиться с характером миссис Байрон. Как все, кто встречался с Байроном, Глэнни сразу проникся к нему чувством симпатии и уважения. Он с удовольствием беседовал с мальчиком, так как редко приходилось ему встречать школьника, который был бы так начитан. Байрон помнил наизусть много стихов, читал многих поэтов, а по воскресеньям с большим увлечением изучал Библию. Товарищи любили его, но прозвали «старый английский барон», потому что он слишком много говорил о своем старинном титуле; а когда приходила мать, толстуха с жирными руками, унизанными браслетами, и, разговаривая с доктором Глэнни, орала во всю глотку, они смеялись, а те, что посмелей, говорили:

— Байрон, у тебя мать сумасшедшая.

— Я это сам хорошо знаю, — мрачно отвечал он.

Тем не менее она по-своему любила его, и, наверное, лорд Карлейль и доктор Глэнни были бы о ней лучшего мнения, если бы смотрели более снисходительно. Может быть, они

бы оценили ее героическое терпение в нищете, ее великодушие, которое она была способна проявить при первой возможности, но она слишком возмущала их, чтобы было желание узнать ее ближе. Однажды в субботу она увезла сына домой, пренебрегая всякими правилами. Доктор Глэнни пожаловался лорду Карлейлю, тот попробовал было вмешаться, но, познакомившись с бешеным нравом Гордонов, написал доктору: «Я не желаю больше иметь никакого дела с миссис Байрон, пожалуйста, устраивайтесь с нею сами как сможете».

Отношение учителей и товарищей укрепляло в Байроне чувство, которое посеяли в нем уже давно его собственные наблюдения: молчаливое и суровое презрение к матери. Да, она была сумасшедшая. Он чувствовал себя ответственным за нее и не прощал того, что она не могла быть объектом его нерастраченной нежности. Маленьким он ее боялся, теперь он держал себя с нею вызывающе. Приходя в ярость, она гонялась за ним по всему дому, и это было трагикомическое зрелище — смотреть, как прекрасный хромой ангел убегает от толстой карлицы.

Каникулы его проходили под знаком новой, по-детски пламенной любви к его кузине, Маргарет Паркер, «прекраснейшей из тех очаровательных существ, в которых все словно сама мимолетность». Это была девочка тринадцати лет, Байрон всю жизнь помнил ее черные глаза, длинные ресницы и лицо греческой статуи. «Я не припоминаю ничего, что могло бы сравниться с прозрачной красотой моей кузины, с кротостью ее характера в то короткое время нашей дружбы. Казалось, она создана из кусочка радуги, вся — спокойствие и красота. Моя любовь к ней оказывала обычное действие — я не мог ни спать, ни есть, ни отдыхать». Он пытался писать ей стихи. Она казалась воплощением невинной, почти божественной красоты, которую он всюду искал, стремясь утолить слишком пламенное сердце, и нашел только дважды в детстве.

V
ХАРРОУ-НА-ХОЛМЕ

В 1801 году Байрона решили отдать в закрытую школу, которая соответствовала бы его положению. Остановились на Харроу-Скул. Отвезти Байрона было поручено Хэнсону. Харроу-Скул находилась недалеко от Лондона. С покрытого зеленью холма, на котором стояли кирпичные здания школы, открывался широкий вид на реки и леса, а за ними, невидимый, лежал город. Байрона, которому тогда было тринадцать с половиной лет, сильно волновал этот переезд на новое место. Как встретит его, хромого, необразованного мальчика, насмешливый и жестокий мир? Конечно, он лорд Байрон, но ему говорили, что там на это не обращают никакого внимания; американский посол только что отдал своего сына в Харроу, «потому что это единственная школа, где титул не пользуется никакими привилегиями».

Директором школы уже в течение пятнадцати лет был Джозеф Друри, энергичный человек пятидесяти лет, который сумел создать прекрасную репутацию школе. Умный, спокойный, владеющий даром убедительного красноречия, он посвящал много времени беседам и прогулкам с учениками. «Получить выговор от доктора Друри было положительно удовольствием», — говорил один из них.

Хэнсон представил Друри Байрона и сказал, что образование его было несколько запущено, но что в характере ребенка есть, несомненно, замечательные черты. Друри поблагодарил поверенного, простился с ним и после его отъезда повел Байрона к себе в кабинет, расспрашивая о его занятиях и развлечениях. «Я скоро обнаружил, что мальчик, доверенный мне, представлял собою дикого, необузданного жеребенка. Но каким огнем горели его глаза!» Друри заметил, что сильнее других чувств в новичке проявлялась гордость. Байрон очень боялся, что из-за плохой подготовки его поместят в младший класс. Старик директор пообещал ему, что

некоторое время он займется отдельно с учителем, пока не будет достаточно подготовлен, чтобы поступить в класс, соответствующий его возрасту. Это, по-видимому, успокоило мальчика.

Первое время в школе он чувствовал себя несчастным. Было бы совершенно невероятно, чтобы среди трехсот пятидесяти школьников не нашлось бы нескольких, склонных посмеяться над гордым и робким мальчиком-калекой. Ноги его не поправились от лечения. Ему приходилось носить ботинки специального фасона, которые мать заказывала у известного лондонского сапожника Шельдрэка. Случалось, он просыпался утром, чувствуя, что мальчишки подставляют ему под ноги таз с холодной водой — жестокий намек на лечение ваннами, которым он пользовался. Быть может, он мог бы обезоружить своих мучителей безропотным повиновением, но не умел подчиняться. Рано лишившись отца, он с детства привык презирать чей бы то ни было авторитет. Его рассудок не признавал обязанности подчинения людям, в которых он подмечал недостатки; гордость же мешала подчиняться из осторожности, если он не чувствовал уважения. Воспитанный матерью в любви к французской революции, он был верен своему преклонению перед Наполеоном, видя в нем солдата революции; он привез с собой в школу маленький бюст первого консула и защищал его кулаками от школьников-патриотов. Постоянный страх, что его физический недостаток вызывает к нему презрительное отношение, заставлял держать себя высокомерно, вызывающе и мрачно. В фигуре обнаруживалась некоторая склонность к полноте, но у него были прекрасные черты лица, изумительные глаза, брови и вьющиеся, чуть-чуть рыжеватые светлые волосы. Поражала страстность, с которой он брался за все, что ни делал. Занимался неровно, порывами, но в счастливые моменты способен был написать сразу тридцать—сорок латинских гекзаметров. Уроков не готовил, но благодаря тому, что много читал, знания у него были обширные. Он был начитан и ленив.

Первую победу в школе Байрон одержал над милым доктором Друри. Несколько опытов убедили директора, что эту кровную лошадку легче вести на шелковом поводу, чем на канате. Он держал его на слабой уздечке и был вознагражден: Байрон привязался к своему учителю. Это был первый человек, власть которого он признавал, считая ее суровой, но справедливой. А справедливости он жаждал давно. Кроме того, он чувствовал, как это всегда чувствуют и дети и взрослые, что Друри восхищался им. Лорд Карлейль как-то пригласил директора прийти поговорить с ним о своем питомце.

— Он обладает талантами, милорд, — сказал доктор, — которые придадут блеск его титулу.

— В самом деле? — с удивлением сказал лорд Карлейль, не обнаружив ни малейшего удовольствия.

Вслед за учителем товарищи постепенно подчинялись обаянию Байрона. Это было сложное обаяние и заключалось прежде всего в неограниченной храбрости в словах и в поступках. В этом подростке, не способном лгать, не было и тени чего бы то ни было низкого. Никто во всей школе не обнаруживал такой готовности драться. В нем было что-то рыцарское. Он подружился с одним мальчиком, Вильямом Харнессом, хромым, как и он. Увидя, что Харнесса преследует ученик старше и сильнее его, он сказал:

— Харнесс, если кто-нибудь будет к тебе приставать, скажи мне, я его прибью, если смогу.

В Харроу в то время учился Роберт Пиль, чувствовавший себя очень несчастным, несмотря на свой высокомерный вид. «Как быть с мальчиком, который увлекается речами Питта и живет в своем собственном мире?» Торжественно-серьезный вид маленького Пиля подстрекал мучителей, ему здорово доставалось. Один из тиранов решил подвергнуть его наказанию палками. Удары сыпались один за другим, Пиль корчился от боли. В это время подошел Байрон. Он был недостаточно силен, чтобы побить старшеклассника, но со слезами на глазах и прерывающимся от ужаса и негодования голосом спросил:

— Сколько ударов вы собираетесь ему дать?

— А почему ты, щенок, суешься не в свое дело?

— Потому, что я очень прошу вас, — сказал Байрон, — позволить мне взять на себя половину.

Строгие судьи характеров — школьники — через год распознали, что это товарищ настоящей закалки. Он увлекался всякими играми и нередко отличался в них, несмотря на свой физический недостаток. Больше всего он любил плавать и нырять. В воде его хромота не была ему помехой. От природы смелый и непокорный, он был зачинщиком всяких опасных шалостей. Дикий жеребенок натягивал свои шелковые поводья так, что они грозили лопнуть. Огорчался, когда после своих эскапад видел Друри, укоризненно глядевшего на него. Он любил своего учителя, но это было сильнее его. Как и у шотландского предка, рука его обладала дурными инстинктами. Нередко он сам удивлялся своим поступкам. Кровь бросалась ему в голову, он не помнил, что делал. Как помешать этому? Таковы Байроны

Первый год в школе ему приходилось трудно: сначала чувствовал себя несчастным, его не любили. Но физический недостаток делал его заметным, он выделялся из толпы школьников. Мечтатель по натуре, он любил уединяться. Его часто видели направляющимся с книгой под мышкой к церковному кладбищу, расположенному на вершине холма Харроу. Там под большим деревом была могила неизвестного Джона Пичея. Байрон садился на могильный камень, укрытый ветвями вяза.

Какое-то непонятное сложное чувство влекло его к кладбищу, тревожила мысль о смерти. Напуганный в детстве бесконечными рассказами о преисподней, он утешался мыслью, что мертвые покоятся сном без сновидений в этом тихом приюте, под бледной листвой вязов, колыхаемой ветром. Он только что узнал о смерти своей двоюродной сестры, красавицы Маргарет Паркер, она умерла пятнадцати лет; когда-то он называл ее «самым прекрасным существом, в котором все мимолетность». Он вспоминал ее черные глаза, длинные рес-

ницы. А теперь это хрупкое тело, которым он так любовался, положили в гроб и закопали в землю. Он удивлялся чувству сладостной горечи, которое пробуждали в нем эти печальные воспоминания. Его мечтательное настроение находило выход в ритмических фразах.

В убогой келье — прах. Она средь нас бывала
Мечты прекраснее, свободней и живей,
Владыки Ужасов она добычей стала,
И всею прелестью не откупиться ей.

Школьники, проходя мимо, показывали издалека на Байрона, сидевшего на «своей» могиле. Он знал, что вызывает удивление, а от удивления недалеко до восхищения. В его мечтательной грусти была доля кокетства.

VI
УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

Ньюстед, ты старостью глухой сражен,
А был ты создан королевским покаяньем,
Служил ты склепом рыцарей, монахов, жен,
Чьи тени бродят вкруг твоих развалин.

Байрон

В апреле 1803 года Ньюстед был сдан в аренду на пять лет лорду Грэю Рэсину, молодому человеку двадцати трех лет. Байрон должен был вступить во владение наследством в год своего совершеннолетия. Миссис Байрон осталась жить в Ноттингеме по просьбе сына, которому хотелось быть поближе к своему любимому аббатству. Но когда наступили летние каникулы, лорд Грэй предложил Байрону провести лето у него в Ньюстеде, и Байрон с восторгом согласился к большому негодованию матери: «Хороша награда! Я осталась в Ноттингеме, чтобы доставить ему удовольствие, а теперь он ненавидит этот город».

Ему не так был ненавистен Ноттингем, как общество матери, но, кроме того, мог ли он отказаться от счастья пожить в Ньюстеде? С какою радостью он снова увидел озеро, аббатство и черную тисовую аллею. Лорд Грэй, зная, что он здесь хозяин ненадолго, оставил все в запустении, но в самой нищете этих прекрасных развалин была печаль, привлекавшая Байрона. Ветер свистел под сводами крытых дворов; в саду чертополох и цикута буйным ростом заглушали розы; по вечерам летучие мыши влетали в окна церкви, где триста лет назад хор монахов пел литании Пресвятой Деве. Он разыскал в парке дуб, который посадил шесть лет назад, когда первый раз был в Ньюстеде. Маленькое деревцо росло. Это доставило ему большую радость. Он любил таинственные предзнаменования и полушутя, полусерьезно сказал, что судьба его отныне будет связана с этим дубом: «Если ему будет хорошо, будет хорошо и мне».

Среди этих развалин он любил вспоминать своих предков: Джона Байрона, участвовавшего в крестовых походах, Поля и Губерта, погибших в долине Крэси, Руперта, сражавшегося при Марстен-Муре; все, когда-то такие же юные, как он, мечтательные, пламенные и нежные, а теперь — скелеты, пыль, глина и призрачные тени.

Но самым большим очарованием этих мест было соседство с Эннсли, большим поместьем, родственным Ньюстеду, приютом мисс Мэри Чаворт, внучки мистера Чаворта, жертвы знаменитой дуэли. Байрон познакомился со своими соседями из Эннсли в Лондоне. Чаворты, само собой разумеется, были в ссоре со Злым Лордом до самой его смерти, но у них не было никаких причин относиться враждебно к пятнадцатилетнему мальчику, не имевшему никакого отношения к этой истории. К тому же мистер Чаворт умер, его жена вышла замуж второй раз, и ее дочери, мисс Мэри Энн Чаворт, не за что было сердиться на юного кузена, восхищавшегося ее красотой.

Ей было семнадцать лет, у нее было спокойное лицо, спокойная правильная линия бровей, волосы, расчесанные на

прямой пробор. Ей, конечно, и в голову не приходило что хромой школьник, хотя он и лорд Байрон из Ньюстеда, мог бы стать мужем мисс Чаворт из Эннсли. Но мальчик был фантазер, много читал, и его присутствие не надоедало ей. Единственная дочь, она воспитывалась одна в этой большой усадьбе, в полном неведении жизни, и, конечно, была наивна; как могла она знать, что, поощряя это юношеское безумие, делала больше зла, чем если бы с самого начала остановила его нарочитой холодностью. И было ли это зло? Может быть, сильные увлечения благотворно действуют на юношей? Мэри Энн Чаворт смотрела благосклонно на этого влюбленного ребенка, а он лелеял самые нелепые мечты. Для любителя романов и трагедий что может быть увлекательнее? Байроны и Чаворты в кровавой вражде после убийства — Монтекки и Капулетти здешних мест. Мэри Энн и ему самой судьбой предназначено стать Ромео и Джульеттой. Она немного старше его, но что из этого? Два года разницы. Разве мало в жизни супружеств, где жена на два года старше мужа? И разве не заманчиво для нее соединить посредством брака две жемчужины графства, Ньюстед и Эннсли? Ведь длинная аллея, которая соединяет две усадьбы, недаром называется Брачной аллеей. Байрон предавался этим мечтам с доверчивым оптимизмом.

С самого начала каникул он каждое утро верхом отправлялся в Эннсли. Дорога из Ньюстеда в Эннсли была восхитительна — холмы, луга со стадами пасущихся баранов, там и сям прекрасные одинокие деревья. Эннсли не отличался такой величественностью, как Ньюстед, но был не менее живописен. С задней стороны дома в уровень с комнатой Мэри Энн шла длинная терраса, обнесенная орнаментной стеной, верхний край стены был покрыт резьбой — казалось, между капителями колонн были протянуты гирлянды, а плющ, окутывавший всю стену, был словно живым подвижным занавесом. С обеих сторон террасы роскошная лестница, украшенная наверху гербами Чавортов, вела в парк. Внизу, между двумя крылами лестницы, была вырезана деревянная дверь. Бай-

рон, который всегда носил пистолеты в карманах, всякий раз, проходя мимо, стрелял в нее. Чаворты, улыбаясь, показывали гостям следы его пуль. «Ах, уж эти Байроны, — добродушно шутили они, — опасный народ». Между Мэри Энн и Байроном разговоры о родовой мести были неиссякаемым источником шуток. Когда Байрону предложили отвести комнату в Эннсли, чтобы не было необходимости возвращаться вечером в Ньюстед, он со свойственным ему полуироническим, полусерьезным видом отказался, говоря, что не посмеет остаться здесь, что старые Чаворты выйдут из своих рам, чтобы прогнать Байрона. Но однажды вечером он торжественно объявил Мэри Энн, что, возвращаясь домой, встретил привидение в поле. Чаворты посмеялись и предложили ему остаться ночевать, и с этих пор он каждый день ночевал в Эннсли.

Какие это были счастливые каникулы! Любить безумно и жить под одной кровлей с любимой! По утрам видеть, как она появляется на террасе, вся еще пронизанная сном. Взнуздать двух лошадей и мчаться галопом по лугам. Они часто сидели вдвоем на пригорке под раскидистыми деревьями в конце Брачной аллеи. У их ног на мягком склоне колыхалось море папоротников, дальше озеро, поля, леса и редкие жилища на необозримом горизонте, дымок, вьющийся над крышами домов. Мэри Чаворт смотрела на эту чудесную долину, утопающую в солнце. Байрон смотрел на Мэри. Он ничего не замечал, кроме нее. Он не отрывал взгляда от ее лица. Он дышал, он существовал только ею, следовал за ее взглядом и смотрел ее глазами. Он называл ее Утренней Звездой Эннсли. Оставаясь один, он предавался бесконечным мечтам, в которых ее образ, как когда-то образ Мэри Дюфф и бедной крошки Паркер, властвовал всецело и безраздельно.

Случалось, на прогулке ее рука задевала его руку, они нечаянно касались друг друга — от этих прикосновений у мальчика бушевала кровь. Однажды они отправились осматривать подземный грот: «Нужно было переправиться в лодке... через ручей, протекавший под скалой; скала нависала так низ-

ко, что гребец (своего рода Харон) должен был сидеть наклонившись. Спутницей моей была М. Э. Ч., в которую я был влюблен уже давно, и она знала это, хотя я ей никогда об этом не говорил. Я и сейчас помню свои ощущения, но не могу их описать, да оно и лучше». Пылкий мальчик может жить одним таким воспоминанием целые годы. Но вечером в этот же день в Мэтлоке он чувствовал себя несчастным. Они были в маленьком курортном местечке на танцах. Хромой Байрон чувствовал отвращение к ним, граничащее с ненавистью. Ему пришлось сидеть, пока мисс Чаворт танцевала. Когда какой-то молодой человек подвел ее к стулу и она села рядом с Байроном, он с горечью сказал ей:

— Я надеюсь, вам понравился ваш кавалер.

На следующий день он вознаградил себя — местечко находилось рядом с его поместьем Рочдэл, и он был счастлив, показывая своей возлюбленной владенье в тридцать две тысячи акров, которое должно было отойти в его собственность с ленным господством над всем округом.

Разве не видела мисс Чаворт, что за этой наивной гордостью скрывалась любовь, желание завоевать ее? Она догадывалась, но считала это несерьезным. Она убеждала себя, что относится к Байрону, как к брату. Избранником ее сердца был Джек Мастерс из Колуик-Холла, прославленный охотник и лучший наездник во всем графстве. Он был на одиннадцать лет старше Байрона, известен своим вспыльчивым характером, атлетическим телосложением и прославился в Ноттингеме тем, что однажды на базарной площади прыгнул, не сгибая ног, на груду бочек, не опрокинув ни одной.

Мэри Чаворт, сидя рядом с Байроном на пригорке, смотрела рассеянным невинным взглядом на папоротники, колеблемые ветром, она на самом деле следила, не покажется ли вдалеке лошадь Мастерса. Но какая женщина устоит против соблазна пленить поклонника? Как бы молод и невзрачен он ни был, ей всегда приятно сознавать, что она царит в его воображении. Мэри подарила Байрону свой портрет, кольцо. Бедному мальчику вовсе не нужно было таких милостей, что-

бы сойти с ума. И если бы даже она захотела его удалить от себя, ей бы это не удалось: он не стремился излечиться. Его не излечило даже и то, что сохранилось в памяти, как самое тягостное унижение, которому он подвергся из-за своей хромоты. Однажды вечером, когда Мэри Энн уже поднялась к себе, Байрон снизу из вестибюля услышал разговор на площадке лестницы между нею и ее горничной.

— Неужели вы думаете, что я могу относиться серьезно к этому хромому мальчишке? — сказала Мэри.

Эта фраза пронзила Байрона, словно удар ножа. Ночью он выбежал из дома и, не помня себя, бросился в Ньюстед. Ярость, тоска, желание умереть, желание убить — самые мучительные чувства одолевали его всю ночь.

На следующий день он вернулся в Эннсли и ни словом не обмолвился о том, что слышал. В пятнадцать лет он уже испытывал мучительную потребность быть вблизи любимого существа и терпеть все, лишь бы видеть любимое лицо, слышать голос, коснуться любимой руки. Он был так влюблен, что в сентябре, в конце каникул, наотрез отказался вернуться в Харроу. Миссис Байрон требовала, чтобы он ехал; ей не нравились эти отношения с Чавортами. «Я знаю, — писал он ей, — что мне пора возвращаться в Харроу. Я чувствую себя очень несчастным, но повинуюсь. Только хочу (и умоляю вас разрешить мне) остаться еще на один день, и, клянусь честью, я уеду завтра вечером или после обеда. Сожалею, что вы не одобряете мой выбор друзей, которые, однако, считаются среди первых людей в графстве и равны мне во всех отношениях, но прошу вас разрешить мне выбирать самому. Я никогда не буду иметь дело с людьми, с которыми водитесь вы, и прошу не интересоваться моими знакомыми». Миссис Байрон разрешила остаться еще на один день.

Но Байрон не уехал ни на другой день, ни через неделю, ни через две. 4 октября доктор Друри в недоумении запросил Хэнсона, что случилось с его учеником? Хэнсон написал миссис Байрон и получил от нее следующее письмо: «Я понимаю, вы должны быть удивлены, и вы и доктор Друри, что

Байрон до сих пор не вернулся в Харроу. Положение таково, что я не могу заставить его вернуться в школу, несмотря на то, что в течение шести недель прилагаю к этому все усилия. Он ничем не болен, кроме безнадежной любви, а это, на мой взгляд, худшая из болезней. По правде говоря, мальчик без ума от мисс Чаворт; за все время каникул он не пробыл со мной и трех недель, находясь безотлучно в Эннсли. Если бы мой сын был в более подходящем возрасте и избранница его не была невестой, я бы очень опасалась подобного брака; все это доставляет мне немало беспокойства».

Байрон пропустил полный триместр учебного года и вернулся в школу только в январе 1804 года. Нельзя сказать, чтобы эти три месяца отсрочки были для него счастливыми. По каким-то загадочным, но весьма важным причинам, о которых он не захотел сообщить ни матери, ни даже Хэнсону, он поссорился со своим хозяином, лордом Грэем. Эта ссора лишила его возможности вернуться в Ньюстед. Он не хотел даже оставаться в одной комнате с лордом Грэем, и когда тот появлялся при нем в каком-нибудь доме, Байрон немедленно удалялся. Его отношения с Мэри Чаворт становились все более и более тягостными. Так вот эта любовь, чувство, казавшееся таким прекрасным! Он с облегчением думал о возвращении в Харроу. Ему только было жаль расставаться с Ньюстедом; перед отъездом он ходил еще раз взглянуть издали на свое аббатство и написал элегию:

Прощайте, тени героев, ваш правнук уходит.
Родной покидая приют, он вам шепчет: прости...

VII

РОМАНТИКА ДРУЖБЫ. ВДОВА-РЕГЕНТША

Эннсли потерял свою привлекательность; Харроу казалось теперь менее ненавистным. Мучительное подчинение старшим ученикам теперь не грозило Байрону. Доктор Дру-

ри простил Байрону трехмесячную отлучку и взял его, в числе нескольких других, к себе в ученики по греческому и латинскому языкам. Друзья Байрона, когда-то вместе с ним подвергавшиеся истязаниям старших, теперь так же, как и он, стали законодателями. Он приобрел право пользоваться услугами младших. Но не позволял себе третировать их, как когда-то третировали его. Он окружал себя красивыми детьми; ему доставляло удовольствие покровительствовать этим маленьким слабым созданиям, что льстило его самолюбию и удовлетворяло потребность в нежной привязанности. Лорд Клэр был его любимцем, он дружил также с герцогом Дорсетским, с лордом Делавэром и маленьким Уингфильдом. Он защищал их от своих одноклассников. Уильдмэн занес лорда Делавэра в свой список провинившихся.

— Уильдмэн, — сказал ему Байрон, — я вижу Делавэра в вашем списке. Я прошу вас, не бейте его.

— Но почему?

— Почему? Право, не знаю. Может быть, потому, что я в нем вижу себя. Во всяком случае, прошу вас этого не делать.

Школьный престиж возрастал. Его выбрали публично декламировать на традиционном празднике в Харроу. Лорд Байрон: Latinus ex Virgilio — стояло в программе. Все знали, что он пишет стихи. Когда он поднимался по узенькой тропинке на кладбище, учителя и ученики ласково и благожелательно смотрели, как он бредет к своей излюбленной могиле. Доктор Друри угадал в нем гения, поэтому даже самые насмешливые из учеников снисходительно относились к его фантазиям. Многие открыто преклонялись перед ним:

Веселая толпа
Была со мной и слушалась меня;
В веселой суете, в забавах шумных
Я был советчик и помощник верный.

За что же его любили? Может быть, за то, что он был требователен в дружбе. Его неизменная захватывающая искренность и сумасбродный характер волновали, как может вол-

новать женщина. Внезапные смены настроений поражали, отношения в дружбе отличались бурным характером. Он обманулся в любви и искал прибежище в другом чувстве, внося в него ту же страстность. «Дружба, которая в обычной жизни едва заслуживает название чувства, становится страстью в монастыре», — подчеркнул он в своем Мармонтеле. Дружеские чувства Байрона к его любимцу, лорду Клэру, проявлялись неровно и порывами. Он был ревнив, требователен и пылок. На уроках несколько раз в день старшеклассник Байрон и маленький Клэр писали друг другу письма. Байрон упрекал Клэра в том, что тот поступил ужасно, назвав его «милый Байрон» вместо обычного «милый, дорогой Байрон». Однажды он устроил ему сцену за то, что тот огорчился отъездом лорда Джона Расселя в Испанию. Иногда он вызывал ревность Клэра, заводя дружбу с другими мальчиками. Тогда Клэр становился мрачным. «Вы с некоторых пор так плохо относитесь ко мне, Байрон, и так ругаете меня всякий раз, когда мы с вами встречаемся, что я вынужден попросить объяснения, чтобы мне знать, хотите ли вы оставаться моим другом. За этот последний месяц вы меня совершенно покинули, по-видимому, ради ваших новых друзей. Но не думайте, что я всегда буду вас умолять (потому что у вас сегодня один каприз, а завтра другой) или поступать так, как поступают другие мальчики, чтобы вернуть вашу дружбу; не думайте также, что я дружу из-за выгоды, потому что вы старше меня. Нет, этого не было и никогда не будет. Я не хотел ничего, только быть вашим другом, я ваш друг и сейчас — если только вы не будете больше ругать меня всякий раз, как мы встречаемся».

Эта ревность шевелила в Байроне более глубокое чувство — прежнюю любовь к Утренней Звезде Эннсли. Брачная аллея, большие глаза, задумчивая серьезность Мэри Энн снова вставали в его мечтах. Горький осадок желаний и сожалений! Как бы он хотел убить в себе, вырвать из своего сердца это мучительное чувство. Он выбирал книги, где о любви говорится равнодушно, с иронией или сарказмом; с увлечением читал со своими товарищами вольные стихи Томаса Литтля (псев-

доним Томаса Мура), пользовавшиеся в то время популярностью. Вот именно так и следовало любить, искать страсти, а не чувства. Но воспоминания о телах, лежавших в лодке под низкими сводами скал, о жарких августовских днях на холме Диадем все еще были источником боли.

Пасхальные каникулы он встретил без всякой радости. Будучи в ссоре с лордом Грэем, он не мог поехать в Ньюстед; волей-неволей приходилось ехать к вдове регентше, как он называл свою мать. Она уже не жила в Ноттингеме, а поселилась в нескольких милях от Ньюстеда в маленьком городке Саутуэлле. Она снимала скромный домик, носивший пышное название Бергэдж Мэнор. Местная аристократия ее не принимала; им достаточно было увидеть, чтобы признать ее вульгарной, неприятной и скучной. Горожане были более снисходительны; вдова-регентша поддерживала дружеские отношения с семейством Пигот, обитавшим в большом доме напротив нее.

Байрон, обидчивый и чувствительный до крайности, сразу угадал впечатление, какое произвела его мать на мелких аристократов, и проникся враждебным чувством и к этим презрительным владельцам замков, и к той, которая вызывала их презрение. Насколько непринужденно он чувствовал себя в школе, настолько же неловко — в новой среде. Его хромота вызывала в нем непреодолимый страх двигаться перед незнакомыми людьми. Во взглядах он боялся поймать невольное выражение удивления и жалости. К этому чувству стыда, которое укоренилось в нем с детства, примешивалось еще чувство неловкости за мать, а после истории с Мэри Чаворт — страх перед женщинами. Когда его представляли какой-нибудь даме, он так терялся, что бормотал про себя: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...». Он восхищался женщинами и ненавидел их, ненавидел потому, что восхищался. Ему хотелось властвовать над этими загадочными существами, унизить, заставить их страдать, как страдал он, отомстить за себя. Но как? Он был калекой, бедняком и сам себе казался смешным.

Однако молоденькой девушке, Элизабет Пигот, все же удалось его приручить. «Я познакомилась с ним, будучи в гостях у его матери, — рассказывала она, — он был так робок, что пришлось посылать три раза, прежде чем он решился выйти в гостиную и присоединиться к другим молодым людям. Тогда это был толстый застенчивый мальчик с прямой челкой на лбу. На следующий день миссис Байрон привела его к нам, и он опять держал себя робко и официально. Разговор зашел о Чельтенхэме, куда мы недавно ездили, и я рассказала, что там в театре очень хорошо исполняли роль Габриэля Лэкбрэйна. Когда мать его поднялась, чтобы идти, он церемонно раскланялся, а я, вспоминая про пьесу, сказала ему: «Good bye, Gaby»*. Лицо его оживилось, красивые губы раздвинулись в улыбке, вся робость его исчезла, и когда мать сказала ему: «Идемте же, Байрон, вы простились?» — он ответил, что нет, и заявил, что побудет еще немного. С этого дня он стал бывать у нас запросто в любое время и чувствовал себя как дома».

С некоторых пор у Байрона появилась еще одна приятельница. Это была его сводная сестра Августа. Шестнадцать лет назад, когда миссис Байрон собиралась произвести его на свет, Августу взяла на попечение ее бабушка с материнской стороны, леди Хольдернесс, которая прервала всякие отношения между миссис Байрон и молодой девушкой. В силу этого Августа никогда не видела своего брата, бэби Байрона, о котором, однако, много слышала. В 1801 году леди Хольдернесс умерла, Августа осталась в ее семье и жила то у своих кузенов и кузины Лидс, то у кузена Карлейля, опекуна Байрона.

После смерти леди Хольдернесс миссис Байрон сделала попытку возобновить отношения с Августой; ее прельщало положение Августы в свете, но, помимо этого, она сохранила к ней естественную привязанность, так как нянчилась с ней, когда та была ребенком. В 1801 году она написала Августе нарочито сдержанное письмо, опасаясь, что оно может быть

* До свиданья, Гэби *(англ.)*.

встречено недоброжелательно. «Так как я хочу предать минувшее забвению, то воздержусь от всяких рассуждений об особе, которая ныне не существует; я выжидала, чтобы составить свое мнение о вас; сейчас время, когда оно готово сложиться, и уже окончательно... Мы будем счастливы оказать вам любую услугу теперь или когда бы то ни было. Я всецело ручаюсь и за моего сына. Как ни мало он вас знает, но часто говорит мне о вас с нежностью».

Августа не оправдала пессимистического предубеждения миссис Байрон, она живо заинтересовалась своим братом, а он, чувствуя себя таким одиноким в мире около своей опасной матери, был в восторге от открытия, что у него есть сестра, друг, немногим старше его (ей было двадцать, ему шестнадцать), изящная, элегантная, с мягкими изысканными манерами, наконец-то похожая на ту родню, о которой он мечтал и которой был лишен. Он долго не решался ей писать, но во время пасхальных каникул послал извинительное письмо и прибавил: «Я сделаю все, что смогу, чтобы отплатить вам за вашу доброту, и надеюсь, что со временем вы будете считать меня не только братом, но самым близким, самым преданным другом и, если это когда-нибудь потребуется, вашим защитником. Помните, дорогая сестра, что вы для меня самое родное существо в мире не только по крови, но и по тем чувствам, которые я питаю к вам. Если когда-нибудь я смогу быть в чем-нибудь полезен, вам стоит только сказать слово. Передайте моему кузену и будущему брату Джорджу Ли, что я уже считаю его своим другом». Августа была обручена со своим двоюродным братом Джорджем Ли, полковником 10-го драгунского полка, сыном миссис Ли, к которой были адресованы письма из Валенсии.

Молодой девушке очень нравились письма ее брата. Судя по ним, это был самый очаровательный корреспондент. И правда, он писал ей очаровательные письма, такие ласковые: «Любимая моя сестричка... моя нежно любимая сестра... Нет ничего приятнее для меня, как писать моей дорогой Августе...», с такими трогательными чувствами и детскими при-

знаниями: «Передайте мой дружеский привет бедному старенькому Меррею (слуге Злого Лорда, которого взял к себе герцог Лидский до тех пор, пока Байрон не вступит во владение Ньюстедом), скажите ему, что пока я жив, он не будет одинок на старости лет...» «Вы говорите, что не знаете моего друга, лорда Делавэра, он гораздо моложе меня, но это самый милый, самый живой мальчик в мире. При этом он обладает достоинством (очень большим в глазах женщин): он необыкновенно красив, пожалуй, даже слишком для мальчика...» «Я не знаю, когда покину Харроу... Я очень люблю школу. Наш наставник, доктор Друри, самый симпатичный священник, какого я когда-либо встречал; джентльмен в нем сочетается с ученым, при этом без всякой аффектации и педантизма; только ему я обязан теми небольшими знаниями, которые приобрел, и не его вина в том, что они небольшие».

Постепенно становясь смелее, он писал ей о своих взглядах на любовь. Томас Литтль и Мэри Чаворт сделали из него скептика. Он писал Августе, что собирается пойти на бал в Саутуэлле и намерен безумно влюбиться в какую-нибудь женщину: «Это будет развлечение, чтобы провести время, но по крайней мере в этом будет прелесть новизны; потом через несколько недель я приду в полное отчаяние, покончу с собою и с треском вылечу на тот свет».

Августа писала ему в ответ, что любовь — это серьезное чувство и что она любит своего полковника-драгуна так сильно, что это иногда причиняет ей страдание. «Мысль, что вы страдаете, дорогая сестра, доставляет мне страдание... Но в конце концов (простите, дорогая моя сестричка) я не могу не смеяться над вами, потому что любовь, по моему скромному мнению, это совершенная нелепость, простой набор комплиментов, выдумок и притворства; что до меня, то если бы у меня было пятьдесят возлюбленных, я забыл бы их всех через две недели и если бы случайно вспомнил хоть одну, посмеялся бы над этим, как над пустым сном, и благословил бы свою судьбу, что она избавила меня от коварного маленького слепого божка. Не можете ли вы постараться изгнать этого

кузена из вашей прекрасной головки, так как сердце тут, безусловно, ни при чем». Так любовное разочарование сменялось у него цинизмом — болезнь развивалась нормально.

Но прежде всего Августа была поверенной самого большого несчастья своего брата — поведения «этой прекрасной мамаши, дьявольская раздражительность которой как будто возрастает с годами и с течением времени словно приобретает свежие силы». Он уже давно относился к ней с презрением; живя с ней во время каникул, начал ее ненавидеть. Прямой по натуре, как все Байроны, он не умел скрывать своих чувств, что, конечно, подливало масла в огонь. Чуть ли не каждый день возникали ссоры, скандалы, по комнатам летали тяжелые предметы, раздавались крики. Миссис Байрон кричала, что ее сын — чудовище, что он сговорился с ее худшими врагами, с лордом Карлейлем и Хэнсоном. Она упрекала его в том, что он поссорился с лордом Грэем, — из чего он заключал (по свойственной юношам любви ко всему драматическому), что вдова-регентша влюблена в лорда Грэя. «Она очень высокого мнения о своих прелестях, сбавляет себе лета, рассказывает, что я родился, когда ей было восемнадцать лет, тогда как вы, милая сестричка, не хуже меня знаете, что она выходила замуж за моего отца, уже будучи совершеннолетней, а я родился через три года после их брака». Он готов был простить ей эти слабости стареющей женщины, но она оскорбляла его, проклинала прах его отца, говорила, что из него выйдет настоящий «Биррон». «И я должен называть эту женщину матерью. Неужели потому только, что закон природы дал ей какие-то права надо мной, я должен позволять себя так унижать? Какой пример она мне подает! Надеюсь, боже, что никогда не последую ему. И вам еще не все сказал, Августа, просто не могу: я вас слишком уважаю как женщину».

В действительности же миссис Байрон чувствовала себя очень несчастной. В двадцать семь лет она осталась вдовой: жизнь ее была скомкана, она чувствовала себя изгнанницей в чуждом ей английском графстве, а ради чего? Ради интере-

сов сына, который не ценил этой жертвы, ненавидел Саутуэлл, где она поселилась только ради него, и прямо заявлял ей об этом, потому что он был груб, как его отец, как его дед-убийца, как все Байроны. А она чувствовала себя способной на такую самоотверженную любовь. Когда-то она отдала все своему мужу; охотно отдала бы все своему сыну. Но разве это ее сын, этот надменный требовательный чужеземец, который сторонится ее и осуждает? Она незаметно теряла сына, как когда-то потеряла мужа. Ей хотелось его удержать, быть ласковой с ним, но от этой беспросветной жизни теряла голову и разражалась криками.

После скандалов и мать и сын испытывали угрызения совести. Байрон тогда старался оправдать мать. «Я от души сожалею, что почтенная старушка и я не уживаемся мирно, как ягнята в стаде, думаю, что это моя вина... Я не хотел бы совершенно расстаться с ней, так как думаю, что она меня любит; она обнаруживает это в разных мелочах, в частности в том, что касается денег — я в них никогда не нуждаюсь... Но она ведет себя так странно, ее капризы невозможно угадать, ее настроения проявляются так бурно, что дурные качества более чем уравновешивают ее приятные свойства».

Для такого юного существа было небезопасно жить в этой постоянной смене великодушия и ярости. Он осуждал мать, но сам мало-помалу заражался от нее. Бурные ссоры, в которых, не помня себя, высказывают все, сначала переживались мучительно, затем перешли в привычку. Он сознавал это, видел себя с беспощадной ясностью. Он мечтал уйти от этой женщины. «Да, Августа, такова моя мать... Мать! С сегодняшнего дня я отрекаюсь от нее».

Августа пыталась как-нибудь помочь. Она неоднократно писала Хэнсону, убедительно и осторожно стараясь дать понять, что творится в семье Байрона, выражала опасения, что миссис Байрон пьет и желательно было бы, чтобы следующие каникулы Байрон провел где-нибудь в другом месте, хотя бы у Хэнсона, если он не откажется его принять. Она изложила эти обстоятельства своему другу и кузену, лорду Кар-

лейлю, и тот согласился способствовать всему, что она найдет нужным, при условии, что ему не придется вступать в непосредственные переговоры с миссис Байрон, которая внушала ему непреодолимый ужас.

Каникулы кончились печально. Миссис Байрон получила известие из Шотландии о свадьбе Мэри Дюфф, хорошенькой кузины, в которую Байрон был нежно влюблен, когда ему было девять лет. Мать не без злорадства сообщила ему об этой свадьбе. Ей доставляло тайное удовольствие уязвить отдалявшегося от нее сына, но она, конечно, не могла подозревать, что детская привязанность таила в себе силу чувства, не изжитого до сих пор. Известие это так подействовало на Байрона, что миссис Байрон перепугалась. «Я не могу рассказать своих чувств, но со мной сделалось что-то вроде припадка; это так напугало мою мать, что когда я пришел в себя, она уже не пыталась говорить со мной на эту тему и довольствовалась тем, что рассказывала об этом всем знакомым».

В этом же году он распростился с Мэри Чаворт. Во время каникул его несколько раз приглашали из Саутуэлла в Эннсли, но очарование исчезло, ему было совершенно ясно, что их чудесный роман для нее был только забавой. Каникулы этого хромого мальчишки!.. Все знали, что она невеста Джека Мастерса. Еще один последний раз Байрон пошел с нею на холм Диадем. Он разговаривал совершенно спокойно. Он научился скрывать свои чувства под маской презрения.

— В следующий раз, когда мы увидимся, я полагаю, вы уже будете миссис Чаворт?

— Надеюсь, — ответила она.

Ответ довольно жестокий, но почему же, думала Мэри, он так ироничен? Она была снисходительна к безумствам школьника. И вот награда. Он приехал к ней с прощальным визитом. Дожидался ее в домашней часовне; был бледен, сел, написал несколько слов на клочке бумаги, в отчаянии покачал головой. Мэри вошла улыбаясь. Она знала, что он любит ее, страдает. Байрон встал, холодно пожал ее руку, с улыбкой взглянул и тотчас же выбежал из комнаты, вскочил на свою

лошадь и в последний раз выехал из массивных резных ворот. Она вышла замуж в начале следующего года. Настоящий циник сделался бы другом семьи и дождался бы в будущем реванша, но Байрон слишком искренно любил Мэри Чаворт, чтобы быть способным на такой сентиментальный макиавеллизм. Кроме Августы и, может быть, миссис Байрон (она понимала гораздо больше, чем это могло показаться, бедная вдова-регентша, ей часто хотелось утешить сына, но она умела только оскорблять), никто не знал, какие опасные изменения в характере Байрона произвело это замужество. В течение нескольких месяцев, когда он наивно верил в возможность женитьбы на Мэри Чаворт, все мечты его были об идиллической любви и нежном уединении. Ее замужество было ударом, выбросившим его «одного в безбрежное море». В 1804 году Августа считала брата восторженным и пылким молодым человеком. Когда она снова встретилась с ним в 1805 году, характер его настолько изменился, что она с трудом узнала его.

VIII
БОГИ НА ХОЛМЕ ИДЫ

Байрон вернулся в Харроу смятенным и пережившим душевный разлад юношей. Он был счастлив вернуться. Как всем робким людям, ему нравилось однообразие существования, в котором все друг другу знакомы и жизнь течет по заведенному порядку. Здесь его хромые ноги уже никого не удивляли. Авторитет среди школьников возрастал. Комната старшего класса в Харроу, старинный зал, отделанный черной панелью трехсотлетнего дуба, была святая святых. Байрон был одним из владык этого святилища. Трижды среди многих знаменитых имен отчетливо было вырезано его имя: «Байрон». В английской школе всегда выделяется и владычествует маленькая кучка избранников-героев, и Байрон был одним из

них. Высокий холм Харроу, возвышавшийся над полями, где работали землепашцы, над площадками, где сражались команды играющих в крикет, вызывал в его воображении священный холм Иды, с высоты которого гомеровские боги созерцали труд и войны людей. Но страсти не чужды богам. Пылкая и ревнивая дружба увлекает Байрона. Его любимец теперь — Делавэр, тот, что «слишком красив для мальчика». Клэр ревнует, и не один Клэр. На священном холме Иды бессмертные ссорятся. Высокое представление Байрона о дружбе недоступно даже любимцу Делавэру. Байрон, готовый отдать жизнь, пожертвовать всем ради друзей, не удовлетворяется прохладными чувствами. Каждый день стихи, полные упреков, жалоб и презрения, жгучими ударами поражают любимцев молодого бога:

В тебе надеялся обнять
Я друга до конца судьбины,
Но зависть смела оторвать
Нас друг от друга в миг единый.

И в другой раз:

Вы знали, что сердцем, жизнью, душою
Моими в день горький вы можете жить,
Что меня не изменят ни пространство, ни время,
Что любви и дружбы нельзя мне забыть.
Вы знали! Но тщетны воспоминанья...

Беспечные мальчуганы, получавшие эти стихи, удивлялись, смеялись, потом забывали. Счастливому существованию Харроу, а также и Байрона, угрожало более серьезное событие. Друри собирался на пасху покинуть Харроу. Последнее время он не был вполне удовлетворен своим любимым учеником. Байрон учился лучше, но какой-то демон беспокойства владел им. Друри поражало в Байроне отсутствие здравого суждения. Этот исключительно развитой мальчик вел себя иногда, как одержимый. Друри, чувствуя себя ответственным за моральную чистоту школы, опасался влияния

Байрона на своих питомцев. В декабре 1804 года он с большим сожалением вынужден был предложить Байрону покинуть Харроу. Но в это вмешались Хэнсон и лорд Карлейль, и доктора уговорили. Байрон не сохранил чувства обиды против своего учителя. Он любил его. Первый человек, сумевший своей высокой моральной силой внушить мальчику уважение, остался незыблемым авторитетом, несмотря на уязвленную гордость. Последний урок проходил грустно. Молодые люди, окружавшие доктора, чувствовали, что их счастливому существованию наступил конец.

На место Друри было несколько кандидатов, в том числе его брат, Марк Друри; самым опасным его конкурентом был преподобный Джордж Бутлер, молодой человек, крупный математик. Школьники не знали, конечно, действительной ценности ни того, ни другого, но для них достаточно было имени, чтобы сделаться ярыми сторонниками кандидатуры Друри. Они организовали партию Друри, во главе которой стоял Том Уильдмэн, друг Байрона. Один из учеников сказал Уильдмэну: «Я уверен, что Байрон не пойдет с нами, потому что он не захочет быть под началом, предложите ему быть главарем, и он будет наш». Уильдмэн принял совет, и Байрон стал во главе бунтовщиков. Ректор Харроу утверждался епископом Кентерберийским. Однажды утром школьники с великим негодованием узнали, что епископ утвердил Бутлера.

Вручение прав новому ректору положило начало мятежу. Байрон и Уильдмэн были инициаторами восстания. Они носили заряженные пистолеты в кармане. Обсуждался вопрос, не убить ли доктора Бутлера. Некоторые из наиболее воодушевившихся бунтовщиков предлагали насыпать пушечного пороха по дороге в старшее отделение и взорвать доктора. Но один из мальчиков, Джемс Ричардсон, упросил товарищей не делать этого, чтобы не разрушать стен, на которых вырезаны имена их предков.

Байрон в приступе неописуемой гордоновской ярости, не помня себя, выломал решетку перед окнами ректорского дома. Бутлер проявил большой здравый смысл. Он пытался воздей-

ствовать мягкостью и добродушием на своих юных врагов, но безуспешно. Байрон написал на него сатиру, где называл его «Помпозус», и объявил лозунг «Свобода или Восстание!». Доктор Друри, услышав об этом конфликте, решил приехать в Харроу, чтобы прекратить раздор. Школьники встретили его у подножия холма, выпрягли лошадей из его кареты и с триумфом подвезли его к дому. Больше он уже не решался приезжать.

Последний триместр прошел для Байрона в этой борьбе. Он занимался мало. Его считали способным, но ленивым. Все же он довольно хорошо изучил латинский язык и немного греческий. В 1805 году дважды выступал публично с английской декламацией и особенно отличился в «Короле Лире». Он просил Августу приехать послушать его: «Я вас прошу, сударыня, явиться в самой элегантной карете его светлости, так как по этикету Харроу к нам в высокоторжественные дни открыт доступ только роскошным экипажам». За этим юмористическим тоном в действительности скрывалось желание блеснуть перед товарищами изяществом своей сестры. Он вполне мог гордиться в этот день и ею и самим собой; имел большой успех и решил, что он второй Гаррик. Он гораздо больше гордился своими актерским и ораторским талантами, чем бесчисленными стихами, написанными за эти три года. «У меня гораздо больше проявлялись ораторские и военные способности, чем поэтические, и доктор Друри, мой большой покровитель, думал, что из меня выйдет оратор». В декламации ему особенно удавались монологи, в которых изображались бурные переживания и страсти. Помимо всего этого, он считался одним из лучших пловцов в школе и, что весьма замечательно для хромого, настолько хорошо играл в крикет, что в 1805 году участвовал с командой в состязании Харроу — Итон. Это было последним событием в его школьной жизни.

Что приобрел он в Харроу? Чувство товарищества, некоторое знание поэтов? Начал ли он постигать сложную загадку жизни? Нет. На свое несчастье, он убедился только в том,

что другие люди не испытывают такой потребности, как он, в абсолютных чувствах. Все, кого он встречал, мужчины и женщины, подростки и молодые девушки, — все осторожно играли с любовью, с истиной, с Богом. Может ли он стать таким, как они? Он не хотел этого. Но что же в мире уготовано Джорджу Гордону лорду Байрону? В один из последних дней пребывания в Харроу он написал на первой странице своих Scriptores graeci: «Джордж Гордон Байрон. Среда, 26 июня, anno domini 1805. Три часа сорок пять минут пополудни. Кальверт дежурный, слева от меня Том Уильдмэн, справа Лонг. Харроу-на-Холме».

О чем мог мечтать Байрон, сидя за своей дубовой партой в тот памятный день 26 июня 1805 года? Об этой ли школе, с которой он вот-вот расстанется? О Кембридже, куда намеревался послать его лорд Карлейль? Ему было грустно думать о том, что скоро все изменится. Несмотря на Помпозуса и на несколько мальчишеских ссор, он чувствовал себя здесь счастливее, чем где бы то ни было. В этом маленьком, закрытом кругу он властвовал, как юный принц. Этот Уильдмэн слева и Лонг справа — его друзья, и верные друзья. Молодые веселые голоса на дворе, дружеские улыбки, когда он проходит, оживленные группы школьников; в любую минуту он может присоединиться к ним; как не похож этот Священный Холм на беспокойный и враждебный мир, что лежит за ним! Что может его ждать там? Мэри Чаворт? Женщины? Не похожи ли они все на нее? Мать? Фурия. Родной дом? Настоящий ад. Карлейль? А хочет он его видеть, этот элегантный опекун?

Эта необузданная натура нуждалась в искусном наставнике. Под детской веселостью в нем мощной волной нарастала глубокая меланхолия. Он часто думал о смерти. Смерть унесла многих из тех, кого он знал. Его хорошенькую кузину, нескольких его товарищей — он посвятил им надгробные стихи.

В последний раз он пошел на кладбище помечтать под сенью вяза. «Джон Пичей...» Кто он был, этот Джон Пичей, чьи кости покоятся теперь под этим камнем? Конец грустным и

сладостным мечтаниям над долиной, где спит невидимый Лондон. Юный герой со священного холма Иды должен покинуть обиталище богов, чтобы познать судьбы смертных. Вернется ли он когда-нибудь покоиться под этой травой, которую когда-то топтал в беспечных играх? Его могила... Пусть над ней, как над могилой этого Пичея, будет только одно его имя, но пусть оно будет прославленным:

Эпитафией будет одно мое имя,
А коль славой оно не покроет мой прах,
То другое ничто не поможет в веках.
Это место в судьбе с моим именем равно,
Иль темно, как оно, или им же и славно.

Он только вступал в жизнь и уже мечтал о покое.

IX
ТРИНИТИ-КОЛЛЕДЖ. КЕМБРИДЖ

Юность — это время, когда условности мало понятны, и так это и должно быть; им или слепо сопротивляются, или слепо повинуются.

Поль Валери

В октябре 1805 года Байрон поступил в Кембридж, Тринити-колледж. Впервые в своей жизни он чувствовал себя богатым: канцлер разрешил ему пользоваться из его доходов ежегодно суммой в пятьсот фунтов. У него теперь будет слуга, лошадь, и он чувствовал себя независимым, «как немецкий принц, который чеканит собственные деньги, или как индейский вождь, который не чеканит никаких денег, но пользуется самым драгоценным благом — Свободой. Я с восторгом упоминаю об этой богине, потому что моя симпатичная мамаша такой деспот... Я теперь совершенно освобожусь от нее, а так как она уже давно растоптала и разрушила последние чувства, которые меня привязывали к ней, я серьез-

но решил никогда к ней не возвращаться и не поддерживать с ней дружеских отношений. Я должен поступить так ради собственного счастья, ради самого себя и ради памяти своих самых близких родных, которые были гнусно опозорены этой Тизифоной». Жестокое письмо, но детство Байрона было сплошной трагедией, в которой неистовая мать бурно проявляла самые яростные чувства. Ему не у кого было учиться ни стыдливости, ни мягкости.

Тринити-колледж. Укрепленные ворота с башнями открываются на огромный прямоугольник, окруженный готическими зданиями. Посредине фонтан — безостановочно падающая струя воды подчеркивает окружающую тишину. За крытым сводом — второй двор, Нэвилс Корт, более уединенный, более мрачный, строгих очертаний и замкнутый со всех сторон глухой монастырской стеной. Здесь находились комнаты Байрона, маленькое помещение, которое ему сразу понравилось и которое он обставил по своему вкусу.

В университете, как и в школе, он мечтал сделаться центральной фигурой, главарем. Он страдал беспокойным честолюбием слабых людей, но оно смягчалось мечтательной ленью. В Тринити все студенты были приблизительно его возраста; ему не к кому было проявлять здесь чувство нежного покровительства. С первых же дней он понял, что, за исключением нескольких приверженцев презренной науки, которые портят себе глаза, скандируя греческие стихи при свете свечи, все здесь признают хорошим тоном ничего не делать. Это было время, когда в Англии господствовала мода пить и вести азартные игры. «Изучая историю Англии XVIII века, нельзя не удивляться тому, какую громадную роль в жизни молодежи играл алкоголь, и тем печальным последствиям, к которым приводило это пристрастие в зрелом возрасте». Гость, выпивавший за обедом только две бутылки, считался плохим собутыльником. На хорошем счету были те, что способны были выпить четыре-пять бутылок... Лорд Пэнмур и лорд Дufферин славились тем, что выпивали по шесть бутылок. В не меньшей чести была игра. Лорд Холленд давал своему

шестнадцатилетнему сыну Чарльзу Джону Фоксу большие суммы денег, чтобы тот имел возможность «с честью завоевать звание игрока». Какой-то молодой дворянин проиграл в одно утро семь тысяч фунтов в игорном доме рядом с Пел-Мел.

Кембридж следовал примеру Лондона. Чтение, наука, к которым у Байрона было искреннее влечение, не интересовали студентов. Байрон обедал в Холле. Под портретом короля Генриха VIII за высоким столом обедали стипендиаты, оставленные при университете, и иногда ректор. Байрон скоро проникся к ним презрением. Эрудиты без талантов, без душевного благородства — чем наслаждались они в жизни? Банальным острословием, ловкими шутками, сплетнями, церковными доходами. После обеда группами собирались по комнатам, пили и до поздней ночи сидели за карточной игрой. Байрон терпеть не мог вина, но ему хотелось нравиться. Он заказал Хэнсону прислать ему четыре дюжины порто, шерри, бургундского, мадеры. К картам испытывал не меньшее отвращение, чем к вину. «Я не обладал ни хладнокровием, ни умением рассчитывать и обсуждать ходы». Тем не менее он подражал товарищам. Он был рабом условностей, как все те, кто, поздно получая доступ в замкнутое общество, следуют законам этого общества с беспокойной привязанностью. Из всех условностей самой деспотической для юношей является поза пренебрежения условностями: «Наш закон — презирать законы». Узаконенное беспутство становилось в сознании лорда Байрона сущностью англиканского уклада.

Он просыпался утром с тяжелой головой. Колокольный звон разносился в утреннем воздухе. Если это был праздник какого-нибудь святого, нужно было, облачившись в белый стихарь, идти в часовню колледжа. Мягкие и величественные звуки органа окутывали сонных студентов. День начинался. Наставник Байрона быстро убедился, что с этим студентом ему мало придется иметь дела. Байрон купил себе прекрасную серую лошадь, назвал ее Oat Eater — Овсоед. Каждое утро он отправлялся верхом на прогулку в белой шля-

пе, светло-сером плаще. Костюм несколько экстравагантный, но денди властвовали в то время. Вернувшись с прогулки, шел купаться.

Недалеко от Кембриджа он облюбовал себе укрытое развесистыми ветвями место, где река делала поворот. Его товарищем по спорту и единственным другом был одноклассник по Харроу Эдвард Ноэл Лонг — «слева от меня Том Уильдмэн, справа Лонг» — честный, простой и великодушный юноша; как Байрон, большой любитель чтения и плавания. Байрону доставляло истинное наслаждение нырять с Лонгом на глубину четырнадцати футов и доставать со дна тарелку, яйцо или шиллинг. В реке торчал старый ствол, за который Байрон любил цепляться, с удивлением спрашивая себя, какой черт занес это дерево сюда, в это подводное царство. По вечерам Лонг приходил в комнату Байрона и играл ему на флейте или на виолончели. Байрон слушал, попивая содовую воду — свой любимый напиток. Музыкальные мелодии навевали ему мелодии стиха и погружали в грустные и сладостные мечты; перед ним вставало Ньюстедское аббатство, летучие мыши, порхающие среди развалин часовни, терраса эннслейской усадьбы, песенки Мэри Энн, шепот ветра в листьях вяза над могилой Пичея, закрывшиеся навеки глаза Маргарет. Иногда они читали друг другу вслух. «Дружба с Лонгом и страстное, но вполне невинное чувство, овладевшее мною в это время, были самым романтическим эпизодом в моей жизни».

К кому же это страстное невинное чувство? В Кембридже для церкви держали хоры певчих. Байрон случайно познакомился с одним мальчиком из хора Тринити. Ему было пятнадцать лет, звали Эдльстон. Байрон спас его, когда тот тонул. В церкви он обратил внимание на его прекрасный голос и заинтересовался им. Такая дружба с существом не только моложе его, но ниже по социальному и имущественному положению была больше всего по душе. Он чувствовал свое влияние на Эдльстона сильнее, чем на Клэра или Делавэра, и всячески покровительствовал ему. Юный певчий сначала держал себя очень робко, потом впал в сентиментальность.

Он подарил Байрону сердоликовое сердечко, и Байрон написал по этому поводу стихи, не очень блестящие, но трогательно-нежные:

Мне дорог этот камень стал,
Не красотою мне польстивши,
Он только день один сиял
И вспыхивал, как подаривший.
О, кто над дружбой не шутил,
Меня за слабость упрекая,
А все ж подарок этот мил,
Он мне любовь напоминает.
Он дал мне, опустив глаза,
Боясь увидеть взор небрежный,
Но я ответил, что всегда
Его хранить я буду нежно.

Писать стихи доставляло ему истинное наслаждение. Он теперь уже не читал запоем, как в детстве, а больше мечтал, увлекался плаванием и особенно любил минуты, когда им овладевала ленивая задумчивость, в которой рождались рифмы, ритмы и строфы.

Эта жизнь была не лишена приятности, и Байрон, раб привычки, применился бы к ней, как и ко всякой другой, если бы она не требовала так много денег. С ноября для него стало очевидно, что пятьсот фунтов, которые до первой пробы независимой жизни казались ему царским богатством, — небольшой капитал для студента, живущего на широкую ногу. В конце каждого месяца из кухни колледжа ему предъявляли счет на очень большую сумму, так как вместо того, чтобы обедать в Холле, Байрон обедал со своими друзьями у себя в комнате. В Харроу у него остались долги, которые теперь нужно было платить. В Кембридже нужно было обставить свое помещение. Он написал Хэнсону, чтобы тот потребовал от канцлера увеличения содержания.

Поверенный ответил ему, что, если бы лорд Байрон вел более скромный образ жизни, ему бы хватило назначенного содержания. Байрон пришел в негодование: если ему не дадут возможности заплатить долги, он достанет деньги у рос-

товщиков. Для молодого человека, готового вступить в совершеннолетие, владельца Ньюстеда и Рочдэла, нетрудно было добыть денег под проценты сто на сто.

Единственным возражением ростовщиков было то, что Байрон может умереть, не достигнув совершеннолетия, на этот случай им требовалась гарантирующая подпись когонибудь из совершеннолетних родственников. Байрон остановился на Августе. Он уверил ее, что она ничем не рискует, так как если он умрет, она будет его наследницей, а если он останется жив, то уплатит долги сам. «Если вы хоть сколько-нибудь сомневаетесь в моей честности, не делайте этого». Августа дала ему свою подпись, и он занял несколько сотен фунтов.

Миссис Байрон, узнав, что у него завелись деньги, пришла в ужас: «Этот мальчишка сведет меня в могилу, я из-за него с ума сойду! Где он достал сотни фунтов? Уж не связался ли он с ростовщиками?» Спустя несколько дней она писала: «Лорд Байрон заплатил тридцать один фунт стерлингов и десять шиллингов за статую Питта. Кроме того, он купил карету, сказав, что приобрел ее для меня, но я отказалась от этого подарка... боюсь, он попал в дурные руки, и тут не только денежные дела. Полагаю, что он связался с какой-нибудь женщиной».

На самом деле, с тех пор как у Байрона завелись деньги, он не только бросил учиться, но вообще покинул университет. Он поселился на Пиккадилли, 16, в квартире, которую миссис Байрон сняла для своих наездов в Лондон. Он завел себе любовницу довольно низкого разбора из Бромптон Роу. Одевал ее по-мужски, выдавал за своего брата и по воскресеньям возил в Брайтон. Там снял маленький домик против павильона. На пляже прохожие любовались, с какой ловкостью этот калека прыгал в лодку. В Лондоне бóльшую часть времени он проводил у Джэксона и Анжело на Бонд-стрит. Анжело учил его фехтованию; джентльмен Джэксон, великолепный мужчина, чемпион Англии, несмотря на то что только три раза появлялся на ринге, мог написать свое имя, положив на руку

восьмидесятифунтовую гирю; он учил Байрона боксерскому искусству, насколько это было возможно при его хромоте. Байрон называл его: «Мой друг и телесный пастырь», относился к нему с почтением, восхищался его ярко-красной курткой с кружевными манжетами и шелковыми чулками. Суровые упражнения, которым подвергали его Джэксон и Анжело, заставляли худеть, а это было его заветным желанием. Да если бы у него не было этого убежища, где бы он проводил время? Он буквально не знал ни души. Он не без огорчения слушал разговоры о людях, с которыми хотел бы познакомиться, — принц Уэльский, Чарлз Джон Фокс; он видел, как женщины, проходя по Сент-Джемс, улыбались Брюммелю, вечно сидящему у своего знаменитого окна на Уайт. Лорд Байрон, провинциальный дворянин, был одинок, без семьи и без друзей. Так прожил он в Лондоне целый триместр.

Весной он вернулся в Кембридж со всем своим окружением. С ним приехали его любовница из Бромптон Роу и боксер Джэксон. Когда приехал Анжело, он встретил его с большим почтением, пригласил обедать, послал в Сен-Джонс-колледж за пивом, которым этот колледж славился, и дошел в своем усердии до того, что предложил своему гостю выпить последний стакан пива, когда тот садился в почтовую карету, к немалому удивлению всех пассажиров. Его наставник отозвался неодобрительно об этом обществе. Байрон ответил на это, что у его учителя фехтования манеры несомненно лучше, чем у стипендиатов колледжа. Его презрительное отношение к университетской жизни не изменилось. «Никто здесь не прочтет ни одной строки ни древнего, ни современного поэта, если этого можно избежать. Бедняжки музы в полном пренебрежении... Я сам (при всей своей жажде знаний) подхвачен течением и за все время ужинал дома только два раза». Он вел нелепую жизнь, которая его тяготила, разоряла, но из каких-то странных понятий о чести не мог изменить ее.

X
ЧАСЫ ДОСУГА

Чтобы сделаться поэтом, нужно быть влюбленным или несчастным. Я был и тем и другим, когда писал «Часы досуга».

Байрон

В конце 1806 года Байрон приехал в Саутуэлл, где миссис Байрон встретила его бурной сценой. В присутствии ошеломленных детей Пигот она швырнула в Байрона каминные щипцы и совок, он тотчас же скрылся, попросил приюта у своих друзей и, не повидавшись с ней, уехал в Лондон. Из Лондона он написал Пигот: «Спасибо за занимательный рассказ о последних похождениях моей любезной Алекто, которая сейчас уже начинает ощущать последствия своего безумия. Я только что получил покаянное послание, на которое, опасаясь ее преследований, ответил весьма сдержанно... Ее нежное щебетание, наверно, восхитило слушателей... Особенно мелодичны были высокие ноты, их приятно было бы послушать при ясном лунном свете... Право же, ваша мать оказала мне большую услугу, и я приношу вам и всей вашей семье горячую благодарность за то участие, которое вы проявили ко мне, когда я пытался скрыться от миссис Байрон Furiosa*. О, если бы я владел пером Ариосто, я бы изобразил в эпической поэме грозу этой незабвенной ночи, или пусть тень Данте вдохновила бы меня, потому что только творец «Ада» может вдохновить на подобную сцену».

Мужественный, но горький юмор. Регентша последовала за ним в Лондон и после свидания, которое продолжалось несколько часов, «отступила в беспорядке, оставив позади себя свою артиллерию и несколько пленных». Байрон, подобрав трофеи войны, отправился на несколько недель на пляж в Суссекс, затем в небольшое путешествие в Харрогит с Джоном Пиготом. Брат Элизабет, студент-медик, был приятный

---

* Неистовая *(ит.)*.

и культурный молодой человек. Экипаж Байрона удивил его. На дверцах кареты изображен был герб Байронов и девиз: Crede Biron; карету сопровождал грум, который вел двух верховых лошадей; в карете, кроме Пигота и Байрона, помещался камердинер Франк и две собаки: ньюфаундленд Ботсвайн и бульдог Нельсон.

Почему, не имея средств, Байрон возил за собой всю эту свиту? Он отличался удивительной неспособностью удалять из своей жизни все, что входило в нее хотя бы случайно. Когда-то, по какому-то капризу, он завел этого камердинера, этих лошадей и собак, так это и осталось. Он был фетишистом. Его неизлечимая сентиментальность заставляла привязываться ко всему, что окружало. Джон Пигот, довольно проницательный юноша, часто наблюдал в Харрогите проявления байроновской робости. Когда им случалось обедать в общей зале в гостинице, Байрон всегда старался как можно скорее скрыться в номер. Пигот был немало удивлен, обнаружив, что его друг, слывший кутилой, питает отвращение к вину и соблюдает строгую диету. Казалось, ему доставляет удовольствие только писать стихи, ездить верхом и издали смотреть на женщин. Несмотря на несчастный эпизод с Мэри Чаворт, он по-прежнему был чувствителен к женскому обаянию. Перед Пиготом он изображал из себя человека, который сознает опасность любви, знает женщин и презирает их.

— Способ победить их, дорогой Пигот, это не любить, а игнорировать:

Брось, Пигот, не жалей о красотке своей,
И зачем тебе так огорчаться!
А коль хочешь, вздыхай ты о ней, только знай,
Что кокеткой нельзя любоваться.
Как же быть, милый мой? Ты пойди за другой,
Пусть подуется, кто же неволит?
И покинь на два дня — улыбнется она,
И тогда ты целуй ее вволю.

Почсму не последовал он сам этому наивному и осторожн му совету во времена своей любви к М. Э. Ч.?

Наконец двое друзей вернулись в Саутуэлл, и Байрон поселился у временно присмиревшей регентши. Несчастная женщина пришла в ужас от появления Байрона с двумя слугами, целой конюшней и псарней. Она не посмела ничего сказать, но с недоумением спрашивала себя, как вся эта орда будет жить? Байрон, прямой по натуре, не пытался скрыть причин этого семейного сближения. Он истратил все, что достал под проценты у ростовщиков. У него не осталось денег ни для путешествия, ни для того, чтобы вернуться в Кембридж. Единственной приманкой Саутуэлла было то, что там можно было жить, ничего не тратя. Впрочем, через несколько дней, со свойственной ему удивительной пассивностью, он примирился с Саутуэллом, окунулся в привычную обыденную рутину и чувствовал себя не хуже, чем у себя в комнате в Тринити.

В жизни его появилась новая цель — сделаться поэтом. Эту идею внушила ему Элизабет Пигот. Как-то раз она прочла ему стихи, и он сказал: «Я ведь тоже пишу» — и прочел ей посвящение Делавэру. Элизабет от всей души выразила свое восхищение. В другой раз, когда она читала Бернса, ему понравился ритм стиха, и он тотчас же написал в том же размере «Холмы Эннсли».

Где бродило беспечное детство мое.
О, Эннсли холмы, вы унылы и голы,
Бури мужественное торжество
Бьет косматые скалы и долы.
Где приютные тени, которые мне
Чаровали часы за часами,
И в улыбки ее беззаботном огне
Становился мир небесами!

Элизабет пришла в восторг от этого стихотворения, и воспоминание Байрона о его несчастной любви растрогало ее. Она была настоящим другом, подшучивала над его робостью. (Кембриджскому денди еще случалось иногда в трудную минуту шептать про себя: «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...»)

Элизабет своим восхищением ободряла его. Она предложила ему переписать стихи и подготовить рукопись к печати.

С этого дня и создалась любимая Байроном рутина. Он работал по ночам, ложился поздно, вставал еще позднее. Днем выходил из дому и, перейдя улицу, заходил к Элизабет, чтобы передать ей работу. Если при нем появлялись гости, робкий поэт спасался бегством через окно. Он отправлялся тогда к другому своему приятелю, преподобному отцу Бэкеру, молодому саутуэллскому священнику, рассудительному собеседнику, с которым Байрон вел длинные разговоры о вселенной и о предопределении. Бэкер старался внушить, что провидение, на которое он постоянно жаловался, щедро наделило его всяческими благами: рождение, ум, будущее богатство, а главное — талант, который возносит его над другими людьми. «Ах, дорогой Бэкер, — грустно отвечал Байрон, — если это, — он подносил палец ко лбу, — возносит меня над людьми, то это (показывая на свою ногу) ставит меня ниже всех других». Часто он приходил к Бэкеру со стихами в ответ на советы, высказанные накануне:

Мой друг, вы хотите, чтоб был я с людьми, —
Не могу, хоть ваш голос я знаю,
Одиночество дышит в моей груди,
Как пойти к ним? Я их презираю.
Вкусил я и горечь и сладость любви,
Дружбы юноши мысли искали,
Но матроны судили порывы мои,
Слишком скоро друзья изменяли.

Он смотрел на себя в своем убежище в Саутуэлле, как на старого отшельника, в котором мудрость и несчастья посеяли мизантропию. За обедом он сидел напротив регентши и читал во время еды, чтобы принудить ее к молчанию. Когда был в хорошем настроении, то открывал перед ней двери столовой и провозглашал: «Шествует достопочтенная Китти Гордон!» Послеобеденное время он посвящал спорту. Плавал, нырял, брал у своих друзей всякие предметы и бросал в реку ради удовольствия достать их; наводил страх на Саутуэлл,

стреляя из пистолета у себя в саду, и довольно плохо ездил верхом. Главной целью всего этого было похудеть. Суровые упражнения и игры входили в его режим. Он играл в крикет в семи жилетах и в пальто, ел раз в день, не разрешал себе ни мяса, ни пива и ценой этих лишений достигал того, что у него видны были ребра и черты лица сохраняли прелестную тонкость.

Вечерами он обычно отправлялся к кому-нибудь из друзей, к Пиготу или к Ликрофту. В Саутуэлле было множество молодых девиц. Он успел достаточно познакомиться с ними, и они не внушали ему страха. Следуя правилам, которые внушал своему другу, Джону Пиготу, он ухаживал за всеми, посылал стихи, добивался поцелуев, участвовал в любительских спектаклях. У него были более интимные отношения с одной девушкой из довольно низкого круга, некоей золотоволосой Мэри; она подарила ему локон, и он с гордостью показывал его своим более скромным приятельницам, Энн Хаусон и Джулии Ликрофт. Он гордился своим непостоянством. У одной из саутуэллских дам был большой агат, найденный при каких-то раскопках. Она держала его в своей корзинке для рукоделия и как-то сказала Байрону, что это талисман, что он предохраняет от любви человека, который владеет им.

— Дайте мне его, — горячо вскричал Байрон, — этот талисман — то, что мне нужно!..

В Саутуэлле однообразие жизни давало возможность Байрону усидчиво работать. Легкие любовные развлечения не давали скучать и служили в то же время сюжетом для стихов. Он работал успешно. Подбирал и поправлял старые стихи, посвященные Делавэру, Клэру, Дорсету, переводы из Катулла, Вергилия, ньюстедские элегии, любовные стихи. Сборник становился солидным. Автор с приятным удивлением перечитывал свои творения. Может быть эта маленькая книжка создаст ему славу! Элизабет Пигот верила в это.

Печатать свои стихи он отдал издателю Риджу в Ньюарк. Когда два первых экземпляра сборника были готовы, он по-

слал их Пиготу и Бэкеру. Но эффект получился далеко не тот, на который рассчитывал. Священник, прочтя стихи, был так шокирован стихотворением, посвященным Мэри, что счел совершенно недопустимым печатание книги. Бедный Байрон, ожидавший похвал, получил от Бэкера строгое наставление с просьбой уничтожить эти стихи. Байрон пообещал уничтожить все издание и сдержал слово в тот же вечер. Все экземпляры были сожжены, за исключением того, который он послал Джону Пиготу, учившемуся в это время в университете в Эдинбурге, и (как это ни смешно) подаренного Бэкеру. Это было жестокое испытание для молодого автора — отказаться от своей первой книги. Байрон героически принес эту жертву.

Потом, не теряя ни дня, снова взялся за работу; уничтожил злосчастные стихи, посвященные бедной Мэри, и через несколько недель подготовил новый сборник «Стихи на разные случаи жизни», который был напечатан в январе 1807 года. Сборник отличался необыкновенным целомудрием и строгостью.

Он роздал экземпляры этого сборника своим кембриджским друзьям и всем знакомым в Саутуэлле. Из Кембриджа получил лестные поздравления. В Саутуэлле его книга вызвала бурю. Семейство Ликрофт заволновалось. В одном стихотворении речь шла о Джульетте. Не их ли это Джулия? Другое стихотворение, озаглавленное «Лесбии», в любимом ироническом тоне юного Байрона (высокомерно-пренебрежительное отношение к любви), казалось, тоже посвящено ей. Так, по крайней мере, говорили в Саутуэлле. Это было недопустимо. Брат Джулии, капитан Ликрофт, потребовал объяснений у Байрона. Байрон обратился за советом к Бэкеру, они вместе составили весьма осмотрительный ответ, но весь этот пошлый стиль интерпретации, лицемерная стыдливость и ссоры — все это вконец оттолкнуло Байрона от Саутуэлла. Этот маленький городок приводил его в ужас — чувство, свойственное тем, кто еще не изведал больших городов, и вызывал в нем презрение к провинции, от которого излечить мо-

жет только жизнь в столице. Он скучал в Саутуэлле, пока жизнь его текла без всяких событий, но скучал мирно и не без приятности; происшествия, разыгравшиеся после выпуска книги, нарушили и его скуку и счастье. Это было характерно для него — стремиться к волнениям бурной жизни и, едва соприкоснувшись с ними, ненавидеть их. Он поделился своими чувствами с мисс Пигот, материнcки любящей его Элизабет, которую он называл «дорогая королева Бесс». «Я ненавижу ваш Саутуэлл, ваш омерзительный, гнусный, презренный городишко скандалов. Если исключить вас и Джона Бэкера, я бы нимало не огорчился, если бы он весь провалился в Ахерон». Ему хотелось уехать. Мать не удерживала. «Лорд Байрон прожил у меня семь месяцев со своими двумя слугами. Я никогда не получала от него ни одного су, потому что его пятисот фунтов в год едва хватит ему на собственные расходы. У меня нет больше возможности содержать его со слугами на мой скромный пенсион».

Он задержался еще на несколько недель, чтобы закончить новое собрание своих стихов, дополненное и предназначенное на этот раз для «широкой публики». Заглавие было дано другое. Книга называлась «Часы досуга — автор Джордж Гордон лорд Байрон, несовершеннолетний». «Несовершеннолетний» звучало довольно забавно, но он написал предисловие, которое должно было, как ему казалось, настроить читателя снисходительно: «Эти стихи — плоды самых беззаботных часов юноши, едва перешагнувшего за девятнадцать лет... Это объяснение, может быть, излишне, так как они сами свидетельствуют о незрелости ума... Содержание книги может доставить некоторое удовольствие молодым людям моего возраста; надеюсь, во всяком случае, что его признают безобидным. В моем положении и с моими видами на будущее весьма мало вероятно, что я еще раз выступлю на суд читателя... Доктор Джонсон по поводу поэтических произведений одного из моих благородных предков говорил, что «когда человек высокого происхождения вступает на поприще литератора, он заслуживает благосклонности читателя»: разумеет-

ся, это мнение не будет иметь большого веса для критиков, но будь это иначе, я бы не пожелал воспользоваться подобной привилегией...». Как только книга была напечатана, он в июне 1807 года выехал в Лондон, чтобы лично наблюдать за распределением ее по книжным магазинам.

Приятно в двадцать лет очутиться в Лондоне, в прекрасный июньский день, с некоторым количеством денег и свеженапечатанной книгой. Дама «с кротким нравом овечки» осталась одна в своих северных владениях, проклятый Саутуэлл был далеко, и «королева Элизабет» получала направленные против него откровенные и чистосердечные послания: «Саутуэлл — это проклятое место, я распростился с ним навсегда — во всяком случае так думаю; исключая вас, я не уважаю там ни одного человека. Вы были моей единственной разумной приятельницей; и, сказать правду, я всегда питал к вам больше уважения, чем ко всему этому стаду, мелкими слабостями которого забавлялся... Вы в ущерб себе делали для меня и для моих рукописей больше, чем могли бы сделать миллионы этих кукол. Поверьте мне, в этом вертепе греха я никогда не забывал о вашем благородном характере и надеюсь, что когда-нибудь смогу доказать вам свою благодарность!» Он был искренен; он не питал ничего, кроме презрения, ко всем этим Джулиям и Мэри, которые позволяли ему ласкать себя; его «животные инстинкты», его гордость заставляла домогаться их, но в сокровенном храме своей души маленький шотландский кальвинист втайне преклонялся перед чистотой.

Все его мысли теперь были заняты только одним: сделают ли его «Часы досуга» знаменитым поэтом. Он не мог пожаловаться на неуспех. Книжный магазин в Лондоне, который согласился взять несколько экземпляров условно, продал их и запросил еще. Ридж, ньюаркский издатель, продал в две недели пятьдесят экземпляров. Конечно, читателями были главным образом жители Саутуэлла, но, несмотря на свое презрение, молодой автор очень интересовался их мнением.

«Кто же из дам купил книгу? — спрашивал он Элизабет. — Нравятся или нет мои стихи в Саутуэлле?»

Гораздо труднее было узнать что-нибудь о мнении этих ужасных и неведомых существ — лондонских читателей. Байрон послал экземпляр лорду Карлейлю, который ответил ему любезным письмом, какое обычно пишут, не открывая книги, заранее решив ее не читать. Один из его двоюродных братьев, Александр Гордон, сказал ему, что его мать, герцогиня Гордон, «купила книгу ваших стихов, пришла от них в полный восторг, как, впрочем, и все люди общества, и выразила желание заявить о своем родстве с автором». Но его светлость не пошел навстречу ее желанию и не послал приглашения своему юному родственнику. «Во всех книжных витринах я вижу свое имя, и я молчу и втайне наслаждаюсь своей славой». Один книжный магазин продал семь экземпляров.

— Семь — это превосходно, — сказал хозяин магазина, и Байрон ему от души верил.

Деятельный автор, он позаботился сам послать книгу на самые модные курорты. «Карпентер (издатель Мура) сказал мне, что вот уже несколько дней как они распродали все, что у них было, и что после этого было несколько требований, которые они не могли удовлетворить. Герцог Йоркский, маркиз Хэдфорт, герцогиня Гордон и пр. и пр. были в числе покупателей; и, говорят, зимой спрос будет еще больше, так как лето — плохой сезон, потому что все разъезжаются из Лондона». Несколько критиков отметили появление «Часов досуга». «Меня похвалили в одном журнале и обругали в другом. Говорят, это очень хорошо, помогает расходиться книге: вызывает споры и мешает отойти в забвение. К тому же это выпадало на долю всех великих людей во все времена, и этого не избежать и самым скромным; я ко всему отношусь философски».

Он был по-прежнему очень одинок. Редкие гости появлялись в его лондонском особняке («Дорэнт-отель», Элбермель-стрит). Старый учитель, Генри Друри из Харроу, безуспешно пытался застать его. Однажды его навестил Даллас,

отрекомендовавший себя дальним родственником: его сестра была замужем за дядей Байрона, Джорджем Ансоном. Даллас писал романы и переводил французские книги. Он был серьезный человек и считал, что призвание писателя быть «помошником богослова и моралиста». Услышал о «Часах досуга» от своих родных и приобрел себе этот сборник. Прочтя его, написал Байрону: «Милорд, несколько дней назад мне прислали ваши стихи. Я прочел их с удовольствием, которого не сумею вам выразить, и чувствую неудержимое желание изъявить вам мое восхищение по поводу излияний вашего благородного и столь истинно поэтического ума... Ваши стихи, милорд, не только прекрасны, но и свидетельствуют о сердце, пылающем возвышенными чувствами и чутко внимающем голосу добродетели». Письмо несколько чудаковатое, — так должен был подумать юный циник, но это был первый писатель, обративший внимание на его творение, и поэтому он написал ему весьма учтивый ответ:

«Хотя критики и проявили ко мне редкую снисходительность, должен признаться, что похвалы человека, считающегося гениальным, мне гораздо более лестны... К сожалению, мои притязания на добродетель столь слабы, что не могу принять ваших комплиментов. События моей короткой жизни были столь необычайны, что хотя гордость, которую люди именуют честью, и помешала мне запятнать мое имя какой-либо подлостью, тем не менее я уже прослыл другом распутства и поклонником неверности... Что касается морали, я предпочитаю Конфуция Десяти Заповедям и Сократа св. Павлу (хотя оба они одинаково смотрят на брак). В религии стою за эмансипацию католиков, но не признаю папы. В общем, считаю добродетель элементом характера, чувством, но не принципом. Считаю, что истина является главным атрибутом божества, что смерть — это вечный сон, по крайней мере для плоти. Вот вам краткое резюме чувств злого Джорджа лорда Байрона, и пока я не приобрел себе нового наряда, вы заметите, что я весьма плохо одет». Текст привел глубокомысленного Далласа в восторг и недоумение.

Что может быть увлекательней перспектив сделаться писателем? Байрон уже составлял планы будущих работ. Он мечтал переложить в стихи старые шотландские предания, перевести старинные баллады, которые можно было бы потом выпустить, озаглавив их «Шотландская арфа» или еще как-нибудь, не менее оригинально. Он подумывал еще об эпической поэме на тему о сражении при Босворсе, но на это уйдет не меньше трех-четырех лет... Еще можно было бы попробовать стансы о вулкане Гекла. В ожидании славы поэта он старался заслужить славу пловца. Под наблюдением Джэксона переплыл Темзу. Критик Ли Хент, одеваясь на берегу после купания, увидел вдалеке голову, которая как поплавок, то исчезала, то появлялась над водой, а на берегу какой-то человек весьма внушительной наружности наблюдал за пловцом. Человек на берегу был мистер Джэксон, прославленный светский боксер; поплавок — Джордж Гордон лорд Байрон, несовершеннолетний.

XI
МУШКЕТЕРЫ ТРИНИТИ

Что делать в жизни? Нельзя же всю жизнь плавать и заниматься стихоплетством. В конце июня он приехал в университет, думая распроститься с ним совсем; снова увидел чудесный двор Тринити, поросшие травой берега Кема. Он вернулся таким хрупким, таким ангелоподобным, что ни наставники, ни товарищи, ни швейцар не узнали в нем толстого юношу, которого знали год назад. Благодаря суровому режиму и спорту его лицо стало похоже на лицо юного аскета. Он был подобен «прекрасной алебастровой вазе, освещенной изнутри». Его словно прозрачное лицо оттенялось каштановыми, отливающими медью волосами (с возрастом он становился менее рыжим) и серо-голубыми глазами, тревожно смотревшими из-под длинных черных полуопущенных ресниц.

мебелью, так как лорд Байрон, сэр, молодой человек с необузданными страстями». Мэтьюс пришел в восторг от этой фразы. Когда кто-нибудь из его друзей приходил к нему, он предупреждал, чтобы осторожнее брались за ручку двери, «так как лорд Байрон, сэр, это молодой человек с необузданными страстями». Он принял своего «хозяина» и весьма забавно и язвительно рассказал ему о его «необузданных страстях». Байрон познакомился у него с несколькими другими студентами такого же интеллектуального типа и обнаружил возможность жить в Кембридже в среде, значительно более приятной, чем в первый год своего пребывания в университете. Его наклонности влекли к интеллектуальной жизни, его условные понятия чести — к распутству. Но в новых товарищах он нашел пикантное сочетание легкомыслия и ума, которое позволяло быть умным и не ронять чести. Как же он не познакомился с ними раньше? В первый год его пребывания в Кембридже они престо презирали его. Что он представлял собой? Толстый юноша, калека, робкий и надменный, без единой заслуги, которая могла бы оправдать его высокомерие. Его избегали. Теперь он был автором книги стихов, которую прочли в Кембридже; он был красив; круг, некогда закрытый для него, теперь открылся. Его это обрадовало, он решил в октябре вернуться в Кембридж на год.

Вернувшись, он занял свои комнаты и сделался неотъемлемым членом тесного кружка. Здесь прежде всего был Мэтьюс, которым Байрон восхищался. Мэтьюс слыл большим любителем всяких затей. Несмотря на то что он был эрудитом, любил и бокс и плавание. Плавал с усилием, слишком высоко держа голову над водой. Байрон, эксперт по плаванию, сказал ему, что он когда-нибудь утонет, если не научится правильно держаться на воде. Мэтьюс, в свою очередь, с глубокой проницательностью критиковал взгляды Байрона и окончательно искоренил в нем то, что оставалось от Абердина. Он ни во что не верил, смеялся и над Богом и над чертом. Байрон под влиянием Вольтера, которого много читал, давно уже перестал верить в Бога, но не мог победить в себе какое-то

чувство тревоги. Смелость суждений Мэтьюса укрепляла его в скептицизме. Второй близкий друг Байрона из этого кружка в Кембридже был совсем иного типа. Джон Кэм Хобхауз, сын крупного коммерсанта в Бристоле, из семьи нонконформистов, придерживавшихся в политике передовых взглядов вигов, был, как и Мэтьюс, эрудит. Он работал над сочинением о происхождении и цели жертвоприношений (о котором Байрон говорил: «Ваше сочинение об утробах»). Хобхауз принимал участие в затеях кружка, но с некоторой дозой сдержанности и осторожности, которых не было у Мэтьюса. Они увлекались плаванием, а он охотой. Это до известной степени определяло различие между ними. Тон Мэтьюса был не совсем такой, какой бы мог нравиться Хобхаузу: сам был неверующий, но относился к религии с большой серьезностью. Убежденный либерал, он организовал среди студентов либеральный клуб и «Дружеское общество», которое после нескольких месяцев существования распалось, потому что в нем слишком много ссорились. Он ненавидел Бурбонов и быстро сошелся с Байроном, разделяя его преклонение перед Наполеоном.

По склонностям своего характера Хобхауз предпочитал серьезный образ жизни. Он дорожил тем небольшим политическим влиянием, которое уже приобрел в университете. Он прямо говорил вам о ваших недостатках, но говорил только вам. Это было честно. Мэтьюс и Хобхауз обменивались комическими язвительными письмами: «Ваш желчный характер, Хобхауз...» В первый год пребывания Байрона в университете Хобхауз презирал этого хромого лорда, который так нелепо обращал на себя внимание своей белой шляпой и светло-серыми костюмами, но Хобхауз любил поэзию и открыл в «Часах досуга» признаки нарождающегося таланта. К женственным капризам Байрона он относился теперь с ласковой мужской снисходительностью. В маленьком кружке друзей Байрона он олицетворял собою здравый смысл, Мэтьюс — фантазию.

Последним из четырех мушкетеров, царивших в Тринити в 1808 году, был Скроп Дэвис. Своими замашками и мане-

рой держать себя он напоминал Брюммеля, короля денди. В его костюме не было ничего кричащего. Спокойный, сдержанный, но полный остроумия, он разговаривал всегда сухим язвительным тоном, которому неподражаемое заикание придавало особенное очарование. Дэвис был большим соперником Байрона в плавании и нырянии. Большую часть своего времени он проводил за игорным столом, часто выигрывал, будучи спокойным и расчетливым игроком. Байрон тоже начал играть, чтобы понравиться Скропу Дэвису, за что получил нотацию от Хобхауза: «Нет, серьезно, вы должны это оставить. На виду у всех проводить ночи в самой низкой компании, что может быть более шокирующего и позорного?» Но в кружке Хобхауз представлял собою меньшинство, а жизнь в Тринити в тот год протекала бурно. Байрон завел еще одного приятеля — ручного медведя. Кто-то из начальства спросил его, что он собирается с ним делать. «Подготовить его в кандидаты на кафедру», — ответил он. Ответ не очень понравился. Из Лондона к Байрону приезжали ужинать жокеи, игроки, женщины. Тем не менее Хобхауз продолжал относиться к нему с нежностью и уважением. Действительно, в этом юноше, которого в детстве никто не воспитывал, было много благородства. Он обнаруживал храбрость, не имевшую границ, большую готовность рисковать собой ради других и превосходное качество — доброту к людям, стоящим ниже его. Каждый триместр из своего содержания в сто двадцать пять фунтов он выделял пять фунтов Меррею, старому слуге из Ньюстеда. Из своего тяжелого детства Байрон вынес сострадание к нищете. Он раздавал много денег и сам оставался без единого пенни. Продолжал занимать, и цифра его долгов чудовищно росла. «Не придется ли мне, — спрашивал он Хэнсона, — продать мой титул? Что стоит баронетство? Пятнадцать фунтов? Все-таки это деньги для человека, у которого не наберется даже столько пенсов». В январе 1809 года он был должен три тысячи фунтов ростовщикам, восемьдесят фунтов миссис Байрон и тысячу фунтов разным женщинам. В марте он писал: «Между нами говоря, я попал в премиленькое положе-

ние. Мои долги, если подсчитать все, достигнут к моему совершеннолетию девяти или десяти тысяч».

Он перемежал работу с легкомысленными развлечениями. Издание «Часов досуга» разошлось. Готовил другое, но поэт в нем подчинялся капризам молодого человека, и, следуя порывам своих увлечений или ненависти, он уничтожал одни стихи и добавлял другие. Кто-то сказал ему, что в журнале «Эдинбург ревью» (крупный орган шотландской прессы вигов) против него готовится злая, ругательная статья. Кто-то слышал выдержки из этой статьи у леди Холлэнд. Это было очень тягостно для Байрона. Но он ждал выпада в бодром настроении. Он написал Бэкеру: «Скажите миссис Байрон, чтобы она не очень обижалась на них и приготовилась к самым злобным нападкам с их стороны».

Номер журнала вышел только в конце февраля 1808 года. Байрон лихорадочно открыл его и прочел:

«Поэзия этого юного лорда принадлежит к разряду той, существование которой не могут допустить ни боги, ни смертные. Чтобы смягчить свое преступление, благородный автор прежде всего заявляет о своем несовершеннолетии. Может быть, он хочет сказать: полюбуйтесь, как пишет несовершеннолетний! Вот стихи, написанные в восемнадцать лет, а эти так даже в шестнадцать! Но увы! Всем нам памятны стихи, которые писал Поп в двенадцать лет, и мы отнюдь не удивлялись тому, что *такие* стихи написаны молодым человеком, считаем это самым заурядным явлением, полагая, что из десяти мало-мальски образованных англичан девять занимаются тем же, и даже десятый напишет стихи получше лорда Байрона». Далее анонимный критик упрекал его в том, что он не преминул поставить впереди книги свой титул лорда; поучал его, что уметь рифмовать и отсчитывать стопы — не значит владеть искусством поэзии, и заканчивал свою статью язвительными комментариями по поводу предисловия:

«Каково бы ни было наше суждение о стихах этого высокородного юнца, мы, кажется, должны принять то, что нам дают, и почесть себя счастливыми, ибо это последнее, что

услышим от него. Он заявляет, что не ждет никакой выгоды от издания своих стихов и, будут ли они иметь успех или нет, вряд ли снизойдет еще раз выступить в роли писателя. Примем же то, что нам дают, и будем благодарны. Какое право имеем мы, жалкие ничтожества, предъявлять какие-то требования? Мы и так слишком облагодетельствованы этим человеком, который носит титул лорда, не живет на чердаке, а владычествует в Ньюстедском аббатстве».

Статья была жестокая. В этой настойчивой манере попрекать юношу его происхождением проявился тот же снобизм, только наизнанку, но не менее нелепый, чем обычный. Сам тон статьи обнаруживал отсутствие меры и справедливости. Байрон был совершенно ошеломлен. Кто-то из знакомых, войдя к нему в комнату, когда он только что кончил читать эту статью, увидев его в таком состоянии, спросил:

— Уж не вызвали ли вас на дуэль, Байрон?

Хобхауз говорил, что он был недалек от самоубийства. Вечером, ужиная со Скропом Дэвисом, он выпил три бутылки вина, чтобы заглушить свою ярость, но успокоился только после того, как выразил свое негодование в стихах. После первых двадцати строф он почувствовал некоторое облегчение.

Кто же автор этого бессмысленного выпада? Байрон долгое время считал, что это Джеффри, главный редактор журнала; на самом же деле это был Генри Броугхем, человек энциклопедической злобы, который столь же несправедливо критиковал ученого физика, как и поэта, и чья статья о теории волнообразных колебаний Юнга не уступала по своей невежественной жестокости статье о «Часах досуга». Эта статья, впрочем, мало повредила репутации Байрона. Знаменитый поэт Вордсворт явился к Чарлзу Лэму* с журналом в руках:

— Я больше не в силах выносить этих людей, — сказал он. — Помилуйте, молодой человек, лорд, выпустил маленький томик стихов; и на него нападают так, словно никто не

* Чарлз Лэм (1775 — 1834) — английский писатель. — *Примеч. ред.*

имеет права быть поэтом, ежели он не живет на чердаке. А я утверждаю, что из этого молодого человека будет прок, если он будет продолжать.

Первой мыслью Байрона было поскорей закончить и напечатать сатиру на своих врагов; к счастью, он понял, что разумнее повременить и что лучшим ответом будет, если он напишет превосходную поэму. «Я огорчен, что миссис Байрон так расстраивается. Что до меня, то эти бумажные снаряды только научили, что нужно быть готовым к обстрелу». Благодаря им он приобрел еще одного друга. Фрэнсис Ходжсон, молодой профессор из Кинг-колледжа, написал ему письмо, в котором выражал свои симпатии и сочувствие.

4 июля 1808 года Байрон получил из университета диплом на звание «Magister Artium» и покинул Кембридж. За этот последний год он сильно изменился. Харроу было временем сентиментальной и влюбленной дружбы, Кембридж посвятил его в дружбу интеллектуальную. В этой атмосфере цинизма, сухой, мужественной, ему дышалось легко. С Хобхаузом, Дэвисом, Мэтьюсом он мог проявить себя таким, каким, ему казалось, он был на самом деле: освободившимся от своего кальвинизма, легким в любви и наконец-то свободным. Но можно ли быть свободным после такого детства?

XII
ОТПОЛИРОВАННЫЙ ЧЕРЕП

Мы наслаждаемся тем, что выходит за пределы обычного, хотя бы это было и несчастье.

Шатобриан

Уже несколько месяцев, как миссис Байрон в своем шумном убежище в Саутуэлле с беспокойством ожидала возвращения и совершеннолетия своего сына. Она питала к нему такие же чувства, какие некогда внушал ей ее чудовищный супруг. Она его боялась, обожала и проклинала. Как-то он

себя покажет, сделавшись хозяином своих владений, этот новый «Биррон» с помесью Гордонов? Какой Злой Лорд, приправленный Безумным Джеком, воцарится теперь в Ньюстеде? Почему она, бережливая вдова, шотландка, которая умела жить, не одалживая ни единого су, на свои сто тридцать пять фунтов в год, почему она всегда должна нести ответственность за мужчин этой расточительной породы? В течение этих последних месяцев несовершеннолетия Байрона она осаждала Хэнсона тревожными письмами:

«Необходимо во что бы то ни стало уладить вопрос с Рочдэлом и добиться права пользования доходами для Байрона, иначе он выкинет какую-нибудь глупость. Хотя я очень высокого мнения о моем сыне, что бы там ни говорили, тем не менее знаю, что умные люди не всегда бывают осмотрительны там, где вопрос касается денежной стороны».

Поверенные, которые были уполномочены вести тяжбу о Рочдэле, получали от нее яростные и оскорбительные письма. «Я вам скажу правду. Почему вы с Хэнсоном обираете моего сына?» Может быть, это была и правда, но такая грубость отталкивала поверенных, как когда-то навсегда оттолкнула лорда Карлейля. Им надоедали «дела Байронов». Хэнсон делал пометки на полях: «Какое бесстыдство!» Да, она была бесстыдна, несчастная вдова-регентша, но что же ей оставалось делать? Она не обладала ни мягкостью, ни гибкостью, в ней текла кровь Гордонов, само неистовство, и у нее было столько забот. Нужно было, например, заставить лорда Грэя Рэсина покинуть аббатство до приезда Байрона, «так как я ни за что на свете не хочу, чтобы они встретились; они друг друга ненавидят, и я уверена, что между ними может произойти ссора, которая может окончиться очень печально». И бог знает, в каком виде останется Ньюстед после лорда Грэя. «Я сама еще не видела Ньюстед, но все кругом говорят, что это ужасно, и как это можно, чтобы человек, считающийся джентльменом, оставил после себя дом в таком виде».

Но больше всего ее беспокоил вот какой вопрос: теперь, когда Байрон окончил свое учение, позовет ли он ее жить с ним в Ньюстеде и вести хозяйство в его доме?

«Дорогая миледи, — писал он ей, — у меня нет кроватей ни для Хэнсона, ни для кого бы то ни было в настоящий момент... Я буду жить сообразно с моими привычками и в полном одиночестве, насколько это возможно. Когда комнаты будут отделаны, буду счастлив видеть вас у себя. В настоящий момент это непристойно и неприятно для нас обоих. Вы не можете обижаться на то, что я намереваюсь привести свой дом в обитаемый вид. В марте (или самое позднее в мае) уеду в Персию, и вы будете хозяйкой дома до моего возвращения».

Он действительно застал Ньюстед в невообразимо запущенном виде. Его дуб в парке, дерево, с которым была связана его судьба, погибал, заглохший от сорной травы. Он бережно высвободил, выходил и вернул его к жизни. Ремонтировать все аббатство было бы разорительно да и бесполезно. Он отделал себе спальню, посреди которой стояла огромная кровать с колоннами и балдахином, с раздвигающимися китайскими занавесями; повесил на стены несколько портретов боксера Джэксона в его роскошном голубом костюме, портрет старого Меррея, единственного существа, которое он любил «вместе с его собаками»; виды Харроу и кембриджских колледжей; там были Кинг, Тринити и иезуитский колледж. У него была странная потребность окружать себя привычными божками. Не потому ли, что ребенком жил с таким чувством одиночества и покинутости? Он начинал с того, что ненавидел новые места, новых людей. Но после того как осваивался с ними, начинал любить их, как элементы самого себя. Из окон видны были заросшее камышом озеро, лебеди, зубчатые укрепления Злого Лорда и прекрасные холмы с вырубленными деревьями. Дверь из спальни выходила в комнату с привидением, в пустую с каменным полом комнату, где время от времени ночью пугливая служанка встречала монаха в черном клобуке. Внутренняя лестница вела в другую комнату, служившую ему рабочим кабинетом и гостиной. Несколько комнат было обставлено для друзей. Все остальное — огромные сводчатые коридоры, бесчисленные кельи, расположенные кругом всего дома, — оставалось заброшенным и пустым.

Как он любил Ньюстед! Он не уставал мечтать, то лежа на софе, где проводил почти целые дни, сочиняя стихи, подыскивая рифмы, то в саду, где ему доставляло удовольствие писать, опершись на ствол дуба, срубленного Злым Лордом, ствол, который ему теперь служил естественным пюпитром, увитым плющом.

Он не хотел знакомиться с владельцами соседних замков; кое-кто явился к нему с визитом, но он не подумал ответить на эти визиты. Он принял приглашение на обед в Эннсли; Джек Мастерс, встретившись с ним как-то в поле, пригласил его с добродушной бесцеремонностью человека, преданного спорту, несмотря на то что знал о его прошлом увлечении. Байрон хотел подвергнуть себя испытанию встречи со своей М. Э. Ч., превратившейся в миссис Чаворт-Мастерс.

«Я обедал недавно рядом с женщиной, которой ребенком был предан так, как только могут быть преданы дети, и гораздо больше, чем может позволить себе взрослый мужчина. Решил держаться мужественно и разговаривать хладнокровно; но как только ее увидел, все мое мужество и беспечность пропали, и я ни разу не разомкнул губ, чтобы улыбнуться, не то что заговорить, а миледи держала себя почти так же нелепо, как я, отчего мы оба привлекли внимание общества гораздо больше, чем если бы вели себя с непринужденным равнодушием. Вам это покажется все очень наивным... Боже, как мы глупы! Плачем об игрушке; как дети, не можем успокоиться до тех пор, пока не сломаем ее, но мы, к несчастью, не можем, как они, отделаться от нее, бросив ее в огонь».

Кормилица привела маленькую двухлетнюю девочку. Байрону было мучительно видеть в этом едва сложившемся личике строгие обаятельные черты отца и глаза, в которые он так часто глядел на холме Диадем. Он смотрел на этого супруга, энергичного человека, который рассказывал о только что убитой лисице и хвастался тем, что не открывал никогда ни одной книги, кроме Робинзона Крузо. Рядом на псарне лаяли собаки. Мэри Энн сидела молча. Взглядывая украдкой на Байрона, она замечала, что он стал тонким и кра-

сивым. Вернувшись в Ньюстед, он бросился на софу и написал стихи:

Ну, вот — ты счастлива; я знаю,
Что должен счастлив быть и я,
Затем, что в сердце сохраняю
Я с прежним пламенем тебя.
Дитя! Я подавил стенанье:
В ее чертах — черты отца.
В глазах ее — твое сиянье.
Всем оно было для меня.
Прощай же, Мэри, уезжаю,
Ты счастлива, что горевать!
Хоть мне с тобой не быть, но знаю,
Что был бы я рабом опять.
Уйди, прельстительная младость!
Воспоминанье, не проснись —
Мне волны Леты будут в радость,
Разбейся, сердце, или спи.

Единственные люди, с которыми ему хотелось увидеться, были его друзья из Кембриджа. Ему хотелось показать им свое аббатство. Первым приехал Хобхауз: они относились друг к другу с ворчливой и грубоватой нежностью. Оставаясь вдвоем, работали бок о бок, как старая супружеская чета; Байрон сочинял сатиру, которая день ото дня становилась все ядовитее, Хобхауз, заразившись от него, писал философские стихи. Когда надоедало работать, шли нырять на озеро или, если погода была прохладная, купались в подземном бассейне, который Байрон устроил, переделав монастырские погреба. Они развлекались, дрессируя ньюфаундленда Ботсвайна; Байрон прыгал в воду одетый и притворялся, что тонет, чтобы заставить собаку спасать себя. Старик Меррей прислуживал им за столом. Хобхауз часто видел, как Байрон, наполнив стакан мадерой, протягивал его через плечо Джо Меррею, стоявшему за его стулом, и с сердечной добротой, которая озаряла все его лицо, говорил: «За ваше здоровье, старый друг».

Это была приятная жизнь, но соседство с Эннсли тяготило. Лучшее средство — бежать, и Байрон мечтал уехать вес-

ной. Он говорил в Эннсли о своем намерении. Мэри невинно спросила, почему он стремится уехать, и получила ответ в стихах:

Когда он изгнан был из рая,
Остановился он у врат, —
Как живо все напоминает
Прошедшее! И проклинает
Он будущего темный смрад.
Не так же ль, леди, и со мною,
Не должно ли бежать и мне,
Затем, что полон я тобою
И прошлое живет в душе?
Бегу. С душой моей усталой
От искушения уйдем.
Нельзя мне видеть рай бывалый
И снова не мечтать о нем.

Он воздержался от того, чтобы показать эти стихи Хобхаузу, который приходил в ужас от сентиментальности и «бессмысленной породы женщин» и больше всех поэтов любил Попа, сдержанного и остроумного классика.

Ботсвайн взбесился. Байрон ухаживал за ним, как за больным товарищем, обтирал голой рукой пену, которая бежала из его открытой пасти. Ньюфаундленд оставался верным до самой смерти и не укусил никого. Когда он околел, Байрон сказал: «Я теперь потерял все, кроме моего старого Меррея». Он уже давно говорил, что хотел бы быть похороненным рядом со своей собакой. Он занялся устройством склепа. По странной и характерной для него склонности к браваде приказал построить этот склеп на месте алтаря в разрушенной церкви аббатства. Цоколь с большими круглыми ступенями подводил к красивому пьедесталу, на котором возвышалась античная урна; ее прекрасные очертания выступали среди строгих огив. На одной из плит пьедестала была высечена надпись:

Здесь покоятся
Останки существа,
Соединявшего в себе красоту без тщеславия,

Силу без дерзости,
Храбрость без жестокости
И все добродетели человека без его пороков.
Это похвальное слово, которое было бы
бессмысленной лестью,
Если бы оно было высечено над прахом человека.
Здесь — только надлежащая дань памяти
БОТСВАЙНА, СОБАКИ,
Родившейся на острове Ньюфаундленде в мае
1803 года
И опочившей в Ньюстедском аббатстве 18 ноября
1808 года.

Байрон сказал Джо Меррею, что похоронит его в этом же склепе. Но Джо Меррей не обнаружил особенного восторга.

— Если бы хоть я был уверен, — сказал он, — что их светлость тоже опочиют здесь, это бы еще ничего, но мне совсем не хочется лежать здесь одному с собакой.

22 января 1809 года лорд Байрон Ньюстедский праздновал свое совершеннолетие. Во дворе аббатства зажарили целого быка для вассалов, а вечером для них был устроен бал, на котором танцевал сам почтенный Хэнсон, приехавший из Лондона представительствовать от имени своего высокородного клиента. Миссис Байрон суровым письмом выразила свое негодование по поводу этой чрезмерной расточительности. Что же касается юного лорда, он в этот день обедал в Лондоне, и его обед состоял из бутылки эля, одного яйца и ломтика бекона. Обед скудный, но и это было уже нарушением суровой диеты Байрона. Этот торжественный день настроил его меланхолически. Когда-то он жалел, что уже больше не ребенок, и вот он уже больше и не юноша. Накануне узнал о смерти своего близкого друга по Кембриджу Лонга, который погиб во время кораблекрушения по пути в Лиссабон. Байрон открыл свой старый учебник, на обложке которого он четыре года назад, в Харроу, написал: «слева от меня Уильдмэн, справа — Лонг» — и прибавил: «Eheu fugaces, Postume! Postume!

Labuntur anni...* Январь 1809 года. Из четырех человек, чьи имена записаны здесь, один умер, другой в дальних краях, все врозь, а ведь еще и пяти лет не прошло, как все они были вместе в школе и никому из них нет еще двадцати одного года».

Слишком рано могила наложила свою печать на жизнь этого юноши. Теперь он уже погружался в мечты не над могилой безвестного Пичея, а над могилой Ботсвайна, иначе говоря, над своей могилой, над могилами своих исчезнувших друзей и над незримой могилой своих детских привязанностей. Такова жизнь — Байроны обречены на несчастья. Значит, надо бросить вызов судьбе. Даллас, почтенный Даллас, явившийся в этот вечер поздравить с днем совершеннолетия, был потрясен блестящим красноречием и большей, чем когда-либо, вольностью суждений о религиозных вопросах.

Теперь оставалось только покинуть Англию. Хобхауз обещал сопровождать его в путешествии. Куда же поехать? Байрон еще не знал. На Восток, в Персию, в Индию или, может быть, к тропикам? Не все ли равно, только бы удалиться от Эннсли, от воспоминаний. Ничто не удерживало его. Вдова-регентша обратилась в какой-то мифический персонаж, да к тому же на время его отсутствия у нее будет Ньюстед. Оставалось только покончить с несколькими неотложными делами.

Прежде всего нужно было опубликовать сатиру; она была уже вполне закончена; это было блестящее произведение, полное яда и столь язвительное, что Далласу, которому поручено было подыскать издателя, пришлось побывать не у одного, прежде чем он нашел такого, который согласился выпустить ее. Не только шотландские критики, но и большинство английских поэтов подвергались в ней суровому суду; даже Томас Мур, столь любимый школьником Харроу, даже опекун лорд Карлейль, на которого у Байрона было немало причин обижаться. Мало того, что Карлейль ответил на его посвящение «Часов досуга» холодным, банальным письмом, но он, кроме того, уклонился от самой простой услуги, о кото-

* Увы, Постумий! Постумий! Бегут быстрые годы... (Ода Горация.)

рой попросил его питомец. Сделавшись совершеннолетним, Байрон должен был официально занять свое место в палате лордов; обычно на эту церемонию юного лорда сопровождал кто-нибудь из его родных или друзей. Байрон написал Карлейлю, на что тот ответил только письменными советами. 13 марта Байрон отправился один занять свое место в собрании.

Услужливый Даллас, страшно шокированный таким невниманием к молодому человеку столь высокого происхождения и с такими талантами, провожал его до парламента. Байрон и сам в этот день сильнее, чем когда-либо, почувствовал свое одиночество. Его высокое происхождение и его имя давали ему громадные привилегии. Англией в это время управляли отпрыски немногих знатных фамилий. Естественно, что юноша Байрон испытывал наивное чувство удовлетворения от сознания, что он лорд. Однако обстоятельства держали его на весьма почтительном расстоянии от этого приятного общества; у него был титул, но не было ни традиций, ни связей, ни состояния.

Его встретил в вестибюле служитель, который пошел доложить председателю палаты лордов о его приходе. Он прошел мимо шерстяного мешка, на котором председатель палаты, лорд Илдон, восседал, возглавляя собрание, и приблизился к столу, за которым Байрон должен был принести присягу. Когда краткая церемония окончилась, председатель палаты покинул свое седалище и подошел к Байрону с протянутой рукой. Байрон сухо поклонился, едва коснувшись кончиками пальцев руки председателя, который с оскорбленным видом вернулся на свое место. Байрон небрежно опустился на одну из пустых скамей оппозиции, потом через несколько секунд встал и вышел. Вернувшись к Далласу, он сказал:

— Если бы я крепко пожал ему руку, он подумал бы, что я в их лагере, а я не хочу иметь с ними никакого дела ни с какой стороны... Теперь могу отправиться путешествовать.

Две недели спустя была напечатана его сатира. Она имела большой успех. Хотя книжка вышла без подписи, всюду в

литературных кругах произносили имя лорда Байрона — кто с ненавистью, кто с восторгом, и все с удивлением. Реванш был взят, партия выиграна, больше ему нечего было делать в этой стране. Для отъезда недоставало только денег. У Байрона было двенадцать тысяч фунтов долга. У кого занять необходимые для путешествия четыре тысячи фунтов? Хэнсону было приказано достать их; в крайнем случае можно было продать одно из владений, но только не Ньюстед, а Рочдэл. «Будь, что будет, Ньюстед и я будем держаться или пропадем вместе. Я теперь жил в этом месте, мое сердце привязалось к нему, и никакая сила ни в настоящем, ни в будущем не заставит меня пустить с молотка этот последний корень нашего наследия. У меня хватит гордости перенести все затруднения. Мистер Хэнсон рассуждает об этом, как делец, а во мне говорит чувство чести, и я не продам Ньюстед».

Лучший выход был — жениться на богатой наследнице. Таково было мнение миссис Байрон, которая считала, что сын ее непременно погибнет, «если только угольные копи не превратятся в золотые россыпи или он не поправит свои дел обычным старинным способом, женившись на девушке с приданым в двести или триста тысяч фунтов... Нужно, чтобы он весной женился на богатой девушке, браки по любви — это ерунда. Пусть он, по крайней мере, употребит впрок свои таланты, которыми его наградил Бог». И сам Байрон: «Я понимаю, что все это кончится моей женитьбой на какой-нибудь золотой кукле или пулей в лоб; чем именно из двух — это не важно, средства, можно сказать, почти одинаковы». Вопрос разрешился совершенно неожиданно — займом у Скропа Дэвиса. Дэвис, остроумный, заикающийся Дэвис, продолжал играть в Лондоне так же, как играл когда-то в Кембридже, проигрывая и выигрывая громадные суммы. Нередко друзья, расставаясь с ним после полуночи, оставляли его пьяного в каком-нибудь игорном доме, а утром он каким-то чудом оказывался у себя. Однажды они застали его среди бела дня спящим, а возле его кровати стоял ночной горшок, доверху набитый тысячами фунтов, выигранными бог знает как, и

Скроп не помнил — где. В такое-то вот счастливое утро он смог одолжить Байрону сумму, необходимую для путешествия.

Перед отъездом Байрон хотел собрать в Ньюстеде тесный кружок своих кембриджских друзой, чьи остро отточенные умы помогли сложиться его сознанию. В мае 1809 года легкомысленный Мэтьюс и методичный Хобхауз приехали погостить в аббатство. Это были дни сумасшедшего веселья. Внешняя суровость этих мест, привидения, якобы разгуливавшие в замке, вносили своим контрастом в веселые затеи молодых людей своеобразный оттенок. При входе, по правую сторону лестницы, ведущей в холл, сидел на цепи медведь, налево — волкодав. Если кто-нибудь входил в дом, не извещая о своем приходе, и если даже гостю удавалось благополучно миновать медведя и собаку, он тут же попадал под обстрел веселой ватаги молодых стрелков, забавлявшихся стрельбой из пистолетов под сводами замка. Вставали поздно, завтрак дожидался на столе, пока не соберутся все. Потом занимались чтением, фехтованием, стрельбой из пистолетов, катались верхом, гребли по озеру, играли с медведем. Мэтьюс в парке, на одной из плит могилы «Ботсвайна, собаки», приписал эпитафию: «Хобхауза, свиньи». Обедали часов в семь-восемь. После обеда по рукам ходила круговая чаша — человеческий череп, наполненный вином. Это был череп какого-то монаха, скелет которого как-то нашел садовник, копая землю. Байрон заказал ювелирных дел мастеру в Ноттингеме сделать из черепа кубок, и тот вернул его тщательно отполированным и выделанным под черепаху. В честь этого кубка Байрон написал стихи:

Родившись, я смеялся и любил,
Как ты. И умер. Выйдем же из пыли;
Налей-ка, друг, не страшен мне твой пыл,
Ведь рты червей куда ужасней были.
Чем их кормить неистовых — живей,
Пусть пенный сок играет винограда!
Милее мне нести в главе моей
Богов напиток, а не мясо гада.

Для полноты декорации гости одевались монахами, и Байрон, настоятель Ньюстеда, или, как его называли друзья, настоятель Черепа, возглавлял собрание с крестом в руке. Винный погреб в Ньюстеде был недурен, а служанки не отказывали в удовольствии молодым людям. Байрон гордился своей коллекцией хорошеньких служанок, набранных из окрестных деревень. Он считал эти вольные традиции феодальными, идиллическими и к тому же лестными. Аббатство, по толкам местных поселян, превращалось в убежище нового Злого Лорда, и ньюстедские лошади забывали брачную дорогу в Эннсли.

Так прошел весь май. Было решено, что в июне Хобхауз с Байроном отправятся на Гибралтар, а оттуда — на Мальту и Восток. Байрон так и не повидался перед отъездом со своей сестрой Августой. Она в 1807 году вышла замуж за своего знаменитого кузена, полковника Ли, кавалера его высочества принца-регента, и поселилась в Сикс-Майл-Боттоме около Ньюмаркета. Год назад у нее родилась дочь, и Байрон написал ей:

«Благодарю вас за то, что вы меня произвели в дяди, и на этот раз прощаю вам ее пол, но следующий должен быть племянник... Я отряхнул с себя миссис Байрон, вот уже два года, и не намерен возвращаться под ее иго. Я не могу ни простить этой женщине, ни жить под одной крышей с ней. Я, в сущности, очень несчастный человек, потому что, мне кажется, от природы у меня не злое сердце, но его так давили, крутили и топтали, что теперь оно стало твердым, как подошва горца». Когда появилась его сатира, Августа встала на сторону лорда Карлейля, и Байрон не простил ей этого. Так порывалась еще одна связь.

Это сердце, «твердое, как подошва горца», было, однако, очень чувствительно. Байрон забирал с собой в путешествие портреты своих друзей. Фетишист, ревностный хранитель своего собственного сентиментального музея, он заказал эти портреты за свой счет лучшему портретисту того времени. Чтобы сделать из этого отъезда драматическое событие, которое было бы ему по душе, он хотел, чтобы друзья разделяли

его меланхолическое настроение. Но они были веселые малые. Охотно катались на его лошадях, пили его вино и ласкали его служанок, но отказывались проливать лицемерные слезы. Как когда-то в Харроу он упрекал в холодности Клэра, так теперь жаловался на весь свет. Даллас в эти последние дни заставал его в глубокой мизантропии; он испытывал отвращение к жизни, потому что его осыпали бранью в подлой печати, больше, чем когда-либо, боялся женщин и рассуждал о дружбе мрачным тоном какого-нибудь Тимона Афинского на пороге своей пещеры.

Последним его разочарованием перед отъездом было равнодушие лорда Делавэра. Тем не менее они обменялись портретами, где каждый был изображен со своими гербами. Но Делавэр оказался бездушным человеком.

— Вы только подумайте, — говорил Байрон Далласу, — я сейчас встретил Делавэра и предложил ему зайти ко мне на часок. Он извинился, сказав, что будто бы не может, и знаете, под каким предлогом? Просто невероятно! Он обещал своей матери и каким-то дамам поехать с ними в магазины! И знает, что я завтра уезжаю, что мы расстаемся на целые годы, что я, может быть, никогда не вернусь! Дружба! Не думаю, что, кроме вас и моих родных и, может быть, моей матери, найдется хоть один человек, которому было бы не совсем все равно, что со мной будет!

Этот случай произвел на него сильное впечатление. Всю жизнь помнил он эту обиду, которую нанес ему лорд Делавэр, покинувший его накануне отъезда ради того, чтобы пойти к модистке с женщинами. Да, действительно, Тимон Афинский прав. Пока ты даешь жрать этим собакам, у них человеческие рты, глаза и даже сердца. Но стоит им только пронюхать, что смерть, отъезд или разорение грозят товарищу их забав, «они бросают вас, нищего, на произвол судьбы». Делавэр, отправляясь к модистке, не подозревал, конечно, что этот банальный поступок сделает его предметом столь тягостных размышлений.

Мэтьюс поступил лучше. Накануне отъезда он устроил для Хобхауза и Байрона великолепный обед. Эти двое уже усво-

или по отношению друг к другу особый тон путешественников, шутливый, развязный, немножко искусственный. Байрон, уезжая, написал стансы Мэри Энн:

Все кончено. И с бурей смело
Шумит, надувшись, парус белый.
Свежеет ветер и летит,
Над мачтой гнущейся свистит.
Я ж убегаю и тоскую,
Затем, что лишь одну люблю я.

Было ли это настоящим чувством? Действительно ли он уезжал потому, что еще любил ее и не в силах был жить вблизи нее? Человек не так прост. Обедая с Мэтьюсом и Хобхаузом, смеясь, слушая неотразимое заикание Скропа Дэвиса, он вовсе не думал о миссис Мастерс. Но эннслинские дни остались самым острым из его печальных и прекрасных воспоминаний, из которых он черпал свои сладостные мечты.

XIII
ПЕРВОЕ СТРАНСТВОВАНИЕ ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА

26 июня 1809 года в маленьком порту Фалмусе двое друзей сели на судно капитана Кидда, направлявшееся в Лиссабон. Хобхауз, уже составлявший мысленно археологические заметки, вез с собой сотню перьев, два галлона чернил и несколько стоп писчей бумаги. Байрон снова представлял собою магнитный полюс для целого кортежа слуг. Старый Меррей должен был сопровождать его до Гибралтара. Вся действительная служба была возложена на Вильяма Флетчера, камердинера из Ньюстеда; он только что женился и ворчал, вспоминая свою жену Салли. Молодой паж, сын фермера, Роберт Раштон, которого все звали Боб (Байрон симпатизировал ему, «потому что он, как и я, кажется таким же одиноким животным без друзей»), и камердинер-немец, ре-

комендованный доктором Бутлером из Харроу, дополняли свиту.

Ходжсон получил послание в героико-комических стихах с описанием отъезда и Хобхауза, изрыгающего свой первый завтрак и первые путевые впечатления.

«Судьбе заблагорассудилось прийти на выручку несчастной публике — Хобхауз растянул связки на руке и не может писать, чернильный фонтан приостановился... Что до меня, то я покидаю Англию без сожаления, а возвращаться буду без удовольствия. Я подобно Адаму — первый, приговоренный к изгнанию, но у меня нет Евы, и я не отведал ни одного яблока, которое не было бы кислым».

Миссис Байрон тоже получила прощальное письмо: «Передо мной весь мир. Я покидаю Англию без сожаления и без малейшего желания увидеть вновь все, что в ней есть, исключая вас и вашу теперешнюю резиденцию. Искренне преданный вам...»

Он оставил ей медведя, волкодава и хорошеньких служанок.

Путешествие было нелегким. В Лиссабоне путешественники узрели Европу в огне войны. Французские войска Жюно уступили место английским под командованием генерала Крауфорда. Хобхауз, президент либерального клуба, был шокирован обычаями страны. Тираническое духовенство предписывало законы. В церквах были выставлены покойники с металлическими тарелочками на груди; их не хоронили до тех пор, пока не набиралось достаточно денег, чтобы уплатить священнику. Инквизиция не была отменена. Мужчин останавливали на улицах, забирали в солдаты. Байрон, менее сдержанный, чем Хобхауз, и не терпящий никакого насилия ни над собой, ни над другими, готов был проповедовать восстание, но его увлекал контраст между убогой жизнью людей и красотой португальского пейзажа. Ему нравились апельсиновые деревья, золотившие изумрудную глубь долин, монастыри, возвышающиеся на вершинах скал. «Я чувствую себя очень счастливым, люблю апельсины, разговариваю с монахами на кухонной латыни, которую они понимают, потому

что она похожа на их латынь, хожу повсюду с пистолетами в карманах, переплываю Тахо, езжу на осле или на муле и ругаюсь по-португальски; у меня понос, меня кусают москиты. Ну, что же? Когда люди отправляются путешествовать ради удовольствия, они не должны искать комфорта».

Из Лиссабона в Севилью они отправились лошадьми. Вдоль дороги то и дело попадались кресты. Каждый из них вызывал в памяти убийство. Им повстречался отряд, который вел в Севилью нескольких шпионов, чтобы там их повесить. В жизни этой страны, где смерть и любовь встречались на каждом шагу, было что-то звериное, непосредственное, что привлекало Байрона. Он написал матери, что остановился в доме прекрасных испанок, «которые, вообще говоря, очень милы, с такими большими черными глазами и прекрасно сложены. Старшая почтила вашего недостойного сына особым вниманием, поцеловав его на прощание с большой нежностью, а перед тем отрезала у него локон на память и подарила ему прядь своих волос, длиною около трех футов, которые я вам посылаю и прошу хранить до моего возвращения. Последние ее слова были: «Прощай, хорошенький мальчик, ты мне очень нравишься!» Она предложила жить в ее комнате, но моя добродетель заставила отказаться. Она засмеялась и сказала, что, наверно, у меня есть возлюбленная в Англии, и потом добавила, что она скоро выходит замуж за офицера испанской армии». Затем через Кадикс, «милый Кадикс, где столько прекрасных испанок», двое друзей направились на Гибралтар. Там пришлось расстаться со старым Мерреем и юным Раштоном, которых слишком утомило это путешествие. Байрон отправил их в Ньюстед к миссис Байрон: «Прошу вас позаботиться о Роберте, которому будет очень недоставать его хозяина — бедный мальчик, у него не было ни малейшего желания уезжать от меня».

На корабле с Гибралтара на Мальту Хобхауз быстро завоевал симпатии пассажиров; он был очень общителен, дружил со всеми и по вечерам после обеда рассказывал анекдоты (Байрон, слушая издали, замечал про себя, что это почти все-

гда анекдоты Скропа Дэвиса). Байрон, державшийся отчужденно, нравился меньше. Так как он почти ничего не ел, то выходил из-за стола раньше других. Держался в стороне, подолгу смотрел на море и, казалось, впитывал в себя мрачную поэзию скал. Как только смеркалось и на корабле зажигались огни, он садился на палубе, на груде сложенных парусов, и часами смотрел на игру лунного света в волнах. В этом бледном сиянии он напоминал матроса Кольриджа, убившего альбатроса. Путники, принимая его стремление к одиночеству за презрение, осуждали его. Они замечали его взгляды исподлобья, беспокойные и недоверчивые. Он держался неестественно, раздражался на Флетчера, чувствовал себя неловко и нервничал.

Если бы они могли угадать беспокойство, скрывавшееся за этим поведением, болезненную робость калеки, они бы пожалели его. Байрон искал прибежища среди безмолвного мира звезд и волн, потому что боялся людей. Глядя, как нос корабля, покачиваясь, разрезает воду, он думал, что каждая новая волна уносит его все дальше от несчастий. Он задумывался иногда над своей неудачной юностью, но уже с грустным спокойствием, словно думая о каком-то постороннем лице. Почему бы ему не написать поэму об этом путешествии? С детства накапливались в нем сильные чувства и, соединяясь в этой бурной душе, уподоблялись кипящей лаве. Он рисовал героя, которого назовет старинным фамильным именем, Чайльд Бурун, это будет Байрон — Байрон отчаявшийся, разочарованный, которого не знает Хобхауз и которого он все равно не понял бы... Корабль покачивался в лунном свете.

На третий день путешествия несколько пассажиров развлекались стрельбой из пистолета по бутылкам. Байрон тоже попробовал, его выстрел оказался самым удачным. Он почувствовал себя счастливым. Хобхауз, которому досталось от него за какую-то невинную шутку, рассказал своим новым друзьям с ласковой, но покровительственной снисходительностью, что с Байроном надо обращаться как с ребенком.

На Мальте Байрон начал брать уроки арабского языка у монаха и уроки платонической любви у миссис Спенсер Смит.

Она пережила ряд романтических приключений, была арестована солдатами Наполеона, затем освобождена неким благородным итальянцем, проявившим к ней рыцарское уважение, «в ней есть что-то от Сильфиды». Ее прелестные близорукие глаза смотрели на мужчин с неуверенностью и тревогой, повергая их в смущение. Байрон был очарован, но его свежеиспеченная философия любви не позволяла поддаваться слабости. Из чувства наивной обиды против любви ему хотелось быть неуязвимым.

> И удивясь, красотка рассмотрела,
> Что тот, кто, говорят, о всех вздыхал,
> Огонь очей ее встречал так смело...

«Мраморное сердце» — таким он любил воображать себя теперь, вполне владеющим — стоит ему только захотеть — искусством соблазна, которое есть не что иное, как презрение к женщине и уверенность в самом себе. «Нежная флорентийка» получила от него большой желтый бриллиант, который он носил в кольце. Ее близорукие глаза некоторое время занимали воображение Байрона. Но он без труда оторвался от этой новой Калипсо.

Албания была в то время почти неизвестной страной. Дикие горы напоминали Байрону Шотландию, куда он ребенком ездил на каникулы. Мужчины носили короткие юбки, совсем как шотландские горцы, и плащи из козьей шкуры. Паша в Янине, славившийся своей храбростью и жестокостью, будучи уведомлен английским резидентом о прибытии знатного молодого англичанина, послал путешественникам приглашение. Байрона восхищала пышность Востока — албанцы в расшитых камзолах, татары в высоких шапках, чернокожие рабы, лошади, барабаны, муэдзины, выкликающие с минаретов мечетей: «Нет бога, кроме бога». Грозный Али-паша оказался маленьким семидесятилетним старичком с белой бородой, с учтивыми и полными достоинства манерами. Но всем было известно, что он, не моргнув, поджарит врага на вертеле или утопит в озере дюжину женщин, кото-

рые чем-нибудь не угодят его невестке. Он спросил Байрона, почему тот в таком юном возрасте покинул родину, и добавил, что сразу узнал в нем человека благородного происхождения по его маленьким ушам, вьющимся волосам и белизне рук. Эта фраза так понравилась Байрону, что в течение нескольких месяцев он повторял ее в каждом письме. Али-паша, истинный Зелуко, надолго остался одним из героев Байрона. Любовь к власти, презрение к моральным и общественным условностям, тайна, которой он любил себя окружать, весь облик Али вызывал в Байроне живые симпатии. Бандит, корсар, атаман разбойничьей шайки — люди этой отверженной среды привлекали Байрона, находя отклик в его чувстве протеста против лицемерия и в его преклонении перед храбростью. Симпатия была обоюдной. Паша прислал англичанам проводников и вооруженный эскорт для обратного пути.

Путешествовать по дикой стране под охраной вооруженных дикарей — предприятие опасное, но заманчивое. Байрон с детства считал себя созданным для военной жизни, ничего не боялся. Он любил албанцев, они казались ему простыми, верными людьми. Среди них в Янине он начал писать своего Чайльд Буруна, после первой песни превратившегося в Чайльд Гарольда. Он писал его спенсеровой строфой в девять строк, что, по его мнению, соответствовало живости повествования. Хобхауз, в свою очередь, делал заметки для рассказов.

Из Албании они намеревались отправиться в Грецию морем, но невежество моряков и буря помешали им. «Из-за невежества капитана и команды я чуть не погиб на турецком военном судне, хотя буря была небольшая. Флетчер вопил и призывал свою жену. Греки призывали всех святых, а мусульмане — аллаха. Капитан в слезах бросился к трюму, крича нам, чтобы мы молились Богу». Паруса разорвались в клочья. Невозможно было управлять судном, и Флетчер твердил не без основания, что «все мы останемся здесь в сырой могиле». Байрон, не имея возможности помогать матросам из-за своей хромоты и устав от тщетных усилий утешить Флетчера,

завернулся в свой албанский плащ, улегся на палубе и, несмотря на опасность, уснул. Когда он проснулся, буря утихла, и судно пристало к берегу, где их встретили сулиоты. Это были горцы, непримиримое горное племя, сумевшее сохранить свою независимость. Они радушно приняли пострадавших путешественников, высушили их одежды, накормили и устроили в их честь пляску вокруг костра, потом пели хором песни со следующим замечательным припевом: «Все мы бандиты в Парге». Когда Байрон предложил вождю несколько цехинов, тот ответил: «Я хочу вашей дружбы, а не денег». Эти слова понравились Байрону. Его восхищали эти люди с сильными страстями, умевшие любить и убивать. Презрение к религиям росло. В течение последних месяцев он встречал католиков, протестантов, мусульман, православных и в каждом видел звериную природу человека. «Мне очень нравятся албанцы, они не все магометане, среди них есть племена христианского вероисповедания. Но религия мало что меняет в их поведении и нравах». В своих письмах Байрон очень любил описывать беднягу Вильяма Флетчера из Ньюстеда, прятавшегося под зонтом от дождя в горах Албании, и сравнивать его со своими новыми слугами-туземцами, невозмутимыми и великолепными. «Флетчер, как все англичане, недоволен турками, хотя несколько и примирился с ними после того, как визирь подарил ему восемьдесят пиастров. Он не жалуется ни на что, кроме холода, жары и грязи; но ему не хватает смелости, и он боится разбойников и бурь...»

После того как море отвергло их, они решили направиться в Грецию сушей. Это была чудесная горная прогулка верхом. Вечерами сопровождавшие их сулиоты пели песни, которые Байрон с помощью переводчика перелагал в стихи. Наконец спустились в равнину и остановились в маленьком городке Миссолунги на берегу обширной лагуны. Они были в Греции.

Байрон был растроган. С детства поэты и историки научили его любить эту страну. И теперь он не был разочарован. Глазам, привыкшим к суровому климату севера, к пей-

зажам, окутанным туманом, к непрерывно бегущим облакам, небо цвета индиго, прозрачный воздух, скалистые горы, чуть тронутые охрой и шафраном, являли картину света и счастья. Он пересек залив Лепанта, сначала до Патраса, белого укрепленного городка, потом еще раз в другом направлении, чтобы пристать к подножию Парнаса. Каждое слово проводника будило воспоминания. Здесь обитали Мелеагр и Аталанта, там — вепрь Ариманта. Снеговая вершина, выступавшая вдалеке, была вершиной Геликона, и так трогательно было лежать на земле у грота Пифии. В Дельфах Хобхауз и Байрон вырезали свои имена на колоннах храма. Огромные птицы кружились над ними. Байрон решил, что это орлы. Хобхауз сказал — сарычи. Но даже и Хобхауз казался взволнованным, когда они стали приближаться к Афинам. Волнующие ассоциации, казалось, увеличивали природное обаяние этих мест. Мужество, любовь к свободе, поклонение красоте, красноречие — лучшие человеческие чувства родились на этой сухой и чистой земле.

Наконец 24 декабря 1809 года после долгой поездки верхом между сосен и оливковых деревьев один из проводников вскричал:

— Господин, господин, деревня!

Это были Афины. Далеко в долине у подножия высокой скалы виднелся городок, а вдали за городом — море.

Проводник был прав: Афины в то время представляли собой большую деревню. Турки, занявшие город, вели себя как победители, а не как правители, и предоставляли город собственной судьбе. В главном кафе около базара турецкие аги, сидя на корточках, посмеиваясь, курили наргиле. Турецкий гарнизон расположился в Акрополе. Байрон и Хобхауз посетили оттоманского правителя и поднесли ему в подарок чай и сахар. Этот изголодавшийся паша, которому из ста пятидесяти пиастров приходилось еще платить своим людям, принял их очень хорошо. Он повел их осматривать белые развалины храма.

— Ах, милорд, — воскликнул Флетчер, — какие прекрасные камины вышли бы из всего этого мрамора!

Байрон был более взволнован воспоминаниями о Перикле, чем красотой Парфенона.

— Нет, в самом деле, это очень величественно, — сказал Хобхауз.

— Весьма напоминает Mansion House*, — сухо ответил Байрон.

Он был потрясен минувшим величием этих мест и их теперешним убожеством. Не Ньюстед ли привил ему эту любовь к разрушенным дворцам и империям? Не видел ли он в них тайного символа своей собственной судьбы? Нет, это было гораздо сложнее. Его мужество, неудовлетворенность, стремление к скитальческой жизни изобличали в нем человека, рожденного действовать. Он это знал. С восхищением и завистью следил он за Наполеоном, шествовавшим, подобно метеору; но увечье обрекало Байрона на иное существование, и он постигал одновременно и величие и бессилие человеческих действий. Как когда-то в Харроу, он любил сидеть на кладбище среди могил, так теперь ему нравилось бродить среди разрушенных колонн, необъятного кладбища, протянувшегося среди кипарисов и сосен, от Гибралтара до Геллеспонта.

Если рабство народов Португалии возмущало его, то здесь, в отчизне Мильтиада и Фемистокла, оно приводило его в негодование. Рукопись «Чайльд Гарольда» заполнялась призывами к восстанию.

Печальная страна исчезнувших величий,
В падении — бессмертна, велика.
О, кто ж детей твоих разбудит кличем,
От рабства кто освободит тебя?
Твои сыны теперь иными стали.
С судьбой не споря, безнадежный бой
У Фермопил когда-то ожидали.
Где ж ныне доблесть та, где ж тот герой,
С кем встанешь ты из тени гробовой?**

* Резиденция лорда-мэра в Лондоне.

** Чайльд Гарольд, песнь II, строфа LXXIII.

— Что я могу сделать? — ответил ему однажды молодой афинянин, когда Байрон упрекал его в рабском подчинении.

— Раб, — вскричал Байрон, — ты недостоин носить имя грека! Что ты можешь сделать? Отомстить за себя!

Он, Байрон, сделал бы это. Crede Biron.

Хобхауз и Байрон сняли комнаты в двух соседних домах. Байрон — у вдовы английского вице-консула г-жи Теодоры Макри. Крытый балкон выходил во внутренний двор, где росло лимонное дерево и играли три молоденькие девушки. Байрон не мог упустить случая влюбиться.

«Я чуть не забыл написать вам, что я безумно влюблен в трех юных афинянок, в трех сестер. Я живу в том же доме, что и они. Имена этих богинь — Тереза, Марианна и Катинка — ни одной из них нет еще и пятнадцати лет».

Старшей, Терезе, он посвятил стихи:

Дочь Афин, иду! Прощай!
Сердце, сердце мне отдай —
Но его уж нет в груди,
Ну, так все себе возьми,
Вот признание мое:
Ζωή μοῦ, σᾶς ἀγαπῶ*

Правду сказать, влюблен в Терезу был скорее Гарольд, чем Байрон. Тем не менее, следуя восточному обычаю, в который его посвятили, он ради нее разодрал себе грудь острием кинжала, что она приняла с невозмутимым спокойствием, как должную дань своей красоте.

Французский консул Фовель сопровождал Байрона и Хобхауза в их путешествиях по Аттике. Через оливковые рощи и луга златоцветов они ездили на мыс Сунион. Сквозь белые колонны храма виднелось «фиолетовое море». На одной из этих колонн вечный школьник Байрон написал свое имя. Потом, усевшись на мраморных ступенях, он наслаждался тишиной этого пустынного мыса, где был один с волнами. Он чувствовал себя очень счастливым. Эта вечная весна, это

* Жизнь моя, люблю тебя *(греч.)*.

безоблачное небо казались ему божественными. Он полюбил греков. «Говорят, они неблагодарны, но кто же когда-нибудь оказал хоть малейшую услугу греческому народу? Должны ли они быть благодарны туркам, которые их угнетают, англичанам, которые обирают их, вывозя из Акрополя бессмертные произведения искусства, французам, которые предлагают советы, но отнюдь не помощь?» Байрон пришел в ярость, будучи однажды свидетелем, как агенты лорда Илгина бесцеремонно уродовали триглифы Парфенона. Даже турецкий правитель заплакал, когда при нем разбили один из фронтонов. Но при всей любви к грекам Байрон поддерживал дружеские отношения с турками. Префект города из крайней предупредительности приказал дать в присутствии Флетчера пятьдесят ударов палками какому-то гражданину, оскорбившему англичан. «Каково бы ни было мое мнение о деспотизме в Англии, за границей он имеет свои преимущества», — заметил удовлетворенно Хобхауз.

Путешественнику трудно остановиться. Английское судно «Пилад» отходило в Смирну. Они отправились с ним. Волны Улиссова моря, багряные, с опаловыми гребнями, несли их мимо островов. В Смирне Байрон окончил вторую песнь поэмы. Хобхауз отозвался о ней не очень одобрительно:

— Преувеличенные чувства, декламация, — сказал он.

Он предпочитал Попа. Сам Байрон, поклонник поэзии XVIII века, был несколько удивлен непосредственным выражением своих эмоций. Он сунул рукопись на дно чемодана и стал думать о другом способе завоевать славу.

Фрегат, увозивший их из Смирны в Константинополь, пристал к острову Тенедос. Оттуда видны были Дарданеллы, узкий пролив, разделявший два континента. Море, как узкая река, неслось между высокими голыми берегами. Вот этот Геллеспонт, который переплывал Леандр, чтобы увидеть свою возлюбленную. Байрон решил уподобиться ему. Он пробовал два раза. Первый раз неудачно, второй — 3 мая — успешно. Он плыл от Европы к Азии и находился в воде полтора

часа. Его спутник, мистер Экенхэд, обогнал его на пять минут. Оба пловца не чувствовали усталости, но немного продрогли. Байрон был невероятно горд собой. Он писал матери, Ходжсону, всем на свете, что он переплыл Геллеспонт, и этот подвиг, наравне с жалобами Флетчера и рассказом о том, что Али-паша оценил его маленькие уши, стал излюбленной темой его писем.

«Начну с того, — ибо я писал вам об этом только два раза, — что я переплыл из Абидоса в Сестос. Я повторяю это для того, чтобы вы прониклись должным уважением к герою этого подвига, так как этой славой я горжусь больше, чем какой-либо другой, политической, поэтической или ораторской».

Во время пребывания на Тенедосе Байрон видел Трояду. Гора Иды, напоминавшая ему холм Харроу, возвышалась над долиной Трои. Ничего не сохранилось от города, кроме могил победителей, высоких холмов. Байрон, верный своему поклонению перед все завершающим небытием и мирным сном героев, погрузился в мечты над могилой Ахилла. Потом фрегат, распустив паруса, взял курс на Константинополь и 13 мая 1810 года бросил якорь между Сералем и Семью Башнями. В Стамбуле Байрон пленился ландшафтом — берега Европы и Азии, унизанные дворцами, сверкающий купол собора Св. Софии, Принцевы острова, такие приветливые издалека. Собор Св. Софии показался ему куда хуже собора Св. Павла в Лондоне. «Я рассуждаю, как кокни», — сказал он. Это была правда. «Хобхауз тоже нашел, что восточные базары — это довольно мизерные сооружения для человека, который знает лондонские магазины». Но приятно было, надев ярко-красный мундир и шляпу с плюмажем, прогуливаться среди гробниц султанов, в сопровождении янычар, которых Байрон нанял себе в свиту. Посол Роберт Эдер и его секретарь Каннинг принимали путешественников как знатных гостей. Их представили султану-паше. Во время церемониального визита во дворец между Байроном и Каннингом вышел спор из-за этикета. Так как Каннинг не пожелал идти позади Байрона, Байрон покинул кортеж. Он думал три дня, потом

написал весьма благородное письмо, признавая себя виновным.

Он поднимался вверх по Босфору и сидел на голубых утесах Симплегад, которые стерегут вход в пролив и, по преданиям древности, сдвигаются, когда входит корабль, чтобы раздавить его. Он ничего не делал целыми днями, курил, ездил верхом и купался в пресных водах Азии, чувствовал себя счастливым. Только Флетчер раздражал его: «Его постоянные жалобы и требования бифштексов и пива, его идиотское слепое презрение ко всему чужеземному, его совершенная неспособность запомнить хотя бы несколько слов на каком-нибудь языке, — все это делает его, как, впрочем, и всякого английского слугу, настоящей обузой. Уверяю вас, что это скучная обязанность — объясняться за него: то ему требуются удобства (гораздо больше, чем мне), то он не может есть плов, то ему не нравится вино, то кровати не хороши, и этот бесконечный список жалоб, вроде того, что лошади заупрямились или чаю не хватило!!! — все это, может быть, и очень смешно для постороннего зрителя, но для его хозяина сплошное несчастье».

Наконец 24 июля 1810 года Байрон и Хобхауз покинули Константинополь. Хобхауз возвращался в Англию. Байрон хотел еще раз заехать в Афины. В течение целого года они добродушно подсмеивались друг над другом, но это совместное путешествие было суровым испытанием для их дружбы, и передышка была желательна.

Байрон — матери:

«Я очень рад, что снова наконец остаюсь один, я устал от моего спутника, — не потому, что он хуже, чем кто-либо другой, но потому, что я по природе склонен к одиночеству, и с каждым днем эта склонность становится все сильнее».

Расставание было трогательно-патетическим. Хобхауз описал его в своем дневнике: «Простился сегодня не без слез с этим странным молодым человеком; на каменной террасе у выхода из бухты мы поделили с ним маленький букетик цветов,

последнее, может быть, что я разделяю с ним...» Письмо, которое Хобхауз написал Байрону после того, как они расстались, оканчивалось следующим постскриптумом:

«Я хранил половину вашего букетика, пока он совсем не завял, и даже тогда я не мог решиться его бросить. Я не могу этого объяснить. Думаю, что и вы не можете». Он любил Байрона больше, чем сам в этом признавался. Во время путешествия он находил, что с ним трудно жить, что он сумасброден, подозрителен, но в то же время неотразим. Что же касается Чайльд Гарольда — сентиментальный в стихах, он отнюдь не был сентиментален в прозе.

«Ваше последнее письмо заканчивается патетическим постскриптумом по поводу букетика; советую вам включить его в ваш будущий роман. Я не подозревал в вас столь прекрасных чувств и полагаю, что вы изволили шутить, но я люблю шутки».

Во время своего вторичного пребывания в Афинах Байрон поселился в монастыре капуцинов. Местоположение было замечательное: прямо напротив возвышался Гимет, позади Акрополь, направо храм Юпитера и налево город. «Да, сэр, это вам уголок, это вот живописное зрелище! Ничего подобного в вашем Лондоне, сэр, куда там Меншенхауз!» В одной из стен монастыря в нише стоял памятник Лизикрату; здесь из маленького круглого храма монахи устроили библиотеку, она выходила в сад, где росли апельсиновые деревья. Жизнь в этом монастыре не отличалась святостью. Кроме Padre Abbate*, здесь помещалась scuola**, в которой было шесть ragazzi***, подростков; трое из них были католики и трое православные. Байрон устраивал боксерские состязания между католиками и православными, и отец-настоятель радовался, когда побеждали католики. Жизнь здесь напоминала жизнь в колледже, веселую, шумную, распущенную, и Байрон, который всегда

* Отец-настоятель *(ит.)*.
** Школа *(ит.)*.
*** Мальчишки *(ит.)*.

с грустью вспоминал своих товарищей по Харроу, окунулся в эту жизнь с детской радостью. Он тотчас же проникся покровительственной любовью к юному Николо Жиро, новому Эдльстону, французскому протеже и греческому подданному, который говорил по-итальянски и учил этому языку Байрона. «Я его «padrone» и его «amico», и один бог знает, что еще. Часа два назад он объявил мне, что самое большое его желание — ездить за мной по всему свету, и тут же заключил, что мы не только должны жить вместе, но и умереть вместе...»

Целые дни стоял сплошной хохот. Утром Байрон просыпался под крики этих сорванцов: «Venite abasso»*, на что торжественный голос капуцина отвечал: «Bisogna bastonare»**. Интригам не было конца. Мамаша Терезы Макри снова появилась на сцене. «Она так глупа, что вообразила, что я женюсь на ее крошке; но у меня есть развлечения получше». Флетчер, женатый человек, который страдал от разлуки со своей Салли, завел себе возлюбленную, гречанку. Оба слуги-албанца и переводчик последовали его примеру. «Да здравствует любовь! — писал Байрон Хобхаузу. — Я болтаю со всеми хорошо или плохо и перевожу молитвы из катехизиса, но мои уроки прерываются всякими выходками; мы объедаемся фруктами, бросаемся кожурой, играем; в общем, я опять в школе и делаю так же мало успехов, теряя время даром, как и раньше». По вечерам у отца-настоятеля устраивались замечательные приемы турецких сановников. Фиванский муфти и афинский губернатор напивались, невзирая на Магомета, и аттический праздник отмечался на славу.

Разумеется, нужно было переплыть бухту Пирея. Мальчишка Николо плавал очень скверно. Однажды Байрон прыгал с мола, кто-то со стоявшего неподалеку парусника окликнул его по-английски. Это оказался маркиз Слиго, школьный товарищ Байрона по Харроу. Он приехал на своем бриге с леди Эстер Стэнхоп. Байрон обрадовался этой встрече; он

---

* Идите вниз *(ит.)*.

** Получите порку *(ит.)*.

совершил с ними несколько экскурсий, но в присутствии этих англичан чувствовал себя далеко не так непринужденно, как со своими маленькими итальянцами. Леди Эстер отзывалась о нем довольно строго: «У него порочный взгляд, очень близко поставленные глаза и сдвинутые брови... Странный характер: великодушен с умыслом, жаден с умыслом; как-то раз он был очень мрачен, и никто не смел с ним разговаривать; на следующий день он требовал, чтобы с ним шутили». Эту черту замечали в нем все, кто встречался. Замкнутый в самом себе, не обладая способностью представлять чувства других людей, он считал капризы своего настроения обязательными для всех и наивно возмущался, когда чужая веселость или грусть казались ему несвоевременными. В его собственных глазах Байрон, попыхивающий трубкой и пощипывающий свой ус, где-нибудь между Гиметом и Акрополем, был вполне естественным явлением, вроде как скала среди гор; ему нравились наивные люди, взиравшие на эту довольно-таки крутую скалу с восторгом и удивлением.

Стоило ему только встретиться с англичанами, как все его непрочное счастье грозило рассыпаться. Их присутствие переносило его в общество, которое внушало отчетливый ужас и безотчетное уважение. Когда он был не наедине, с детьми или со своими слугами, его преследовала мысль о том, что о нем могут подумать. Он считал себя сумасбродом и маньяком. У него были детские суеверия, странные привычки, например, класть всегда заряженный пистолет в изголовье кровати. Его повышенная чувствительность толкала на поступки, которые он хотел бы скрыть от всех. Даже Хобхауз стеснял его, и если Флетчер часто раздражал своего хозяина, это было в значительной степени потому, что этот Санчо из Ньюстеда в этой шальной жизни в Афинах, среди апельсиновых деревьев, послушников и турок, оставался хоть и смешным, но опасным стражем Британских Условностей.

Во время этого пребывания в Афинах Байрон несколько раз ездил на Морею, посетил Триполис и всегда останавливался в Патрасе, где английский консул, мистер Странэ, был его банкиром. Он всякий раз любовался портом, где суда с

разрисованными бортами, похожие на флот Агамемнона, стояли, распустив паруса, у подножия белого города.

Но это было нездоровое место. Как только из Миссолунги поднимался ветер, особенно в то время, когда бывали москиты, свирепствовала малярия. Байрон, которого лечили как попало, чуть не умер. Что может сделать несчастный больной против доктора-убийцы? Молодость, природа и Юпитер боролись за Байрона, доктор Романелли — против. Флетчер совсем потерял голову. К счастью, слуги-албанцы взялись ухаживать за Байроном сами и пригрозили доктору, что прикончат его, если их хозяин умрет. Угроза ли помогла, а может быть, Юпитер или молодость? Но наконец Байрон поправился. Он мог убедиться во время этой болезни, как мало он привязан к жизни. Два месяца путешествия по морю отделяли его от родины, и он лежал здесь один, дрожа от озноба в лихорадке. «Я ждал смерти, как избавления от боли, без малейшего желания будущей жизни, но с твердой уверенностью, что Бог, который посылает наказание в этой жизни, оставляет это последнее убежище усталым душам». Он прибавил по-гречески: «Тот, кого любят боги, умирает молодым».

Он вернулся в монастырь капуцинов бледный и разбитый. Режим, которому он себя подвергал, чтобы сохранить свою худобу и красоту, не мог укрепить его здоровье. Турецкая баня три раза в неделю, вода с уксусом в качестве питья, из твердой пищи один только рис. Жизнь в течение всей зимы шла примерно так же, как и до его болезни. Работал мало, написал две сатиры, одну в стиле Попа, перифраз из Горация; в другой — «Проклятье Минервы» — он яростно нападал на лорда Илгина. Однажды он обратился к одному из капуцинов, отцу Павлу д'Иврэ, с просьбой разрешить ему пожить в келье. Может быть, монашеская жизнь поможет ему освободиться от мрачных мыслей и скуки. Он сказал, что верующий. Попросил отца-монаха дать ему распятие и со слезами поцеловал его. Религия для него, как и все на свете, должна была прежде всего быть сильным ощущением.

Но Хэнсон денег не присылал и требовал присутствия своего клиента для защиты Ньюстеда и Рочдэла, которые нахо-

дились под угрозой со стороны кредиторов и ревнителей закона. Увы! Нужно было возвращаться. Флетчер был послан на разведку с багажом и с письмом к миссис Байрон:

«Поручаю вашим заботам мои книги и несколько шкатулок с бумагами. Прошу вас оставить мне несколько бутылок шампанского, так как я умираю от жажды... Полагаю, что у вас полон дом идиотских женщин, занимающихся сплетнями и скандалами...»

Флетчеру путешествия принесли пользу; он сделался менее островитянином. «После того как он пекся, жарился, варился, был снедаем всякими ползучими тварями, он начал философствовать; стал утонченным и в то же время безропотным субъектом и обещает по возвращении стать украшением своего прихода, а в будущем весьма заметным персонажем в семейной хронике Флетчеров».

Спустя несколько недель после отъезда камердинера и сам хозяин отправился на фрегате в путь. Николо Жиро провожал его до Мальты. Байрон вез с собой двух новых слуг-греков. Один из албанцев, которых ему пришлось рассчитать, выбежал из его комнаты в слезах. «Когда я вспоминаю, как незадолго до моего отъезда из Англии один из моих самых близких и благородных друзей извинился, что не может прийти проститься со мной, потому что ему нужно проводить родственницу к модистке, я, сравнивая настоящее с прошедшим, испытываю и стыд и удивление».

Из Мальты переезд длился тридцать четыре дня. Байрон был один, у него не было интересных спутников, но он наслаждался этим одиночеством. В общем, он не мог пожаловаться на свое путешествие: чуть не попал в кораблекрушение на турецком судне; влюбился в замужнюю женщину на Мальте, был в гостях у паши, любил трех гречанок в Афинах, переплыл Дарданеллы, написал некоторое количество стихов и выучился итальянскому языку у маленького монашка. Он видел прекрасные пейзажи, в памяти его воскресли героические образы, и он на шесть месяцев окунулся в детство. Беседовал с французами, итальянцами, греками, турками, американцами и мог судить об их образе мыслей и нравах.

Просиди он целый век с трубкой в лондонских клубах или зевая где-нибудь в усадьбе, никогда бы не завязал столько интересных и полезных знакомств.

Интересно, следя за ходом чьей-нибудь жизни, наблюдать последовательные напластования, которые, закрепляясь временем, определяют характер. На первоначальный родовой слой — бешеный нрав Гордонов, чувственный темперамент Байронов — отложился новый слой: физический недостаток Байрона, внушавший ему ненависть ко всему миру, и красота, дававшая возможность отмщения. Поверх ограниченной и мрачной религии, усвоенной от первых шотландских наставников, наслоился, не уничтожив ее, вольтерьянский деизм кембриджских студентов, поверх наивного сентиментализма юноши — крепкий юмор. Представление о мире, из которого складывался теперь его внутренний пейзаж, было просто. Земной шар создан с неизвестной нам целью Богом, которому, по-видимому, нет дела до наших страданий. Люди, увлекаемые своими страстями или роком, гонятся за приятными ощущениями, что разумно, или за славой, что безрассудно. Царства, империи поднимаются и падают, как волны. Все суета, кроме наслаждения.

Путешествие на Восток подтверждало для него справедливость этой доктрины. Повсюду, где Байрон ни проезжал, он видел, что жизнь сурова, пороки всем присущи, а смерть невзыскательна и всегда наготове. Фатализм мусульман укрепил его фатализм. Ему нравилось их отношение к женщинам. Бесконечное множество религий убедило его в их слабости. Он вывез с собой сомнения, которые казались ему несокрушимыми. В этом длительном одиночестве он познал несколько истин о самом себе. Узнал, что может быть счастлив, только существуя вне закона. Он полюбил эти страны, где ему ни до кого не было дела, так же как и никому до него. Расстояние научило его презрению. Можно ли было волноваться из-за ругательной статьи какого-нибудь педанта, когда вас отделяет от него Средиземное море и Атлантический океан, когда гроза гиперборейской прессы заглушается ревом Геллеспонта? Теперь, как только его дела в Англии пой-

дут плохо, он должен знать, что в пятнадцати днях езды по морю есть белые острова, под вечно голубым небом.

Стоя на палубе фрегата, Байрон смотрел, как поднимаются и падают волны. Кто ждет его в конце этого долгого пути? Мать? У него не было намерения оставаться с ней надолго.

«Будьте добры, позаботьтесь приготовить мои комнаты в Ньюстеде. Но смотрите на меня только как на гостя. Считаю необходимым уведомить вас, что я давно вегетарианец, не ем ни мяса, ни рыбы. Надеюсь, что вы позаботитесь о необходимом запасе картофеля, овощей и бисквитов. Вина я не пью. Со мною двое слуг, пожилых греков... Я думаю, что гости не будут отравлять моего существования; если кто-нибудь приедет, принимать будете вы, так как я не хочу, чтобы кто-нибудь нарушал мое уединение. Вы знаете, я никогда не любил общества, а теперь — менее, чем когда-либо».

Единственным его хозяйским намерением было разделить ферму некоего Б., чтобы дать Флетчеру небольшое поместье.

«Я ограничусь (как Бонапарт) разделом королевства мистера Б. и выделю из него княжество для маршала Флетчера. Я надеюсь, что вы осторожной рукой управляете моей маленькой империей и ее злополучным национальным долгом».

Кроме нее, кого же он еще увидит? Хобхауза? Он ничего не знал о Хобхаузе. Носились слухи, что он облачился в чудовищный наряд солдата. Ходжсона? Ну да, разумеется, но Ходжсон стал ханжой. Августу? Он почти забыл ее. Какого черта будет он делать в этой стране? Собирать подати с фермеров Ньюстеда, продавать уголь в Рочдэле, платить долги в Лондоне? Кого же он увидит? А! Далласа, торжественного и почтительного Далласа! За несколько дней до приезда он написал Далласу:

«После двухлетнего отсутствия я вновь на пути в Англию. Я видел все, что есть замечательного в Турции, Трою, Грецию, Константинополь и Албанию. Не думаю, чтобы я совершил что-нибудь, что отличило бы меня от других путешественников, разве только прогулка вплавь из Сестоса в Абидос, подвиг, весьма достойный для человека нашего времени».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Он родился с нежным и любящим сердцем, но его чрезмерная экспансивность и чувствительность навлекали на него насмешки его сверстников. Он был горд и честолюбив, он, как ребенок, считался с чужим мнением. Поэтому он приучил себя тщательно скрывать все, что могли бы счесть, по его мнению, за позорную слабость. Он достиг своей цели, но ему дорого обошлась его победа. Он мог скрывать от всех движения своего слишком чувствительного сердца, но они становились мучительнее во сто крат от того, что он прятал их в себе.

Мериме

Великая суть жизни — это ощущение. Чувствовать, что мы существуем хотя бы в страдании. Ведь только эта «мучительная пустота» влечет нас к игре, к битве, к путешествиям, к необузданному, но остро ощутимому преследованию той или иной цели, вся радость которой в волнении, связанном с ее достижением.

Байрон

XIV
ТИМОН НЬЮСТЕДСКИЙ

Романтика одолела?
Нет, скука.

Хемингуэй

Он остановился в «Реддиш-отеле» на Сент-Джемс-стрит. Он привез шаль и розовую эссенцию в подарок матери, мрамор Хобхаузу, а для себя склянку аттической цикуты, четыре афинских черепа и живых черепах. Даллас, поджидавший его уже несколько дней, явился немедленно. Байрон казался в хорошем настроении и оживленно рассказывал о своих путешествиях. Даллас спросил, не привез ли он рассказов. «Нет» — да он и не собирается писать рассказы. Его область — сатира. И кое-что новенькое у него есть. Перифраз горациевой Ars Poetica. Он находил ее удачной. Отдал рукопись Далласу и попросил его зайти на другой день.

Даллас провел целый день за чтением этих подражаний Горацию. Он любил юного Байрона, и ему очень хотелось найти достоинства в этом произведении, но какое разочарование! И это все, что дали два года странствований и приключений? Холодные имитации, тяжеловесные сатиры, ни малейшей новизны формы. На следующий день он явился в «Реддиш-отель» смущенный, пробормотал несколько не-

внятных комплиментов и спросил, не написал ли Байрон чего-нибудь еще? Ну да, он написал несколько мелких стихотворений и изрядное количество строф поэмы о своих странствованиях. Это не стоит и читать. Но если Далласу интересно, он готов подарить ему. И он вытащил из чемодана пачку исписанных листов. Далласу пришлось пообещать, что постарается как можно скорей напечатать перифраз. И он ушел, унося под мышкой «Странствования Чайльд Гарольда».

Жил юноша когда-то в Альбионе
И в добродетель не был он влюблен.
Проходит день в неистовой погоне
За счастьем; ночи слух тревогой поражен...
...Он звался Чайльд Гарольд — откуда имя?
Кто предки были? Я вам не скажу,
Но имя не терялось меж иными
И славным уходило в старину...
...И мрачное узнал он ощущенье,
И третью жизни не отягощен,
Он ей пресытился до отвращенья
И родину возненавидел он...
...Греха прошел он лабиринт таимый,
Не размышляя над судьбой страстей,
Средь многих жен одна была любимой —
И эту он не мог назвать своей...

Байрон, наконец-то сам Байрон выступил в этих стихах, о которых он отзывался так пренебрежительно. Тут были его мать и сестра, и старинное аббатство, чьи мрачные своды «убежищем служили суеверию, а ныне — пафосских дев звучит веселый смех». Конечно, поэма была несколько беспорядочна, конечно, она была написана без плана, конечно, девы Пафоса — это молодые крестьянки, а лабиринт греха — балаган на деревенском празднике, но в этом приподнятом красноречии сквозило истинное чувство. Даллас узнавал здесь байроновскую мизантропию, его сладострастную скуку, мрачное наслаждение, с которым познавал бренность всего человеческого.

...Великая Афина!
О где ж твои великие мужи?..
Мелькнув, как некий сон, в тени старинной
В начале всех они за славой шли.
Нашли. Ушли. И это все — ужели?
Для школяра побасенка на час...

Даллас пришел в полный восторг и, не откладывая, шестнадцатого вечером написал Байрону, который в это время уехал в Харроу.

«Вы написали очаровательнейшую поэму, лучшее из всего того, что я когда-либо читал. Я в таком восторге от «Чайльд Гарольда», что не могу от него оторваться».

Но когда снова увиделся с Байроном, он был очень удивлен тоном совершенно искреннего пренебрежения, с которым Байрон отзывался о поэме: «Это все, что угодно, только не поэзия». Он показывал эту поэму заслуживающему доверия критику, и отзыв был отрицательный. Разве Даллас не видел пометок на полях? Что действительно важно, так это поскорее найти издателя для подражаний Горацию. Даллас продолжал настаивать на своем: «Вы мне подарили «Чайльд Гарольда», я нисколько не сомневаюсь в том, что это прекрасная вещь, и его напечатаю».

Байрон написал матери, что его задерживает в Лондоне Хэнсон для подписи всяких бумаг и что он приедет к ней, как только освободится. Довольно холодное письмо для сына, вернувшегося после двухлетнего отсутствия. Оно начиналось словами «Дорогая миледи», но заключительная фраза звучала великодушно: «Вы должны считать Ньюстед вашим домом, а не моим, меня же только гостем». Обрадовалась ли она его возвращению, одинокая матрона? У нее было много неприятностей за эти два года. Во время своего пребывания в Ньюстеде она из гордости старалась жить так, чтобы ничего не стоить своему сыну; на свой пенсион она могла содержать себя и служанку, на садовника уже не хватало. Она предложила Хэнсону уволить его. «Садоводство ничего не прибавляет к доходам лорда Байрона, так как в саду не выращивает-

ся ничего, что можно было бы продать». И она представила Хэнсону смету расходов:

Садовые расходы	156	фунтов
Сторож	39	»
Джо Меррей	50	»
Служанка	30	»
Волкодав	20	»
Медведь	20	»
Налоги	70	»
Итого...	385	фунтов

Но у нее не было 385 фунтов доходов. Что делать?

«Я сократила свои расходы, насколько могла. Вот уже почти год назад я спровадила служанку. Отдала двух собак из псарни фермерам, которые держат их даром: что же касается медведя, несчастное животное внезапно околело недели две назад».

Письмо, характерное для Кэтрин Гордон. Она увольняла служанку из экономии и берегла медведя до последнего дня.

С тех пор как Байрон уехал, ее преследовала мысль, что она его больше не увидит. Получив его письмо из Лондона, она сказала своей горничной: «Если я теперь умру до приезда Байрона, как это будет нелепо». На этой же неделе она заболела; началось с легкого недомогания, которое благодаря ее тучности и одному непредвиденному обстоятельству приняло дурной оборот. От обойщика принесли счет, который привел ее в бешеную ярость; у нее сделалось кровоизлияние в мозг, и она умерла, не приходя в сознание.

Байрон в это время в Лондоне препирался с Далласом и преследовал какого-то памфлетиста за оскорбление. Он собирался ехать в Ньюстед и Рочдэл, когда принесли известие о болезни матери. На следующий день, 1 августа, ему сообщили о ее смерти. Он всегда верил в роковые совпадения. Рок Байронов приготовил для его возвращения самую жестокую, самую невероятную катастрофу. Дорогой он написал Пиготу:

«Моя бедная мать скончалась вчера, и я еду проводить ее в фамильный склеп. Последние минуты, слава богу, были

спокойны. Мне сказали, что она не очень страдала и не сознавала своего положения. Я чувствую теперь справедливость замечания мистера Грэя: у каждого из нас бывает только одна мать. Да покоится она с миром».

Когда он приехал в аббатство, слуги рассказали ему, отчего случился удар. Ночью горничная, миссис Бай, услышав стоны и вздохи, вошла в комнату и застала Байрона около покойницы.

— Ах, миссис Бай, — сказал он, заливаясь слезами, — у меня был только один друг в мире, и я его потерял.

Постоянно, даже во время самых бурных ссор, сохраняли они ощущение прочной связи, связи их родственных натур. Она умерла, и смерть, превращая человеческое существо в объект грустных и поэтических размышлений, влекла к ней воспоминания Байрона. В этот вечер он написал Хобхаузу:

«Глядя на эту разлагающуюся массу, которая была когда-то существом, из которого я вышел, я спрашивал себя, действительно ли существую и действительно ли она перестала существовать. Я потерял ту, которая дала мне жизнь, и утратил многих из тех, что наполняли счастьем эту жизнь. У меня нет ни надежд, ни страха перед тем, что ждет меня по ту сторону могилы».

В день похорон он не пожелал примкнуть к похоронной процессии. Стоя на пороге дома, он смотрел, как удаляется к маленькой церкви Хакнолл-Торкард тело его матери, провожаемое фермерами; потом позвал юного Роберта Раштона, с которым обычно занимался боксом, и приказал подать перчатки. Только упорное молчание и ярость, с которой он наносил удары, изобличали его чувства.

Спустя два дня Байрон узнал, что Мэтьюс утонул в Кеме. Он запутался в водорослях и, тщетно пытаясь высвободиться, погиб в мучительной и страшной агонии. Сколько раз Байрон говорил ему:

— Вы скверно плаваете, Мэтьюс. Вы когда-нибудь утонете, если будете так высоко держать голову.

Какое возвращение! Мать, самый талантливый из друзей... Невидимый противник бил жестоко и быстро. «Удары сле-

дуют так быстро один за другим, что я оглушен. Словно какое-то проклятье нависло надо мной и моими близкими. Мать моя — уже только труп; один из моих лучших друзей утонул в яме... Что я могу говорить, думать или делать? Да упокоятся мертвые с миром! Жалость их не разбудит. Вздохнем об ушедших и вернемся к скучной рутине жизни с твердой уверенностью, что и нас тоже ждет отдых».

Один в своем огромном аббатстве, окруженный необычайными талисманами — череп монаха, черепа афинян, ошейник Ботсвайна, — он вспоминал веселые вечера, которые проводил в этой самой комнате с Хобхаузом и Мэтьюсом. Он написал Хобхаузу, чтобы тот приехал, они выпьют в память Мэтьюса.

«Ибо эти возлияния, если они даже не достигают мертвых, по крайней мере хоть утешают живых, а ведь только им смерть может причинить какое-нибудь зло».

В ожидании приезда Хобхауза или Ходжсона Байрон был один, один со своими собаками, ежами, черепахами и «прочими греками». Он зевал:

«В двадцать три года я одинок, что может быть еще нового в семьдесят? Правда, я еще достаточно молод, чтобы начать снова, но с кем же верну я назад приветливую пору жизни?».

Он снова полюбил мечтать, лежа на диване и жуя табак, — новая привычка: это заглушало голод. Он мог бы поехать в гости к соседям, но «я необщительное животное и буду чувствовать себя не в своей тарелке среди графинь и придворных дам, особенно теперь, когда я только что вернулся из дальних краев, где нет обычая сражаться из-за женщин, бегать за ними ради того, чтобы потанцевать, позволять им путаться (публично) с мужчинами; итак, приходится считаться с моей врожденной недоверчивостью и двухлетними странствованиями».

Нет, разумеется, он не станет теперь ухаживать за новой Мэри Чаворт. Он позаботился о «телесном комфорте». Рой пафосских дев рассыпался. Вернул тех, что покрасивей. Вновь населял свои владения. «Куропаток изобилие, зайцы очень хороши, фазаны несколько похуже, а девочки... Будучи верным другом дисциплины, я только что издал указ о запрещении чепчиков; запрещено под каким бы то ни было предло-

гом стричь волосы; корсеты допускаются, но не слишком низкие спереди... Луцинда возьмет под свою команду всех покрывальщиц и открывальщиц постелей». Как в плясках смерти у средневековых скульпторов, юные обнаженные тела в Ньюстеде красовались среди черепов и скелетов.

Работал он мало. Никаких новых стихов. Развлекался только тем, что снабжал прозаическими примечаниями «Чайльд Гарольда», которого ему прислали в корректуре. Верующий и святоша Даллас прислал ему свои возражения против некоторых строф «Чайльд Гарольда», где из рассуждений о бесконечном множестве религиозных верований выводилось заключение об общей их лживости:

«Если у людей слабых, развращенных, — писал Даллас, — религии могли сменяться одна за другой, если Юпитер, Магомет, одно заблуждение за другим могли овладеть воображением испорченных людей, это не доказывает того, что нет истинной религии... Если человеческий череп, превосходный объект моральных размышлений, изглодан червями и ни один мудрец, ни один святой или софист не может его восстановить, — из этого не следует, что могущество Господа Бога ограничено и что тело, брошенное на нетление, не может возродиться нетленным».

После сего бессмертие души было восстановлено Байроном, заняв место в ряду некоторых приятных гипотез.

Там и сям добавлялась строфа памяти друга; миссис Байрон, Уингфильду, Мэтьюсу были посвящены стансы, надгробное слово. К числу байроновских покойников прибавился Эдльстон, мальчик из кембриджского хора, подаривший ему сердоликовое сердечко; он умер в мае 1811 года. Ему так же, как и другим, была посвящена строфа; кроме того, стихотворение о разбитом сердце, послание Тирзе. В другое время Байрон, вероятно, долго оплакивал бы Эдльстона, но он теперь «почти утратил способность предаваться скорби и пресытился ужасами». Мог ли он, после стольких доказательств, сомневаться во враждебности Рока? Он был теперь почти убежден, что всякое существо, к которому он привяжется, будет обречено на гибель его любовью.

После приезда он снова обменялся несколькими письмами со своей сводной сестрой Августой. Он не виделся с ней, но знал, что она несчастлива. Полковник Ли, за которого она так стремилась выйти замуж, оказался повесой и игроком; десять месяцев в году он отсутствовал и появлялся только затем, чтобы поиграть на бегах в Ньюмаркете и сделать нового ребенка своей жене. «Я теряю родных, — писал Байрон сестре, — а вы увеличиваете число своих; что из двух лучше — один бог знает...» Тон их переписки изменился. Байрон уже не был юным братом, который нуждается в поддержке. Хотя Августе было уже двадцать семь лет, он чувствовал себя гораздо старше ее и относился к ней нежно, по-отечески. «Спокойной ночи, дитя», — заканчивал он свои письма. Она немножко побаивалась этого брата, незнакомого теперь и украшенного ореолом путешествия в далекие страны. «Я начала вам письмо, но потом разорвала его из страха показаться навязчивой». Но все же она писала длинные туманные послания, письма женщины, которую постоянно отрывают то крики детей, то жалобы прислуги, которой не заплатили жалованье; послания изобиловали многоточиями, восклицательными знаками, подчеркнутыми словами и фразами. Она настойчиво советовала ему жениться.

«Я рада, что вы настолько преодолели свое предубеждение против прекрасного пола, что готовы жениться: но я желала бы, чтобы моя будущая золовка обладала и другими достоинствами, кроме капиталов, хотя это, конечно, тоже совершенно необходимо».

Он ответил:

«Что до леди Байрон, когда я найду такую, которая будет достаточно богата, чтобы мне подойти, и достаточно глупа, чтобы меня пожелать, я предоставлю ей возможность сделать меня несчастным, если она сумеет. Магнит, притягивающий меня, это деньги; что до женщин, одна стоит другой; чем старше, тем лучше, так как у нас, по крайней мере, будет надежда узреть скорее ее вознесение на небеса... Вы спрашиваете о моем здоровье; я сейчас умеренной худобы, что достигается гимнастикой и воздержанием. Не думаю, что я вынес что-

нибудь полезное из моих путешествий, разве только поверхностное знание двух языков и привычку жевать табак».

Поза была приятная; он платил довольно жестоким одиночеством за свое право презирать мужчин и женщин, но в этом презрении были свои привлекательные стороны. Он был лорд Байрон, барон Байрон Рочдэльский, Тимон Ньюстедский, мизантроп. После смерти своего ньюфаундленда он никого не любит, только память о нем, ручную лань и трех греческих черепах. Он женится на старухе с деньгами, а что касается его имущества... Он сделал любопытное завещание: Ньюстед отойдет к Джорджу Энсону Байрону; Рочдэл должен быть продан, а из реализованного капитала огромная сумма в семь тысяч фунтов должна быть выплачена по достижении совершеннолетия Николо Жиро из Афин и Мальты; Флетчер, Джо Меррей и слуга-грек Деметриус Зограффи получали каждый по пятидесяти фунтов в год; паж Роберт Раштон — такую же сумму плюс тысячу фунтов при совершеннолетии; ньюстедскую мельницу Байрон завещал Флетчеру, библиотеку — Хобхаузу и Дэвису. Он сделал приписку:

«Я хочу, чтобы мое тело было погребено в склепе, в ньюстедском саду, без всяких обрядов и проводов, и чтобы, кроме моего имени и возраста, никакой надписи не было на могиле. Я хочу, чтобы моя верная собака осталась в этом же склепе».

Поверенные возражали против этого последнего пункта, но он настоял на своем.

Он несколько раз ездил в Лондон в октябре и в ноябре, но на Рождество вернулся в Ньюстед. Надвигалась зима, лужайки занесло снегом, аббатство, почти пустое, приобрело приятно-меланхолический вид. Двое друзей навестили его. Харнесс, хромой мальчик, которому Байрон покровительствовал в Харроу, и кембриджский товарищ Ходжсон, который готовился стать священником. Харнессу был двадцать один год, Байрону двадцать три, Ходжсону двадцать восемь. Три недели прошли очень приятно. Байрон поправлял «Чайльд Гарольда»; те двое занимались тут же. Вечером разговаривали о поэзии, о религии. Байрону после его путешествий казалось, что у него вполне определенный взгляд на религию: «Если

где-нибудь на Тимбукту, в Отайхете или на какой-нибудь Terra incognita* люди, никогда не слышавшие о Галилеянине и его пророке, могут войти в царство небесное, зачем тогда нужно христианство? Если же они не могут спастись, почему тогда не все христиане? Все-таки это немножко жестоко посылать человека проповедовать в Иудею и оставлять громадную часть вселенной — негров и прочих — такими же черными, как их кожа, без единого луча света, который им помог бы чуточку подняться. Кто же поверит, что Бог захочет осудить людей за незнание того, чему их никогда не учили?»

Ходжсон, несмотря на то что готовился в священники, находил, что сдвинуть Байрона с его метафизических позиций довольно трудно, потому что Байрон, собственно, не занимал никакой позиции: «Я не платоник, я вообще никто, но я бы предпочел быть чем угодно, только не принадлежать ни к одной из этих семидесяти двух сект, которые готовы разорвать друг друга во имя любви к Господу... А что касается вашего бессмертия, если мы должны ожить, зачем тогда умирать? Вы говорите, наши скелеты должны восстать из гроба в один прекрасный день, да стоят ли они того? Во всяком случае, если мой скелет воскреснет, я надеюсь получить пару ног получше той, что мне была дана в эти последние двадцать два года, или меня, а уж это как-то очень нелепо, совсем затолкают в этом хвосте, который образуется перед раем».

После каникул гости уехали, и он остался один, покинутый даже своими любовницами-служанками, ибо он только что открыл, что одна из них, к которой он немножко привязался, обманывала его с каким-то парнем. Событие ничтожное, если бы он не почувствовал себя невероятно задетым.

— У меня к вам просьба, — сказал он Ходжсону, после того как посвятил его в эту трагедию, — никогда не говорите мне о женщинах, ни в одном письме, и даже не напоминайте мне о существовании этого пола.

Нет, действительно в мире не было ни одного существа, на которое можно было опереться... Он с грустью вспоминал

* Неизвестная земля *(лат.)*.

веселые крики маленьких итальянцев под апельсиновыми деревьями у памятника Лизикрату. «Я становлюсь нервным... Ваш климат убивает меня; я не могу ни читать, ни писать, ни развлекаться, ни развлекать других. Дни без работы, ночи без отдыха; у меня очень редко бывает какое-нибудь общество, а когда бывает, я от него бегу». Что делать в этом зимнем могильном Ньюстеде? Продолжать «Чайльд Гарольда»? Ему нужно солнце и голубое небо: «Я не могу описывать пейзажи, которые мне так дороги, сидя у тлеющих углей».

В очень интимном и очень искреннем письме к одному из своих друзей он говорил:

«Последние годы моей жизни я веду непрерывную борьбу с чувствами, которые так отравили первую половину моей жизни; хотя я горжусь тем, что почти их преодолел, бывают минуты, когда я чувствую себя таким же наивным, как и раньше. Я никогда столько не говорил о себе и не сказал бы и вам, если бы не боялся, что был немножко груб и не хотел бы объяснить вам причины. Но вы знаете, что я не из ваших джентльменов-doloroso*: так давайте же теперь смеяться». Действительно, он никогда столько не говорил, а в этом и был ключ от всех его внешних противоречий. В течение нескольких лет он старался убить в себе сентиментала, который когда-то заставил его жестоко страдать. Слишком мужественный для того, чтобы удовлетвориться ролью «джентльмена-doloroso», но убежденный в том, что потерял всякую веру в женщин и в мужчин, он пытался жить корсаром наслаждений, без любви и без дружбы. Несчастье было в том, что в этом бездействии чувств он смертельно скучал.

У людей, много страдавших, но которых привычка или забвение излечили от страданий, есть изумительная способность скучать; это происходит оттого, что страдание, делая нашу жизнь невыносимой, в то же время наполняет ее такими сильными переживаниями, что они делают неощутимой ее пустоту. Байрон начал жизнь с большой любви. Эта любовь была несчастьем, но она внушала мальчику потребность в сентимен-

* Страдалец *(ит.)*.

тальном возбуждении, которое для него стало необходимым. Как ребенку, попавшему в сказочный дворец и избалованному сладостями, всякая здоровая пища кажется пресной, так Байрон в сердечном спокойствии не ощущал вкуса жизни. Он чувствовал себя способным погнаться за любой сильной страстью, пусть даже преступной, только бы она вернула ему вечно ускользающее ощущение собственного бытия. Тому самому Ходжсону, который уговаривал его быть повеселей, он послал стихи, в которых еще раз выступала Мэри Чаворт.

Оставим. Молча, не стеня,
Забыть восточные края...
...Но если в будущем услышишь
О ком-то дальнем, чей порок
С угрюмым веком слиться мог,
Его узнаешь — а узнавши,
Доищешься и до причин.

«Бедный мальчик, разумеется, ни о чем подобном не думает», — пометил на полях Ходжсон, оптимист и снисходительный человек. Но Байрон был существом более несчастным и сложным, чем думали его друзья.

Он решил уехать и пожить в Лондоне; там у него, по крайней мере, будут парламент и корректура. «Что угодно, только бы избавиться от спряжения этого проклятого глагола — скучать».

XV
ANNUS MIRABILIS*

О, кто не пишет женщинам в угоду?

В Лондоне ему не пришлось, как в прошлый раз, ограничиваться только обществом Хэнсона и Далласа. Даллас передал «Чайльд Гарольда» Джону Меррею, издателю, входивше-

* Чудесный год *(лат.)*.

му в моду. Байрон, возвращаясь с фехтования у Анжело или пистолетной стрельбы у Ментона, часто заходил к Меррею. Он вел себя шумно, жаловался на задержки в типографии, потом выбирал мишенью какую-нибудь книгу на полке и бросался на нее в атаку со своей тростью, повторяя: «Кварта, сикста — кварта, сикста», в то время как Меррей читал вслух новые песни, поэмы, принесенные Байроном. «Недурно, а, Меррей? Недурно? — спрашивал Байрон, не переставая фехтовать с книгой и повторять: «Кварта, сикста... кварта, сикста...» Меррей любил свои книги и вздыхал с облегчением, когда Байрон уходил. От Меррея Байрон обычно отправлялся обедать к Стивенсу со своим приятелем Томасом Муром.

Том Мур был тот самый Томас Литтль, чьи невинные эротические стихи несколько лет назад вызывали восхищение школьников Харроу. Когда появились в печати «Английские барды» Байрона, одна эпиграмма в этой сатире задела Мура, и он послал Байрону через Ходжсона письмо с вызовом. Байрон в это время уже уехал на Восток. Когда он вернулся, Мур справился о своем письме. Байрон ответил, что он его не получал. Навел справки и в подтверждение своих слов переслал Муру нераспечатанное письмо. Мур в это время только что женился на очаровательной молодой девушке и, не имея ни малейшего желания драться, предложил заменить дуэль завтраком.

Не долго думая, он решил устроить этот завтрак у Роджерса, прославившегося изысканностью своего стола не меньше, чем своими стихами. Сын либерального богача-банкира, Роджерс служил в отцовском банке и в двадцать семь лет внезапно удивил лондонское общество, напечатав неплохую поэму «Радости памяти». Поэт-банкир — это было ново. Лорд Илден, державший деньги у Гозлинга, сказал:

— Если бы мой Гэззи не только написал, а хоть бы произнес что-нибудь остроумное, я закрыл бы у него счет немедля, на другой же день.

Тем не менее Роджерс имел успех, и самые недоступные дома открылись для этого маленького, незаметного человека, остроумного, злого, тощего, как скелет, и белого, как труп.

Труп не склонен действовать. Поступки Роджерса всегда отличались осторожностью и изысканностью. Он выстроил себе дом в прекрасном месте над Грин-Парком; отделал его тщательно, как поэму. Все здесь было совершенно: прекрасная мебель в строго классическом стиле; прекрасные картины; в библиотеке лучшие издания лучших авторов; на столах алебастровые вазы. Не хватало только женщины, но Роджерс оставался холостяком. Брак — это слишком решительный шаг для эстета, живущего не спеша. Иногда он говорил своей большой приятельнице, леди Джерсей:

— Если бы я был женат, у меня был бы, по крайней мере, человек, которым бы я дорожил.

— Да, — отвечала она, — но, может быть, ваша жена дорожила бы кем-нибудь другим.

Итак, он принимал один в своем чудесном доме, устраивал изысканные обеды, приправленные тонким и злым остроумием; но будучи злым столь же естественно, как эгоистом, он, однако, весьма великодушно распоряжался деньгами, что для богатого человека нередко является удобным способом сэкономить чувство.

Обед у Роджерса был произведением искусства. Стол, подбор гостей — все отличалось изысканностью. На этот завтрак примирения он, кроме Байрона и Мура, пригласил только поэта Томаса Кемпбелла и попросил их не показываться до прихода Байрона. Он знал, что молодой поэт хромает, и не хотел, чтобы он, войдя, почувствовал себя стесненным. Красота Байрона, благородство его манер поразили всех. За столом Роджерс предложил ему супу:

— Нет, благодарю, я никогда не ем супу.

— Рыбы?

— Рыбу тоже.

Подали барашка. На предложение Роджерса последовал тот же ответ.

— Стакан вина?

— Нет, я никогда не пью вина.

Роджерс в отчаянии спросил Байрона, что же он ест и пьет.

— Ничего, кроме сухих бисквитов и газированной воды.

К несчастью, ни того, ни другого в доме не оказалось. Байрон позавтракал картофелем, размяв его у себя на тарелке и полив уксусом. Несколько дней спустя Роджерс встретил Хобхауза и, узнав, что он друг Байрона, спросил:

— Долго ли лорд Байрон будет продолжать свою диету?

— До тех пор, — ответил Хобхауз, — пока вы будете обращать на это внимание.

С этого дня Байрон и Мур стали неразлучны. Байрон, «животное без друзей», жаждал к кому-нибудь привязаться. Он восхищался Муром, чувствовавшим себя так изумительно непринужденно в мире, в котором Байрон не знал ни души. А ведь Байрон был сеньором Ньюстеда, а Мур — сыном дублинского бакалейного торговца. Но Мур был одним из тех легких людей, рожденных пленять, чья своеобразная и в то же время почтительная манера держаться восхищает. С детства он обнаруживал изящную легкость в поэзии и музыке. В пятнадцать лет он переводил из Анакреона и импровизировал на клавесине ирландские песенки. Дублинские салоны оспаривали друг у друга этого драгоценного человека, столь незаменимого для оживления общества. Из этого будуарного воспитания он вынес беззаботную доверчивость к жизни и простодушную любовь к легкомысленным похождениям. Меррей его не любил, считая сплетником и снобом, но Байрон обрел в нем веселого друга, считавшего за счастье показываться с лордом, всегда готового петь, пить и веселиться. Мур казался ему «квинтэссенцией всего, что есть на свете приятного». Почти каждый вечер они обедали в Сен-Албэнсе или у Стивенса. Обедал, собственно, Мур, а Байрон ел бисквиты и говорил:

— Мур, ведь вы же можете сделаться свирепым от говядины.

Оставаясь один, Байрон отправлялся в Альфред-клуб, весьма литературное и строгое, но вполне терпимое в дождливую погоду убежище. Благодаря Муру и Роджерсу, он познакомился с сомнительными кабачками, с денди из Фоп-Аллей,

стал посещать игорные дома и притоны; он подавлял в себе чувство неловкости прирожденного пуританина, но все это доставляло ему мало удовольствия.

Байрон поговаривал о том, чтобы продать Ньюстед и уехать навсегда на остров Наксос. Он будет жить и одеваться по-восточному и посвятит жизнь изучению восточной литературы. Холодная английская зима, а также и духовная атмосфера Англии удручали его. Это было время авторитарной политики. Война мало задевала правящие классы, они вели легкую жизнь — охота на лисиц, любовь, парламент заполняли их досуг. Внешняя борьба служила предлогом для подавления свободы мысли. Коббет* получил два года тюремного заключения за то, что разгласил какой-то военный скандал. Народ, страдавший от промышленного переворота, слышал в ответ на свои жалобы разглагольствования о патриотизме и государственной необходимости.

В палате лордов обсуждался новый закон, имевший в виду суровую расправу с рабочими, портившими машины, которые лишали их насущного заработка. Байрон сам был очевидцем подобных случаев в Ньюстеде. В окрестностях Ноттингема фабриканты установили новые чулковязальные станки, благодаря которым рабочую силу можно было сократить в семь раз. Безработных усмиряла конная полиция. В Ноттингем пришлось выслать два карательных отряда. Правительство намеревалось ввести смертную казнь для разрушителей машин. Байрон, который сам видел этих бедняков и убедился, что они заслуживают сочувствия, решил выступить в парламенте. Позднее враги Байрона утверждали, что он хотел политическим выступлением создать выгодную рекламу для своей поэмы, которая должна была вскоре выйти из печати. Но побуждения Байрона были гораздо проще. Ему приятно было встать среди этих важных господ и сказать им грубую правду об их жестокости. В Ноттингеме начальником

---

* Уильям Коббет (1762 — 1835) — английский публицист и историк, демократ. Критиковал английскую социальную политическую систему. — *Примеч. ред.*

отряда, жестоко усмирявшего рабочих, был Джек Мастерс, человек, который отнял у Байрона Мэри Энн. Мастерс мог быть снисходительным к фермеру, обладавшему хорошенькой женой, но с рабочими был груб и с большим азартом преследовал их за браконьерство. Личные воспоминания Байрона, подкрепленные семейными традициями с материнской стороны, способствовали тому, чтобы выработать из него либерального вига. Он вошел в контакт с лордом Холлэндом, намеревавшимся выступить по этому вопросу.

Даллас был приглашен в «Реддиш-отель», и Байрон несколько неестественным голосом прорепетировал перед ним свою речь. В ней говорилось о страданиях рабочих, «людей безусловно и главным образом повинных в том, что они бедняки; какие же меры воздействия предлагаете вы? Конвульсии должны прекратиться смертью? Не слишком ли часто в ваших законах фигурирует смертная казнь? Не думаете ли вы запугать виселицей несчастных голодающих, не испугавшихся ваших штыков?» Оратора нашли блестящим, но несколько театральным. Весьма неосторожно было заявлять в этом собрании, что «в самых угнетенных провинциях Турции он не встречал такой непроглядной нищеты, как в сердце христианской Англии». В среде вигов эта речь привлекла внимание к юному пэру и открыла ему доступ в Холлэнд-Хауз, который грозная леди Холлэнд обратила в неприступную крепость.

Несколько дней спустя Меррей выпустил две первые песни «Чайльд Гарольда». До последней минуты Байрон сомневался в достоинствах своей поэмы. Даллас, взявший все на свою ответственность, тоже беспокоился. Однако успех был вполне вероятен. Меррей, опытный и деятельный издатель, уже давно пропагандировал «Чайльд Гарольда» среди своих друзей. Он распространял отрывки поэмы среди писателей и светских людей, имевших возможность подготовить благоприятную почву для появления книги. Роджерс уже в январе получил корректуру. Он прочел поэму своей сестре и сказал: «Вот вещь, которая, несмотря на всю свою красоту, никогда

не будет иметь успеха у публики; никому не понравится этот недовольный, плаксивый тон и беспутный образ жизни героя». Почти уверенный в провале, он расхваливал нового поэта и цитировал строфы, которые вызывали любопытство.

Роджерс царил в нескольких литературных салонах, и в частности в салоне леди Каролины Лэм, которую он превозносил до небес за ее ум. Он ей принес корректуру и попросил никому не показывать. Она в тот же день объехала весь город, рассказывая, что прочла новую поэму и что это совершенно неподражаемо. Она заявила Роджерсу:

— Я должна его увидеть, я хочу во что бы то ни стало его увидеть.

— У него кривая нога, и он грызет ногти, — сказал Роджерс.

— Будь он уродлив, как сам Эзоп, — я должна его увидеть.

Скоро все женщины прониклись этим же желанием.

Жизнь Байрона преобразилась внезапно, как судьба героя восточной сказки по мановению жезла волшебника. «Однажды утром я проснулся знаменитостью», — писал он. Это было совершенно точное описание его превращения. Накануне вечером Лондон был для него пустыней, населенной двумя-тремя друзьями, на другой день утром — это был город из «Тысячи и одной ночи», полный сверкающих дворцов, распахивающих свои двери перед знаменитейшим молодым англичанином.

Обширное светское общество (говоря словами Байрона, четыре тысячи людей, которые бодрствуют, когда все остальные спят) подвержено быстрым сменам восторга и отвращения; среди этих мужчин и женщин, встречающихся каждый день, каждый вечер, новая звезда славы совершает свой путь с молниеносной быстротой. К тому же это был момент, когда им нужно было восхищаться. Французская революция и Бонапарт посеяли в сердцах тысяч молодых европейцев большие надежды, которые Наполеон обманул. В Англии чувство пустоты жизни ощущалось особенно сильно: общество пресытилось удовольствиями, потому что они слишком легко доставались, пресытилось военным честолюбием, потому что

слишком долго длились войны, и, наконец, в силу слишком долгого господства консервативной власти пресытилось и политическим честолюбием.

Поэты недостаточно талантливые или слишком робкие не могли выразить этого тайного разочарования. «Чайльд Гарольд» явился первым отголоском печального скептицизма обманутого поколения. Наконец-то искусство соприкоснулось с жизнью! Наконец-то молодой англичанин, современник, родственный своим читателям, показал им Европу 1812 года. Для людей, оторванных в течение десяти лет от жизни материка, рассказ о путешествии в Албанию и к сулиотам казался более увлекательным, чем рассказ о путешествии в Индию или на остров Тихого океана. Политические заметки автора к «Чайльд Гарольду» восхищали своей смелостью и новизной. Это была поэма моря, и потомки викингов, отрезанные от материка континентальной блокадой, вдыхали в ней ветер, пропитанный солью, которой им начинало недоставать. Нападки консервативных критиков помогали успеху Байрона. Выступление «Куортерли ревью», осуждавшего Байрона за то, что он отзывался с презрением о «ремесле наемных убийц», казалось просто смешным: «С глубокой тревогой мы спрашиваем себя, — таковы ли должны быть взгляды пэра королевства на британскую армию?» Достаточно уже в течение двадцати лет исповедовали поэты узаконенное благоразумие. Неизбежно в истории страны наступает момент, когда люди, даже благоденствующие в заведенной рутине, утомляются ею. «Чайльд Гарольд» появился как раз в такой момент в жизни Англии.

Нередко случается, однако, что автор произведения, имевшего успех, разочаровывает публику. Но здесь напротив — автор оказывался достойным своего творения. Он был отпрыском старинного рода, и свет был ему благодарен за то, что он украшал гением этот класс общества. «Он был молод, красив; серо-голубые глаза сверкали жизнью из-под длинных ресниц...» Бледный цвет лица казался почти прозрачным... Рот, как у очаровательной женщины, чувственный и каприз-

ный. «Даже его физический недостаток только повышал интерес к нему. Мрачная история его героя — это его собственная жизнь. Разве не известно было, что он, подобно Чайльд Гарольду, вернулся из путешествия в Грецию, Турцию!» Ему приписывали и постоянную мрачность, и склонность к уединению, и несчастья Чайльда. В произведении искусства чувства, которые оно выражает, должны производить впечатление реальных; но насколько это впечатление сильнее и естественнее, если читатель, прав он или нет, убежден, что это чувства самого автора.

Весь город говорил только о Байроне. Толпы знаменитейших людей домогались, чтобы быть ему представленными, оставляли свои визитные карточки. Кареты, стоявшие у подъезда отеля на Сент-Джемс-стрит, мешали движению. В издательстве показывали экземпляр «Чайльд Гарольда», который принесла переплести принцесса Шарлотта, дочь регента. Сам регент выразил желание, чтобы ему представили Байрона, и долго беседовал с ним о поэтах и поэзии. На великосветских обедах неумолчно звучало беспрестанно повторяемое: «Байр'н, Байр'н». В то время в каждом сезоне царил непременно свой политический, военный или литературный лев. На вечерах 1812 года Байрон повсюду был львом, не имевшим соперников.

Женщины с замиранием сердца представляли себе обширное аббатство, преступные страсти и мраморное сердце «Чайльд Гарольда», недоступное и потому особенно желанное. Они сейчас же повели на него атаку. Они боялись его и наслаждались своим страхом. Леди Росберри, беседуя с ним, почувствовала внезапно такое сердцебиение, что едва могла ему отвечать. А он, угадывая производимое им впечатление, пробовал гипнотизирующую власть своего взгляда исподлобья. Даллас слышал однажды, как он читал вслух своего «Чайльд Гарольда». Несомненно, он хотел отыскать в себе то, что так восхищало других. «Я убежден, — предрекал Даллас, — что его юношеская меланхолия рассеется теперь на всю жизнь».

Даллас ошибался. Эта меланхолия была неотъемлемой чертой героя, которым так восхищались читатели поэмы, и Байрон это чувствовал. Он знал, что, приглашая его, все стремятся увидеть Чайльд Гарольда, и он являлся в гостиных мрачный, надменный, маскируя холодной сдержанностью наследственную застенчивость Байронов. «Лорд Байрон, — писала леди Морган, — холоден, молчалив и сдержан». Он уже не твердил про себя в отчаянии, как во времена Элизабет Пигот, «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...», когда его представляли даме. Но сухим тоном, которым произносилось несколько отрывистых слов, маскировалось мучительное волнение. В этом новом для него мире, оживленном и красочном, который так шумно приветствовал его после столь долгого пренебрежения, у него не было ни родных, ни друзей. Все эти мужчины и женщины, казалось, знали друг друга с детства, они называли друг друга уменьшительными именами, прозвищами. Он ничего о них не знал. Он боялся показаться смешным своими манерами, своим увечьем, и самый этот страх увеличивал его обаяние, чего он не подозревал. Когда все другие танцевали, он держался в стороне из-за своей хромой ноги и, стоя неподвижно в золоченой нише дверей, казался живым воплощением своего героя, когда тот, стоя на палубе корабля, смотрел на далекие волны.

Мур за время своей короткой дружбы с Байроном привык видеть в нем веселого товарища, способного по-детски смеяться, и пробовал вышучивать его торжественно-мрачный вид; Байрон отрицал, что это поза. Нет, это не напускная мрачность, он действительно разочарован. А веселость — это только внешне. Он чужой в этом светском обществе. Его уверяли, что он завоевал его. Он сомневался. С трудом верил в успех своей поэмы. Хобхауз с грубой откровенностью говорил ему:

— После Попа нечего больше делать.

Байрон был того же мнения. Классики в глубине души, они оба считали, что успех «Чайльд Гарольда» объясняется увлечением публики болезненными страстями героя, но ско-

ро здравый смысл восторжествует и Байрона покинут, чтобы вернуться к Попу.

Однако байроническая лихорадка продолжала расти в течение всего сезона. «Предмет разговоров, любопытства, энтузиазма в последнее время — это не Испания, не Португалия, не патриотизм, а лорд Байрон, — писала герцогиня Девонширская, — поэма его у всех на столе, и всюду, где он ни появляется, за ним ухаживают, расточают ему похвалы и превозносят его. Он бледен, у него болезненный вид, сложен плохо, но лицо прекрасно; одним словом, он — единственная тема разговоров. Мужчины ревнуют к нему, а женщины ревнуют друг к другу». Редких счастливцев, знакомых с ним, Роджерса, Тома Мура, лорда Холлэнда, осаждали просьбами представить Байрону. Девочка-подросток, Элизабет Баррет, всерьез мечтала переодеться мальчиком, бежать из дому и поступить к лорду Байрону пажом. На светских обедах женщины старались поменяться местами, чтобы сидеть рядом с ним. Роджерс посмеивался над ухищрениями высокородных леди, которые, приглашая его на обед, прибавляли в постскриптуме: «Умоляю вас, не можете ли вы привести с собой лорда Байрона?» Удивительная судьба бедного калеки, который всего несколько лет назад в Ноттингеме бережно носил пиво доктору-шарлатану.

Леди Каролина Лэм, желавшая во что бы то ни стало увидать его, будь он уродлив, как сам Эзоп, встретилась с ним у леди Уэстморлэнд. Приблизившись к нему, она взглянула на это прекрасное лицо, на тонкие дуги бровей, на вьющиеся волосы, еще кое-где сохраняющие рыжий оттенок, на губы с чуть опущенными углами, прислушалась на мгновение к мягкому низкому голосу, такому мелодичному, что дети говорили о Байроне: «Вот господин, который говорит, как музыка». Она увидела эту преувеличенную учтивость, гордую, почти вызывающую смиренность, — повернулась и отошла. Вечером она записала у себя в дневнике: «Злой сумасшедший, с которым опасно иметь дело».

Дня через два она была в Холлэнд-Хаузе, когда доложили о приходе Байрона. Ей представили его, и он сказал:

— Наше знакомство могло состояться в прошлый раз, разрешите узнать, почему вы от него уклонились?

Беседуя с ней, Байрон с любопытством наблюдал эту новую для него породу — патрицианку. Высокая, тонкая, большие вопрошающие глаза с коричневым оттенком; красивая? — Нет, но обаятельная, хрупкая; она говорила забавные вещи приятным голосом, несмотря на искусственное, несколько блеющее растягивание слов, принятое в девонширском кругу. Байрон попросил разрешения явиться с визитом. Вечером у себя в дневнике, после первой фразы о лорде Байроне, она написала: «Это прекрасное бледное лицо будет моей судьбой».

XVI
ЛЮБОВЬ

Я не Иосиф и не Сципион, но я могу смело
сказать, что я не соблазнял ни одной женщины.

Байрон

Злой? Сумасшедший? Как быстро она составляла суждения, эта молодая женщина. Что же она заметила, чтобы судить так строго? Горечь ответов? Желчность презрения? Пренебрежительную гримасу губ? Глаза, которые из-под полуопущенных век смотрели нетерпеливо и гневно? Сумасшедший? Злой? Он не был ни тем, ни другим, но с ним опасно было иметь дело, это верно. Прежде всего он был подозрителен — глубоко уязвленный человек, который всегда держится настороже. Никакая Мэри Чаворт не заставит его больше страдать; ему казалось, он знает теперь, что такое женщины и как нужно с ними обращаться. Прошла для него пора нежности и сердечных излияний. Эта далеко не ангельская порода научила его жестокости, он сумеет воспользоваться уроком.

В первый свой визит в Мельбурн-Хауз (леди Каролина жила со своей свекровью, леди Мельбурн) Байрон застал у

нее Роджерса и Мура. Она только что вернулась с верховой прогулки и, не переодеваясь, бросилась на диван. Когда доложили о приходе лорда Байрона, она вскочила и убежала. Роджерс сказал:

— Лорд Байрон, вы счастливый человек. Подумайте, вот леди Каролина сидела с нами замарашкой, а как только доложили о вас, она побежала прихорашиваться.

Но Байрон при виде обоих мужчин нахмурился. Нельзя ли видеть ее без посторонних свидетелей? Она предложила ему в этот же день прийти к обеду. Он пришел, и вскоре в Мельбурн-Хаузе никого, кроме него, не видели.

Мельбурн-Хауз был одним из самых блестящих домов в Лондоне и вместе с Холлэнд-Хаузом — интеллектуальным центром вигов. Лэмы, сделавшись благодаря пэрству Мельбурнами, вышли из рода сравнительно недавней знатности, но достигли своего величия довольно естественным образом. В начале XVIII века один из Лэмов, юрист по образованию, нажил себе состояние. Сын его в 1750 году купил владение и замок Брокет-Холл и, будучи обладателем полумиллиона фунтов стерлингов в земельных угодьях и полумиллиона звонкой монетой, был, по неписаным законам королевства, сделан баронетом. Баронет женился на Элизабет Милбенк и вошел в парламент. Премьер-министр, которому нужно было собрать на выборах большинство голосов и который знал, как их собирать, сделал баронета лордом Мельбурном. Затем большое искусство соблюдать приличия и ум, достойный героини «Опасных связей», помогли леди Мельбурн вести без огласки весьма бурную жизнь, пленить принца Уэльского и завоевать Лондон.

У Мельбурнов было два сына. Отец любил старшего, который был похож на него; мать — младшего, который был похож на лорда Эгремонта. Она его портила. Воспитывавшийся без всякой дисциплины, в атмосфере невероятного мотовства и абсолютной моральной «свободы», пренебрегаемый отцом, который жил в доме молчаливым укоризненным гостем, он рос дерзким, смышленым и развращенным юно-

шей. В 1805 году он женился на Каролине Понсонби, дочери леди и лорда Бессбороу (той самой, которая теперь познакомилась с лордом Байроном).

Брак по любви и довольно смелый. Каролина была очаровательной и опасной женщиной. Мать ее, леди Бессбороу, которая незадолго до рождения дочери перенесла небольшой нервный удар, не могла воспитывать ее сама и поручила девочку ее тетке, Джорджиане, герцогине Девонширской. Герцогиня заботилась о ней так же, как о своих детях, то есть поручила ее прислуге. Воспитанная в роскоши и беспорядке, «кушая из серебряной посуды, за которой ей, однако, приходилось самой путешествовать в кухню», девочка была убеждена, что на свете существуют только герцоги, маркизы и нищие. «Мы не представляли себе, что хлеб или масло делаются человеческими руками; мы никогда не думали, каким образом все это попадает к нам в дом. Мы думали, что лошадей кормят мясом. В десять лет я не умела писать. Я не умела правильно читать по складам, но сочиняла стихи, которыми все восхищались. Мне же самой больше всего доставляло удовольствие купать мою собаку, чистить шпоры и седлать лошадь». Результаты такого воспитания вызывали опасения у врачей: «Леди Каролина была капризна, легко впадала в ярость и была подвержена таким внезапным сменам настроений, что иногда опасались за ее рассудок». До пятнадцати лет ее ничему не обучали. Потом вдруг неожиданно она стала заниматься греческим, латинским, музыкой, заговорила по-французски, по-итальянски, увлеклась живописью, стала выступать в спектаклях, рисовать, писать карикатуры и в несколько лет превратилась в одну из самых интересных девушек в Лондоне.

Она питала отвращение ко всяким условностям. На своих письмах ставила вместо числа — «бог весть какой день». Посылая своему брату книгу, уверяла, что не знает его адреса. Она славилась своей впечатлительностью. Ее кузина, Гарриет Кавендиш, накануне доклада, с которым должен был выступить в Лондоне Бенжамен Констан, сказала: «Я просила Каролину прийти на доклад, потому что она расплачется

и произведет сенсацию за всех нас». Всех восхищала ее способность переходить внезапно, подобно шекспировским феям, от меланхолии к веселью, от непринужденной шутки к поэтической задумчивости. Поклонники называли ее Ариель, Сильфида и восхищались этой очаровательной непоследовательностью; люди более тонкие считали, что ее немножко портит манерность; женщины находили ее искусственной, «нарочитой» и позеркой, которая только и думает, как бы удивить окружающих.

Она в первый раз встретилась со своим будущим мужем, Вильямом Лэмом, когда ей было тринадцать, а ему девятнадцать лет. Она уже раньше читала его стихи. У нее было «безумное желание» познакомиться. А увидев, влюбилась в этого юношу с блестящими глазами, с манерами денди и пренебрежительным видом, который ему так шел. Она понравилась ему: «Из всех молоденьких девушек в Девоншир-Хаузе, — сказал Вильям Лэм, — вот то, что мне нужно». С этого же дня он решил на ней жениться. Она долго не соглашалась. «Я обожала его, — признавалась она потом, — но знала, что я ужасное существо, и не хотела делать его несчастным». Он упорно домогался ее и в 1805 году получил.

В день свадьбы невеста была восхитительна, но очень нервничала. Она рассердилась на епископа, который их венчал, разорвала свое подвенечное платье, упала в обморок, и ее пришлось отнести в карету. Странное начало, но ее очаровательному супругу, казалось, доставляло удовольствие продолжать портить этот столь неустойчивый характер. Вильям Лэм питал отвращение к морали: «Это скучно и это дурной тон. Может быть, я не прав, — говорил он, — но я никогда не могу испытывать ни малейшего раскаяния, никаких угрызений совести за те часы, которые мне доставили истинное наслаждение, будь то даже безумие или порок». Леди Мельбурн, женщина опытная, разделяла чувства своего сына и его взгляды на мораль, но не на то, что следует о ней говорить. Конечно, женщина может делать все безнаказанно, это она доказала, но все зависит от того, как делать. Она не одобряла от-

крытого напоказ всему свету кокетства своей невестки, слишком откровенной радости, с которой та принимала ухаживания сэра Годфрея Уэбстера. Но Вильям смеялся, и Каролина безумствовала больше, чем когда-либо.

Леди Мельбурн, которая в течение своей долгой жизни успешно сочетала полную свободу действий с респектабельностью, пыталась внушить Титании законы светской мудрости. Они столкнулись — зрелая, но еще сохранившая свою красоту «женщина, с ясным, отточенным ироническим умом», и феерическая невестка, которая, грациозно ласкаясь, объясняла своей «дорогой, милой леди Мельбурн», что ее поведение — результат поведения ее мужа. Это Вильям называл ее тихоней и скромницей, говорил, что она притворщица, и забавлялся тем, что учил таким вещам, о которых она и не слышала, так что в конце концов решила, что на свете все позволено. Странно было то, что сам Вильям казался несчастным, хотя старался этого не показывать. Чего он хотел? Каролина, со свойственной ей легкостью, смягчая веселую откровенность налетом грусти, просила его позаботиться об их семейной жизни. «Мне кажется, мой дорогой Вильям, что мы с некоторых пор ведем себя невыносимо по отношению друг к другу... На будущее я обещаю быть молчаливой по утрам, веселой после обеда, кроткой, мужественной, как героиня в последнем томе, перед лицом всех бедствий, сильной, как горный тигр... но только вы должны мне говорить: «Побольше думайте и поменьше возражайте». Он ограничился тем, что записал у себя в дневнике: «Прежде, когда я видел, что супружеская чета живет плохо или чьи-нибудь дети невыносимы, я всегда осуждал мужа и отца. С тех пор, как я женился, я сознаю, что это было преждевременное и необдуманное мнение». Таково было супружество, уже наполовину разрушенное разочарованной женщиной, с которой лорд Байрон внезапно завел дружбу.

Новая для него роль альковного аббата импонировала ему больше, чем он в этом себе признавался. Ему нравилось при-

ходить в одиннадцать часов утра и проводить целый день в будуаре женщины, читать ее письма, ласкать ее детей, выбирать ей туалеты на день. В течение первой недели дружба в Мельбурн-Хаузе носила платонический характер, Байрон «лениво рассказывал что-нибудь своим глубоким голосом», покачивая на коленях маленького мальчика Каролины, хрупкого ребенка с неподвижными глазами, который казался «не от мира сего». Байрон знал, что ей хочется видеть его байроническим, а не Байроном; он рассказывал ей о проклятии, тяготеющем над его родом, о Гордонах, о Злом Лорде, о смерти, которая постигает всех, кого он любит, о своей матери и друзьях, погибших в один месяц, а также о своем мраморном сердце и восточных красавицах. Она слушала его, затаив дыхание, и думала о том, как он не похож на Вильяма Лэма и как прекрасен.

Любил ли он ее? Позднее он это отрицал. Она была не «его типа». Как бы ни было изящно ее тело, оно казалось слишком худым для того, чтобы быть истинно прекрасным, и у нее не было ни глаз газели, ни «боязливости антилопы», ни грации, которые Байрон искал с детства. Но она обладала «бесконечной живостью», и если хоть немножко принять в расчет гордость, — сделаться своим человеком в Мельбурн-Хаузе было как-никак лестно для молодого человека, у которого две недели назад было в Лондоне всего несколько друзей. Разумеется, был соблазн отдаться чувству, которое в ней казалось так сильно. Даллас однажды застал у Байрона пажа, разодетого в шелка и кружева, и Байрон казался таким сосредоточенным, словно все его мысли и время всецело посвящены тому, чтобы читать письма леди Каролины и отвечать на них. Добряк Даллас счел даже своим долгом предостеречь его от этого общества, столь опасного для добродетели, и от этой женщины, про которую все говорили, что она сумасшедшая. Но Байрон был достаточно настороже.

Аристократическое общество, в которое он с таким успехом вступал, общество, до сих пор сохранившее нравы XVIII века, было не сентиментальным, а только чувственным. Оно

импонировало не тому Байрону, который жил где-то глубоко в его душе, а Байрону саркастическому, разочарованному, сложившемуся под влиянием несчастных обстоятельств. В прозе он предпочитал тон Мадам де Мертейль, старой леди Мельбурн, романтическому стилю ее невестки. Леди Каролина его часто раздражала, леди Мельбурн чуть-чуть пугала и очаровывала той непринужденностью, которая ему была доступна только в редкие минуты. В его обращении в любовный скептицизм она играла такую же роль, как Мэтьюс в Кембридже, толкавший его на путь религиозного скептицизма.

«Леди Мельбурн, которая могла бы быть мне матерью, вызывала во мне любопытство, какое могли внушать очень немногие молодые женщины. Это была очаровательная особа — своего рода современная Аспазия, у которой энергичность мужского ума сочеталась с изяществом и нежностью женщины. Я часто думал, что если бы леди Мельбурн была чуть-чуть помоложе, она вскружила бы мне голову». После леди Мельбурн ему больше всех в доме нравился супруг Каролины Вильям Лэм, «превосходивший меня, — говорил он, — так же, как Гиперион Сатира». Нужно ли было обманывать этого умного и сильного человека, который доверчиво протягивал ему руку? Предательство женщин приводило Байрона в ужас.

Он часто проявлял по отношению к леди Каролине непонятную жестокость. Однажды весной он принес ей первую розу и первую гвоздику.

— Я слышал, ваша светлость, — сказал он иронически, — что вы любите все новое и редкое — на одно мгновение.

Она ответила ему письмом на какой-то изумительной бумаге с кружевным бордюром, который по углам соединялся в раковины, трогательным и в то же время раздражающим письмом; нежная покорность тона терялась в вычурности стиля. Она сравнивала себя с цветком подсолнечника, который, «узрев однажды во всем его блеске лучезарное солнце, удостоившее на одно мгновение озарить его, не может в течение всего своего существования допустить, что нечто менее прекрасное может быть достойно его обожания и покло-

нения». Ненужное самоуничижение: Байрон любил, чтобы женщины относились к нему, «как к любимой и несколько своенравной сестре», а не как к господину. Он признавал два крайних типа женщин: «прекрасный идеал» робкой целомудренной женщины, который он создал из Мэри Чаворт, жившей в его воображении, и из детского воспоминания о Маргарет Паркер, и — веселую подругу. Женщина смелая, влюбленная, но которая в то же время требовала любви, в глазах Байрона нарушала приличие. Как когда-то правильно заметила леди Стэнхоп, он не понимал чувств других людей. И не хотел их понимать. Пламенные фразы леди Каролины были для него всего лишь утомительным и грубым шумом, который заглушал музыку, звучавшую в глубине его души. Ему хотелось легкости, непринужденности, сочетания веселого легкомыслия с неуловимой грустью; ему протягивали узы обожания, и он устало отворачивался.

Леди Каролина могла писать своему мужу, которого она больше не любила, очаровательные письма, но как только она принималась за письмо к Байрону, она неизменно впадала в трудно переносимый пафос. Она хотела угодить и решила показать ему свет. Она устраивала утренние приемы, на которые приглашались самые красивые и самые интересные лондонские женщины. Но салонная болтовня утомляла Скитальца, который шесть месяцев назад курил трубку, глядя на Акрополь под лазурным небом. Лежа на диване в Ньюстеде, он писал недавно: «Все, что угодно, только не спрягать с утра до вечера проклятый глагол скучать». Теперь он с грустью думал о своем утраченном одиночестве.

Между тем одна молоденькая умненькая девушка внимательно наблюдала за ним. Это была провинциальная племянница леди Мельбурн, Анна Изабелла Милбенк (которую все называли Аннабелла), девушка образованная, религиозная, которая во время своих приездов в Лондон не без презрения наблюдала столичную жизнь и свою безумную кузину Каролину. 24 марта она записала у себя в дневнике: «Только что

кончила «Чайльд Гарольда» лорда Байрона, некоторые песни в этом произведении отличаются высоким поэтическим стилем». 25-го она получила приглашение на утренний прием в Мельбурн-Хауз. Там была восхитительная леди Джерсей, вся звеневшая неумолчной болтовней и ожерельями, обаятельная рыжеволосая мисс Эльфинстон и двадцать других признанных красавиц. Одна из них выступила с пением. Аннабелле Милбенк казалось, что все эти мужчины и женщины сидят с таким видом, словно слушают по обязанности. Каро Лэм показала ей лорда Байрона. Аннабелла нашла его высокомерным; его рот беспрестанно выдавал его презрительное отношение к окружающим. Она подумала, что не так уж он не прав, презирая их, презирая эти пустые развлечения. Аннабелла не захотела познакомиться с ним в этот день, потому что все женщины нелепо приставали к нему, «но через несколько дней она увидала его снова, Байрон показался ей застенчивым, и она попыталась заставить его заговорить». Он ей сказал, что «удивляется, почему она не испытывает отвращения к этому обществу, где нет ни одного человека, который, вернувшись домой, имел бы мужество заглянуть в самого себя».

Ей понравилась эта фраза, отвечавшая ее чувствам. Впрочем, он говорил искренно. Среди этой сутолоки, от которой у него не хватало мужества отказаться, он с грустью вспоминал другого Байрона, задумчивого обитателя Ньюстеда. Но почему же он говорил этой юной незнакомке то, чего не говорил никому? В ней было что-то необычное. Свежий цвет лица, круглые розовые щеки; невысокого роста, но прекрасно сложена. Когда она вошла в гостиную, Байрон спросил у Мура, не компаньонка ли она какой-нибудь из дам?

— Нет, — ответил Мур, понизив голос, — это богатая наследница, вам нужно жениться на ней и спасти Ньюстед.

В разговоре с Каролиной Лэм Байрон с большим одобрением отозвался о мисс Милбенк и провел между двумя кузинами очень нелестную для Каролины параллель. Очарованная Каролина покорно принимала его выпады. Достаточно

было Байрону сказать, что он не одобряет этого образа жизни, этих многолюдных собраний, что в особенности он не терпит танцев (давнишняя ненависть, еще с юношеских дней), как вальсы и кадрили мгновенно были изгнаны из Мельбурн-Хауза. Он попросил ее никогда не танцевать вальса. Она обещала. Влюбленная, покоренная, она была всецело в его власти. Писала ему отчаянные, безрассудные письма, в которых предлагала не только свою любовь, но и все свои драгоценности, если ему нужны деньги.

На несчастье Каролины, леди Бессбороу, думая, что она делает тонкий шаг, сказала этому компрометирующему посетителю, что Каролина его не любит и просто вертит им. Он ничего не ответил, но решил не то чтобы преследовать леди Каролину, а только не отступать перед ней. Через неделю она стала его любовницей.

Он овладел ею совершенно хладнокровно. Для нее он был отвратительным суровым любовником, который видит свою возлюбленную без всяких иллюзий, с тем беспощадным и всепроницающим реализмом, который, когда он не любил, являлся естественной формой его мышления. «Я не встречал ни одной женщины со столь изумительными, со столь приятными талантами, как у вас, но все они, к сожалению, соединяются с полным отсутствием здравого смысла... Ваше сердце, бедненькая моя Каро (такой маленький вулкан!), разбрасывает свою лаву по вашим жилам... Я всегда считал, что вы самое остроумное, самое приятное, самое нелепое, самое милое, самое волнующее, самое опасное, самое обворожительное создание в мире... Не буду говорить о красоте, я плохой судья, но наши красавицы перестают быть красавицами, когда они рядом с вами, значит, у вас есть красота или даже нечто большее». Довольно сдержанный комплимент. Каролина грустно говорила: «Он стыдился меня любить, потому что я недостаточно красива». Ему не нравились в ней даже и те черты, которые для других составляли все очарование этой своеобразной натуры; ее воображение, отравленное чтени-

ем, заставляло ее искать любви, похожей на любовь в романе. Она думала привлечь поэта, цитируя ему поэтов. Он пренебрежительно слушал греческие и латинские цитаты и светские анекдоты своей любовницы и вспоминал задумчивую томность Утренней Звезды Эннсли или безмолвных восточных женщин.

Если он не заходил к ней в течение дня, она посылала к нему одного из пажей, которыми была окружена. Иногда сама переодевалась пажом, чтобы отнести ему письмо: «Зрелище, достойное Фоблаза», — замечал Байрон, который приходил в ужас от этих эксцентричностей. Она подружилась с его камердинером Флетчером и писала ему письма, умоляя пустить ее в комнату Байрона. Если она не получала приглашения на бал, где присутствовал Байрон, не стесняясь, дожидалась его на улице. «Наша маленькая приятельница Каро Вильям, — писала герцогиня Девонширская, — делает тысячи неосторожностей ради него и с ним. Но наконец-то Байрон снова уезжает на Наксос, и мужья смогут спать спокойно. Я нимало не удивлюсь, если Каро Вильям отправится с ним, она так безрассудна и неосторожна».

Это наивное обожание, которое должно было бы тронуть Байрона, раздражало, ему казалось, что оно делает его смешным, и, что было уже совсем странно, он проклинал любовь, объектом которой являлся. В его представлении кальвиниста, воспитанного на Библии, леди Каролина была «Прелюбодействующая Жена».

«Подобно Наполеону, я всегда чувствовал большое презрение к женщинам, — писал он, — и это мое мнение о них сложилось не наспех, а из моего рокового опыта. В моих произведениях, правда, есть тенденции превозносить этот пол; мое воображение всегда стремилось одарить женщину чертами прекрасного идеала, но это потому, что я, как художник или скульптор, изображаю их не такими, каковы они есть, но какими они должны быть. Они занимают у нас неестественное положение. Турки и все восточные народы поступают в этом отношении гораздо лучше нас. Они держат их под зам-

ком, и те чувствуют себя гораздо счастливее. Дайте женщине зеркало и несколько конфет, и она будет довольна».

Но Вильям Лэм не был турецким супругом. Дневник его становился меланхолическим:

«Что ужасно в браке, так это то, что нет никогда ни в чем никакой определенности. Мнение жены подымается и падает в зависимости от того, что говорит о ее муже свет, и какое-нибудь самое банальное замечание решает судьбу. Брак ставит мужчину в положение обороняющегося в обществе, тогда как раньше он пользовался преимуществами нападающего».

Леди Бессбороу, теперь уже более осведомленная, огорчалась еще больше своего зятя. В юности у нее были бурные дни, и ее связь с лордом Гренвилем прогремела в свое время. Но она никогда не доходила до того, чтобы переодеваться, как ее дочка, кучером, чтобы иметь возможность застать врасплох своего любовника и следить за ним, или дожидаться его, стоя под дождем при разъезде с бала. Леди Бессбороу в отчаянии пригласила Хобхауза, чтобы посоветоваться с ним по поводу этой ужасной истории, позорящей обе семьи. Хобхауз был всегда готов «прочесть нотацию» своему другу, но каким образом Байрон мог положить этому конец? Байрону так же, как и леди Бессбороу, надоели выходки Каролины. Он не скрывал этого от леди Мельбурн, которая, будучи женщиной без предрассудков и опытным психологом, охотно обсуждала эту историю с любовником своей невестки. Он решительно предпочитал общество Тома Мура и Хобхауза обществу распущенной женщины.

У него были и более серьезные развлечения. Так, например, Аннабелла Милбенк видела его на религиозном докладе, причем он весь как-то странно передергивался всякий раз, как произносили слово «религия». Аннабелла задержалась в Лондоне, слушая курс лекций о плотности земли. Байрон считал немножко курьезной эту любовь к науке у женщины и в разговорах на эту тему с леди Мельбурн окрестил мисс Милбенк «Принцессой Параллелограммов». Тем не менее он как-то невольно испытывал чувство нежного уважения к этой де-

вушке, обладающей хорошенькой фигуркой и рассуждающей о плотности земли.

Каролина, по просьбе мисс Милбенк, дала Байрону прочесть несколько стихотворений своей кузины. Он нашел их весьма замечательными. Она, конечно, необыкновенная девушка; кто бы подумал, что за этой внешностью тихони таится столько силы, такое многообразие мысли? И он добавил: «У меня нет ни малейшего желания поближе познакомиться с мисс Милбенк, она слишком хороша для падшего ангела, и, разумеется, привлекала бы меня гораздо больше, будь она менее совершенна...» Слишком совершенна... Она прочла этот отзыв, так как письмо было написано для того, чтобы ей его показали, и записала его с чувством удовлетворенной скромности. У нее был только один недостаток — она знала, что совершенна. Единственная дочь, обожаемая своими родителями, в первый же год своего появления в свете получила предложения от пяти или шести молодых людей и считала себя неуязвимой. Великодушная и даже пылкая по натуре, она иногда производила впечатление расчетливой и холодной, потому что старалась подчинить все свои поступки разуму. Ее суждения были решительны и строги. Уму превосходной математички, считавшей, что она все знает совершенно точно, поэтическая, поверхностная эрудиция Каролины Лэм представлялась лишенной всякой цены. Ребячливость кузины возмущала ее: «Ее новая поза байронической меланхолии лишает ее очарования обычной глупости», и еще: «Каро Лэм готова бросить вызов мнению света, но у нее не хватает мужества отказаться от его внимания и удивления и спуститься с высоких, привлекающих все взоры вершин безумия на скромную тропинку разума». Она сама, конечно, следовала тропинкой разума.

«Ваша Аннабелла загадка, — писала герцогиня Девонширская своему сыну, влюбленному в Аннабеллу, — любящая, нелюбящая, великодушная и в то же время боится бедноты; ее не поймешь. Я надеюсь, что вы не страдаете из-за нее; это какая-то ледышка...»

Она была далеко не ледышка. У нее, как и у Байрона, были в детстве романтические привязанности. В своих детских мечтах, которые она очень рано стала заносить в дневник (любила писать), воображала себя героиней всех самоотверженных исторических подвигов. Защищала Фермопилы и ухаживала за прокаженными. Позднее старалась верой победить свою строптивость. Ей казалось, что достигла этого.

«Лорд Байрон, — продолжала герцогиня, — немножко ухаживает за ней; но ни она, кажется, не восхищается им, разве только как поэтом, ни он ею, разве только как невестой».

Восхищалась ли она только поэтом? В этом можно было усомниться. С грустью слушая рассказы о скандальных похождениях своей кузины с лордом Байроном, она думала, «что он искренно раскаивается в совершенном им зле, хотя у него и не хватает силы (во всяком случае, без чьей-нибудь поддержки) заставить себя жить и чувствовать иначе». «Падший ангел», — так он говорил о себе; она серьезно соглашалась с этим и думала, что, может быть, от нее-то, столь искренно верующей, и могла бы прийти помощь, в которой так нуждался для своего спасения этот прекрасный ангел. Он держал себя с нею очень просто и был «совсем славный мальчик». Однако она заметила, что он немножко кокетничает и что с женщинами он держит себя совсем иначе, чем с мужчинами. Анна Изабелла Милбенк интересовалась лордом Байроном гораздо больше, чем это было нужно для спасения его души, по крайней мере в этом мире.

Август 1812 года. Поведение Каролины Лэм, все такое же экстравагантное, становилось невыносимым. Однажды утром леди Бессбороу явилась к своей дочери, умоляя ее уехать с ней в Ирландию; Вильям приедет к ним, и всей этой истории будет положен конец. В то время как она была там, явился лорд Мельбурн и начал строго выговаривать Каролине. Она пришла в ярость и отвечала так дерзко, что испуганная леди Бессбороу побежала вниз позвать леди Мельбурн. Когда они обе вернулись, леди Каролины уже не было, она убежала не-

одетая. Лорд Мельбурн рассказал, что она угрожала ему, будто уйдет жить к своему любовнику, и он ей ответил: «Идите к черту!»

Обе мамаши побежали сейчас же к Байрону и застали его одного, в не меньшем удивлении, чем они сами. Этот визит двух великосветских дам показался ему очень забавным. Год назад они о нем не знали; теперь были вынуждены просить его вмешательства, чтобы заставить вернуться к мужу — одна свою дочь, другая невестку. Удивительный реванш. Заплатив щедро кучеру Лэмов, Байрон узнал адрес, куда Каролина заставила себя отвезти. Он нашел ее в доме некоего доктора из Кенсингтона и чуть не силой увез домой к матери, у которой от этих волнений сделалось что-то вроде удара.

Эта история разнеслась по всему Лондону. Сам принц-регент вызвал к себе леди Бессбороу и сказал ей, что он всех их считает ненормальными — обеих матерей и дочку, и что лорд Байрон околдовал всю семью. В частности, он считал совершенно недопустимым это совещание мамаш с любовником: «Ничего подобного я в жизни не слышал. Брать матерей в наперсницы! Что бы вы подумали, если бы я когда-то выбрал в наперсницы леди Спенсер (мать леди Бессбороу)?» Леди Бессбороу это показалось так забавно, что она, несмотря на всю серьезность темы, не могла удержаться от смеха.

Мать, свекровь, любовник, муж — все теперь умоляли Каролину покинуть Лондон. Байрон говорил, что она своим упрямством показывает свой безвольный эгоизм. Она не соглашалась, несмотря на то что Байрон отказался бывать у нее; здесь, по крайней мере, она могла видеть его хотя бы случайно где-нибудь в гостиной и на другой день писать ему, как он прекрасен:

«Как вы бледны, это красота смерти или белой мраморной статуи, — бледность, с которой ваши брови и волосы составляют такой контраст! Когда я смотрю на вас, мне всегда хочется плакать; если бы какой-нибудь художник мог запечатлеть для меня ваше лицо таким, каково оно на самом деле, я бы отдала ему все, что у меня есть в мире».

Трогательное письмо, но какое человеческое существо трогается страстью, объектом которой оно является?

Наконец она согласилась уехать с леди Бессбороу. Это была первая авантюра Байрона со светской женщиной; опыт показался ему отвратительным. Любовница, жадно посягавшая на время и мысли, только ожесточила его. Она же, отдавшись чувству с неосторожным, но самоотверженным порывом, вышла из этой истории разбитая, обессиленная. Ее двоюродная сестра, которая встретила их, когда мать с дочерью приехали в Ирландию, писала:

«Тетя выглядит хорошо, но бедняжка Каролина ужасно; она так исхудала, что это одни кости да кожа, и только глаза горят лихорадочно... Мне кажется, она в состоянии очень близком к помешательству, а тетя говорит, что временами она бывает совершенно сумасшедшая».

Между тем Байрон писал леди Мельбурн:

«Дорогая леди Мельбурн, я думаю, что вы уже слышали и не огорчитесь услышать еще раз, что они обе благополучно прибыли в Ирландию и что море катит свои волны меж вами и одним из предметов ваших забот; другой, как видите, еще не очень далеко. Вы, вероятно, не огорчитесь услышать, что я от души желаю, чтобы все это кончилось, и что уж, конечно, — не я буду начинать снова. И это не потому, что я люблю другую, а потому, что мне довольно самой любви; мне надоело играть дурацкую роль, и когда оглядываюсь и вижу, сколько потерял времени, как разрушились все мои планы на прошлую зиму, я становлюсь тем, чем мне следовало быть уже давно. По привычке, правда, влюбляешься как-то автоматически, как плаваешь. Когда-то я очень любил и то и другое, но теперь уже больше не плаваю, разве только, если упаду в воду, и не влюбляюсь, если меня к этому не принуждают почти насильно».

Действительно ли он избавился от своей возлюбленной? Она писала из Ирландии угрожающие письма; напоминала, что ей нужно «только восемь гиней, почтовую карету и лод-

ку», чтобы очутиться в Лондоне. Байрон считал, что, если она решится на скандал и бросит мужа, он «по долгу чести» вынужден будет бежать с ней без всякой любви. В ужасе от этой перспективы он старался сочинять ей послания, достойные Великого Кира; он готов был сколько угодно объясняться ей в любви, лишь бы не видеть. Леди Мельбурн, обсуждавшая эту историю с полнейшим хладнокровием, как если бы между двумя врачами шла речь о выборе наилучшего лекарства, считала ласковое обращение Байрона опасным:

— Поймите меня хорошенько, я не желала бы ни за что на свете, чтобы вы проявили к ней какую-нибудь жестокость или сказали бы ей что-нибудь обидное. У меня нет ни малейшего намерения давать вам подобные советы. Всякое проявление доброты с вашей стороны было бы желательно. Но если вы принесете себя в жертву, это будет не доброжелательность, а романтика, которая приведет к несчастью и катастрофе. Если небольшая доза холодности в настоящий момент может помешать такой развязке, это, на мой взгляд, было бы прекрасным доказательством доброты, которая, причинив ей маленькое огорчение сейчас, спасет от полной гибели. Я должна прибавить, что вы, на мой взгляд, чересчур склонны считать себя одного виновным — она не невинная девочка. Она достаточно знала, чтобы быть настороже, и ее нельзя считать жертвой. — И опытный эксперт легковерности мужчин, леди Мельбурн заключала: — Если бы она думала, что ее друзья меньше интересуются ею, имелось бы больше шансов на то, что она увлечется какой-нибудь новой фантазией. Исходя из всего этого, мне кажется, лучшее, что вы могли бы сделать, это жениться, и, по правде сказать, я не вижу для вас иного способа выпутаться из этой истории.

Жениться... Вот что отвечало вполне желаниям самого Байрона. Он верил в брак; это была его последняя иллюзия. Молодой пэр (а особенно Байрон) должен пить, играть, волочиться за женой соседа, потом, после изрядного количества любовных похождений, жениться без всякой любви на девушке из хорошей семьи, довольно богатой, и наделать ей

детей в достаточном количестве, чтобы обеспечить продолжение рода. Таковы были условности. Таков был закон Ньюстеда.

Чтобы окончательно успокоить леди Мельбурн, он сделал ей удивительное признание: самое его пламенное желание — это жениться на кузине леди Каролины, на этой мисс Милбенк, которую он несколько раз встречал у Лэмов и стихи которой ему давали читать. На этот раз леди Мельбурн, которая ничему не удивлялась, выразила сильное удивление. Можно ли было представить себе двух более противоположных существ, чем набожная математичка и Чайльд Гарольд? Но именно этот контраст и нравился Байрону, так же как сдержанность молодой девушки, единственной из всех женщин, которая держала его на почтительном расстоянии. «Я о ней знаю немного, и у меня нет ни малейших оснований предполагать, что я в числе ее любимцев. Но я не встречал ни одной женщины, которую бы так уважал. Единственное возражение — это моя будущая мамаша, к которой я по какому-то непреодолимому инстинкту испытываю смертельное отвращение». С другой стороны, перспектива сделаться племянником леди Мельбурн приводила его в восторг. Он был положительно предан этой семье.

Леди Мельбурн потребовала некоторых гарантий:

«Мой дорогой племянник, вы очень непостоянны, как герой в фарсе, который мы видели с вами вместе (Флюгер), вы помните?.. Думаете ли вы, что сможете одновременно удержать ее и Каролину? Невозможно. Я говорю вам как друг: флиртуйте, сколько угодно, но не пускайтесь ни в какую серьезную авантюру, пока не покончено с предыдущей».

«Вы спрашиваете меня, — отвечал Байрон, — уверен ли я в самом себе, и я вам отвечаю: «Нет». Но вы уверены, и это гораздо важнее. Мне нравится мисс Милбенк, потому что она женщина разумная, приятная и хорошего происхождения, а у меня есть еще кое-какие предрассудки на этот счет в случае женитьбы. Что же касается любви, это все делается в одну неделю (имея в виду, конечно, разумное участие дамы), к тому

же брак по взаимному уважению и доверию куда лучше, чем из романтических побуждений, и она совсем достаточно хорошенькая, чтобы быть любимой мужем, и не настолько ослепительно хороша, чтобы привлекать соперников».

О любви в этом матримониальном плане было так мало речи, что в письме, в котором Байрон просил леди Мельбурн официально поговорить с родителями Аннабеллы, он подробно рассказывал ей о своем новом увлечении какой-то итальянской певицей, «не очень красивой, но как раз в таком стиле, как я люблю». Она очень любит своего мужа, что тоже относится к достоинствам, потому что «если женщина способна любить своего мужа, насколько больше будет она, естественно, любить человека, который не будет ее мужем». Флетчер, между тем, мечтал женить своего хозяина на вдове-голландке «с огромным состоянием и обширными округлостями». Флетчер, женатый человек, но эмансипированный восточными москитами и сирокко, ухаживал за горничной вдовы и надеялся, что этот брак будет способствовать его успехам. Голландская вдова? Мисс Милбенк? Каролина? Итальянская певица? Байрон, забавляясь всем этим, ждал, чтобы судьба или леди Мельбурн решила за него. «Танцует ли Аннабелла вальс? Это странный вопрос, но очень для меня важный. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь мог ей сказать сейчас, что я прошу ее руки, но у меня сильные опасения относительно того, что она подумает. Все зависит только от нее».

Опасная ответственность предлагать в мужья столь легкомысленного претендента одной из немногих девушек того времени, для которых брак представлялся нерушимым и священным таинством. «Она заслуживает лучшего сердца, чем мое», — говорил сам Байрон в минуты благоразумия. Но леди Мельбурн любила этого молодого человека. Ей приятно было слышать в шестьдесят лет, что ее можно еще предпочесть всем другим женщинам. А может быть, ей также казалось забавным посмотреть, как этого ветреного Дон Жуана приберет к рукам ее строгая племянница. «Бедная Аннабелла! Ее невинные глазки станут гораздо красивее, если она влюбится в вас.

Глазам необходимо такого рода вдохновение». Аннабелле придется немножко пострадать? Это ей будет только полезно, — думала леди Мельбурн, которую всегда немножко раздражало напускное простодушие, и она решила сделать попытку.

Молодая девушка вовсе не забыла Байрона. Во время своего пребывания в Лондоне она не сомневалась, что он ею интересуется, и не теряла надежды на то, что ей удастся его спасти; потом его скандальная связь с Каролиной заставила ее отчаяться в этом. Вернувшись к родителям, она очутилась перед лицом неба и моря. Аннабелла любила бродить среди двух этих необозримостей. В мире, который Байрону представлялся таким жестоким, таким равнодушным к страданиям людей, она находила повсюду следы милосердия Господня! «Я чувствую себя благословенной, — писала она, — когда ощущаю благость моего Создателя, и я смотрю на все окружающее с чувством глубокого счастья, думая, что это Отец наш создал все эти блага». Она пыталась в своем дневнике дать портрет лорда Байрона. «Страсти руководили им с самого детства. Но среди склонностей его характера есть и такие, которые согласуются с христианскими принципами («Я люблю добродетели, которые мне недоступны»). Втайне он доступен всем человеческим чувствам, но по странной извращенности натуры — результат гордости — он старается скрыть лучшие черты своего характера. Когда гнев овладевает им, а он легко поддается ему, он становится злобным и способен ненавидеть с самым ядовитым презрением. Он чрезвычайно скромен с людьми, душевный склад которых внушает ему уважение, и с раскаянием признается им в своих заблуждениях». Она считала себя одной из тех, кто своим душевным складом внушал ему уважение. Он нравился ей, она чувствовала искушение, но сознавала опасность.

Байрон поступил неосмотрительно, выбрав в посредники леди Мельбурн, мнения которой Аннабелле не внушали доверия. В ответ на его предложение последовал вежливый отказ.

«Я сочла бы себя недостойной уважения лорда Байрона, если бы не сказала всю правду без обиняков. Думаю, что он никогда не сможет быть предметом той сильной привязанности, которая могла бы сделать меня счастливой в супружестве, и я была бы несправедлива по отношению к нему, если бы объяснила свой отказ каким-нибудь предлогом, который мог бы как-нибудь нечаянно удержать его при его настоящем мнении. По тем впечатлениям, которые я могла составить о нем по его поведению, я готова верить вашим свидетельствам в его пользу, и если я не склонна ответить на его привязанность, виной тому мои чувства, а не его характер. Вслед за этим признанием искренно сожалею о том огорчении, которое могу ему доставить. Предоставляю на его усмотрение решить, каковы будут наши отношения в дальнейшем». Короче говоря, она отказывалась выйти за него замуж, потому что, если верить ей, она его не любила. Приключение довольно-таки удивительное для автора «Чайльд Гарольда»...

XVII
ПОДОБНО БОГАМ ЛУКРЕЦИЯ

Вначале деве мил любовник молодой,
А там сама любовь с отравой сладкой
Становится привычкой роковой
И впору ей, как старая перчатка.

Он уже давно перестал думать: «Ньюстед и я удержимся или погибнем вместе». Его долги достигали двадцати пяти тысяч фунтов. В сентябре 1812 года аббатство было назначено к публичным торгам. Верный Хобхауз был послан на аукцион и, по указаниям мистера Хэнсона, нагнал за главный участок цену до ста тринадцати тысяч фунтов, за второй — до тринадцати тысяч, что ему самому показалось очень забавно, так как у него в тот день при себе было ровно один шиллинг и шесть пенсов. Действительная продажа состоялась по

соглашению после отдачи с торгов, и владение было куплено неким мистером Клаутоном за сто сорок тысяч фунтов. «Я построил себе купальню и склеп — и вот теперь мне уже не придется лежать в этом склепе. Чудно, что мы не можем быть уверены даже в своей могиле». Байрон теперь был бы богатым человеком, если бы Клаутон заплатил, но новый владелец быстро сознался, что затеял сделку выше своих средств. Хэнсон, изворотливый и тонкий делец, предусмотрительно оговорил неустойку в случае, если сумма не будет выплачена полностью. Клаутону так или иначе грозило разорение, но пока обе стороны препирались, Байрон опять сидел без денег.

Он был приглашен на октябрь к новым друзьям своей славы — Джерсей и Оксфордам. Леди Джерсей была одной из тех женщин, которые пользуются таким успехом в свете, что добродетель их не подлежит сомнению из-за отсутствия у них свободного времени. Она вносила жизнь всюду, где бы ни появлялась. У нее были волосы цвета воронова крыла, молочный цвет кожи, она всегда носила кораллы, и у нее не было других недостатков, кроме говорливости, которой славилась. Ее друг Грэнвиль прозвал ее Тишина и удивлялся, как это она ухитряется находиться одновременно и у себя в доме и во всех чужих домах сразу. Байрон говорил ей, что она портит свою красоту чрезмерной подвижностью: глаза, руки, язык — все находилось в движении сразу. Он провел у нее в Миддлтоне, выражаясь его собственными словами, «неделю целомудрия».

Потом он отправился в Эйвуд к Оксфордам. Он познакомился с леди Оксфорд в Лондоне зимой, затем встретился с ней на курорте после отъезда Каролины, и тотчас же между ними возникло то безмолвное понимание, которое привлекает молодого человека, немножко нерешительного, но с требовательным темпераментом, к зрелой, но еще прекрасной женщине, любящей любовь и умеющей сделать легкими первые шаги. Леди Оксфорд было сорок лет. Она была похожа «на пейзаж Клода Лоррена с закатным солнцем, и ее красота приобретала особую прелесть оттого, что отбрасывала последние заходящие лучи, которые обволакивали ее своим неж-

ным сиянием. Женщина бывает благодарна только за свою первую и последнюю победу. Первая победа бедной леди Оксфорд миновала задолго до моего вступления в этот мир мучений, последняя, я горжусь этим, была оставлена мне, и это оказался лакомый кусочек».

Восемнадцать лет назад она вышла замуж за Эдуарда Гарлея, графа Оксфордского, человека ничтожного и умом и телом, хотя он и происходил из семьи, в которой ум был в почете. Один из его предков собрал одну из лучших английских библиотек; содержавшиеся в ней редчайшие собрания памфлетов были впоследствии изданы под названием «Гарлеянских сборников». Это же прозвище было дано очаровательным детям леди Оксфорд, походившим на всех очаровательных друзей их отца.

Леди Оксфорд изобрела для себя приятную и легкую философию. Обреченная родителями на постыдный брак с человеком, которого не могла любить, она взяла не один реванш. Нельзя было представить себе более приятной подруги. В ее глазах мелькало иногда выражение блаженной и мечтательной неги, всегда обещающей наслаждение. Она была образованна и умна, читала Лукреция, поклонялась физической любви, а любовь сентиментальную считала болезнью, симптомы и продолжительность которой точно известны. Она была столь же непостоянна, сколь приветлива, и если кто-нибудь из ее любовников жаловался, что она разбила ему сердце, отвечала, что разбитое сердце — признак плохого пищеварения.

Она пригласила Байрона в свой замок в Эйвуде. Он провел там октябрь и ноябрь 1812 года в обществе женщины нежной и искусной и более откровенной, чем он сам, и чувствовал себя совершенно счастливым. Леди Оксфорд читала, занималась музыкой и никогда не жаловалась, если любовник, предаваясь мечтательному настроению, оставлял ее одну. Лорд Оксфорд (Путифар) целые дни пропадал в лесу и показывал себя весьма тактичным супругом. Байрон и его возлюбленная жили, подобно богам Лукреция, наслаждаясь бла-

женным покоем своего бессмертия, далеко от людских забот, чуждые их горестям, не ведая никакой опасности, довольствуясь с избытком своими радостями. «Privata dolore omni privata periclis»*. Волшебница, прекрасная латинистка, часто читала этот текст молодом у возлюбленному. Он восхищался этим гордым эпикуреизмом. Дважды уже в течение своей жизни, на холмах Харроу и позже на Востоке, он обретал счастье в отрешении от мирских дел. Он наслаждался этими божественными интерлюдиями. Сердечное безумие нередко затемняло ясность рассудка; леди Оксфорд пользовалась в его глазах престижем приблизительно того же свойства, что и леди Мельбурн. Он охотно позволял управлять собой этим скептическим и сильным женщинам.

Иногда, удивляясь мирной апатии, в которую его погружали чары Эйвуда, он спрашивал себя, в какое животное обратит его эта Цирцея? В ленивое животное во всяком случае, ибо он совсем не работал, проводя чудесные дни на реке или в лесу, среди детей с ангельскими личиками. Он почти влюбился в Шарлотту, старшую дочь леди Оксфорд, обворожительную уже в одиннадцать лет, написал для нее новое посвящение к «Чайльд Гарольду». Он никогда еще не испытывал такого полного довольства собой и другими, и все его неприятности отошли куда-то за тысячи миль. Победа языческой философии.

Между тем леди Каролина Лэм не хотела признавать своего поражения. Ей было известно, что Байрон в Эйвуде. Каролина ревновала. Она хорошо знала леди Оксфорд. Несколько лет назад эти две женщины вели ученую переписку на тему: «Знание греческого очищает или разжигает страсти?». В данном случае для леди Каролины ответ был однозначен.

Каждый день от нее приходили письма, то на имя Байрона, то для леди Оксфорд.

«Дорогая моя Аспазия, Байрон на меня сердится! Пожалуйста, скажите ему, я ничего не делала, что было бы ему неприятно; я несчастна, я знаю, что написала ему злое письмо.

* Чуждые горестям, чуждые заботам *(лат.)*.

Но я тысячу раз просила у него прощения. Я ему надоела, вижу это по его письму. Я больше не буду писать, не буду надоедать ему, только попросите, чтобы он простил меня».

Леди Оксфорд не ответила. Леди Каролина угрожала приехать, написать лорду Оксфорду, покончить с собой. Любовники вместе читали эти патетические письма с величайшим презрением. Для философов-лукрецианцев тон был совершенно невыносим.

Байрон держал свою союзницу, леди Мельбурн, в курсе всех вражеских маневров:

«Каролина угрожает отомстить самоубийством; ее дело... Я не могу существовать без какого-нибудь объекта привязанности. Я нашел такой, которым вполне доволен и который, насколько могу судить, не менее доволен мной; наше обоюдное желание — это покой, и (после всех невероятных историй прошлого сезона) я обретаю в спокойствии двойное блаженство... Я очень занят, у меня остается мало времени для себя и, разумеется, не уделю из него ни секунды для этой особы. Я даже не могу выразить вам ужас, который мне внушают некоторые ее поступки. Это ощущение стало частью меня самого, оно отравило мое существование. Я не знаю, кого буду любить, но до последней минуты моей жизни буду ненавидеть эту женщину. Вы теперь знаете мои чувства; они останутся такими до гробовой доски. Я не говорю ей этого в такой форме, потому что у меня нет желания делать ее несчастной, но таковы мои чувства к ней, и я не желаю ее видеть до тех пор, пока нас не скуют вместе в Дантовом аду».

Леди Мельбурн одобряла эту твердость и с беспощадной точностью разоблачала оживленные вариации настроений своей невестки. Те простодушие и жалость, которые еще сохранились у Байрона, не могли долго устоять перед искушенной мудростью леди Мельбурн.

В продолжение некоторого времени Байрон отвечал леди Каролине со сдержанной учтивостью, но так как она продолжала осаждать его жалобными и в то же время разъяренными письмами, Байрон, в конце концов, обозлившись (а

может быть, и под диктовку леди Оксфорд), написал ей резкое письмо:

«Леди Каролина, я вам больше не любовник, и так как вы вашей совсем не женственной назойливостью вынуждаете меня к признанию... узнайте же, что я люблю другую, назвать ее было бы с моей стороны бесчестно. Я всегда с благодарностью буду помнить о знаках особого внимания, которыми вы меня почтили. Я останусь вашим другом, если ваша светлость разрешит мне считать себя таковым, и в доказательство моего расположения к вам я позволю себе дать следующий совет: излечитесь от вашего тщеславия, оно смешно, изощряйтесь с другими в ваших бессмысленных капризах и оставьте меня в покое. Ваш покорный слуга Байрон».

Может быть, он обошелся бы с ней не так жестоко, если бы увидел ее, потому что она была достойна жалости. Она вела себя, как сумасшедшая: вырезала на пуговицах: «Ne crede Biron»*. Она подделывала почерк своего любовника и писала подложные письма издателю Меррею, чтобы выманить у него портрет, которого Байрон не пожелал ей дать. Она устроила в Брокет-Холле необыкновенное представление, во время которого было сожжено изображение Байрона, а деревенские девушки, одетые в белое, плясали вокруг костра. Сама она оделась пажом и произнесла (бросив в огонь корзинку, в которую были сложены книги, кольца, копии писем и локоны Байрона) стихи, сочиненные ею специально для этого случая:

Гори, огонь, игрушки жги,
Под крики радости взвиваясь и играя,
Гори, огонь, гори,
Пока они на пламени блистают.

Она имела глупость послать Байрону описание этой церемонии, он переслал его леди Мельбурн со следующей припиской: «Длинный рассказ о каком-то фейерверке с местными джентльменами, пажами, золотыми цепочками, корзин-

* Не верь Байрону *(лат.)*.

ками с цветами и с ней самой и прочими идиотскими фокусами».

В феврале 1813 года леди Бессбороу, вернувшись в Лондон, пожелала увидеться с Байроном и была лишний раз поражена, найдя его столь мало романтичным. Матери по обратной наследственности всегда немножко разделяют безумства своих дочерей. Она огорчалась всей этой истории, но уж если зло совершено, желательно было, по крайней мере, чтобы драма была красивая. Рассудительный Байрон разочаровал ее. «Леди Бессбороу была потрясена отсутствием во мне романтики и явно озадачена моим поведением».

Она хотела добиться для дочери свидания с Байроном; леди Оксфорд (с большим благоразумием) протестовала против этого. Вильям Лэм, застав свою жену в слезах, сказал, что Байрон оскорбляет ее, не желая принять. «Это в самом деле смешно: когда я разговариваю с его женой, он оскорблен, когда я не разговариваю с ней, она оскорблена». Леди Мельбурн посоветовала устроить свидание в присутствии свидетеля. Байрон сказал, что он на это согласен при условии, что свидетелем будет леди Оксфорд.

Наконец встреча произошла сама собой на балу у леди Хискот. Там присутствовала леди Мельбурн, громадные перья украшали ее седые волосы, ей был тогда шестьдесят один год, но тем не менее она была одной из самых обворожительных женщин на этом вечере. Были лорд Грэй, Шеридан. Вдруг толпа расступилась, и все взоры с любопытством устремились на Байрона, который вошел в зал, прихрамывая, бледный, «сияя почти зловещей красотой». Он очутился лицом к лицу с Каролиной, которая смотрела на него обезумевшими глазами.

В эту минуту оркестр заиграл первые такты вальса, и слегка встревоженная хозяйка дома обратилась к Каролине:

— Ну, леди Каролина, вы должны открыть бал.

— Ах, мне так весело сегодня, — воскликнула та и, наклонившись к Байрону, прошептала: — Мне кажется, я теперь могу танцевать вальс?

— С каждым из этих мужчин по очереди, — саркастически ответил Байрон. — Вы всегда танцевали лучше всех, и я с большим удовольствием буду любоваться вами.

Она протанцевала один тур и, почувствовав себя дурно, скрылась в соседней комнате. Лорд Байрон вошел туда под руку с какой-то женщиной и, увидев Каролину, сказал:

— Я восхищался вашей грацией.

Она схватила нож.

— Пожалуйста, дорогая, пожалуйста, — сказал он, — но если вы желаете разыграть классическую трагедию, пронзите свое сердце, а не мое. Мое вы уже пронзили.

Она закричала:

— Байрон! — и выбежала с ножом, и никто, в сущности, не знал, что потом произошло.

Одни говорили, что она пыталась зарезаться, другие утверждали, что она, почувствовав себя дурно, хотела взять стакан с водой, но упала в обморок, стакан разбился, и она порезалась осколками. Так или иначе, она была вся в крови. Байрон в это время уже прошел в другую комнату. Когда к нему подошли и стали рассказывать о том, что случилось, он презрительно ответил:

— Это один из ее обычных фокусов.

Эта история наделала много шуму; маленькая газетка «Сатирик» напечатала фельетон, озаглавленный «Scandalum Magnatum»*.

«Предпочтение, оказанное лордом Б. другому прекрасному объекту, привело в такую ярость леди К. Л — м, что она в припадке ревности заколола себя десертным ножом... Говорят, супругу дамы многие сочувствуют в том, что эта попытка к самоубийству не удалась до конца. Леди К. Л — м еще жива».

У нее хватило смелости спустя несколько недель явиться на дом к Байрону. Его не оказалось, но она потребовала, чтобы ее впустили, и, увидав у него на столе книгу «Ватек» Бэкфорда, написала на первой странице: «Помни обо мне». Байрон, вернувшись, увидел открытую книгу и слишком знакомый почерк. Он тут же написал:

---

* Великосветский скандал *(лат.)*.

Мне — помнить тебя? Поверь, не забуду,
И муж твой попомнит еще о тебе,
Ни им и ни мной ты забыта не будешь,
Ты — лгунья ему и чудовище — мне.

Это было так характерно для Байрона — объединить любовника с мужем в обвинительном слове против женщины, самым большим преступлением которой было полюбить его.

Ему было довольно всего этого. Если любовь неизбежно ведет к таким перипетиям, единственный благоразумный выход — избегать женщин. Сама мудрая Волшебница сколько раз заставляла его страдать. Независимая, изменчивая, она иногда позволяла себе, оставаясь подругой Байрона, заинтересоваться другим мужчиной. Лорд Оксфорд в таких случаях углублялся с еще большим рвением в непроходимые чащи своих лесов, а Байрон чувствовал, как его с безжалостной откровенностью отстраняют на время. Каждый раз он от нее самой узнавал истину, и его вдвойне огорчали ее измены оттого, что он восхищался этой жестокой искренностью.

Не вероломна, а непостоянна,
Ты сладко любишь, но бросаешь скоро...

Они строили приятные планы путешествия в Сицилию втроем, когда вдруг лорд Оксфорд, которого надоумили какие-то родственники, вздумал приревновать, и, как это всегда бывает, в тот момент, когда у самого лорда Байрона было гораздо больше оснований для ревности. Супруга очень быстро утолила старческую ревность какой-то бальзамирующей ложью, но было решено, что они вдвоем с мужем отправятся путешествовать по Средиземному морю, и, как она написала Байрону, «они будут очень счастливы, и у них будет много детей». Они уехали 28 июня 1813 года. «Леди Оксфорд вчера пустилась в плавание, а теперь, моя дорогая леди Мельбурн, можете ли вы быть столь добры, чтобы никогда не упоминать о ней? Сказать вам правду, я чувствую себя несколько каролиническим по отношению к ней, чего я никак от себя не ожидал».

XVIII
АВГУСТА

Она всегда была рабой мгновения...

Было решено, что он поедет провожать лорда и леди Оксфорд до порта, но в последнюю минуту он от этого отказался, так как его сестра Августа написала, что приедет в Лондон, вынужденная бежать из дому из-за денежных неприятностей своего супруга. «Дорогая моя Августа, если бы вы только знали, от чего я отказался ради вас, не считая путешествия, вы решили бы, что я проникся необыкновенно братскими чувствами...»

Он еще не видел ее после своего возвращения в Англию. Она жила в Сикс-Майл-Боттоме, в загородном доме по соседству с ньюмаркетским ипподромом, обремененная тремя детьми и денежными заботами. Ее супруг, полковник Ли, эгоист до мозга костей, проводил жизнь в игре на скачках, увязая в долгах и одерживая легкие победы со своим другом, лордом Дарлингтоном, почти не виделся с женой, так как жил дома только во время скачек в Ньюмаркете. Она слыла верной супругой. Воспитанная богомольной старухой, бабушкой, она усвоила от нее забавный жаргон благочестия, который ей заменял мораль. В семье знали, что подарок от Августы Ли всегда будет Библия или молитвенник. Впрочем, ее обязанности матери и хозяйки не оставляли ей времени думать о своих чувствах. Ухаживать за тремя детьми, из которых один уж непременно был чем-нибудь болен, отваживать кредиторов и букмекеров, вести переписку за мужа, неспособного написать письмо, — все эти мелкие повседневные заботы целиком заполняли ее жизнь. Вряд ли можно было найти другое человеческое существо, которое существовало бы изо дня в день так, как она.

Байрон принял ее у себя на Беннет-стрит днем, в воскресенье 27 июня 1813 года, и был очарован ею. Она не производила впечатления особенно хорошенькой на первый взгляд,

но это зависело скорей от небрежности ее костюма, — черты же были прекрасны. У нее был профиль Байронов, их забавная привычка проглатывать букву «р», капризное и немножко детское выражение лица и та же манера хмурить брови. Для Байрона, который так интересовался самим собой, было удивительным и приятным ощущением встретить этого нового самого себя в хорошенькой женщине.

Сходство обнаруживалось и в некоторых чертах характера. У нее была застенчивость Байронов, довольно-таки диких животных. Байрон и сестра, оба молчаливые в обществе, сразу почувствовали себя восхитительно просто друг с другом. Случилось ли это оттого, что она была его сестра, что у них было столько общих воспоминаний, начиная с беспечного легкомысленного отца и кончая саутуэллской вдовой-регентшей? С первого же дня установился живой и приятный тон разговора. Как жаль, что она замужем. Она бы поселилась с ним, была бы хозяйкой дома. Это куда лучше, чем жениться на незнакомой женщине. Он терпеть не может чужих, которые ничего не знают о вашей жизни, о ваших чувствительных струнах, о бедных ваших ногах, о жестоком детстве. А с Августой все так легко. Можно довериться вполне. Она относилась к своему «Baby Байрону» со снисходительной нежностью. В то же воскресенье, как только она ушла, он написал ей письмо:

«Моя дорогая Августа, если вы хотите пойти со мной к леди Дэви сегодня вечером, у меня есть для вас приглашение, вы там увидите г-жу Сталь, людей, которых вы знаете, и меня, которого вы не знаете, — вы будете болтать с кем угодно, а я буду наблюдать за вами, как за старой девой, которой грозит опасность остаться ею. Поступайте, как хотите, но если вы будете готовы к половине одиннадцатого, я за вами заеду. Думаю, что очутиться вместе в присутствии третьих лиц будет для нас обоих новым ощущением».

Он подчеркнул слово ощущение. Разумеется, он уже изложил ей свою любимую теорию: «Только сильное ощущение дает нам сознание самих себя». Но излагать какие-либо

идеи Августе было самым бесполезным занятием в мире. В ее хаотическом и неустойчивом сознании мысли тотчас же ускользали к границам неопределенного. Вначале она все же из вежливости попросила показать ей его новые стихи, он сказал, что она в них ничего не поймет. Августа в ответ расхохоталась, в сущности, очень довольная. Любила забавляться, как ребенок. Одаренная, как и все Байроны, сильным чутьем комического, она очень удачно изображала всех в лицах, чем приводила Байрона в восторг. У нее был забавный стиль разговора — факты, о которых она рассказывала, были до такой степени окутаны туманом скобок, намеков, непоследовательностей, что, послушав ее пять минут, уже нельзя было понять, о чем она говорит. Тут были, — oh dear, oh dear!* — рассказы о болезнях детей, и тут же анекдот о королеве Шарлотте, у которой она была придворной дамой, потом вдруг вспоминала какой-то неоплаченный счет, — oh dear! oh dear! — и покатывалась с хохоту. Байрон восхищался этой непоследовательностью, называл это тайнами Августы, «ее чертовскими crinkum-crankum»**. Он быстро усвоил с ней тон дружеской шутливости, свойственный скорее любовнику, чем брату. Она провела в Лондоне всего первую половину июля. Жила не у Байрона, но ездила с ним в театр, на балы в Олмэк и приходила к нему на Беннет-стрит. Хозяйство Байрона вела приходящая старуха, миссис Мюль; она была похожа на ведьму, отпугивала всех посетителей, но обожала Байрона, который был очень добр к ней. Прислуга, живущая на стороне, отдельный особнячок, ежедневные посещения почти незнакомой женщины — все это создавало классическую обстановку любовной связи; и с первого же дня в эти «необыкновенно братские» отношения вкрался элемент чувственности, тем более сладостной, что вначале она была бессознательной.

Все соединялось здесь, чтобы соблазнить Байрона. Эта молодая, приятная для него женщина могла приходить к нему свободно. Их не защищала от любви, как это обычно бывает

* О дорогой, о дорогой! *(англ.)*
** Завитушки *(англ.)*.

у нормальных братьев и сестер, привычность чувства. «Они не росли вместе под одной кровлей в бессознательной невинности детства, видели друг друга редко». У них не было ни общей матери, ни общей семьи. Августа, в глазах Байрона, сохранила всю прелесть неожиданного открытия. Он придавал значение происхождению. Ему должна была нравиться сестра герцога Лидского, придворная дама, которая знала весь Лондон, жила во дворце Сент-Джемс, неожиданной близостью с которой было лестно похвастаться. Мало того, что она могла нравиться ему, как любая приятельница, она должна была привлекать его сильнее. Он когда-то записал, что ему приятно, когда женщины обращаются с ним, «как с любимой и чуть-чуть своенравной сестрой». Он искал в любви сочетания веселой дружеской близости с чувственным наслаждением и почти материнской нежностью. Как чуть-чуть своенравная сестра... Стоило ему вспомнить об этом, как мысль об инцесте стала преследовать его. Не достаточно ли ему было только представить себе преступную страсть, чтобы уже поверить в то, что она ему предопределена? Разве он не потомок Байронов, Гордонов, чьи истории не менее ужасны, чем история Борджиа? С детства чувствовал он себя предназначенным, подобно Зелуко, к какому-то чудовищному преступлению, которое поставит его выше всех человеческих законов и вне их. В этом приключении он чувствовал себя преступным и находил удовольствие в том, чтобы чувствовать себя более преступным, нежели в действительности. Можно было бы, в сущности, сказать, что только он, он один, называя кровосмешением довольно естественную любовь к незнакомой сводной сестре, обратил проступок в преступление. И даже эта его неспособность расстаться с самим собой, неспособность, которая так опасно отчуждала его от других людей, здесь явилась ему на помощь, ибо в этой похожей на него женщине он опять-таки искал себя. В его влечении к ней словно примешивался неуловимый нарциссизм.

Два года назад робость неопытного самца, может быть, еще удержала бы его. Но благодаря милостям Каролины Лэм

и леди Оксфорд он изучил теперь этот церемониал завоевания, почти неизбежная автоматичность которого обладает такой необъяснимой властью над неопытными женщинами. Что же касается Августы, она, пожалуй, менее всех других была способна противостоять ему. Она не обладала ни гордостью, ни силой воли, и он покорил ее сразу. Он называл ее guss или goos, мой маленький гусенок, говорил ей, что она дурочка, она смеялась. Религиозность миссис Ли, очень поверхностная, мало влияла на ее поступки. Самым живым чувством в ней была доброта, но доброта, столь мало регулируемая моральными или социальными правилами, что она, не задумываясь, совершила бы самый отчаянный поступок, если бы ей казалось, что доставит этим удовольствие любимому существу. Скорее невинная по натуре, она способна была на любое безумство, которое, впрочем, забыла бы сейчас же после того, как совершила.

Байрон, несколько позже рассказывая обо всем этом своей наперснице, леди Мельбурн, очень усиленно подчеркивал, что Августа уступила скорее из чувства нежности, чем из страсти. «Клянусь богом, который создал меня на мое несчастье и уж, конечно, не на благо другим, ее нельзя было осуждать ни на одну тысячную в сравнении со мной. Она не отдавала себе отчета в собственной гибели, пока это уже не оказалось слишком поздно, и я не могу себе объяснить ее уступчивости иначе, как следующим умозаключением, которое мне, впрочем, кажется довольно верным: это то, что женщины привязываются гораздо сильнее, чем мужчины, если с ними обращаться хоть немножко ласково».

Он обрел в этой любви наслаждение тем более острое и сильное, что у него самого было ощущение греха. Все его прежние похождения показались такими пресными в сравнении с этим счастьем, смешанным с угрызениями совести. Кровосмешение, насилуя один из самых древних человеческих законов, как будто окружало наслаждения плоти ореолом бунтарства. Августа отдавалась не думая. Oh! dear, oh! dear, что за похождение для матери семейства, и как мало она была созда-

на для этой трагедии! Всего удивительнее было то, что она еще как-то по-своему любила «этого невероятного джентльмена, своего кузена и супруга», но могла ли она отказать в чем-нибудь своему Baby Байрону, когда он умолял ее? Она была из тех женщин, которые считают, что неприятное прошлое начисто стирается, стоит только перестать о нем думать. Она прыгала, как воробышек, по поверхности собственных мыслей, подбирая там и сям какую-нибудь смешную черточку. Позже Байрон, смакуя горький вкус угрызений, пытался иногда заставить ее заглянуть с ним в их преступление. Она увертывалась искусно и ловко и сейчас же старалась его рассмешить.

В конце июля Августа увезла его к себе в Ньюмаркет, чтобы показать своих детей. Байрон провел время очень весело. Дети полюбили молодого дядю. Когда он появлялся, они приветствовали его радостными криками: «Байрон! Байрон!» Потом они снова поехали в Лондон. Финансовое положение полковника Ли было таково, что все казалось лучше, чем жить в этом доме. Брат с сестрой строили планы путешествия. Байрону опротивела Англия. Принц-регент, которого он считал либеральным, с каждым днем становился все деспотичнее. Литератор Ли Хент был заключен в тюрьму за то, что осмелился критиковать какой-то дифирамб принцу. Байрон, как Чайльд Гарольд, «питал отвращение к родной стране». «Какой я идиот, что вернулся», — говорил он. Он вспоминал запах тимьяна и лаванды, горы с четкими очертаниями над голубым морем, страны, где никому до тебя и тебе ни до кого нет дела. Почему бы ему не увезти Августу в Сицилию или Грецию?

Будучи не в силах молчать, он начал намекать друзьям, окутывая свои намеки весьма прозрачным покровом тайны, что представляет собой его новое увлечение. «Речь идет не о блестящих представительницах прекрасного пола, — писал он Муру, — дело в том, что я в настоящий момент поглощен совершенно новой историей и гораздо серьезнее тех, что были у меня за все эти двенадцать месяцев, — а это много значит.

Несчастье, что мы не можем ни обходиться без женщин, ни жить с ними».

Леди Мельбурн, в свою очередь, тоже получала его признания и, несмотря на всю свою смелость, ужасалась.

«Вы стоите на краю пропасти, и если не отступите, вы погибли навек — это преступление, которому нет прощения на этом свете, хотя бы оно и простилось на том».

Байрон, хотя втайне думал то же, что и она, очень гордился тем, что ему удалось ее шокировать.

«В конце концов, она все-таки добродетельная женщина, — иронически сказал он, — потому что есть вещи, перед которыми она остановится». Но тем не менее он послушался ее и отказался от сицилианских проектов. «Дорогая леди Мельбурн, мне нечего ответить на ваше любезное письмо; никто, кроме вас, не взял бы на себя труд подать мне такой совет, никто, кроме меня, не поставил бы себя в необходимость просить его. Я еще в Лондоне, так что ваше суждение возымело то действие, которого вы от него ожидали».

Он действительно находился в Лондоне с Августой, в пустынном по-летнему городе, и чувствовал себя очень счастливым. «Что вы делаете? Мы можем сказать только о том, чего мы не делаем. Город пуст, но тем он лучше: это восхитительное место теперь, когда тут никого нет, я ничего не говорю, ничего не делаю, ничего не хочу». Это было лениво-беспечное счастье любви.

Весной, до этой любовной связи, он напечатал восточную сказку «Гяур», единственная его работа после «Чайльд Гарольда». В первой версии «Гяур» была довольно посредственной поэмой — воспоминания, вывезенные из Афин: история одной женщины, которую турки хотели бросить в море за измену мужу. Осенью он в течение нескольких дней, не отрываясь, приписал к ней пятьсот строф:

Все мысли, что живут во мне,
Леила, ныне все в тебе,
Мое богатство, преступленье,
Мое несчастье, исступленье,

Моя надежда вдалеке,
И все мое — здесь на земле.
Нет женщины другой на свете,
А коль и есть — не все ль равно...
Уж поздно — ты была и есть
Безумье сердца дорогое...

Но он знал, что это безумие не может продолжаться дольше. Леди Мельбурн, на этот раз действительно встревоженная, уверенная в том, что Байрон идет к гибели и ведет за собой сестру, умоляла его порвать эту связь. У него не хватало мужества. Августа провела с ним весь август. Расставаясь с ним в начале сентября, она была беременна.

XIX
БЛИЖНИЙ НАСЕСТ

Мое сердце всегда садится на самый ближний насест.

Байрон

В переписке с леди Мельбурн Байрон обозначал своих героинь буквами. Каролина была К, Аннабелла — «ваше А», Августа — «мое А», а иногда, когда нужно было соблюсти особую таинственность, обозначалась просто крестиком. Единственным желанием леди Мельбурн с тех пор, как совершился инцест, было желание, чтобы за этим опасным алфавитом последовало искупительное письмо. Но было ли это возможно?

Байрон — леди Мельбурн:

«Я пытался, как только мог, одолеть беса, но результаты оказались ничтожными, потому что средство, которое раньше редко меня не выручало, на этот раз оказалось бесполезным. Я говорю о перенесении моих чувств на другую... Мне только что представляли прекрасный случай и не отнимали надежды. Я был полон благих намерений, но ощущение, что

для этого нужно усилие, испортило все, и вот я снова — то, что вы знаете. Но так как я не привык щеголять перед вами моими мыслями на слезоточивый лад, не буду начинать этого и сегодня».

Тотчас же после отъезда Августы он получил приглашение приехать в имение к Джемсу Уэддерберну Уэбстеру, довольно банальному субъекту с белесыми волосами, которого он знал по Кембриджу, а позже встретил в Афинах. Уэбстер был болтун, хвастун и забияка, но Байрон, у которого было сильно развито чувство юмора, относился снисходительно к этой породе животных. Когда Уэбстер год назад женился на молоденькой леди Фрэнсис Эннсли, он попросил Байрона быть крестным отцом его первого ребенка. Эта просьба привела в восторг Чайльд Гарольда. «Если будет мальчик», — написал Уэбстер. «А почему нет, если девочка?» — ответил, обидевшись, Байрон. Родился мальчик.

Леди Фрэнсис была очень хороша собой, но производила впечатление болезненной. Байрон, глядя на ее бледное лицо и лихорадочно блестящие глаза, спрашивал себя, выживет ли она. Ее сестра, леди Кэтрин Эннсли, была не менее хрупкой; обе они были белокурые, с длинными загнутыми ресницами, грустными глазами, обведенными глубокой синевой. Уэбстер, веселый плотный мужчина, казался неуместным среди этих столь анемичных граций. За обедом его грубоватые шутки несколько раз вызывали нетерпеливое, еле заметное выражение неудовольствия у жены и ее сестры. Байрон, молчаливо и втайне забавляясь, не терял ни одного из их вздохов и, как любитель, наслаждался ими. Мужчины после обеда остались одни за бутылкой вина. Байрон начал превозносить леди Фрэнсис, и Уэбстер расцвел. Он очень гордился своей женой; кроме того, был очень ревнив. Но лорд Байрон уже начинал узнавать привычки и странности животных из породы мужей и лучше всякого другого умел приручить зверя. В течение всего обеда тщательно избегая оказывать какие-либо знаки внимания супруге своего хозяина, он в своей невнимательности дошел чуть ли не до невежливости. Уэбстер

нашел, что он человек с большим тактом, этот Дон Жуан, о котором рассказывают столько гадостей, и в самом деле Байрон чувствовал себя усталым и благодушным и не имел ни малейшего желания мучить супруга.

Однако тот предоставлял ему удобный случай, так как попросил Байрона пригласить его в Ньюстед, где он месяц назад провел несколько дней и слишком пристально залюбовался прелестями одной из благосклонных нимф аббатства. Вечером Байрон писал леди Мельбурн:

«Если бы у меня были дурные намерения, я мог бы прекрасно обделать дело, повернуть все это в мою пользу, но я стал так добродетелен или так ленив, что не воспользуюсь даже и благоприятной возможностью... Он предложил мне с величайшей серьезностью увезти его в Ньюстед, на что я с не меньшей откровенностью сказал ему, что он может поехать, когда угодно, но я останусь здесь смотреть за домом в его отсутствие — предложение, которое мне казалось весьма разумным, но ему почему-то очень не понравилось. Чтобы успокоить меня, он прочел целую проповедь о добродетелях своей супруги и в заключение сказал, что всеми своими нравственными и физическими качествами она очень похожа на Христа! Мне кажется, что дева Мария была бы несколько более уместным сравнением!»

Когда на следующий день Байрон уезжал из Эстон-Холла, супруг горячо приглашал его приехать еще раз. Супруга ничего не сказала, но смотрела томно. Поехать ли ему? «Сейчас ему не к кому будет ревновать, разве только к викарию и к мажордому, и у меня нет ни малейшего желания навязываться самому. Я, собственно, не совсем понимаю, что нужно даме здешних мест... Она как будто ждет атаки и, похоже, приготовилась дать блестящий отпор; мне предшествовала здесь репутация развратника, и мое спокойное, равнодушное поведение в прошлый приезд до такой степени поразило ее, что она начинает считать себя уродом, а меня слепым или хуже...»

Столь похвальное воздержание Байрона должно было бы, по крайней мере, обеспечить ему спокойное пребывание в

доме его друзей. Но люди часто не видят подлинного смысла поступков. Взамен живого человека они рассматривают фиктивный персонаж, созданный басней. Если Дон Жуан избегает смотреть на женщину, ему приписывают самые злодейские намерения. В кои-то веки бедному Байрону захотелось пощадить спокойствие супружеской четы, здоровье хрупкой женщины, — супруг сделался нервным, раздражительным, подозревая, что за этой невозмутимостью скрываются чудовищные умыслы.

Байрон — леди Мельбурн:

«Уэбстер становится невыносимым. Он возмущается моими итальянскими книгами (Данте и Альфьери) и просил меня не показывать их его жене, потому что, черт возьми!!! от этого дьявольского языка может быть страшный вред!!! Я спросил его, как поживают Стэнхопы, наши общие друзья, а он мне ответил: «Скажите, пожалуйста, вы в таком же стиле справляетесь у других, как поживает моя жена?» Итак, вы видите, что моя Добродетель должна в самой себе искать награду — так как никогда ни словом, ни делом я не проявлял интереса к его супруге. Она хорошенькая, но ничего особенного, слишком худа и не очень подвижна; но у нее хороший характер и что-то такое своеобразное в манерах и поведении; разумеется, я бы не стал думать о ней и ни о ком другом, если бы меня предоставили моим мыслям, потому что у меня нет ни терпения, ни самонадеянности заходить вперед, если меня не встречают на полдороге».

Байрон, человек без всякого самомнения, действительно никогда не шел вперед, не будучи уверенным, что его встретят. «Я могу утверждать, — говорил он совершенно искренно, — что никогда не соблазнил ни одной женщины». Он с таким же изумлением взирал на свои любовные успехи, как на свои успехи в литературе. Доступность женщин была для него предметом постоянного удивления, и в глубине души он считал ее позорной. Со дня своего приезда в Эстон-Холл он был убежден, что нимало не интересует эту молоденькую

белокурую сдержанную женщину, которая смотрела на него холодным взглядом из-под длинных ресниц. Но, подобно большинству Эльвир, леди Фрэнсис готова была пройти чуть побольше, чем половину дороги. Ей удалось устроить так, что она осталась вдвоем с Байроном в бильярдной.

«Мы были до этих пор на дружеской ноге, я припоминаю, что она однажды задала мне странный вопрос: «Как может женщина, которой нравится какой-нибудь мужчина, дать ему это понять, если он сам этого не замечает?» Я обнаружил, что мы играем без счета; это внушило мне предположение, что если мои мысли не очень поглощены нашим занятием, так же обстоит дело и с моей партнершей. Весьма довольный своими успехами, но желая большего, я сделал отважную попытку с бумагой и пером, в очень нежной и не очень плохо написанной прозе... Это было рискованно, конечно. Как это передать? Как это будет принято? Это было принято очень хорошо и спрятано недалеко от сердца, коему это послание и предназначалось; в эту минуту я увидел, как в комнату вошла особа, которой надлежало в данный момент быть где-нибудь в Красном море, если бы Сатана обладал хоть малейшей учтивостью. Она сохранила самообладание и записку. Мое письмо преуспело и даже больше (сейчас меня прервал Marito и я пишу это перед ним, он мне принес какой-то свой политический памфлет в рукописи, чтобы я прочел и одобрил; я ограничусь только одобрением, уф! — он ушел) — мое письмо вызвало ответ, весьма недвусмысленный, но слишком обильный рассуждениями о добродетели и возвышенной любви, которая касается, главным образом, душ, что я не совсем хорошо понимаю, будучи плохим метафизиком; но обычно начинают и кончают платонизмом, и так как моей прозелитке всего двадцать лет, мы, надо думать, успеем дойти и до твердых тел. Впрочем, надеюсь, что бесплотный период не слишком затянется; во всяком случае, стоит попробовать. Я вспоминаю, что в моей последней истории ход событий был совершенно обратный, мы, как советует майор О'Флаерти, «сначала сразились, а объяснились потом». Сейчас положение таково:

масса взаимных признаний, обильная меланхолия, которая, к моему глубокому огорчению, была замечена Мавром, и столько доказательств любви, сколько можно позволить, принимая во внимание время, место и обстоятельства. До свидания, отправляюсь в бильярдную».

Итак, приехав сюда с сердцем, плененным другой, Байрон оказался в один удивительный день втянутым в совершенно неожиданную историю, и (что особенно важно) в историю платоническую. Леди Фрэнсис сказала ему, что, какова бы ни была слабость ее сердца, он никогда не получит иных доказательств этой слабости, кроме ее признания. Байрон ответил, что он — весь ее, что принимает все условия и никогда без ее согласия не сделает ни малейшей попытки заставить ее отречься от своих обещаний. Весь ее? Мог ли он быть искренним? Неужели он так скоро забыл Августу? Он и сам этому удивлялся. Но это было так, и он менее, чем кто-либо, был склонен обманывать свою способность видеть. Эта молоденькая хрупкая женщина, почти девочка, трогала его. Девственная сердцем, так как не знала ни одного мужчины, кроме этого грубияна marito, она вызывала в душе Байрона все еще властвовавший над ним образ Мэри Чаворт. «Сладостна, как воспоминание о почившей любви». Он однажды написал об этом стихи. Могилы почившей любви, среди которых он существовал, были всего дороже его сердцу. Чувствительный по натуре, он искусно маскировался презрением, но никогда до конца не излечивался от надежды, ненавидел притворную невинность, которая обращается в бегство, чтобы ее преследовали, но робкое волнение сердца внушало ему уважение, если он убеждался в его искренности. Смущенный вид, молчание, бледность оказывали на него гораздо больше действия, чем страстные излияния Каролины Лэм.

Байрон всегда считался с фактом. А это был факт, что первый раз за все эти месяцы его помимо Августы заинтересовала другая женщина. Он писал наперснице:

«Вчерашний день изменил мои мысли, мои желания, мои надежды, всего меня, — и это будет для вас новым доказа-

тельством моей слабости... В силу известной причины вам не будет неприятно услышать, что я теперь совершенно не то, чем был... Вы сочтете, что все лучше, нежели та последняя история; а я не могу существовать без какого-либо объекта привязанности. Вам покажутся смешными мои превращения, но вспомните обстоятельства, прервавшие мое последнее увлечение, и вы согласитесь, что там разрыв зависел не совсем от моего каприза».

Уэбстер занял у Байрона тысячу фунтов стерлингов, чтобы соблазнить какую-то продажную графиню. Байрон проявил себя дважды великодушным, одолжив тысячу фунтов и не воспользовавшись этим для завоевания леди Фрэнсис. Никогда еще он не вел такого образа жизни. Бледная молодая женщина с длинными ресницами приходила, садилась рядом с ним и смотрела на него молча, страстно. Он тоже безмолвствовал. Жесты их были не более выразительны, пожатие рук, редкие поцелуи. По ночам он и она не спали и писали друг другу бесконечные письма. Утром оба появлялись, похожие на привидения. Она передавала Байрону свои длинные послания в книге, в нотах, глядя при этом в глаза мужу спокойным и задумчивым взглядом.

Чувства у Байрона были весьма туманные. Он все больше и больше отдавался очарованию этой невинной сентиментальности. Она попросила у него прядь его волос; он отрезал и дал ей. Когда-то для Каролины Лэм он не решился на эту жертву и подарил ей локон своего камердинера. Его это очень позабавило. Но сыграть такую шутку с хрупкой леди Фрэнсис показалось бы ему чудовищным.

К чему все это приведет его? К дуэли? К похищению? Он был готов и на то и на другое. Его достаточно занимала эта игра, чтобы довести свою роль до конца. Впрочем, была ли это только роль? Любовь приходит по мере того, как любишь. «Если ему вздумается перерезать мне горло, он сможет сделать это безнаказанно. Я, разумеется, не буду сопротивляться человеку, которого оскорбил. Если ему захочется избрать меня мишенью для пули, я не смогу отказать ему в этом удо-

вольствии...» «Десять дней. Десять дней прошло с тех пор, как я впервые появился здесь, и как изменилась моя жизнь! Почему? Она красива, очень красива... прекрасно держится... Необыкновенно романтична, и чувства у нее очень пылкие. Темперамент? Трудно сказать... Очень умненькая.... Пишет прекрасные письма, хотя у нее несколько немецкий стиль. У нее нежный голос. Она не говорит глупостей, по крайней мере в обществе. В дуэте она, разумеется, способна расчувствоваться до вздора. Но может ли быть иначе между двумя платониками?»

Байрон, разочарованный во всем, не скучал в этой пасторали. Опасность небольшой супружеской стычки, приятное сознание иметь союзницей грациозную, чувствительную женщину — все удерживало и привлекало его.

Однако Дон Жуан не был человеком, способным платонизировать вечно. Если бы даже его темперамент и выдержал, гордость не перенесла бы этого. Печати обладания недоставало этому приключению. Нужно было победить, хотя бы для леди Мельбурн. Но замок Эстон-Холл из всех замков в Англии меньше всего подходил для победного финала. Самое большее, что можно было здесь себе позволить, это короткие встречи, удобные только для беглых поцелуев. Оставалось воспользоваться ночью, но расположение комнат не позволяло ночных визитов.

Уже давно возникал разговор о поездке на два-три дня группы обитателей Эстон-Холла в Ньюстед. Байрон, весьма поддерживаемый женщинами, воскресил этот забытый проект. Уэбстер не возражал. Знаменитая нимфа все еще притягивала его.

В Ньюстеде Байрон чувствовал себя в своей сфере. Престиж аббатства увеличивал его собственный престиж. Он показывал гостям свой готический замок, свое озеро, аллею монахов, прелестный монастырский фонтан. Он наполнил вином череп в присутствии восхищенной леди Фрэнсис. Он прогуливался с нею в парке, где олени и лани следовали за ними под высокими дубами. Он чувствовал ее благоговение и покорность. В этом так хорошо знакомом ему доме нетруд-

но было устроить ночное свидание. В полночь невинные возлюбленные встретились одни, вдалеке от всех.

«День, когда мы очутились всецело предоставленными самим себе, оказался чуть ли не роковым — еще одна такая победа, и мы с Пирром пропали. Вот чем это кончилось. «Я в вашей власти. Я признаюсь в этом; предаюсь вам вполне. Я не бесстрастна, как это может показаться, но не перенесу размышлений, которые за этим последуют. Не думайте, что это одни только слова. Я вам говорю правду, — а теперь поступайте, как хотите». Прав я был или нет? Я ее пощадил. Было что-то такое необычайное в ее поведении, какая-то кроткая решимость — не ломанье — не борьба — что-то такое неуловимое, что убедило меня в том, что она говорит серьезно. Это не было обычное «нет», которое слышишь сорок раз и всегда с той же интонацией, но тон и вся манера... Но я принес большую жертву: два часа ночи — ни души — бес, нашептывающий, что это все пустословие... И все-таки не знаю, могу ли я об этом жалеть, она, кажется, так признательна моему великодушию, и это хоть одно доказательство того, что она не разыгрывала обычного увиливания скромности, что иногда бывает просто невыносимо в таких случаях. Вы спрашиваете меня, готов ли я идти «до конца»? Я отвечаю «да». Я ее люблю».

В течение нескольких дней он переживал мучительную внутреннюю борьбу. Она предавалась ему всецело. «Только, чтобы не вызывать вашего неудовольствия... Только, чтобы вы не полюбили другую, я сделаю все, что вы хотите». Он чувствовал себя обезоруженным; она казалась ему такой хрупкой, такой бледной. Он видел, что она готова заплакать. Что делать?

Он сжалился и пощадил ее. «Она очень боялась Дьявола, а у него не очень-то в милости, чтобы удовлетворять мои собственные страсти ценой несчастья бедной женщины». Может быть, это была ошибка? Не был ли он обманут чувствами, лучшими из всех, когда-либо пережитых им? Возможно, леди Мельбурн еще раз сказала бы, что он не знает женщин. Не важно, он и не претендовал на то, чтобы знать их. Впервые за долгое время он был доволен собой. Он в минуту сла-

бости решился уступить доброму чувству, которое его тщеславие повелевало ему задушить. Это доброе чувство было его собственной наградой. «К счастью, надо сказать, так как никакой другой не было». Однажды утром влюбленные простились. Байрон казался очень растроганным, леди Фрэнсис загадочной. Что же касается Джемса Уэддерберна Уэбстера, он подарил Байрону на память об этих двух неделях табакерку, украшенную весьма пылкой надписью.

XX
КОРСАР

> Трудно не увидать того, что ищет XIX век, все увеличивающаяся жажда сильных ощущений — вот истинный его характер.
>
> *Стендаль*

Сказать правду, Дьявол слишком щедро разбрасывал крючки с приманкой для уловления души, которая принадлежала ему, быть может, до ее рождения. Байрон хотел бежать от инцеста, перенести свои чувства на другой объект, ему казалось, что он уже у цели. Но в последнюю минуту из добрых чувств оказался ни с чем. Раскаяние мучило его день и ночь. Раскаяние, что он потерял Августу, раскаяние, что он пощадил Фрэнсис Уэбстер, тщетные мечты о том, что могло бы быть, тщетные сожаления о том, что было. «Поэзия, — говорил он, — это лава воображения, которая, извергаясь, предупреждает землетрясение». В минуты, когда землетрясение казалось близко, он писал без усилий и помногу. Еще с лета он задумал новую восточную сказку «Абидосская невеста». Зюлейка, полюбившая своего брата Селима. История инцеста — неосторожная тема, но он не мог помешать своему гению бродить вокруг этих образов. Вернувшись в Лондон, он, стремясь успокоить брожение своего ума, написал в четыре ночи эту поэму в тысячу двести строф. Он соединил в ней два

преследовавшие его образа — Августы и леди Фрэнсис. «Если бы я ничего не делал в тот момент, то свихнулся бы оттого, что слишком объелся собственным сердцем — горькая диета».

Напечатать поэму о кровосмесительной любви было опасно, признавать, что эта поэма связана с его жизнью, — еще опаснее. Однако он писал Гэльту: «Первая часть — это наблюдения из моей собственной жизни»; и леди Мельбурн: «Скоро выйдет моя новая турецкая сказка... По известным причинам она заинтересует вас больше, чем кого-либо. Мне хочется узнать, что вы думаете о моих сочинениях, — это я сам или нет?» Зачем эти признания? Почему не умолчать? Почему? Мог ли он поступать иначе? Он был неспособен, как Августа, легко и естественно забывать свои поступки. Он без конца пережевывал ошибки, перебирал свои мысли. «Я беру книги и бросаю их. Начал писать комедию и сжег ее, потому что сюжет возвращался к действительности; роман — по той же причине. В стихах я могу держаться несколько дальше от фактов, но мысли эти проходят через все... Да, через все...»

После своего возвращения от Уэбстеров он, чтобы отвести душу, вел дневник, и всеобнимающий удивительный контакт мысли Байрона с действительностью, крепкая поэтичность ракурса обращали этот дневник в настоящий шедевр. Там он осуществлял в каждой строчке то, что в «Чайльд Гарольде» являлось лишь чудом отдельных строф: охватывал себя всего целиком. Его эгоизм, «его проклятый эгоизм способствовал тому, что толчок мыслей продолжался на бумаге с такой же силой и с такой же реальностью, как в сознании». Жизнь его превратилась в бесконечный диалог Байрона с Байроном. Вечером, закрывая дневник, Байрон писал Байрону: «Ну вот, я зеваю, — итак, спокойной ночи, Байрон!» Он отмечал внешние события, но как обозревающий с вершины скалы, смешивая в невозмутимом равнодушии тигра и слона, виденных им где-нибудь в зверинце, с Клеопатрой Шекспира, поражавшей его «как законченное воплощение всего ее пола — любящая, живая, грустная, нежная, задорная, смиренная, высокомерная, прекрасная, вот чертовка! — и кокетка до конца, как с аспидом, так и с Антонием».

Никогда никакой документ не разоблачал лучше неподвижность этой души. Спустя пятнадцать лет он размышлял еще о своей любви к маленькой Мэри Дюфф. «Мне было бы грустно увидеть ее теперь: действительность, как бы она ни была прекрасна, уничтожила или, во всяком случае, изменила бы черты прелестной Пэри, которыми она обладала тогда и которые еще живут в моем воображении». Внешне он вел веселую жизнь, ужинал с Муром, с Шериданом, занимался боксом с Джэксоном, избегал мадам де Сталь, которая ему надоедала. Но внешние признаки страстей трудно уловить. Он страдал. Мысль проходила через все... Что сделать, чтобы забыть? Действовать? Может быть, в этом было спасение. Ему всегда казалось, что он создан для действий, а не для поэзии. «Кто бы стал писать, если бы у него было, что делать? «Действия, действия, действия», — говорит Демосфен. Действий, действий, — говорю я в свою очередь, и не писать, и меньше всего стихи». Зевая, как огромный зверь за решеткой света, он отправлялся с обеда на бал и мечтал о тихом Востоке. «Чего я сижу здесь? Я не пользуюсь, никогда не пользовался и не могу пользоваться популярностью. Я никогда не завоевывал общества: все, что оно дало мне, было мне дано только из каприза. Здесь я прозябаю; там я всегда был в действии или, по крайней мере, в движении. Я мрачно тупею от этой жизни моллюска, которую веду здесь. Ненавижу цивилизацию».

Тень леди Фрэнсис первая подверглась изгнанию. Она писала ему письма, где слишком много говорилось об излияниях и душах (каролинический стиль) — ему это надоело. «В конце концов, если находятся люди, которые хотят остановиться на неопределенном наклонении глагола любить, они не должны удивляться, когда спряжение заканчивают с другими».

— Как быстро вы забываете! — говорила ему леди Мельбурн.

— Но во имя святого Франциска и его снежной девы, во имя Пигмалиона с его статуей, что мне здесь было забывать? Несколько поцелуев, которые ни ей не принесли большого вреда, ни мне большого блага. Пустячное приключение, этот

уэбстерский эпизод, но оно подтвердило его мнение о женщинах. Безусловно, леди Фрэнсис кончит тем, что возьмет себе любовника посмелее. «Совершенно невозможно, чтобы она могла любить мужчину, который проявил по отношению к ней такую слабость, как я».

Не защищенный больше другим чувством, он снова порывался к Августе, когда вдруг получил неожиданное письмо. Это было письмо от Утренней Звезды Эннсли, от его М. Э. Ч., «my old love of loves», совсем маленькая записочка: «Дорогой лорд, если вы будете в Ноттингеме, приезжайте навестить меня в Эдуолтон, где вы найдете очень старую и очень преданную приятельницу, которая очень бы хотела вас увидеть. Преданная вам Мэри». Все чудесные печали прошлого воскресли от этих четырех строчек. Он знал, что она несчастлива. Джек Мастерс был нелегким супругом. Его фермеры говорили, что он лучший из хозяев, но что они любили бы его больше, ежели бы он был не так падок на их девушек! Амазонки-охотницы делили с крестьянскими девушками его привязанности. Грустная, униженная супруга покинула Эннсли и жила теперь со своей подругой в маленьком домике около Ньюстеда. Байрон не мог подумать без жалости о своей Мэри, с которой жизнь поступила так жестоко. Избалованная наследница, обожаемая матерью, всеми слугами в доме и им, Байроном, — наверно, ей сейчас очень тяжело.

Стоило ли отвечать? Она уже теперь не представлялась ему, как когда-то в юности, существом божественной природы, но его связывало с ней столько воспоминаний. Увидеть снова прежнюю улыбку? Мудрый инстинкт предупреждал его, что истинная Мэри Чаворт — это та, что живет в его воображении. Чего же хотела другая? Готова ли она полюбить его? Маловероятно, — она слыла очень добродетельной женщиной. К тому же в следующем письме писала, что ей хотелось бы «видеть в нем нежно любимого брата», и прибавляла: «Вы едва узнаете во мне веселое существо, которое знали раньше. Я стала такая худая, такая бледная и грустная. Вы много видели в жизни, я — очень мало; то немногое, что я

видела, внушает мне отвращение, я представляла себе людей лучшими, судя по собственному сердцу». В этих словах были грустные и нежные ноты, которые могли его тронуть. «Вы много видели в жизни, я — очень мало». Но что может он для нее сделать? Поехать в деревню и завести «хилую дружбу»? К чему это?

И все же он чувствовал соблазн, как это всегда бывало с ним, когда женщина первая хотя бы немножко шла ему навстречу. Сердце, которое всегда готово было сесть на ближний насест, уже расправляло крылья. Уступит ли она? Маловероятно. Там с ней живет подруга, которая уж, конечно, представляет собой страшного дракона, оберегающего нравственность. Мэри в своих письмах упоминала об ужасной репутации Байрона. Да, но тем не менее, несмотря на эту ужасную репутацию, она ему написала. Не являлось ли уже одно это признанием? Не убегала ли она, как леди Фрэнсис, как все они, только для того, чтобы ее преследовали? Не рисковал ли он, поддавшись на эту игру, вызвать приступ своего старого недуга? Леди Мельбурн, к которой он обратился за советом, заявила, что она больше ничего не понимает: «Вы не должны ожидать от меня того, чтобы я понимала и объясняла всю эту путаницу, которая существует среди этих различных дам, о которых вы мне рассказываете. Вы к этому привыкли и, несомненно, вам это должно казаться гораздо яснее».

Яснее? Нет, ему все это было совершенно неясно. Он был слабый человек. С тех пор как воспоминание о леди Фрэнсис начало бледнеть, Августа снова овладевала всем его существом. Во время своего пребывания в Эстон-Холле он почти позабыл ее. Он писал так редко, что она решила, будто он сердится на нее. Однако в ноябре он ей послал свой портрет. Августа, которая боялась быть любимой и боялась, что ее разлюбили, послала ему маленький пакет с прядью своих волос и с запиской на французском языке:

Разделять все ваши чувства,
видеть только вашими глазами,
поступать только по вашим советам,

жить только вами, вот все мои желания,
мои мечты и единственная доля,
которая может сделать меня счастливой.

Под своим локоном она написала:

Августа.

Байрон прибавил:

Волосы той,
кого я больше
всех любил.

Он больше не пытался бороться. «К чувству, поглотившему меня с некоторых пор, примешивается ощущение ужаса, которое все другие чувства делает в высшей степени пресными. Короче говоря, один из результатов его действия напоминает историю с Митридатом, который, приучив себя постепенно к самому сильному яду, достиг того, что все другие, когда он захотел прибегнуть к ним, чтобы избавиться от своих несчастий и расстаться с жизнью, оказались недейственными».

Он работал над новой поэмой «Корсар», «написанной... con amore* и взятой из жизни». Он поставил эпиграфом стихи Тассо: I suoi pensieri in lui dormir non ponno**. Хотя поэма и была взята «из жизни», Конрад, Корсар, не был Байроном; но это был герой байронического типа, такой, каким Байрон описывал его Ходжсону еще в 1811 году и каким он изобразил его в «Гяуре» — свирепый и нелюдимый, дикий, управляемый своим роком, ураган, обрушивающийся на мир, «подобно самуму». О нем не знают, откуда он, куда стремится. Он окутан тайной. В его прошлом всегда скрывается преступление, которое нам остается неизвестным. «Для него не существует ни раскаяния, ни отречения, ни искупления, то,

* С любовью *(ит.)*.

** Мысли его не могут уснуть в нем *(ит.)*.

что совершено, не может быть уничтожено, нельзя изгладить неизгладимое; он обретет покой только в могиле. Это чаще всего вероотступник или атеист, он не ищет рая, он ищет отдыха. Чтобы отвлечься от самого себя, он бросается в действие, в борьбу; корсар или пират, он объявляет войну обществу: гонится за сильными ощущениями. Ждет ли его гибель, — он готов любой ценой купить избавление от скуки».

Между Байроном и байроническими героями были явные черты сходства: высокое происхождение, пылкое и отзывчивое сердце в юности, разочарование, злоба, отчаяние. Но байронический герой переживал драмы, о которых Байрон только мечтал. Конрад был человеком действия, вождем пиратов; Байрон, которого угнетала его лень, бездействовал. Конрад был сильный, Байрон — хромой; Конрад — смуглый, Байрон — бледный. Смех Конрада был язвительной насмешкой, «которая приводила людей в ярость и в содрогание»; у Байрона смех был веселый и обаятельный. В Байроне было много детского. У него был и здравый смысл и юмор. Во время приступов ярости он на мгновение становился Конрадом, но в повседневной жизни Байрон и байронический герой мало походили один на другого и представляли друг для друга опасное общество. Байрон невольно приписывал людям, которых он хотел изобразить сильными, свою собственную слабость; байронический герой становился неестественной театральной фигурой, которой Байрон считал долгом подражать. Защищая Конрада, он защищал самого себя.

Природой все ж назначен не был он
Скликать убийц под сень своих знамен,
И много ранее он изменился,
Чем с небом и людьми порвать решился.
Он, разочарованья ученик,
Мудр на словах, в делах же прост и дик,
Тверд для уступки, горд для отступленья,
Душой простой был предан за глумленье
И в нем узнал источник бед своих...
Он слишком презирал людей для угрызений.

Это опять-таки был он, наивный юноша. Люди, женщины в особенности, заставили его пройти школу разочарования. С тех пор он видел себя корсаром вне закона, человеком преступления и любви, рыцарем в своем роде, но врагом рода человеческого, за исключением одного существа, так как Конрад любил женщину, которую Байрон сначала назвал Франческой, в память леди Фрэнсис, а потом Медорой.

Они тоже представляли собой интересный материал для анализа, эти героини байронических поэм, нежные, неземные отображения того прекрасного идеала, который Байрон отчаялся найти в жизни. «Настоящий ценитель наслаждения, — говорил он, — никогда не пустит в свое воображение грубость действительности. Любовь не терпит ничего земного, материального, ей чуждо физическое в наслаждении. Только затуманенные воспоминания, о которых мы почти забыли, которые мы не смеем назвать самим себе, способны не вселять в нас отвращение». Удивительная философия для ученика леди Мельбурн. Но эти великие искатели наслаждений всегда разглагольствуют о пламенной любви, убедившись, что голая чувственность бессильна заглушить их скуку. Только женщины всегда остаются реалистками в любви, но Конрад, подобно своему творцу, любил рыцарской любовью Медору, Пэри своего воображения.

Байрон, вручив Меррею рукопись своего «Корсара», 17 января уехал с сестрой в Ньюстед. Тропинки и холмы — все было занесено снегом, и аббатство казалось удивительно красивым на этом зимнем фоне. Он сначала думал навестить Мэри Чаворт, которая жила так близко. Но дороги были размыты оттепелью, а Ньюстед, когда там Августа, был таким чудесным приютом. Совсем не требовалось, как с леди Каролиной, блистать остроумием на каждом слове. «Мы никогда не зеваем, и всегда во всем согласны, мы хохочем больше, чем это подобает в столь солидном доме. Кроме того, наша фамильная застенчивость позволяет нам в обществе друг друга быть более занимательными, чем мы бываем среди чужих людей».

Огромные сводчатые залы оглашались их смехом. Байрон давал Августе уроки итальянского языка. Мир не существовал; только леди Мельбурн издалека посылала предостережения: не пора ли Байрону с сестрой вернуться к благоразумной жизни?.. Байрон, как всегда, защищал Августу:

«Х. — самое неэгоистичное существо в мире. Вы, разумеется, никогда не поверите, что у кого-нибудь из нас двоих может быть доброе чувство. Что касается меня, я этого не отрицаю, но она — вы не знаете, что это за существо; ее единственное прегрешение — это моя вина, а у меня нет никакого оправдания, кроме страсти, которая не может служить оправданием. Я считаю ее несравнимой по доброте и характеру. Согласитесь со мной, что она действительно очень располагающая к любви женщина, и я постараюсь ее разлюбить. Если вы мне не верите, спросите тех, кто знает ее лучше. Я говорю лучше, потому что влюбленный человек слеп так же, как сама любовь... При том физическом и моральном воспитании, которое я получил, нельзя было ожидать ничего другого. Странно то, что у меня всегда было предчувствие. Я помню, как ребенком прочел в римской истории об одном браке, о котором вам расскажу, когда мы увидимся, и я тогда спросил мать, почему мне не жениться на Х.».

Августа впервые жила со своим братом в непосредственной близости, под одним кровом, и с удивлением узнавала, что это за человек. Она видела заряженные пистолеты, которые он на ночь клал около своей постели; она слышала рассказы о его кошмарах, таких ужасных, что он иногда звал Флетчера, который приходил и успокаивал его. Во сне он так сильно щелкал и скрежетал зубами, что клал салфетку в рот, чтобы не прикусить язык. Он всю ночь не спал, пил газированную воду, выпивал до двенадцати бутылок, его мучила такая жажда, что он иногда ломал горлышки бутылок, чтобы поскорей напиться. Утром принимал невероятные дозы магнезии. Этот нелепый режим плохо отражался на его пищеварении. Ярость, в которую он иногда впадал из-за каких-нибудь пустяков, была неописуема. Августа узнавала в нем ха-

рактер Кэтрин Гордон и думала, что если он женится, жене его придется нелегко.

В конце января миссис Ли, беременность которой уже сильно подвинулась, принуждена была вернуться к себе.

Среди природы, наедине с любимым существом человек редко чувствует себя несчастным. Пребывание в Ньюстеде было веселой любовной интермедией. Но как только Байрон вернулся в Лондон, он снова попал в бурю. Она надвигалась на него со всех сторон. Его отношения с Августой становились предметом городских сплетен. В его манере рассказывать о собственных делах, показывать чужие письма обнаруживалась исключительная несдержанность. Он откровенничал с сотнями людей и нередко с самыми неподходящими. Каролина Лэм сплетничала. В Итоне школьники, читая «Абидосскую невесту», спрашивали племянника миссис Ли, не Зюлейка ли его тетка? Сам Байрон, неспособный молчать, высказывал в салоне миссис Холлэнд самые смелые теории о взаимоотношениях братьев и сестер. «Есть одна женщина, которую я сильно люблю, — заключал он. — Она ждет от меня ребенка; если это будет девочка, мы назовем ее Медора». Выходя из салона, гости, покачивая головами, обсуждали эти слишком явные намеки. Открыть за ним преступление, которому, по словам леди Мельбурн, нет прощения на этом свете, было тем более приятно, что Байрона пламенно ненавидели. Он занял в палате лордов позицию радикального вига, которая не могла понравиться. Он никогда не скрывал своего восхищения Наполеоном; хотя союзники уже вступили во Францию, он все еще продолжал надеяться, что его Бонапарт, «его герой», разобьет их. Ему казалась ужасной возможность возвращения к «старой, нелепой, надоевшей системе европейского равновесия, которая вся заключается в том, чтобы удержать в равновесии соломинку на носу короля». Он пускался в такие рассуждения открыто в стране, находившейся на военном положении, в стране, где его талант и любовные похождения создали ему уже немало врагов. Лондон накопил столько злобы против поэта, который позволял себе быть

гениальным, обладать красивой внешностью и держаться независимо, что малейшего толчка было достаточно, чтобы кристаллизовать эту злобу в насыщенный ненавистью яд. Толчком оказалось его стихотворение в восемь строк, которое год назад он написал против принца-регента. Рассказывали, что когда принц покинул своих друзей-вигов, его дочь, принцесса Шарлотта, заплакала, и Байрон послал ей анонимный стишок:

Плачь же, дочь королевского дома,
Обесчещено царство, опозорен отец...

Никто тогда на это не обратил внимания, но когда печатался «Корсар», Байрон изъявил желание прибавить к нему адресованное принцессе восьмистишие и признать себя его автором. Меррей благоразумно предостерегал его, что это может быть опасно. «Не все ли мне равно, что за этим последует, — возразил Байрон. — Мои политические убеждения для меня то же, что молоденькая любовница для старика: чем они отчаяннее, тем больше я ими дорожу». Два четверостишия подняли в печати бурю страшнейшего негодования. Ругали не только политические взгляды Байрона, но и его характер, его произведения, даже его физический недостаток. Несколько пасквилей отличались такой несдержанностью, что друзья Байрона советовали ему проучить клеветников. Он ответил, что может испытывать ненависть к людям себе равным, но что ему не доставляет ни малейшего удовольствия давить уховерток, как бы они ни были ему противны.

Как это всегда бывает, газетная буря «подняла книгу на вершину успеха». В день выхода в свет продано было тринадцать тысяч экземпляров — цифра до тех пор небывалая для поэтического произведения.

Успеху способствовал не только скандал; многие находили в этой поэме, несмотря на ее странный сюжет (который тогда никого не удивлял), непосредственное и вполне *современное откровение*, которое отвечало их желаниям. «Возвышенный стиль, презрение ко всему банальному, низмен-

ному, смелость (корень всех доблестей), которая не останавливается ни перед чем, идет до конца, любовь к необъятному простору, свободе, и этот ритм, напоминающий ритм волн, разбивающихся о берег, — все это неудержимо пленяло читателей». Для поколения, тоскующего о сильных переживаниях, Конрад был воплощением мужества, человеком, идущим до конца в своих инстинктах. «Влияние Байрона было исключительным. Его читали все. Мужчины, женщины, которые никогда не интересовались поэзией, читали его стихи; старые моряки, лавочники, чиновники, портные, модистки, а также и высокие ценители искусства помнили наизусть целые страницы его поэмы». В «Корсаре» еще больше, чем в «Чайльд Гарольде», Байрон являлся поэтом мятежников, всех тех в Европе, кто отчаялся в свободе политической и в свободе чувств.

Лондон. Одиночество среди толпы. Ощущение пустоты жизни. «Я спрашиваю себя, какого черта понадобилось кому-то сотворить такой мир: с какой целью созданы, например, денди, и короли и fellow — аспиранты колледжей и женщины «известного возраста» — и масса людей какого бы то ни было возраста — и я сам, главное!.. Есть ли что-нибудь за пределами всего этого? Кто знает? Тот, кто не может этого сказать. Кто это говорит? Тот, кто этого не знает». 22 января ему минуло двадцать шесть лет, «шестьсот по сердцу, — говорил он, — шесть по здравому смыслу». В двадцать шесть лет полагалось бы уже представлять собой что-то. Что же он представлял собой? Кто его любил? Хоть он уже не был львом сезона, его все же усиленно приглашали, но ему не хотелось никого видеть. «Хобхауз говорит, что я стал нелюдим — настоящий домовой. Правильно... Эту последнюю неделю читал, ходил в театр, кое-кто заходил; изредка зевал, вздыхал, ничего не писал, кроме писем. Если бы я всегда мог читать, мне никогда не нужно было бы никакого общества. Разве я о нем жалею? — Гм! Мужчины не вызывают во мне никакого восторга, что же касается женщин — не больше одной за раз.

Есть что-то умиротворяющее для меня в присутствии женщины — я даже не могу этого объяснить, так как у меня не очень высокое мнение об этом поле. Но это факт, — я всегда бываю лучше настроен и по отношению к себе и ко всем другим, когда на моем горизонте женщина. Даже моя хозяйка, миссис Мюль — самая древняя, самая дряхлая из их породы, — всегда может меня рассмешить, — задача нетрудная, впрочем, когда я «в ударе». Э-эх! Хотел бы я быть на своем острове!»

«Король Лир», «Гамлет», «Макбет»... Он каждый вечер ходил смотреть Шекспира, знал его наизусть. Он жил им. Очень часто писал свой дневник в отрывистом стиле принца Датского. В эту зиму 1814 года и жизнь была шекспировская. Драма Империи близилась к развязке. Хобхауз за ужином в Кокоа-Три предлагал пари на обед в ресторане, что союзники до конца февраля займут Париж; Байрон, верный своему герою, принял. 28-го Блюхер был под Мо, и Байрон выиграл обед. В марте бои под Фер-Шампенуаз в течение нескольких недель поддерживали в нем надежду, что союзники Англии, Блюхер и Шварценберг, будут разбиты. Потом все пошло наоборот. Вернувшись 2 апреля от Августы, которая скоро должна была родить, он узнал, что его кумир Наполеон слетел со своего пьедестала. «Эти бандиты вошли в Париж», — сказал он. 10-го стало известно об отречении и отправке на остров Эльба. Хобхауз и Байрон вышли посмотреть на иллюминацию в Лондоне. В Карлтон-Хаузе у принца-регента огромными сверкавшими буквами пламенело: «Да здравствуют Бурбоны и Слава Лилии».

Дневник Байрона: «Я отмечаю этот день: Наполеон Бонапарт отрекся от великой империи. Очень хорошо. Мне кажется, Сулла поступил лучше... Как! Дождаться, пока займут столицу, и потом отрекаться от того, что уже потеряно? Остров Эльба, чтобы удалиться на покой!.. Я поражен, просто ничего не понимаю. Не знаю, но мне кажется, что я, даже я (букашка в сравнении с этим человеком) готов был расстаться со своей жизнью ради вещей, которые не стоят и миллионной доли этого удара. В конце концов, может быть, корона

не стоит того, чтобы ради нее умирать? Все равно, пережить Лоди, и только для этого!»

Он написал презрительную оду герою, который его так «обманул».

Хобхауз в погоне за впечатлениями решил отправиться во Францию, чтобы увидеть последние следы чудовища. Ему хотелось поехать с Байроном, но того удерживали роды Августы. 15 апреля она родила девочку, которую (верх неосторожности) назвали Медорой. Байрон приехал сейчас же. Он гордился своим отцовством. Леди Мельбурн, которая ему, разумеется, предсказывала, что этот ребенок, родившийся от кровосмешения, будет чудовищем, он написал: «О, это того стоило, я не могу сказать, почему, и это не чудовище, а если это будет чудовище, то по моей вине, я определенно решил исправиться. Но вы должны согласиться, что совершенно невозможно, чтобы кто-нибудь еще любил бы меня хотя бы вполовину того, как любит она, а я всю жизнь стремился убедить кого-нибудь полюбить меня, и до сих пор меня не любила ни одна — моего типа. Нет, правда, мы теперь будем благонравными. Мы, кстати сказать, уж и сейчас благонравны и будем продолжать так в течение трех недель и больше». Спустя несколько дней после рождения девочки он подарил Августе, супруг которой по-прежнему увязал в долгах, три тысячи фунтов.

Он любил ее больше, чем когда-либо, отчаявшейся и неудержимой любовью; он посвятил ей стихи, которые, может быть, были лучше всего того, что написал до сих пор:

Не вздохну, не шепчу, не пишу твое имя, —
Скорбный звук, заклейменный устами чужими,
Но слеза, что сжигает мне щеку огнем, —
Это мысли, что прячутся в сердце моем.
Кратки были для счастья и для успокоенья
Те часы — их блаженство и их исступленье!
Отречемся, расстанемся, цепь оборвем —
И в разлуке утонем, чтобы вновь быть вдвоем.
Пусть тебе будет счастье, а мне — преступленье,
О, прости, мое солнце!..

Что она должна была подумать об этом пламенном призыве, застенчивая Августа? Конечно, ей льстило это. Она по-своему любила его. Разумеется, она прекрасно могла обойтись без того, чтобы иметь его своим любовником. Ей хотелось женить его, покончить с этим, но была безвольна перед ним. Он был ее братом, и он был знаменит и богат. В ее стесненной и трудной жизни он появился как избавитель. Она подчинилась ему.

Четыре тысячи человек, которые «бодрствуют, когда все другие спят» и которые управляют Англией, веселились больше, чем когда-либо. Во славу мира танцевали так же, как во славу войны. Балы устраивались в честь императора российского, в честь короля прусского. Клуб, членом которого состоял Байрон, устроил маскарад в честь герцога Веллингтона. Хобхауз нарядился албанцем, Байрон — монахом. «Isn't he beautiful?»* — говорили женщины. Каролина Лэм, по-видимому, утешившаяся, делала тысячу глупостей и заставила одного офицера гвардии снять красный мундир.

Когда Байрон на рассвете возвращался к себе домой на Олбэни, он не сразу ложился спать, а садился еще работать. Он писал поэму «Лара» и на этот раз не позаботился даже о перенесении действия на Восток. Лара не имел никакой родины, не принадлежал ни к какой эпохе. Это был настоящий байронический герой: великодушный характер, сердце, созданное для любви, но изверившееся с детства, глубокое стремление к юношеским мечтам и порывам, но слишком ясное сознание их безрассудства. Таков был Лара, похожий на Конрада, похожий на Чайльд Гарольда и похожий на Байрона. В некоторых строфах «Лары» облик самого автора выступал так явственно, с таким поразительным сходством, что даже Августа была поражена.

В душе его неясное смешенье,
Гнев и любовь, доверье с подозреньем...
Вокруг его молчанья шла молва...

* Ну, разве он не красавец? *(англ.)*

Кто ж был он — этот неизвестный? Кто?..
Иль мир он презирал? Однако знали,
Что средь веселья и его видали,
Но добавляли, что веселый смех
Переходил в сарказм...
Не улыбались никогда глаза,
Но нежность в них светилась иногда...
Как будто неусыпно принуждала
Скорбь к ненависти: он любил немало,
А ныне — отвращенье ко всему,
Как будто горькое пришло к нему.
И он чужой здесь, в мире меж живыми,
Как странный дух, низверженный другими.

Это была одна из его навязчивых идей, так он думал о самом себе. Он был блуждающий дух, существо, рожденное для иной жизни и обреченное судьбой на преступление. Чем больше величия в характере, тем опаснее разочарование. Когда обреченный на преступление вступает в жизнь с добрыми намерениями, к его ярости, которая впоследствии овладевает им, примешиваются не только мучительные угрызения, но и зависть. Зависть к тем счастливцам, которые могли употребить с пользой свои силы, не вступая в борьбу с людьми, зависть больше всего к тому, чем он мог бы быть и чем он был одно мгновение. Как демон Люцифер завидует Люциферу архангелу, так Байрон завидовал Байрону. Немногие в детстве предавались столь возвышенным мечтам, каким предавался молодой бог на холме Иды. Обреченный грешник с Беннет-стрит не мог ни забыть, ни утешиться. Простит ли он когда-нибудь Байрону «ex futurum» то, что он был пламенным и нежным?

Пришло лето. Байрон увез Августу в Гастингс на море, и они провели там вдвоем июль и август. Затем он вернулся один в Ньюстед. В Париже солдаты пели «Он вернется...» и призывали серый походный сюртук. Августа с братом писали друг другу письма, заполняя их, как дети, бесчисленными крестиками, обозначавшими поцелуи.

XXI
ПОМОЛВКА

Ньюстед. В продолжение нескольких месяцев поверенные покупателя препирались с Хэнсоном; но Хэнсон был тверд, и контракт его был составлен по всем правилам. Молодому Клаутону пришлось уступить, и к Байрону вернулось его аббатство плюс двадцать пять тысяч фунтов неустойки, которые позволили ему погасить кое-какие долги. В течение двух недель Байрон жил в Ньюстеде один. Он, правда, приглашал Тома Мура: «Место достойно обозрения, как развалины, и уверяю вас, здесь весело живали даже и в мое время; теперь это прошло. Но все же привидения, готика, запустение, озеро — придают много жизни». Но готика и запустение не соблазнили Тома Мура, и Байрон в первое время своего пребывания удостоился посещения только одного гостя — призрака черного монаха, который прошел мимо него по коридору и, не останавливаясь, посмотрел на него сверкающим взглядом.

Как только Байрон оставался один в Ньюстеде, он начинал думать о женитьбе. Почему бы и нет? В этом аббатстве слишком уныло. Было бы полезно завести кого-нибудь, «с кем бы время от времени можно было зевать вместе». Он «ценил не так уединение, как удовольствие рассказывать любимой женщине, как он любит уединение». Из всех видов любви он не испытал только брака. Он любил все необычайное, опасное. Жениться для человека с его репутацией — разве это не было необычайно? Близкие советчики поощряли его. Леди Мельбурн писала ему, что его спасение — это законная жена. Августа предлагала ему в жены кого-то из своих подруг.

Байрон — леди Мельбурн: «Я думаю, что жениться было бы самым благоразумным решением, но на ком? Я не могу предложить своего сердца и не жду другого взамен, но, как говорит Мур: «Красивая жена — это приличная ретирада для пресыщенного тщеславия развратника». Моя жена сможет делать все, что угодно, но она должна обладать хорошим харак-

тером, вести себя спокойно и предоставить мне свободу совести. Мне нужна скорее жена-приятельница, чем сентиментальная супруга. Я достаточно видел браков по любви, чтобы обречь себя на общую долю счастливых супружеств. Единственной неприятностью будет, если я влюблюсь в свою жену, — что мало правдоподобно, так как привычка странным образом влияет на мои чувства. А тогда я стал бы ревнивцем, и вы еще не знаете, каким чудовищем может сделать меня дурная страсть!»

На ком же остановить выбор? Была леди Кэтрин Эннсли — младшая сестра леди Фрэнсис Уэбстер, хорошенькая, совсем молоденькая, «и, я думаю, глупенькая, но я недостаточно ее видел, чтобы судить, впрочем, ум в юбке внушает мне отвращение». Была леди Аделаида Форбс, похожая на Аполлона Бельведерского. Была приятельница Августы, леди Шарлотта Люсен Гоуэр, с глазами газели. Была очаровательная мисс Эльфинстон, с которой он постоянно кокетничал и которая говорила ему, что он капризник. И, главное, была Аннабелла. Странно, но эти два столь различных существа не могли в течение двух лет расстаться друг с другом до конца. Байрон после отказа «Принцессы Параллелограммов» считал чуть ли не долгом чести не обнаруживать никакого недовольства. «Не знаю, выше ли я тех предрассудков, которые в таких случаях свойственны человеку-животному, но я, во всяком случае, выше того, чтобы их обнаруживать». Однако он прибавлял: «Должен признаться, что никогда не смогу забыть это «нет» прошлого лета — даже и в том случае, если бы оно назавтра превратилось в «да». У него сохранилось чувство несколько изумленного уважения к единственной женщине, осмелившейся ему отказать, неясное чувство досады и любопытства. Способна ли она любить, эта метафизичка? Забавно было бы смутить этот столь суровый рассудок.

Для нее самой несчастье заключалось в том, что она слишком заинтересовалась этой опасной победой. Ей, разумеется, льстило, что она привлекла поклонника, которого тщетно старалась привлечь ее безумная кузина, но, кроме того,

была убеждена, что только она одна способна спасти этого прекрасного грешника. Чтобы вкрасться в хорошо защищенное сердце, любовь иногда принимает странные обличья. Аннабелла была уязвима в своей жажде жертвы. С тех пор как он сделал ей предложение (а в тихой ее жизни это было событием, всю важность которого не мог постичь Байрон, демон волнений), она не переставала интересоваться его поступками. Нелепые и злые сплетни, которые распространялись про Байрона в Лондоне, смущали ее. Говорили, что он собирается увезти на какой-то остров старшую дочь леди Оксфорд, чтобы воспитать ее там и потом жениться на ней. Говорили, что он очень дурно поступил с молодым Клаутоном, который хотел купить Ньюстед, что Клаутон дал неосторожно слишком высокую цену на аукционе, и Байрон его совершенно разорил. Все эти рассказы огорчали Аннабеллу. Она передавала через свою тетку Мельбурн приветы и пожелания Байрону: «Так как у меня не будет случая увидеться с ним, мне было бы очень приятно, если бы вы сказали ему, что я всегда с радостью узнаю, что он счастлив, и если мое уважение может доставить ему некоторое удовлетворение, он может быть спокоен, я никогда не поверю людям, которые говорят о нем дурно». Она надеялась увидеться с ним: «Я считаю его общество настолько приятным, что ради удовольствия пользоваться им охотно подвергну себя риску заслужить репутацию кокетки, при условии лишь, что ему от этого не будет никакого вреда».

Наконец в августе 1813 года она сама — удивительная смелость для молодой девушки — первая ему написала. Она объясняла свое прежнее поведение привязанностью к другому (это была выдумка, но бедной девочке казалось, что она поступила очень тонко), предлагала дружбу и давала всякие советы: «Не позволяйте себе быть рабом минутной прихоти, не губите попусту ваших благородных побуждений... Делайте добро... Но чтобы делать добро людям, вы должны их любить и прощать их слабости». Гм... Корсар, наверное, усмехнулся бы, но он ответил безупречным письмом, едва ли не в торжественном стиле: она была первая женщина, с которой он мечтал пойти

под венец, и, вероятно, последняя. Леди Мельбурн была права, говоря, что он предпочел ее всем другим. Это было, это и осталось правдой. «Но ваш отказ не явился для меня новым разочарованием только потому, что невозможно прибавить ни единой капли горечи в чашу, переполненную до краев». Что касается дружбы: «Я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь смог вас разлюбить... но каковы бы ни были мои чувства, они не грозят вам никакими преследованиями с моей стороны». Как он был почтителен и серьезен и как трудно было бы леди Мельбурн узнать своего друга в этом письме! Но знал ли он сам, что это была игра, или он был искренен? Как все люди, одаренные большим воображением, хамелеон по натуре, он создавал себе образ этой молодой девушки в ту минуту, когда писал ей. Ему вспоминалось довольно круглое, но правильное лицо, очень хорошенькая фигурка. Ему хотелось нравиться. Он принимал облик, который лучше всего мог служить его целям.

Хрупкая, парадоксальная дружба, но она длилась. Байрон находил в ней странное удовольствие. Ему казалось пикантным показывать леди Мельбурн «высокопарные» письма ее племянницы. Аннабелла, смятенная, упрекала себя в том, что отказала ему, и, еще не совсем отдавая себе в этом отчет, стремилась заставить его сделать предложение еще раз. Ах, как она раскаивалась теперь в том, что сказала, будто любит другого!

Разумеется, она поставила перед собой задачу исправить его: «Ей известны некоторые его добрые поступки, она знает, он лучше того, что о нем говорят. Его смех звучит неискренно, он несчастлив, она это чувствует. Неужели в самом деле правда, что он совершенно неверующий?» Тут Байрон проявил большое чистосердечие: «Я теперь подхожу к вопросу, которого, как вы могли заметить, я до сих пор избегал. Вопрос ужасный — религия. В первую половину моей жизни я воспитывался в Шотландии среди кальвинистов; это внушило мне глубокое отвращение к этой секте. С тех пор я посетил самые богомольные и самые маловерные страны — Испанию, Грецию, Турцию. У меня нет окончательного мне-

ния на этот счет. Я, конечно, верю в Бога и был бы рад, если бы меня лучше убедили в этом. Если у меня в данный момент нет никакой твердой веры в традиции или в откровения тех или иных догматов, то, я надеюсь, не из-за отсутствия уважения к Создателю, а к его созданиям».

Она посоветовала ему почитать Локка и «не придавать такого значения доказательствам». Но Байрон не стал читать Локка, а читал Иова и Исайю, более мрачных пророков. Он не отрицал, но и не верил: «Я не пришел к окончательному выводу, но считаю ханжество скептицизма не менее пагубным, чем благочестивую нетерпимость... Почему я здесь? Я об этом ничего не знаю. Куда я иду? Бесполезный вопрос. Среди мириад живых и мертвых миров, звезд, систем, бесконечностей стоит ли мне волноваться о судьбе атома?» В следующем письме она отвечала: «Это правда, мы атомы, но разве атом — это ничто, разве он ничего не значит перед лицом Бесконечного? Отрицать Его способность обнимать бесконечно малое наравне с бесконечно великим — это значило бы отрицать Его божественные свойства». Уверенная в своей духовной силе, в могуществе своего ума, она давала Байрону душеспасительные советы: «Испробуйте милосердие, и вы им вдохновитесь. Делайте добро. Сколь я ни несовершенна, я познала радость приносить людям утешение и пробуждать добродетель».

Она испытывала такое чувство, словно она, с сознанием всей важности взятой на себя задачи, подходила к больному и ухаживала за ним. Бедная Аннабелла! Чем больше он удалялся от нее, тем сильнее в ней было желание писать ему. Она не могла оторваться от этого удивительного облика. Читала его поэмы «Гяур», «Корсар». Она находила, что он совершенствовался в изображении чувств: «Его описания любви так хороши, что я чуть сама не влюбляюсь», говорила об этом всем своим друзьям, писала своей тетке Мельбурн. В сущности, она была вся поглощена им, но этого не сознавала. Ей казалось, что она так хорошо знает себя, что она такая серьезная, такая ученая. Лорд Байрон — это несчастное безобидное существо, которое она вернет на стезю добродетели. В своей

смелости она дошла до того, что заставила своих родителей пригласить его в Сихэм. «Я должна сообщить вам, — писала она леди Мельбурн, — мои родители, узнав, что лорд Байрон собирается вернуться на север, сочли удобным пригласить его к нам. Я буду очень рада, если он примет приглашение, которое папа посылает с этой же почтой... Мне безразлично, что по этому поводу будут говорить, и я знаю, что вы считаете разумным такое отношение».

Несмотря на, казалось бы, нежные родственные отношения, тетка и племянница так мало подходили друг к другу, что вряд ли могли бы столковаться. Аннабелла считала свою тетку легкомысленной, безнравственной; леди Мельбурн не нравилось, что молодая девушка увлекалась то математикой, то метафизикой. Ей становилось не по себе, когда женщина говорила ей, что ее любимые писатели — это шотландские философы, и при этом еще добавляла: «Я расхожусь со многими во мнении, считая, что эти книги могут принести большую практическую пользу — даже в самых простых случаях жизни». Старуха-тетка попросила свою племянницу описать ей, какие качества она хотела бы видеть в своем муже, и получила подробный отчет по всей форме:

«МУЖ

Он должен обладать твердыми принципами Долга, которым надлежит управлять его сильными и возвышенными чувствами, подчиняя их голосу Разума.

Гениальность, на мой взгляд, необязательна, хотя и желательна, если она соединяется с тем, о чем я только что говорила.

Мне требуется характер, чуждый подозрительности и не склонный обнаруживать постоянно дурное настроение, а также большая ровность в привязанности ко мне, а не то бурное чувство, которое всякие ничтожные обстоятельства способны увеличить или уменьшить.

Я хочу, чтобы мой муж считал меня разумной советчицей, а не наставником, на которого он может слепо положиться.

Происхождение мне безразлично. Но считаю хорошее родство важным преимуществом.

Меня не интересует красота, но имеют значение манеры джентльмена, без которых, полагаю, вряд ли можно меня привлечь.

Я не войду в семью, у которой в роду есть сильная склонность к помешательству».

Леди Мельбурн, читая этот документ, наверно, пожимала плечами. Требовать от человека, которого можешь полюбить, «сухой рассудительности и холодной принципиальности» и не требовать от него «ни таланта, ни веселости, ни искренности, ни доброты» — казалось ей нелепым. Она упрекнула свою племянницу в том, что она ходит на ходулях, а не на ногах, как все люди. Аннабелла кротко возразила: «Вы ошибаетесь, думая, что я хочу обойтись без всяких сердечных чувств. Я считала, что они объединяются словом «возвышенные». Отнюдь не думая, что меня можно пленить сухой рассудочностью и холодной принципиальностью, я, напротив, всегда питала отвращение к людям подобного рода. После столь исчерпывающего объяснения вы, может быть, откинете мои ходули и согласитесь с тем, что я хожу всего только на цыпочках».

Она, вероятно, очень бы удивилась, если бы могла заглянуть по ту сторону сцены и прочесть, что написал Байрон на этой характеристике, которую ему показала леди Мельбурн: «Она, по-видимому, была избалована не так, как обычно бывают избалованы дети, а систематически; своего рода Кларисса Гарлоу с неудачной поправкой — уверенностью в собственной непогрешимости, которая приведет или сможет привести ее к какой-нибудь замечательной ошибке... Она берется рассуждать и спорить со мной на метафизические темы. Ну, серьезно, если она воображает, что мне доставляет удовольствие изучать Credo св. Афанасия, думаю, она ошибается. Я сейчас ее не люблю, но совсем не могу предвидеть, что случится, если (как говорит Фальстаф) «июнь наступит чуточку пожарче»... серьезно восхищаюсь ею, как женщиной незаурядной, слишком только засоренной добродетелью».

Она бы еще больше удивилась, если бы узнала, что в то время, как завязалась эта переписка, Байрона больше всего на свете интересовало, решится или нет леди Фрэнсис Уэбстер изменить своему мужу.

Когда в начале августа 1814 года Байрон в Ньюстеде всерьез задумался над тем, что ему действительно следует жениться, он написал мисс Милбенк: «Я вас всегда любил — люблю — и буду любить — и так как это чувство не является собственно волевым актом, я ничем не могу себе помочь. Когда мы с вами встретились, я подумал: вот женщина, способная больше всех других составить счастье любого человека, не будь он безумец или закоренелый злодей, но в то же время мне сказали, что вы любите другого и, может быть, уже помолвлены. Было бы очень жестоко требовать от женщины, чтобы она объяснила причины своего нерасположения. Вы, наверно, полюбили бы меня, если бы могли, но так как вы, по-видимому, не можете, я, не будучи фатом, не удивляюсь этому вполне естественному положению вещей».

Самое скромное, самое красноречивое письмо из всех, которые он когда-либо сочинял. Но Аннабелла была неспособна отделить свои чувства от своих убеждений, как это бессознательно делает большинство людей. На признание, которого ждала уже несколько месяцев, она ответила одним из своих метафизических посланий. Она спрашивала себя, действительно ли он был «тем наставником, которого она должна выбрать себе, чтобы он служил ей примером в земной жизни на пути к вечности». Байрону стало тошно, и он попросил сестру, приехавшую к нему в это время, посватать его в другом месте (к леди Шарлотте Люсен Гоуэр), но ему было жаль отказаться от Аннабеллы. Как только от родителей леди Шарлотты пришел ответ с отказом, он, тотчас же оживившись, сказал, что теперь сам попытает свое счастье, и 3 сентября вторично сделал предложение Аннабелле.

Байрон — мисс Милбенк: «Мне нужно вам что-то сказать, и так как возможно, что я вас некоторое время, может быть,

очень долго, не увижу, попробую это сказать сейчас. Те «препятствия», о которых вы говорили, они в самом деле непреодолимы? Или, может быть, известная линия моего поведения, некоторые перемены во мне могли бы их устранить? Я не без усилия предлагаю вам еще раз этот вопрос. Вы знаете мои чувства — и если я не повторяю о них, то только из опасения возбудить или, по меньшей мере, усилить ваше неудовольствие».

Отправив письмо, он с нетерпением стал ждать ответа. Августа в это время была в Ньюстеде. Она заметила, что Байрон в те часы, когда обычно приносили почту, садился на ступени крыльца караулить почтальона. Однажды утром, когда Байрон с Августой сидели за столом, вошел садовник и принес им кольцо миссис Байрон, которое та потеряла много лет назад; он нашел его, копая грядки под окном спальни покойной «вдовы-регентши». Байрон решил, что это предзнаменование. Почти в ту же минуту принесли письмо. «Если она согласна, — сказал Байрон, — это будет мое обручальное кольцо».

Письмо было от Аннабеллы:

«Я давно дала себе обет считать ваше счастье главной целью моей жизни. Если *могу* сделать вас счастливым, я больше ни о чем не мечтаю. Я перенесу на вас все то, к чему буду стремиться, все, что буду любить. Боязнь не оправдать ваших ожиданий — вот единственное, что меня сейчас тревожит. В действительности же мои чувства к вам мало изменились за это время».

Опасаясь, что он может быть в Лондоне и не сразу получит ее письмо, она тут же написала ему второе:

«На всякий случай и чтобы избавить вас от лишней минуты ожидания, одновременно пишу вам в Ньюстед — надеюсь, что в первом моем письме вы найдете все, что *вы желаете*».

Байрон с торжествующим видом протянул письмо через стол Августе, которая, отнюдь не находя в этом ничего удивительного, заявила, что «это самое замечательное, самое очаровательное письмо из всех, что она когда-либо читала», и

тотчас же изъявила готовность быть образцовой золовкой. Она была в полном восторге от того, что Байрон, наконец, «пристроился», и всякое воспоминание об инцесте без малейшего труда улетучивалось из ее туманного сознания.

Байрон, внезапно воодушевившись, послал в Сихэм одно за другим три письма на протяжении трех дней. «Ваше письмо открыло мне новую жизнь... Вы можете сделать меня счастливым, вы это уже сделали...» Он писал ей, что умирает от желания ее увидеть, и как можно скорее: «Я думаю об этой встрече с таким сердечным трепетом, что мне даже самому себе не хотелось бы в этом признаваться. Когда принесли ваше письмо, моя сестра сидела рядом, она испугалась моего вида, потому что впечатление было почти мучительно в первую секунду...», «Вы будете моим мудрым путеводителем, моим другом. Все сердце мое принадлежит вам... Это мое третье письмо за три дня...» И он заканчивал: «Примите чувства моего глубочайшего уважения и — смею ли прибавить слово? — любви».

Дон Жуан — жених. Новизна приключения восхищала его, но он действительно надеялся, что будет счастлив. Разве он всегда не мечтал о семейной жизни, еще во времена Мэри Чаворт? Разве он не стремился к спокойствию? Мог ли он найти себе более достойную супругу, чем эта молодая и столь несомненно добродетельная девушка? Он не любит ее? Но это дело двух дней, ему так легко полюбить. Необходимо было оповестить леди Мельбурн: «Дорогая тетушка...» (Как это восхитительно сделаться племянником своей старой приятельницы.) Он писал ей, что очень жалеет, что ее племянница не пришла к этому решению раньше, от скольких несчастий и грехов она могла бы избавить ближних. Но, наконец, с этим всем покончено: «Правду сказать, брак этот устроили вы... Моя гордость (которую мой старый учитель считал во мне господствующей страстью) в конечном счете пощажена. Это единственная женщина, которой я делал предложение таким образом, и это что-нибудь да значит — добиться ее согласия. Я бы очень хотел, чтобы кое-кто из моих богинь

сказал «нет» на ее месте, но с этим теперь покончено; я полагаю, что у женатого человека не может быть других женщин? Я спрашиваю это исключительно для сведения».

Нужно было также известить друзей: «Дорогой Мур, я женюсь — это значит, что мое предложение принято, а обычно надеются, что все остальное последует. Моя «мать Гракхов» (будущих Гракхов) — это особа, которая вам покажется слишком серьезной для меня, хотя это жемчужина среди дев и при этом украшенная добрым мнением разных представителей мужского пола». Удивительная черта. Он очень гордился, этот Грешник, безупречной репутацией своей невесты. Он написал Хобхаузу, Дэвису. Что же еще оставалось сделать? Расположить Аннабеллу в пользу Августы. «Я очень обрадовался, узнав, что Августа вам написала. Это самое кроткое, самое неэгоистичное существо в мире, привязанное ко мне, как никто. Ей особенно хотелось, чтобы я женился, и она сожалеет только, что не имела удовольствия познакомиться с вами раньше...» «Вы спрашиваете меня, правда ли, что Августа чрезвычайно робка? Она с незнакомыми людьми, как пугливый заяц. И я думаю, что в данном случае она сделала над собой большое усилие, чтобы побороть свою робость. Она сейчас кормит своего ребенка, и я опасаюсь, что это помешает ей принять любезное приглашение вашего отца. Я бы от всего сердца желал, чтобы ей это оказалось возможным». Все устраивалось как нельзя лучше. В обществе сестры и жены он чудесно проведет в Ньюстеде зиму.

Аннабелла, в свою очередь, сообщала об этом великом событии всем своим близким. Папа и мама с пафосом, но и с некоторым беспокойством говорили о высоких талантах своего будущего зятя и с нетерпением ждали его в Сихэм, чтобы познакомиться и составить о нем свое мнение. Дочь их писала своей подруге: «Не в светском обществе можно понять истинный характер лорда Байрона: спросите у тех, кто жил около него, — у несчастных, которых он утешал, у бедняков, которых он облагодетельствовал, у слуг, для которых он лучший из хозяев. Что же касается его мрачного настроения,

боюсь, что это я была тому причиной в последние два года». В ее абсолютном неведении характера и жизни своего жениха было что-то трогательное. Байрон оказался удивительным диагностом, сказав о ней: «Ее уверенность в собственной непогрешимости приведет когда-нибудь к замечательной ошибке...» В один из первых дней своей помолвки она писала: «При зрелом обсуждении я выбрала для себя наиболее подходящего спутника, способного поддержать меня на пути к вечности». Увы, это так естественно для молодых девушек, не ведающих еще страсти, принимать свои желания за действительность.

Переписка между Лондоном и Сихэмом продолжалась. Байрон старался успокоить мисс Милбенк в отношении своих религиозных чувств, говоря ей, что хотя он и неверующий, но с радостью готов принять все те доводы в пользу религии, которые ей угодно будет ему привести; Аннабелла ответила, что с этим не торопится, что все это придет само собой, если он ее любит. «Мне было немножко неприятно, когда я недавно услышала, как кто-то говорил, что я хочу вас обратить до свадьбы». Она, как все люди, была недовольна тем, что приписывала ей молва. Знала, и очень хорошо знала, что она вовсе не из прозелитизма любит своего жениха. Знала, что она женщина, и очень женщина, и что влюблена в это прекрасное лицо. Почему все считают ее холодной? Она перечитывала письма, в которых Байрон говорил ей о том, как зарождалось у него чувство.

Байрон — мисс Милбенк: «Вы, может быть, не помните тот день, когда мы с вами первый раз встретились... Я не знал вашего имени, и в гостиной было много народу. Я сам был почти чужой всем, чувствовал себя неловко и смущенно... Вы мне казались самой замечательной из всех женщин. В ваших манерах была какая-то простота, которая, хотя вы и очень мало разговаривали, сразу заставила почувствовать в вас человека, в котором нет ничего вульгарного. Вы говорите, что будете «вдохновляться мною» — я мог бы желать этого, если бы считал вас ниже себя, но этого нет! Я не хочу сказать, что буду искать в вас поддержки, которую должен вам дать я... но

хочу сказать, что вы должны быть не только моей любовью, но моей советчицей и моим цензором, если это будет необходимо».

Мисс Милбенк — Байрону: «Я сохранила неизгладимое воспоминание о каждой из наших встреч, — и об этом первом утре, когда наши впечатления так удивительно совпали. С вами, и только с вами, я тогда почувствовала себя дома. Я не могу найти другого слова. Я не чувствовала себя ни испуганной, ни удивленной, как другие, напротив, могла сказать вам все свои мысли, а может быть, и ваши... Потом был еще ужин, когда вы сидели между мной и леди Мельбурн, но вы разговаривали только с ней; я слышала, как вы сказали: «Нет, слава богу, у меня нет ни одного друга в этом мире». Вы не знаете, какое огорчение причинили в эту минуту другу, который сидел рядом с вами. От этих горьких слов я вся поледенела.

Вернувшись домой, одна в своей комнате я плакала, вспоминая их, и молилась, чтобы вам было дано найти утешение у друга на земле, так же как у друга небесного».

Байрона должно было тронуть это письмо, милое и искреннее. Может быть, он и был тронут на мгновение, но перед отъездом из Ньюстеда в Лондон он вырезал на одном из деревьев в парке тесно переплетающиеся инициалы двух имен — своего и Августы.

XXII
СВАДЬБА

Когда б Лауре быть женой поэта,
Не стал бы он всю жизнь писать сонеты.

Байрон

Итак, он гордился своей победой, но все еще не мог решиться поехать в Сихэм. Предлогом служил Хэнсон, недоверчивый законник, который требовал предварительного кон-

тракта по всей форме. Хотя Байрон увязал в долгах, он был против брака по расчету. Конечно, было очень приятно прибавить кое-какой доход к своему, которого не хватало, но условия, предложенные им, были весьма великодушны. Сэр Ральф Милбенк, когда-то очень богатый, ухлопал много денег на свои выборы; он давал в приданое за дочерью тысячу фунтов ренты, из которых триста предназначались леди Байрон на мелкие расходы, а семьсот — лорду Байрону в пожизненное пользование. В будущем Аннабелла должна была получить в наследство от лорда Уэнтворта семь или восемь тысяч фунтов дохода, которые по закону должны были быть поделены между нею и Байроном. Но Байрон, в свою очередь, приносил жене капитал в шестьдесят тысяч фунтов из стоимости Ньюстеда, что равнялось двум тысячам годового дохода.

Процедура всех этих переговоров произвела довольно неприятное впечатление на Байрона и его друзей; Хэнсон и Хобхауз находили, что Милбенки скряжничают. Леди Мельбурн заявила, что этот Хэнсон невыносим. Байрон больше всего старался дать понять, что мисс Милбенк тут ни при чем. Что до него, никто не может сказать, что он женится на ней из-за денег, потому что то небольшое увеличение дохода — все, что он приобретал в этом браке, было весьма ничтожно по сравнению с тем увеличением расходов, которое потребуется на содержание семьи и детей. Нет, он женился на ней потому, что это было «ощущение», потому, что он нуждался в «советчице», и еще потому, что иногда ему казалось: он ее по-своему любит. Но ничто не угнетало его так, как необходимость ехать в Сихэм, повидать «моего старичка папу и мою старушку маму» и разыграть по всем правилам классического исскуства роль влюбленного. «Я бы хотел проснуться утром и оказаться женатым». Может быть, это была робость. Неясный страх будущего, которое будет так не похоже на прошлое. Мучительное нежелание расставаться с тем, что было. Но больше всего робость.

Байрон — леди Мельбурн: «Как только смогу поехать в Сихэм — поеду, но я чувствую себя ужасно дико при мысли не о

ней, а об этом путешествии: это, конечно, только робость и ненависть к новым людям, которую я никогда не мог в себе преодолеть».

А в Лондоне стояла прекрасная осень, и он с детской радостью наслаждался последними неделями своей свободной жизни. Он жил в очаровательном черно-белом особнячке в Олбэни, но почти каждый вечер ужинал у молодого банкира Дугласа Киннера, большого приятеля Хобхауза. Там бывал и Том Мур, его усаживали за фортепьяно, и он пел свои ирландские песенки. У Киннера было замечательное бренди, и после нескольких рюмок Байроном овладевало сентиментальное настроение. Мур пел «Утраченную возлюбленную». Байрон мечтал, вспоминая об Августе и Мэри Чаворт. Музыка, как и знакомый аромат, обладала способностью переносить его в прошлое, и оно воскресало с такой силой, что настоящее исчезало совершенно.

Бедная Мэри, он получил о ней печальные известия. У нее был припадок помешательства. Это случилось в Гастингсе, в том доме, где Байрон жил с Августой. Ее привезли в Лондон. Говорили, что это очень серьезно и ее поместят в больницу... Офелия-супруга? Еще одна драма с существом, которое он любил... Нет, правда, он не приносит им счастья... Приходил актер Кин и изображал всех знакомых в лицах; это было забавно; Августа тоже очень хорошо изображала... Приходил Джэксон, джентльмен боксер, играя мускулами под своим расшитым камзолом. С ним Байрон становился ребенком, которому хочется нравиться.. Он цитировал знаменитых боксеров, анализировал их стиль... Еще рюмка бренди... У Байрона на глазах выступали слезы. Киннер и Хобхауз хохотали как сумасшедшие. Поздно ночью Мура снова усаживали за фортепьяно. Он пел:

Я покорялся, я вздыхал.
Так сладко умоляя,
  А взор сиял
  И трепетал,
Мне сердце разрывая.

И Мудрость дулась на меня,
А я над ней смеялся,
И, так живя,
Любовью я
Безумью научался.
Иль глупость больше не придет,
А сердце возгордилось,
И взор блеснет,
Но уж не ждет,
Чтобы оно забилось?

Да, бедная Мудрость бессильна, как всегда... Это глубоко, несмотря на игривую легкость, — то, что поет Мур. И вот он, Джордж Гордон Байрон, Злой Лорд, скоро свяжет себя с Мудростью... Чувствовал ли он, что должен стать другим человеком? Нет, но в нем просыпался страх, как бы все это не кончилось очень плохо.

Наконец, в начале ноября он решился выехать в Сихэм. Крошечное местечко на берегу моря; несколько рыбацких хижин, скалистый берег. Милбенки жили недалеко от моря. Когда карета Байрона подъехала к воротам, Аннабелла сидела в своей комнате — читала. Она сошла вниз и застала его одного в гостиной около камина. Аннабелла протянула ему руку, он поднес ее к губам и поцеловал. Оба молчали. Наконец он сказал очень тихо:

— Мы с вами давно не виделись.

Она прошептала, что пойдет сказать родителям, и вышла.

Семейная жизнь в Сихэме в первый же приезд пробудила в Байроне сильно развитое в нем чувство смешного. Эти трое людей были друг с другом естественны, приветливы и сердечны, но счастье и простота маленького кружка часто бывают недоступны посторонним. Юмор Байрона, гораздо больше напоминавший иронию Свифта, чем добродушие вэкфильдского викария, был совершенно иного типа, чем у Милбенков. Байрон насмехался над религией, над политикой, над глупостью людей и их пороками. Милбенки упражнялись в невинных анекдотиках о блошках, ножках, о еде. Сэр Ральф все же както сумел снискать расположение своего будущего зятя. Он был

скучен, рассказывая бесконечные истории, но держал себя безупречным джентльменом и хорошо исполнял традиционную роль будущего тестя. Леди Милбенк никогда не нравилась Байрону. В семейном кругу Байрон нашел, что с ней трудно жить, она раздражительна и деспотична; не выносила свою золовку, леди Мельбурн; любила вмешиваться в чужие дела; хотела командовать своей дочкой и своим супругом, которые часто объединялись против нее.

Но и сама Аннабелла тоже разочаровала Байрона. Едва только он ее увидел, понял, что ошибся. Когда женщины были далеко от него, он окружал их вымыслом. И если с ними больше не встречался, они мирно занимали свое место в музее почивших богинь — в воображении Байрона. Но если им приходилось играть в жизни ту по большей части нечеловеческую роль, которую он им отводил, она почти всегда кончалась для них крахом. От Аннабеллы он, бог знает почему, ждал, что она будет очаровательной и в то же время сильной женщиной, способной заставить себя полюбить и управлять им. Не один поэт мечтал о такой подруге, в которой сочеталось бы очарование возлюбленной с веселой мудростью товарища. Но когда женщина влюблена, ей свойственны все слабости любви. Этого Байрон не мог понять, особенно когда дело коснулось Аннабеллы.

Молчаливая, ужасно молчаливая, молоденькая девушка, свеженькая, не очень хорошенькая, смотрела вопрошающим взглядом, что приводило его в невероятное смущение. Она старалась найти в нем сходство с отвлеченным образом гения, добродетельного человека. Но, кроме того, она была слишком глубокомысленна, анализировала все, что бы он ни сказал. А он говорил всякий вздор, все, что приходило в голову, «просто так, хотя бы для того, чтобы превозмочь зевоту». Из его раздражительных выпадов, над которыми потешалась леди Оксфорд и которых никогда не слушала Августа, Аннабелла делала ученые выводы. Малейшее изменение тона учитывалось математичкой в ее вычислениях сентиментальных вероятностей. Она превращала любовь в уравнение.

Иногда их характеры оказывались чрезмерно схожи, иногда недостаточно. Она приписывала ему тысячи прекрасных качеств. Аннабелла жаловалась, что ее одолевают сомнения, хотела расторгнуть помолвку; вдобавок ко всему, была больна каждые три дня неизвестно чем. Байрон холодным взглядом, без любви, оценивал ее и находил, что она «весьма достойная особа», но существо беспокойное, обреченное вечно себя мучить и (что он совершенно не выносил в женщинах) фантазерка. Он всегда говорил: «Я ищу в браке подругу, товарища, а не сантиментов». Но в этом доме с утра до вечера только и говорили о любви. Казалось, что он вернулся во времена Каролины Лэм, и в течение нескольких дней думал, что брак этот никогда не состоится.

Когда-то он обсуждал со своей старой опытной приятельницей то, что они, смеясь, называли между собой «успокаивающий метод», единственный, по мнению лорда Мельбурна, который всегда имеет успех у женщин и заключается в том, чтобы заменять слова жестами, аргументы ласками, а ответы поцелуями. «И правда, между нами говоря, это действительно забавно; она в этом отношении как ребенок, ласками ее очень легко можно уговорить и привести в хорошее настроение». Пылкие чувства обнаруживались даже сильней, чем это предполагала тетка. Пока еще Байрон мог об этом судить только по отдаленным признакам, «однако мои наблюдения дают возможность угадывать. Она не способна отдать себе в этом отчет, да я и сам был бы не способен, если бы не приобрел навыка тщательно разбирать подобные ситуации на основании самых незначительных данных, но, само собой разумеется, я не сообщаю ей своих открытий».

Скоро стало совершенно очевидно, что «успокаивающий метод» оказал на Аннабеллу несомненное действие — она больше, чем когда-либо, влюбилась в Байрона. Свет и тетка Мельбурн сильно заблуждались, считая ее холодной только потому, что она была невинной. Холодные женщины — это те, которые превращают любовь в игру. Аннабелла всю свою юность берегла себя для чувства, единственного в жизни.

Убедившись, что она его наконец нашла, отдалась неудержимо и телом и душой.

Первое ее письмо после отъезда Байрона было полно смирения и страсти:

«Мой дорогой Байрон, если я и раскаиваюсь, то не доставлю вам удовольствия узнать об этом. Если эта разлука — последняя, надеюсь, — изгладит ту тревогу, которую вызывало у вас иногда мое расстроенное лицо, тем лучше... Уверены ли вы теперь до конца, что я вас люблю? Почему вы в этом сомневались? Это ваше единственное прегрешение. Что до моих, то мне не следует о них много думать. Я бы хотела, чтобы мы уже были мужем и женой, тогда бы я постаралась и не стала бы ссориться с собой из-за тысячи вещей, которые вам безразличны. Надеюсь, что вы мне пришлете урок. Я буду учить его con amore. Хочешь взять меня в свое сердце, сердце, которое будет мне приютом, пока нас не разлучит смерть?.. Не гони меня из него, в наказание, как ты угрожал мне. Всегда твоя».

И на другой день:

«Мой Байрон, я, конечно, была не я, пока вы у нас гостили. Не судите обо мне, пока не увидите мое настоящее я — это вовсе не та серьезная, дидактичная, мрачная особа, какой могла показаться. Я бываю такой, только когда меня что-нибудь очень тревожит. Те, кто знает меня, как домашнее животное, имеют гораздо больше причин жаловаться на мое безрассудство, чем на мой здравый смысл...»

Бедная Мудрость, как пел Мур, бедная Мудрость, которая для того, чтобы пленить, всегда старается надеть маску Безрассудства, которая ей совсем не подходит. Аннабелла, влюбленная девственница, подписывалась: «Твоя жена». Ответ пришел из дома Августы, из Сикс-Майл-Боттома, и было подписано: «Преданный вам Байрон». Он спрашивал, может ли она твердо решить, пока еще не поздно, что ни о чем не пожалеет?

«Я буду слишком счастлива, — ответила она, — возврата не будет. Я люблю вас, я жажду вас, мой Байрон, все больше

с каждым часом. Все мое доверие к вам вернулось, чтобы никогда не угаснуть».

Пусть будет так. Жребий брошен. Она хотела своей гибели. Он обещал.

Расставаясь с ней, сказал, что эта разлука будет короткой, но прошла неделя, другая, а Байрон не возвращался в Сихэм. Он жил в Лондоне, попивая бренди у Киннера. У него не было никаких предлогов. Тщетно Аннабелла писала, что отец сочиняет эпиталаму, что все родственники Милбенков прислали подарки, даже Каролина («Timeo Danaos et dona ferentes»*, ответил Байрон); уже испекли свадебный пирог и все готово для торжественного представления, а если жених не решится приехать, придется упразднить роль супруга, как роль принца Датского в «Гамлете»... Тщетно, проявляя необычайную смелость, она писала, что придется самой приехать в Олбэни, если он будет так тянуть. Шутливая, но в то же время серьезная угроза... Она страстно хотела его видеть. Это были уже не те письма, исполненные пламенной благочестивой премудрости. Она только и знала, что повторяла на все лады: «Я вас люблю...», «Если вам, когда были у нас, и казалось иногда, что я самая молчаливая женщина в мире, то только потому, что я ни о чем другом не могла думать...»

Он отложил свадьбу под предлогом, что Хэнсон не может найти покупателя на Ньюстед. Нельзя же жениться, не имея достаточного дохода. Мисс Милбенк протестовала, ей все равно, можно жить скромно, тогда не нужно больших капиталов. Пусть Байрон приедет. Ее родителям уже казалось, что жених не очень торопился. Сэр Ральф беспрестанно входил в комнату дочери и спрашивал у нее рифмы для своей эпиталамы. «Папа говорит: «Спешите прочь мгновения, пока он не вернется», а мама принялась шить с двойным усердием с тех пор, как вы написали о субботе. Мой дорогой, вы и счастье появитесь вместе...» «Что касается счастья, — отвечал он со своей ужасной рассудительностью, — крайне самонадеян-

---

* «Боюсь данайцев, даже дары приносящих». (Из «Энеиды» Вергилия.)

но быть заранее уверенным в непрерывном блаженстве, тем более что это зависит не столько от людей, сколько от обстоятельств...» За несколько дней до свадьбы он еще раз попросил ее хорошенько подумать. Наконец 23 декабря: «Дорогая Аннабелла, если мы увидимся, пусть это будет уже для того, чтобы обвенчаться... Если же надо решиться отказаться от этого — то лучше издалека». Может быть, в этих колебаниях была большая доля мучительной жалости потерять Августу, которая продолжала писать нежные бессвязные письма с многозначительными крестиками.

Байрон просил Хобхауза быть его свидетелем. Перед отъездом они пошли вместе получать брачное разрешение. При его вручении Байрон спросил:

— Скажите, каков процент тех, что приходят к вам сначала жениться, а потом разводиться?

Решили, что дорога займет два дня, но жених пользовался всякими предлогами, чтобы протянуть время. Проезжая мимо Сикс-Майл-Боттома, он решил остановиться на день у Августы, и так как ему хотелось остаться с ней наедине, то послал Хобхауза в Ньюмаркет. Он провел первый день Рождества с сестрой и отсюда написал последнее письмо в Сихэм. «Итак, я доехал до сей стоянки в моем путешествии и разгорячен, как только может быть разгорячен человек любовью, когда термометр показывает бог знает ниже чего. Я везу разрешение. Это странное произведение, но оно позволяет нам обвенчаться дома. Прошу вас, сделаем так. Я уверен, что мы схватим насморк, если придется стоять на коленях где-нибудь в другом месте... Августа очень хорошо выглядит. Желаю вам веселья и кулебяки. Сегодня Рождество!»

Отсюда Байрон с Хобхаузом выехали 26-го и потратили четыре дня, чтобы добраться в Сихэм. «Жених все меньше и меньше торопится», — говорил Хобхауз. Весь дом был напуган их опозданием. Леди Милбенк, заболев от волнения, слегла в постель. Аннабелла расплакалась, когда они вошли. Хобхауз, очень смущенный, старался придумать оправдания. Но никакого оправдания не было, кроме медлительности спут-

ника. Чтобы отвлечь внимание и нарушить тягостное молчание, он развернул свой подарок — это было «Полное собрание сочинений Байрона» в желтом сафьяновом переплете. Он с любопытством разглядывал невесту. «Не очень хорошенькая, довольно безвкусно одета, чересчур длинное платье, хотя у нее красивые ножки». Девушка была необыкновенно молчалива, но казалась скромной и рассудительной. Заметно было, что она влюблена в Байрона, не отрываясь смотрела на него с восхищением, которое лишало дара речи. Так как леди Милбенк не могла сойти к столу, за обедом разговаривал один только сэр Ральф. Хобхауз нашел, что он несколько болтлив, но добрый малый и даже не лишен юмора. Еще были два священника: почтенный мистер Уэллис, приходский священник в Сихэме, и почтенный Томас Ноэл из прихода Киркби Мэллори.

Зашел разговор на церковные темы. Сэр Ральф рассказывал длинную историю про епископа дурхэмского, славившегося своим снобизмом; он писал сыну одного лорда: «Дружеские чувства, которые я питаю к лорду, вашему отцу, и особое положение, которое я занимаю перед лицом лорда моего Господа Бога...» Потом он очень долго рассказывал о епископе кентерберийском. Байрон с Хобхаузом переглядывались. Выйдя из-за стола, Байрон сказал другу: «Я вспомнил, как однажды за обедом леди Каролина Лэм сказала Джорджу Лэму: «Джордж, как будет седьмая заповедь?», и Джордж ответил: «Не ерзай».

На следующий день, 31 декабря, Хобхауз утром встал первый и пошел прогуляться на берег. Стоял ясный зимний день. Он с грустью смотрел на волны. Ничего хорошего не сулил этот брак, хотя Аннабелла теперь казалась ему симпатичной; после того как он наблюдал за ней целый вечер, стало казаться, что ее можно полюбить или, по крайней мере, проникнуться к ней добрыми чувствами. Вечером мужчины устроили забавную репетицию брачной церемонии. Хобхауз изображал мисс Милбенк, Уэллис — сэра Ральфа, а Ноэл совершал обряд венчания. Около двенадцати часов ночи вышли посмотреть на море, потом пожелали друг другу Нового года. Вечер прошел очень весело.

1 января Байрон с Хобхаузом ходили гулять на берег. День тянулся уныло и долго. Вечером после обеда Байрон сказал:

— Хобхауз, это моя последняя ночь, завтра я буду принадлежать Аннабелле.

На следующее утро, 2 января, Байрон, проснувшись, увидел приготовленную для него Флетчером свадебную пару и сразу пришел в мрачное настроение. Спустившись вниз к утреннему завтраку, он увидел Ноэла в церковном облачении и леди Милбенк, которая так волновалась, что не могла налить им чаю, потому что у нее тряслись руки. Секунду спустя появился Хобхауз в белых перчатках. В зале служанки раскладывали на полу подушки; две подушки были положены рядом впереди, для жениха и невесты. Байрон вышел пройтись по саду, сказав, чтобы позвали, когда все будет готово. Наконец сошла Аннабелла, в белом муслиновом, очень скромном платье, без всяких украшений в волосах. Она держалась с полным самообладанием. Ее сопровождала гувернантка, миссис Клермонт. Послали за Байроном. Он вошел и стал на колени рядом с невестой. Подушки были очень жесткие, и он сморщился, что придало ему сосредоточенный и благочестивый вид. Преподобный Томас Ноэл читал молитву. Аннабелла спокойно, повернув голову, пристально смотрела на Байрона.

Он ничего не слышал и не видел. Перед глазами словно стоял какой-то туман, ему вспомнилась (бог знает почему) сцена прощания с Мэри Чаворт. Он видел комнату в Эннсли, длинную террасу, луга вдалеке и прекрасное лицо, которое теперь искажено судорогой безумия. Оторвали от этих воспоминаний громкие слова, которые он должен был повторить: «и блага земные разделю с тобой». С полуулыбкой он взглянул на Хобхауза. В маленькой церкви Сихэма зазвонили колокола. В саду несколько раз выстрелили из ружья. Преподобный Томас Ноэл умолк. Чьи-то голоса поздравляли Байрона, пожимали его руку — Байрон понял, что женат. Молодая леди Байрон исчезла на минуту, чтобы переодеться; вернулась в длинной серой пелерине, подбитой белым мехом. Красная физиономия сэра Ральфа исказилась от волнения; глаза леди Милбенк на-

полнились слезами; Хобхауз, до конца исполняя свои обязанности, посадил молодую в карету.

— Желаю вам много лет счастья, — сказал он.

— Если я не буду счастлива, — ответила она, — это будет моя вина.

Затем Байрон сел рядом и крепко пожал руку Хобхаузу. Лакей захлопнул дверцу кареты. Байрон, казалось, не мог отпустить руку своего верного друга. Через опущенное стекло кареты он снова схватил ее, и когда лошади уже тронулись с места, все еще держал в своей руке. Хобхауз, грустный, остался один с родителями Аннабеллы. Леди Милбенк спросила, не находит ли он, что она собой очень хорошо владела, тогда как на самом деле чувствовала себя так, словно была матерью Ифигении.

— А мне, — сказал Хобхауз, — мне показалось, что я только что похоронил друга.

XXIII
ПАТОЧНЫЙ МЕСЯЦ*

Я еще не могу сейчас определить, до какой степени он был актером.

Леди Байрон

Коляска катилась в Эльнеби, поместье, предоставленное сэром Ральфом молодым для медового месяца, унося с собой влюбленную озабоченную женщину и нервного, впавшего в

* Единственно, на чем основываются следующие страницы, — это свидетельства леди Байрон. Они не были изданы, за исключением отрывков, напечатанных мисс Мейн. Это волнующий документ, который кажется правдивым. Я привожу из него много выдержек, особенно в том, что касается верований Байрона. Здесь перед нами свидетельство тех ужасных впечатлений, которые сохранила леди Байрон об этом периоде своей жизни. Хобхауз (II, 281), которого трудно заподозрить в пристрастии к ней, уверяет, что она всегда говорила с ужасом о своем пребывании в Эльнеби. — *Примеч. авт.*

отчаяние мужчину. Ах, зачем он женился? Чтобы спасти Августу? Чтобы покончить с этим? Чтобы потешить свою гордость? Теперь он всю жизнь будет видеть около себя эту серьезную и неловкую незнакомку, которая уже наблюдает и критикует его. В нем поднималась какая-то сумасшедшая ненависть. Он начал дико петь, как делал, когда чувствовал себя несчастным.

Они проехали через город Дургэм. Звонили колокола.

— На наше счастье, надо полагать! — саркастически заметил Байрон.

Поля и леса были покрыты снегом. Он заговорил, сказал, что женитьба для него только отместка. Это был новый миф, к которому он кинулся в своем смятении. Ему всегда нужно было видеть в себе героя романа. Супружество привязывало его, по крайней мере на время, к одной-единственной женщине. Пусть. Драма разыграется именно между ним и ею.

Это была неправда, что он женился из мести. Когда он первый раз просил ее руки, миф был совсем другим. Тогда была надежда найти счастье в том, чтобы довериться и позволить управлять собой женщине. Но Аннабелла не сумела быть такой, и теперь он предназначил ей роль жертвы. Идея мести, постепенно выросшая со времени первого отказа, была недурным сюжетом байронической страсти. Ему нравился рассказ об Али-паше, который через сорок два года взял в плен и казнил человека, похитившего его сестру. Байроны не забывают никогда. Так фантазировал он, взвинчивая самого себя.

«О, как вы обмануты вашим воображением! Как это могло случиться, чтобы женщина с вашим здравым смыслом могла себе составить нелепую идею перевоспитать меня, меня!.. Было время, когда вы могли спасти меня, сейчас это уже поздно... Достаточно того, что вы — моя жена, чтобы я ненавидел вас теперь. Когда я просил вашей руки первый раз, все было в вашей власти. Теперь вы увидите, что стали женой демона». Увидев, что она действительно боится, он расхохотался так естественно, что она подумала, что все это шутка. Ее муже-

ство, авторитет, который так ценили ее родные, начинали поддаваться. Она спрашивала себя, сколько времени Байрон будет так с ней обращаться? «До тех пор, — ответил бы ей Хобхауз, если бы она могла с ним посоветоваться, — пока вы будете обращать на это внимание». Ее занятия, беспечная жизнь, успехи избалованной девушки, ее опасная уверенность в самой себе отнюдь не подготовили к тому, как надо понимать и успокаивать Байрона.

К вечеру коляска подъехала к Эльнеби. Ночь, снег. Этот пустой дом казался таким зловещим. Аннабелла вышла из экипажа с безнадежным видом. За обедом муж сказал ей:

— Теперь вы в моей власти, и я дам вам это почувствовать.

Он заговорил о Вильяме Лэме:

— Каролина Лэм для сердца своего супруга — это капли воды, падающие непрерывно. Это убивает человека и превращает его в камень. — И добавил со своим ужасным взглядом исподлобья: — Вы увидите, что вы выбрали себе такого же сожителя.

Он называл это время «их паточным месяцем», и никогда еще изменчивый месяц не светил так ярко и в то же время так не прятался за тучами. Байрон был самым ужасным, но и самым пленительным из мужей. На короткие мгновения его мрачное настроение рассеивалось, как утренний туман. Тогда разговор становился простым и веселым, и он заставлял свою жену говорить ему всякий детский вздор. Он называл ее Pippin, ранетное яблочко; подсмеивался над ее невозмутимостью. Эти короткие передышки становились для Аннабеллы воспоминаниями еще более сладостными оттого, что были редки: «как родники в пустыне», — говорила она потом. Стоило ему заметить, что какая-нибудь фраза звучит чуть-чуть приподнято, он решал, что она снова впадает в «проповеди и сантименты», — и становился грубым. Взвинченный своей собственной яростью, неспособный сдерживаться, он выкладывал ей все с безжалостной откровенностью. Аннабелле было двадцать два года, она ничего не знала о жиз-

ни: то, что узнавала теперь, очень сильно отличалось от воображаемого.

Около нее было существо непостижимое и в то же время наивное. Он обладал болезненной впечатлительностью и таким моральным и физическим эгоизмом, в который трудно было поверить. Мог без конца рассуждать о своем здоровье, о выпавшем волосе, об испортившемся зубе. Его самолюбие было крайне чувствительно ко всему, что касалось его физического недостатка. Первые дни он ничего не говорил об этом, она сама коснулась этой темы, желая освободить его и себя от чувства неловкости. А поступила так, прочтя статью Эразма Дарвина о болезнях воли. Дарвин указывал, что пациент может получить облегчение, свободно говоря о своей болезни. Действительно, с этого дня Байрон позволил ей знать об этом, но всегда говорил о своем недостатке со сдержанным смешком — «моя маленькая ножка». Когда он, гуляя, слышал на дороге чьи-нибудь шаги, то или останавливался и стоял неподвижно, чтобы незнакомец не заметил, что он хромает, или бежал бегом. Не выносил, когда на него смотрели, это приводило его в бешенство.

Он сразу же начал бороться с нравственными чувствами Аннабеллы. «Только первый шаг труден». Каждый вечер он старался убедить ее в том, что нет никаких истин ни в религии, ни в морали, и заканчивал свои рассуждения вызовом: «Ну, теперь попробуйте обратить меня!» Она не пыталась возражать. Внушала себе, что прощение, безропотность, мужество и бодрость скорее убедят его в том, что не все люди злы. То, что он называл религией, было мрачной доктриной детства, и эта доктрина, усугубленная двумя годами, проведенными в мусульманском мире, сформировала его фатализм. Не так думала о провидении Аннабелла: «Я верила в живое присутствие Бога в тех, кто хочет жить не по своей, а по его воле».

Еще не живя с Байроном, она считала его скептиком, вольтерьянцем. На деле же оказалось совершенно другое. Рассудком он был вольтерьянец, но скрытый кальвинизм про-

никал в глубины его души. Ни у одного существа не было столь подавляющего сознания Божественной воли, но Божье правосудие в его глазах не смягчалось никаким милосердием. Вся его религия была — страх и как следствие этого — возмущение. Он верил, что одни были предназначены для рая, другие для ада, а сам он принадлежал к последним. Отсюда и возникала естественная ярость против тирана вселенной, безнадежное неистовство. Однажды, после жестокого спора, он упал в кресло и сказал жене:

— Самое ужасное — это то, что я верю.

Думая об этом Боге, который радуется страданиям своих творений и, может быть, смеется над ними, он приходил в негодование. «Все зло, — грустно записывала Аннабелла, — идет от этой несчастной веры его детства, которая отрицает возвращение блудного сына».

Поистине это была трагическая чета, потому что даже достоинства каждого из них в сочетании с недостатками другого не могли привести ни к чему, кроме несчастий. Аннабелла своими рассуждениями, обычными темами размышлений обращала Байрона к серьезной стороне жизни. Но заставлять Байрона думать об устройстве вселенной — это и значило приводить его в ярость. Не без основания любил он веселых и немного сумасбродных женщин. Его спасение было в простоте, на которую Аннабелла была неспособна. Она отнюдь не была лишена тонкости суждения и прекрасно анализировала характер Байрона: «Его несчастье — это жажда возбуждения, которая всегда свойственна пылкому темпераменту, если цели стремлений не совсем ясны. Скука монотонного существования ведет подобного человека на самые опасные пути... Стремление мучить других, тяготение к вину, к азартным играм — все это из одного источника». Она рассуждала как нельзя лучше, но не умела сделать из этого необходимые выводы...

Иной раз, когда он объяснял ей, что на свете нет ничего серьезного, а мораль — это вопрос климата, эпохи, она хотела бы ему верить. «Припоминаю, — говорила она, — как я

стремилась понять, что мой долг был покинуть ради него все, сделаться его рабой и жертвой... Женщина не может любить мужчину ради него самого, если она не любит его в преступлениях. Другая любовь не заслуживает этого имени». Но ее неподкупный рассудок отказывал в праве на такую слабость, логика Аннабеллы была слишком крепка, чтобы сердце могло ее побороть.

Она была крайне удивлена, узнав о его суевериях. В нем уживались ясный ум и детские страхи. Он рассказывал, что ребенком в Абердине очень боялся жить около кладбища. Все совпадения казались ему чудесами. Верил приметам: носить черное платье опасно, залетевшая летучая мышь приносит с собой несчастье. Однажды ночью в саду, запорошенном снегом, он глядел, как пушистое облачко приближалось к луне. «Если оно закроет луну, — сказал Байрон, — все потеряно для меня, если они пройдет мимо, я спасен». Облако закрыло луну.

Обручальное кольцо леди Байрон (перстень вдовы-регентши) было слишком велико Аннабелле, и она обвила его черной ниткой, чтобы оно не падало. Когда Байрон заметил это, воскликнул: «Черная нитка!» — и потребовал ее снять. Через несколько минут Аннабелла, стоя у камина, заложила руки за спину, и кольцо упало в огонь. Байрон удручался этим в течение нескольких часов. У него были настолько странные поверья, что она нередко спрашивала себя: всерьез ли это? А может, оно было только наполовину всерьез, он ведь всегда любил мистификацию. Говорил, например, что он падший ангел, причем это надо было понимать не иносказательно, а буквально. Он говорил Аннабелле, что она была одной из тех женщин, которых, как сказано в Библии, любили небесные изгнанники. Прорицания усматривались даже в том, что ему приходилось читать. Он не забыл Зелуко, много рассказывал о нем Аннабелле. Зелуко кончил тем, что убил своего ребенка. И Байрон повторял:

— Вот так же будет и со мной, и я убью нашего.

Он верил, что непобедимая сила толкает его на зло и часто повторял:

— Моя судьба — вернуться на Восток, — да, я должен вернуться на Восток, чтобы там умереть.

Моя судьба... Для него будущее было заранее начертано в звездах и приметах. Миссис Вильямс, гадалка, сказала, что он умрет тридцати семи лет от роду. И он верил этому. Леди Байрон, образованная женщина, нередко слушала своего мужа с беспокойным удивлением. Может, это сумасшедший? Или он разыгрывает комедию сумасшествия? Она терялась.

Но это было еще не все. За этим первым слоем столь мрачных тайн Аннабелла начинала угадывать теперь другой, еще более темный. В первое же утро Байрон получил письмо от Августы. Он прочел его Аннабелле вне себя от радости:

— «Дорогое, первое и лучшее из человеческих существ...» Что вы думаете об этом? — спросил он.

Спустя несколько дней после свадьбы он показал в зеркале в Эльнеби, что они немножко похожи друг на друга. Она сказала, смеясь:

— Мы точно брат с сестрой.

Он схватил ее за руку и воскликнул:

— От кого вы это слышали?

В другой раз без всякого умысла, а может быть, и потому, что бессознательное беспокойство бередило ее душу, она заговорила о трагедии Драйдена «Дон Себастьян», темой которой был инцест, и он опять впал в ярость. Казалось, эта тема приводит его в ужас, и все-таки он без конца к ней возвращался. Молодая женщина наивно пыталась его понять, пользуясь своими школьными методами. «Но мой рассудок и мои рассуждения были в значительной мере бесполезны. Нужно было найти неизвестное в задаче, где не было достаточного числа данных для решения». Ей казалось, что он женился не в отместку, как говорил, а для того, чтобы скрыть какое-то ужасное преступление, которое нельзя себе представить. Она спрашивала себя, не было ли у него любовницы, в которой он узнал впоследствии родную дочь своего отца.

Ночью она видела, что его душат кошмары. Он говорил во сне, вставал, расхаживал большими шагами, потрясая пи-

столетами или кинжалом. Ложился снова и скрежетал зубами. Она опускала голову на его плечо, чтобы он успокоился.

— Вам нужно было бы поискать себе более нежное изголовье, чем мое сердце, — сказал он ей однажды ночью.

Она ответила:

— Я думаю о том, чье разобьется раньше, ваше или мое.

Однажды она спросила осторожно:

— Если вы соблазнили кого-нибудь, расскажите мне. Августа знает об этом?

Он признался в конце концов, что в его жизни была «ужасная тайна».

— Я расскажу об этом, когда у вас будет ребенок.

Часто ей приходило в голову, что нужно бросить его и бежать, но она любила его и жалела.

А он? Что он думал об этой женщине, такой не похожей на всех тех, которые у него были? Иногда она трогала его, и он говорил, что она хороший аргумент в пользу доказательства бессмертия. «Если что-нибудь могло меня заставить поверить в небо, так это выражение вашего лица в тот момент. Бедная малютка, вы должны были бы выйти замуж за человека получше меня». Он жалел ее и в то же время оставался беспощадным. Со времени «Чайльд Гарольда» он стал актером собственной жизни. Никогда еще у него не было более доверчивого слушателя, чем эта молодая женщина, испуганная и серьезная. Если бы у нее хватило здравого смысла, чтобы вовремя улыбнуться, он мгновенно переменил бы роль. Ему в такие моменты нужна была спокойная эпикурейка, вроде леди Оксфорд. Аннабелла теряла его из-за своей серьезности. Он говорил ей об этом: «Я прошу от женщины только смеха, на все остальное — наплевать. Я могу заставить Августу хохотать над чем угодно. Ни с кем я не бываю счастлив, кроме Августы».

Как мог он быть таким грубым? Он, который считал себя самым чутким из людей, который успокаивался в присутствии любой женщины, даже самой старой и уродливой, и который с такой нежной бережливостью пощадил хрупкую леди Фрэн-

сис? Он сам этого не понимал. Он был Байрон. Безумная злоба овладевала им. «Вы не знаете, какое чудовище может сделать из меня дурная страсть». Он чувствовал себя пленником этой женщины; в свое время предлагал ей расторгнуть помолвку. Она захотела выйти за него замуж; говорила, что ни о чем не пожалеет. И вот она с ним, в его жизни, чужая. Может быть, он пожалел бы ее, если бы жена показалась ему слабой, но Аннабелла слишком хорошо прятала свою слабость. Она не обладала ни беспокойной робостью Августы, ни боязливой хрупкостью леди Фрэнсис, у нее был невозмутимый вид и круглые розовые щеки. Она шла от заключения к заключению, утверждала, рассуждала, оспаривала. Даже жевала медленно, методично, тогда как он управлялся с едой в один миг. Любила говорить о своих чувствах. «Только не сантименты!» — восклицал он, подымая руки к небу. Она все понимала буквально, слово в слово. «Если бы вы не обращали внимания на мои слова, — говорил он, — мы бы отлично понимали друг друга». Ему нужен был покой, одиночество, это ужасно — быть всегда вдвоем. Он без конца высылал ее из комнаты, говоря: «Вы мне не нужны». Или еще: «Я надеюсь, что не всегда же мы будем вместе, это мне совсем не подходит, уверяю вас». Или еще как-то раз: «Единственная хорошая сторона в супружестве — это то, что оно освобождает вас от друзей».

Байрон уже не сомневался, что в недалеком будущем нарушит супружескую верность. Однажды он спросил у леди Мельбурн: «Могут ли быть любовницы у женатого человека?» Теперь он ей писал: «Я восхищаюсь осторожностью вашего стиля с тех пор, как нахожусь во власти женщины. Но я люблю вас, тетушка, и прощаю ваши сомнения до следующей моей любовной авантюры». Старая дама, которая полагала, что Байрон достаточно наскандалил в этой семье, мечтала о том, чтобы он держал себя тихо. «Я буду давать хорошие советы, — говорила она, — я ваш белый ворон, избегайте же черного...» «Я полагаю, что ваш черный ворон — это X, — отвечал Байрон. — Но продолжаю его любить, хотя мне сей-

час кое-что и мешает любить кого бы то ни было существенно, по крайней мере, на некоторое время». Слово «существенно» позабавило леди Мельбурн. «Меня очень насмешило ваше «существенно». Когда же это слово употреблялось в таком смысле!»

Вначале он решил было покинуть Эльнеби 20 января, чтобы провести 22-е, день своих именин, в Сихэме, у Милбенков. В последнюю минуту он сделал открытие, что 20-е приходится на пятницу, объявил, что в такой день он не поедет, и отъезд был назначен на 21-е. Леди Байрон усмехнулась. Задетый, он объяснил, что пятница считается праздником у мусульман, и у него вошло в привычку праздновать этот день. Он был в недурном настроении и во время поездки сказал, что дела у них идут не так уж плохо.

— Я думаю, теперь вам хорошо известно, каких вопросов не надо касаться, — добавил он, глядя ей прямо в лицо.

Он начал находить в жене некоторые достоинства. В продолжение этих ужасных недель в Эльнеби она работала для него: переписывала «Еврейские мелодии», которые он сочинял для музыканта Натана. Иногда они говорили о том, что читали. Аннабелла была неглупа, если бы только не была его женой... Но как же возможно было не считать ее ответственной за эту увесистую скуку супружества? Что может быть более отвратительным для человека, который был свободен, чем увидеть себя в плену у тестя и тещи, когда он никогда не был пленником даже собственных родителей? Не без ужаса увидел Байрон снова в Сихэме «моего папá сэра Ральфа». Старый баронет со своими розовыми щеками был, в сущности, добряк, но у него были поистине досадные привычки и неисправимая страсть без конца повторять свой нехитрый запас шуточек. Была, например, любимая шутка насчет бараньего жиго, и он требовал подавать жиго к столу несколько раз в неделю только для того, чтобы можно было повторить шутку. Оставаясь наедине с Байроном, декламировал ему свои речи, с которыми недавно выступал перед плательщиками налогов Дургэма. «Я сейчас слушаю монолог, который мое-

му тестю угодно называть разговором. Однажды он сыграл мне на скрипке, и я немножко отдохнул». Иногда, потеряв терпение, Байрон внезапно вскакивал и оставлял тестя «заканчивать свои рацеи пред бутылками, которых он, по крайней мере, не может усыпить». Он уходил в свою комнату, погружался в мечты, но звонили к чаю, и нужно было опять возвращаться в «лоно». «Сейчас, — писал он Муру, — надо идти к чаю, будь он проклят, этот чай. Я хотел бы, чтобы это было бренди Киннера...» Неловкая — а может быть, ревнивая — Августа забавно посмеивалась в письмах над этим прирученным Байроном. Вечером в гостиной, где совершилось его бракосочетание, он безобразно зевал, потому что это время, такое приятное в Лондоне, в Сихэме было самым усыпительным.

Если тесть и теща ему надоедали, то Аннабелла, напротив, стала союзником и прибежищем. Он называл ее теперь Pip. «Вы, мой любезный Пип, чудная девушка из рода Пипов и лучшая женщина на свете», — сказал он ей однажды вечером, когда она ему принесла лимонада в постель. Время от времени все же происходили престранные инциденты. Как-то они играли в буриме, и Байрон предложил послать исписанные бумажки Августе, которую это позабавит. Жена сказала:

— Я поставлю крестик на вашей бумажке, чтобы отличить от моих.

Он побледнел:

— Ах, нет, не делайте этого, вы напугаете ее до смерти.

И она провела всю ночь в размышлении, что бы мог означать этот крестик.

На пляже он становился веселым и простодушным товарищем. Там был большой утес, который называли «Пуховой постелью». Это было излюбленное место их прогулок. Байрон предлагал Аннабелле взбираться на утес наперегонки и обгонял, так как очень ловко бегал. В эти минуты к нему, как она говорила, возвращалось его детство, и он действительно напоминал шаловливого, невинного ребенка. Иногда он го-

ворил о себе в третьем лице, как дети. И, когда на него находила грусть, говорил: «Байрон — чижик... ах, да — он чижик!» И с горечью: «Бедный Байрон — бедный Байрон!» Аннабеллу трогал безнадежный тон, которым он произносил эти слова. К концу их пребывания в Сихэме он однажды ночью сказал: «Мне кажется, я вас люблю!». И это не было невозможным. Она становилась привычной и необходимой. Она уже знала его подпрыгивающую походку, пистолеты в изголовье, запрещенные темы. Прожив несколько месяцев в Сихэме, может быть, он и привык бы к этой рутине, как раньше привыкал к другим.

Байрон — Муру: «Я в таком монотонном и застойном состоянии — занят поеданием фруктов, разгуливанием, несноснейшей игрой в карты, попытками читать старые альманахи и журналы, собиранием раковин на пляже, рассматриванием, как растет чахлая смородина в саду, — что у меня нет времени, да и сообразительности написать вам еще что-нибудь... Моя супруга и я живем в полном ладу. Свифт говорит, что «ни один рассудительный человек никогда не женился», но для дураков, полагаю, это самое амброзиальное состояние. Я продолжаю думать, что нужно было бы учредить супружество по контракту, но уверен, что возобновил бы свой по окончании, даже если следующий срок был бы в девяносто девять лет».

Было решено, что весной Байроны поедут в Лондон. 9 марта коляска снова увозила их из Сихэма. Байрон хотел один остановиться у Августы в Сикс-Майл-Боттоме, но жена настояла на том, что и она заедет с ним. Августа долго колебалась, принимать их или нет. Дом был невелик, и она не знала, уедет ли полковник. Наконец, все-таки пригласила их. В экипаже, едва они выехали из Сихэма, Байрон дал волю своему дурному настроению. «Почему это ваша мать, когда мы уезжали, поручила вас моему покровительству? Что она хотела сказать? Разве вы сами не можете позаботиться о себе? Я не хотел ехать с вами в этот раз». Аннабелла сказала, что ей хотелось навестить Августу. «Августа — дура, — ответил он и

потом мрачным тоном повторил: — Ах, да, Августа — дура». К вечеру он сделался несколько ласковее: «Вы вышли за меня, чтобы сделать меня счастливым — не правда ли? Ну, так вот — вы сделали меня счастливым».

Августа приняла их спокойно. Она не сказала ни слова и не обняла свою невестку. Обе женщины вместе поднялись наверх, и там Аннабелла первая поцеловала Августу. После обеда Байрон попросил бренди, начал пить и посоветовал своей жене лечь спать. «Мы можем провести время и без вас, красавица моя», — сказал он, а потом, когда вернулся к себе, прибавил: «Теперь, когда она со мной, вы видите — я во всех случаях могу обойтись без вас. Я ведь говорил, что вы сглупили, когда захотели приехать сюда, и было бы гораздо лучше, если бы отказались от этого». Эта сцена показалась Аннабелле совершенно необычайной. Ей пришло в голову, что Байрон был влюблен в Августу, но та оттолкнула его. На другой день Августа приняла их все с тем же необычайным спокойствием. «Ну, guss, — сказал Байрон, — я стал весьма нравственным человеком, не так ли?» Августа как будто немного сконфузилась и сказала: «Да, я уже заметила некоторый прогресс».

Все это время Августа была очень добра по отношению к Аннабелле. Казалось, словно Байрон преследовал ее, а ей хотелось спастись, но в то же время она его боялась. Он позволял себе самые откровенные намеки: «We must fly, we must part...* Вы припоминаете, guss, когда я написал вам эти стихи?» Аннабелла была поражена нежным и глубоким выражением его лица, когда он смотрел на маленькую Медору. «Вы знаете, что это моя дочка?» — сказал он, показывая на малютку. Но так как она была его крестницей, фраза могла показаться довольно естественной. Он заказал в Лондоне две брошки с волосами его и Августы. Обе брошки были сделаны в виде букв и крестов: А — В — + + +. Одну отдал Августе и, кивнув на Аннабеллу, сказал: «Ах, если бы она только знала, что это такое». Но леди Байрон не хотела знать. Ей каза-

* Нам нужно бежать друг от друга, расстаться... *(англ.)*

лось, что ее долг отгонять, насколько возможно, это ужасное подозрение. Она испытывала «ужас и безграничную жалость». Она торжественно обещала себе никогда, ничем не обнаруживать ни в чем, что у нее могла появиться подобная мысль*.

А пока два «А» совершали долгие дружеские прогулки по парку, разговаривая о Байроне. Отчаявшаяся Аннабелла стремилась довериться Августе. А Августа была удивлена смиренной нежностью, с которой к ней относилась невестка. «Вы так добры ко мне, — говорила Августа, — потому что меня не знаете». Она давала Аннабелле советы, какой режим нужно установить для Байрона. Послушная природе своего собственного рассудка, который всегда заставлял ее низводить до своего уровня самые трагические происшествия, она считала, что раздражение брата объяснялось дурным пищеварением. Он постился, чтобы не растолстеть, а затем, проголодавшись, наедался не в меру. Вслед за этим он страдал и принимал слиш-

* Судя по документам, представляется, что у леди Байрон в это время уже возникли подозрения касательно отношений Байрона с его сестрой. Что же до Байрона и Августы, то они, несмотря на его неосторожные намеки, находились на этот счет в удивительной уверенности, что никаких подозрений быть не может. Действительно, в переписке 1816 года между леди Байрон и миссис Ли леди Байрон писала своей золовке, что, «начиная с первых недель ее супружества, эта мысль чуть не довела ее до безумия». Августа 15 июля 1816 года ответила: «Иллюзия, о которой я вам говорила, заключалась в полном неведении того, что вы в состоянии хотя бы допустить, что я являлась причиной ваших страданий или увеличивала их... Я припоминаю теперь «некоторые обстоятельства», на которые вы намекаете. Вы могли бы к этому добавить еще многое, что было бы мне так же непонятно. Все это для меня словно ужасный сон... Мне нередко казалось, что я должна была вам слепо довериться. Но в тех обстоятельствах мне казалось, что мой долг сохранить эту тайну». Мы читаем также в дневнике леди Байрон: «Она (Августа) говорила мне, что ей никогда ничего не приходило в голову относительно моих подозрений, исключая тот случай летом 1815 года, когда я с очевидностью старалась удалить ее от нас. Но она часто замечала Байрону, что тот говорит при мне такие вещи, которые всякой другой женщине открыли бы глаза. Он успокаивал ее, когда она выражала ему свои опасения». — ***Примеч. авт.***

ком большие дозы магнезии. «Все зло отсюда», — объясняла Августа. Аннабелла говорила, что Байрон — трудный муж, но она надеется завоевать его своей привязанностью. Та отвечала, что в этом можно быть почти уверенной, так как привычка имеет огромную власть над Байроном.

Несмотря на неподдельную доброту миссис Ли, пребывание у нее было истинным кошмаром для Аннабеллы. Байрон, охваченный опасной яростью самца, лишенного удовольствия, на которое он рассчитывал, злился на себя, на жену, на сестру, пил, чтобы забыться, и от этого становился еще грубее. Он заставлял Августу читать вслух письма, которые она получила от него за последние два года, где он цинично говорил о своем равнодушии к Аннабелле и любовницах. И, оборачиваясь к жене, говорил: «А в это время вы были уверены, что я погибаю от любви к вам». Рано вечером он отсылал Аннабеллу и оставался на час-два наедине с Августой. Леди Байрон чувствовала себя такой несчастной, что не могла есть и морила себя голодом. Нередко она запиралась у себя и плакала до тех пор, пока не становилось легче. «Это немыслимо... это немыслимо...» — говорила она себе. Однажды она показала Августе цитату из госпожи Неккер: «Страдания, в которых мы неповинны, забываются, но угрызения совести проходят сквозь чувства и годы». Августа поглядела на нее, не сказав ни слова, и Аннабелле показалось, что между ними возникло безмолвное соглашение.

К концу их пребывания у Августы жизнь стала до такой степени невыносимой для леди Байрон, что она пробовала искать прибежища в молитвенном забытьи. Читала Библию и, находя выражения, которые соответствовали ее состоянию, впадала в какой-то мистический экстаз. Она призвана охранять эти два погибших создания, она спасет их. Но как спасти человека, которого ты любишь и который тебя ненавидит?

Здесь Байрон узнал о возвращении Наполеона с острова Эльба, об истреблении королевских полчищ, о полете Орла. Эта новость привела его в истинный восторг. Значит, его

маленькая кумирня еще цела. «И теперь, если он и не вздует союзников, нам уж его все равно не достать. Если он способен в одиночку прибрать к рукам всю Францию, — то черта ли ему стоит пугнуть всех этих захватчиков, ему со своей императорской гвардией? Невозможно не чувствовать себя ослепленным и униженным этим великолепным шествием». Лондон был ошеломлен и немало встревожен. В Кокоа-Три ставили за провал Бурбонов пятнадцать против пяти. Хобхауз ставил за Наполеона. 23-го стало известно, что император прибыл в Париж. Он прошел Францию в двадцать дней. Трехцветное знамя развевалось в гаванях прямо против скал Дувра. Двадцать лет истории надо было начинать сызнова.

В другое время Байрон поговорил бы об этом с Хобхаузом и Киннером. Но сейчас ему доставляло такое мрачное удовольствие «дрессировать этих двух женщин», что он предпочитал оставаться в Сикс-Майл-Боттоме. Но Августа этого не хотела, и 28-го они уехали. У жены обнаружились «чревозачаточные симптомы», и она была разбита.

XXIV

ПИККАДИЛЛИ, 13

Трагедия этого супружества, как и многих других, заключалась в том, что каждый из них видел в другом не всю истину.

Гриерсон

Они сняли прекрасный дом № 13 на Пиккадилли-Террас. У них были слуги, два экипажа. Не хватало только состояния. Арендная плата составляла семьсот фунтов — это был весь доход, принесенный леди Байрон в приданое. Доход лорда Байрона был отрицательным — платежи ньюстедских ферм

не покрывали и процентов по долгам. Почти сразу начали посещать судебные исполнители, привлеченные размахом их жизни. Хобхауз перед отъездом во Францию, где хотел собрать материал о возвращении императора, зашел повидать друга. Он нашел его мрачным. Байрон не жаловался, но посоветовал Хобхаузу никогда не жениться.

Первые дни все шло хорошо («он был так мил со мной, каким я его никогда не видала»), но у Аннабеллы было уже мало надежд на будущее. «Надежда, — говорил Байрон, — это только румяна, которыми существование мажет себе лицо; легчайшее прикосновение истины заставляет их исчезнуть, и мы видим тогда, какую распутную девку с провалившимися щеками сжимали в своих объятиях». И она тоже шла к этой горькой философии.

Байрон в то время поражал своей необыкновенной красотой. Лицо приобрело печать тревожной величественности. Он носил теперь черную одежду, в которой сильней проявлялась благородная строгость его внешности. Аннабелла не уставала любоваться им. Отправляясь за цветами к Гендерсону, она «завозила» его к поэту-радикалу Ли Хенту в Паддингтоне. Байрон, покачиваясь на деревянной лошадке маленьких Хентов, рассуждал о политике лорда Кестлэри; пресса тори и правительство желали прийти на помощь Бурбонам. «Можем ли мы оставаться спокойными, когда горит дом нашего соседа?» Естественно, Байрон и его друзья были против войны с Бонапартом и протестовали против вмешательства Англии в гражданскую войну. На обратном пути леди Байрон заезжала за своим мужем. Она ожидала у ворот в своей роскошной коляске. Байрон на ступеньках крыльца играл с детьми Хента. Казалось бы, идеальная картина счастливого супружества. Смеющаяся молодая женщина, чуть-чуть полная, муж, прощающийся на крыльце со своим другом, горячие, нетерпеливые лошади — чего же еще не хватает в этой сентиментальной картинке? Они возвращались на Пиккадилли. Байрон садился работать над своей новой поэмой «Паризина». Безупречная жена писателя, Аннабелла, переписыва-

ла его черновики. Существование было подрумянено самым респектабельным образом.

Но леди Байрон была грустна. Она утратила свой свежий деревенский румянец, чувствовала себя одинокой. Друзья Байрона, Киннер, Хобхауз, — все те, кого она называла «бандой с Пиккадилли», ей не нравились. Киннер купил на имя Байрона пай в Дрюриленском театре, чтобы друг мог войти в правление театра. Аннабелла не любила этот мир кулис. Она знала, что Байрон бывает в Мельбурн-Хаузе, это тревожило. «Тетушка» была опасной советчицей. Но что делать? В глазах света Мельбурны, Лэмы были родными и друзьями Байронов. Каролина и Вильям опять ворковали, как голубки. Байрон был принят у них, все было в порядке. Он говорил теперь, что Каролина очень скучна, но привлекала его как бывшая возлюбленная, с которой можно говорить свободно, и ее доверие льстило ему. Леди Байрон сама однажды была в Мельбурн-Хаузе и там имела несчастье встретиться с миссис Чаворт-Мастерс, Мэри Энн, вылечившейся от своего нервного заболевания. Аннабелла писала об этом визите Августе: «Я никогда не рассказывала вам о моей встрече с миссис Мастерс у Каролины. Она расспрашивала о Байроне. Я в жизни не видывала такой злобной кошки. Любая женщина показалась бы праведницей рядом с ней. Ах, если б я могла уехать из этого ужасного города, от которого схожу с ума... Уверена, что в деревне я сразу бы поправилась и прекрасно зажила, и ко мне вернулось бы хорошее настроение». Ничего не могло быть мучительнее для леди Байрон, влюбленной, ревнивой, целомудренной, чем эта жизнь в Лондоне, где она постоянно чувствовала, как за каждым ее шагом следят враждебные женщины, которых когда-то любил ее муж; а она боялась чем-нибудь выдать им, что ее замужество было неудачно.

Но самое главное — это была Августа. Через десять дней она явилась и устроилась на Пиккадилли-Террас. Как могло случиться, что Аннабелла ее пригласила? «Безнадежно было, — объясняла она, — стараться держать их вдали друг от друга, с другой стороны, мне казалось возможным создать

между ними простые невинные отношения. Я чувствовала себя на страже этих двух существ». Байрон, увидев Августу, смерил ее своим знаменитым взглядом исподлобья, полным ненависти. Через несколько минут он снова поддался ее обаянию. «Вы сделали большую глупость, пригласив ее к нам, — сказал он жене. — Вы это еще почувствуете. Многое изменится для вас во всех отношениях».

В результате снова началось то, что происходило в Сикс-Майл-Боттоме. Вечером Аннабеллу снова высылали в ее комнату, где, не будучи в состоянии заснуть, она ждала, не послышатся ли шаги мужа. По звуку его шагов она узнавала, в каком настроении он появится. Если шаги приближались с угрожающей энергией, это означало, что он в бешенстве; иногда его шаги сочетались с шагами Августы, и слышались взрывы смеха. Отношения этих трех существ были поистине необыкновенными. Аннабелла звалась Pip, Августа — Goose, Байрон для своей жены был Duck (мой утенок), а для сестры — Бэби. Бывали все же и счастливые минуты. Байрон говорил жене: «Если бы я знал вас с пяти лет, я мог бы быть счастливым». И еще: «Бедная моя малютка, вам, право, не так много нужно, чтобы вы были довольны». Но иногда бывало так ужасно, что Аннабелла начинала ненавидеть Августу до того, что ей хотелось убить свою гостью. «Я сходила с ума и, чтобы спастись от этого наваждения, желания мести, вынуждена была заменить месть романтическим всепрощением». Как когда-то в детстве она защищала Фермопилы и ухаживала за чумными, так теперь ей хотелось спасти женщину, бывшую причиной ее несчастья. Так ненависть превращалась в горячую, безнадежную дружбу. Как всех влюбленных женщин, ее притягивало прошлое мужа. Августа как раз была той, «которая знала». А кроме того, она еще была той, которая защищала Аннабеллу, когда ее присутствие раздражало Байрона. Все же в конце июня леди Байрон дала ясно понять своей невестке, что ее присутствие у них затянулось, и миссис Ли вернулась в Сикс-Майл-Боттом.

Всю весну 1815 года почти каждое утро Байрон проводил час или два в издательстве у Джона Меррея. Там он встречал-

ся с одним из тех редких писателей, которые вызывали в нем чувство уважения и восхищения, — с сэром Вальтером Скоттом. Им обоим доставляли удовольствие их беседы. Скотту говорили, что Байрон — юноша со странностями, но у него не было этого впечатления. Он был одним из немногих, кто мог оценить все благородство характера Байрона. В религии и в политике они принадлежали к разным лагерям, но Скотт сомневался, чтобы у Байрона были твердые убеждения на этот счет. Он сказал ему, что через несколько лет его убеждения еще изменятся. Байрон на это запальчиво ответил:

— Надо полагать, что вы один из тех, кто предсказывает, что я стану методистом.

— Нет, нет, — отвечал Вальтер Скотт, — я не думаю, что ваше обращение будет носить столь банальный характер. Я скорее допустил бы, что вы примете католическую веру и будете отличаться суровостью самоотречения. Религия, к которой вы могли бы привязаться, должна иметь большую власть над воображением.

Байрон задумчиво улыбнулся и не ответил «нет».

Они обменялись подарками. Скотт подарил Байрону прекрасный кинжал в золотой оправе, который когда-то принадлежал грозному Эльфи-бею. Через несколько дней Байрон послал ему серебряную погребальную урну, наполненную костями: на урне были выгравированы по его заказу стихи Ювенала:

Expende — quot libras in duce summo invenies.
— Mors sola foletur quantula hominum corpuscuda?*

Скотт лучше, чем кто-нибудь другой, умел успокоить Байрона и заставить его быть доверчивым. «Он часто бывал меланхоличен, — писал Скотт, — почти мрачен. Когда я встречал его в этом настроении, то ждал, чтобы оно рассеялось само, и старался воспользоваться каким-нибудь простым и естественным поводом заставить его говорить; тогда тени быстро исчезали с его лица».

* Взвесь, сколько фунтов ты найдешь в величайшем властителе... Смерть одна знает, как малы тельца людей *(лат.)*.

Если бы леди Байрон обладала таким же знанием этих мятежных душ, возможно, в доме на Пиккадилли-Террас все стало бы очень спокойно; но леди Байрон была абсолютистка и была влюблена — два качества, которые не позволяют идти дорогой мудрости.

Июнь 1815 года. Аннабелла была на третьем месяце беременности. Хобхауз во Франции дожидался новостей из армии. 20-го курьер сообщил, что Наполеон был разбит наголову при Ватерлоо. «Poor fellow»*, — сказал он. А Байрон, узнав об этом, воскликнул: «Well, I am damned sorry for it»**. Все молодые англичанки были в Бельгии, ухаживая, кто за братом, кто за мужем, кто за возлюбленным. Каролина Лэм была тоже там и негодовала на успех леди Фрэнсис Уэбстер. Байрон не ошибался, говоря, что тот, кто поведет более смелую атаку, одержит верх над этой молодой женщиной. Она сделала успехи после своего невинного приключения; поговаривали, что это из-за нее Веллингтон опоздал на поле сражения. Что до marito, он сопровождал свою жену и сочинял поэму об этой битве.

Хобхауз вернулся. Они с Байроном с грустью следили за трагедией «Беллерофона» и проклинали английского адмирала, который называл императора «Генерал». «Тупой негодяй!» — сказал Байрон. Оба они с радостью узнали, что в момент отъезда толпа англичан приветствовала Наполеона. На этот раз катастрофа была непоправима: Европа подчинится Меттерниху. «Все надежды на республику рухнули, нам придется вернуться к старой системе. Я чувствую отвращение к политике и к убийствам; счастье, которым провидение одарило лорда Кестлэри, доказывает, как мало значения придают боги процветанию, раз они позволяют людям, вроде него, да еще вроде этого пьяного капрала, старика Блюхера, издеваться над теми, кто неизмеримо выше их. Веллингтон, конечно, исключение, это все-таки настоящий человек — Сципион нашего Ганнибала».

---

* Бедняга *(англ.)*.
** Чертовски обидно за него *(англ.)*.

Но стоит ли все это того, чтобы о нем думать? «В конце концов, есть ли сейчас на свете что-нибудь, из-за чего стоило бы подняться с кровати? Мы засыпаем под гром рушащихся царств, а утром их уже выметают за дверь». Ах, уехать, бросить этот прогнивший Запад, найти душевный мир в Греции или Турции. Как он любил часы, когда они с Хобхаузом и знаменитым Флетчером скакали под голубым небом. Плоская супружеская жизнь становилась нестерпимой. Человека, привыкшего, как он, к независимости, всякое принуждение, узда доводили до сумасшествия. Он хорошо разгадал Аннабеллу. Непогрешимая, даже в ошибках. Существо из правил и принципов, при помощи которых она думала повелевать событиями. Но чем больше верила она в это, тем больше доставляло ему удовольствия доказывать ей противное. «Брак образуется из любви, как уксус из вина. Это кислое, малоприятное питье, которое время лишило божественного аромата и превратило в безвкусное жалкое кухонное пойло... Кому могут быть интересны супружеские нежности? В супружеских поцелуях нет ничего, заслуживающего порицания. Как вы думаете, если бы Лаура была женой Петрарки, стал бы он писать всю жизнь сонеты?» Он был в бешенстве, когда Меррей, поздравляя его с «моральной чистотой» двух его стихотворений, написанных после женитьбы, добавил с любезной улыбкой: «Я бы не осмелился их читать вслух моей жене, если бы не узнал нежную руку, которая их переписывала».

Все вокруг как будто нарочно складывалось так, чтобы раздражать Байрона. У леди Милбенк умер брат, лорд Уэнтворт. Она унаследовала имя леди Ноэл и наследство, приносившее около восьми тысяч фунтов годового дохода. Но из этой суммы ничего не доставалось Аннабелле до кончины ее матери, и так как содержать владения стоило не меньше того, что они приносили, а сэр Ральф был кругом в долгах, леди Ноэл ничем не могла помочь дочери. А финансовое положение на Пиккадилли-Террас в это время приобретало опасный характер. Зная стесненные обстоятельства своего автора, Мер-

рей послал ему чек на полторы тысячи фунтов, но Байрон вернул. Судебный исполнитель не выходил из дома. Присутствие этого чужого человека превратилось в воображении Байрона в истинную драму. Правда, он не мог жить без драм. Аннабелла, которая хорошо это знала, говорила: «Судебные исполнители — это его теперешний роман».

Во всех этих несчастиях была виновата жена, которая захотела против его воли ввязаться в его жизнь. Он говорил, что у них не будет денег. Их не хватало. Кредиторы угрожали продать мебель, книги. На лестнице слышались шаги судебного исполнителя — хозяина в доме Байронов. А эта женщина была тут со своей оскорбительной добродетелью. Он знал, что плохо с ней обращался. Испытывал угрызения совести, и нередко очень острые, но и сами эти угрызения были лишней причиной для того, чтобы ее ненавидеть. «Если бы он почувствовал себя достойным меня, — сказала она однажды, — он стал бы добрым... Я для него словно его совесть». Она была часто проницательна, леди Байрон. Да, действительно, она была словно его живая совесть, но бывают случаи, когда хочется убежать от совести. Он завидовал ей, как когда-то завидовал «другому Байрону».

Чтобы обрести душевный мир, он хотел бы не видеться с ней больше, уехать на остров Наксос или отправить ее к отцу, «как избалованную дочку, какой она и была». Но когда видел, как она существует около, в него вселялся дьявол. Подобно одному из его предков, который говорил: «У моей руки дурные инстинкты», он раздваивался и становился зрителем Байрона — незнакомого и опасного. Ярость подобна вдохновению. «Она чудесно лишает способности суждения». Как только впадаешь в ярость, слишком простодушный противник уже не может быть прав. Байрон наслаждался зрелищем своей ярости и безудержно предавался злобе, которая казалась ему почти священной. Однажды в припадке гнева он бросил стенные часы на пол и разбил их каминной кочергой. Так некогда почтенная Китти Гордон действовала перед ним

в Саутуэлле. Аннабелла, будучи в это время на шестом месяце беременности, видела, как около нее растет враждебная сила, которой не могла управлять.

В своем смятении она ничего не хотела говорить родным, чтобы не обеспокоить их, и ей пришла в голову мысль обратиться к Августе. Осенью Байрон сделал завещание, которым он отказывал все, что у него было, Августе. И не кто иной, как леди Байрон с замечательным бескорыстием сообщила ей об этом: «Дорогая Ли, — писала она, — я должна рассказать вам, с какой нежностью говорил Байрон о своей дорогой Goose, — он чуть не заплакал, да и я тоже. Разговор начался с того, что он стал мне рассказывать о содержании завещания, которое только что сделал — и оно, насколько я могу судить, именно таково, какое и должно быть... И, дорогая Августа, поверьте, что я слишком хорошо вас знаю, чтобы допустить по этому поводу то, что могла бы допустить некая особа, или хотя бы что-нибудь подобное» («некая особа» была, несомненно, Каролина Лэм, чьи предположения насчет Байрона и его сестры начали распространяться по Лондону). Она знала, что Августа, несмотря на все свои недостатки, способна на добрые поступки, и пригласила ее еще раз приехать на Пиккадилли-Террас и пожить с ними до ее родов. В это время, к концу своей беременности, Аннабелла готова была ухватиться за любую помощь. Остаться одной с этим человеком, который, казалось, не владел собой, было страшно. Она не побоялась даже позвать женщину, которой опасалась больше всех.

Когда Августа приехала, Байрон был в таком состоянии, что она испугалась. У него был приступ болезни печени, лицо стало желтым. Несчастный, больной, он не находил настоящей радости даже в своей работе и принимал лауданум, только чтобы ослабить боль. Около его постели всегда стояла маленькая склянка. Это лекарство после краткого облегчения заставляло его потом еще сильнее мучиться. Раздраженный постоянной необходимостью сдерживаться из-за присутствия в доме женщины, которая была накануне родов и чувствова-

ла себя плохо, лишенный всего, что он любил, — покоя, поэтического одиночества в большом молчаливом доме, постоянно изводимый кредиторами, он становился, как его предки Гордоны, диким зверем. На этот раз он обращался с Августой так же скверно, как и с Аннабеллой. С ужасом говорил он о ее муже и детях. Когда Августа осмеливалась произнести слово д о л г, он говорил: «Оставьте долг Господу Богу». Целые дни рассуждал об ужасном институте брака, клялся вырваться из-под этого ненавистного ига и угрожал двум женщинам, что станет приводить к себе любовниц.

Оставаясь вдвоем, женщины вели грустные разговоры. «Ах, — говорила Августа невестке, — вы представить себе не можете, до чего я доходила в моем обожании его». Но Аннабелла знала это и иногда давала понять с мрачной горечью, которая беспокоила ее собеседницу. Затем разговор перескальзывал на менее опасные темы. К чему было говорить о том? Августа была теперь единственным существом, которое стояло между ней и ее страхом. Эти женские откровенности, эти перешептывания, вдруг прекращавшиеся, когда он входил, выводили Байрона из себя. Кроме невестки, в доме жил еще наследник титула, Джордж Энсон Байрон, которого Августа пригласила пожить здесь в роли покровителя слабых, и миссис Клермонт, гувернантка Аннабеллы. Байрон был уверен, что его жена держит эту особу, чтобы шпионить за ним. Письма пропадали из ящиков стола. Гинекей глухо волновался, как взбудораженный улей. Он видел, как ловили его взгляды, следили за ним исподтишка. Не считали ли они его сумасшедшим?

Действительно, Аннабелла склонялась к этой мысли. Если бы не был сумасшедшим, как мог бы он ненавидеть ни в чем не повинную женщину? А потом этот остановившийся взгляд. «Разве вы не заметили, — говорила Аннабелла Августе, — как он смотрит исподлобья, опуская голову... Это один из симптомов болезни, который обнаружили у короля, когда он помешался». Однажды в театре, сидя в ложе, он стал говорить сам с собой. Может быть, это действие лауданума? Тоска? Бес-

сознательное бормотание поэта, подыскивающего фразу? Обе женщины и Джордж Байрон, который был с ними, переглянулись. Но чем больше замечал он, что за ним следят, тем более становился невменяемым. Его двоюродный брат Джордж сам посоветовал леди Байрон уехать из дома. «Если вы этого не сделаете, — сказал он, — я буду вынужден предупредить вашего отца».

Ребенок родился 10 декабря. Это была девочка, а не наследник, которого так хотелось Байрону. Хобхауз зашел посмотреть на дитя. Корсар в роли отца семейства — зрелище занимательное. «Визит к Байрону; пришел посмотреть на его ребенка, Августу Аду; Ада — имя женщины, которая вышла замуж за кого-то из его предков при короле Иоанне». Из Пиккадилли-Террас Хобхауз отправился обедать в Холлэнд-Хауз, и его соседкой за столом оказалась Каролина Лэм; она была в прекрасном настроении и в этот вечер обсуждала вопрос: «Что люди думают в то время, когда говорят». Она была не глупа, леди Каролина. Хобхауз, глядя на нее, думал, как быстро все забывается. Вот она, счастлива, по-видимому, рядом свекровь и муж, который очень с ней нежен, в то время как несчастный Байрон злобно шагает из угла в угол по своей клетке на Пиккадилли-Террас. Странная штука жизнь.

Дневник Хобхауза: «Если вся вселенная — это только кусочек грязи, то, в сущности, единственная вещь, которая меня интересует, — это что я существую на этом кусочке и должен сделать все, что могу, для самого себя, покуда все это будет продолжаться».

28 декабря Аннабелла получила письмо от матери, которая приглашала их всех в Киркби, в ее новый замок. Байрону вовсе не хотелось туда ехать, но почему бы не воспользоваться этим, чтобы освободиться от всего этого груза? 3 января он заговорил в комнате леди Байрон о своем намерении поселить у себя в доме актрису. Затем в течение трех дней он ни разу не зашел ни к ней, ни к ребенку. 6-го она получила записку: «Когда вы соберетесь покинуть Лондон, желательно, чтобы день вашего отъезда был заранее известен и (по воз-

можности) не слишком далек. Вы знаете мое мнение на этот счет и обстоятельства, в силу которых оно сложилось, а также мои планы или, вернее, намерения на будущее. Когда вы уедете в деревню, я вам напишу более подробно Так как леди Ноэл приглашает вас в Киркби, вы можете ехать теперь, если, конечно, не предпочитаете ехать в Сихэм. Так как для меня очень важно освободиться от нашей теперешней прислуги, то чем скорее вы примете решение, тем будет лучше. Хотя, само собой разумеется, должно считаться с тем, что вам будет приятно и удобно. Ребенок, конечно, поедет с вами». Она ответила на другой день: «Я подчиняюсь вашим желаниям и укажу ближайший день, когда обстоятельства позволят мне выехать из Лондона».

Она не сомневалась, что он помешался и помешательство приняло форму глубокого отвращения к ней, и поэтому считала, что ее долг — уехать. Она посоветовалась со своим врачом Бэльи и с доктором Байрона, мистером Леманном. Они сказали ей, что сущность болезни, конечно, выяснится более отчетливо в ближайшее время и тогда можно будет отправить Байрона в Киркби под наблюдение врача. Они посоветовали ей также избегать всего, что могло бы его раздражать, и писать ему весело и ласково.

Накануне отъезда она попросила его проститься с ней. Аннабелла держала на руках маленькую Аду. Муж принял ее холодно. Последнюю ночь она спала хорошо, но встала утром разбитой. Коляска стояла у подъезда. Аннабелла спустилась по лестнице. Перед дверью комнаты Байрона лежал большой половик, на котором спал его ньюфаундленд. Ей захотелось лечь тут же на пол и ждать его, но это длилось один момент, и она прошла мимо.

На первой почтовой станции она написала Байрону:

«Мой дорогой Байрон, девочка чувствует себя прекрасно и путешествует отлично. Надеюсь, что вы будете осторожны и будете вспоминать о моих просьбах и медицинских советах. Не предавайтесь без памяти ужасному ремеслу стихо-

плетства, бренди, а также никому и ничему, что было бы незаконно и неблагоразумно. Несмотря на то что я ослушалась вас и пишу, проявите мне ваше послушание в Киркби. Привет от Ады и меня».

А на другой день из Киркби:

«Мой дорогой Duck, мы благополучно приехали сюда вчера вечером; нас провели в кухню вместо гостиной, ошибка довольно приятная для изголодавшихся людей. Папа собирается написать вам забавный рассказ об этом случае. И он и мама очень хотели бы поскорей увидеть все наше семейство в сборе... Если бы мне не недоставало всегда Байрона, то деревенский воздух очень бы помог. Miss находит, что ее кормилица должна кормить ее гораздо больше, и толстеет. Хорошо еще, что она не понимает всех комплиментов, которые отпускаются по ее адресу — «маленький ангелочек», и уж я не знаю, что еще. Привет милочке Goose, а также и вам от всех, кто здесь. Всегда твоя, бесконечно любящая

Pippin... Pip... ip».

XXV
«ЛИШЬ ГОД НАЗАД СУПРУГОЙ МИЛОЙ...»

Доктора были уверены, что после отъезда жены Байрон успокоится: Августа и Джордж Байрон, которые продолжали жить с ним, видели, что он еще очень возбужден. Каждый день Августа посылала бюллетень своей невестке:

«Байрон был дома вчера вечером — бренди не было; принимал лекарства. Вечером он был неплох, но к концу стал трудным. В ответ на вопрос Джорджа, когда он поедет в Киркби, он с отсутствующим видом сказал: «Я поеду? Да нет! Я и не думаю об этом, если можно этого избежать!» Потом начал говорить о разных странных вещах — набросился на меня, как всегда, начал ругать моего мужа и детей — одним словом все, что вы знаете и сто раз слышали...»

«Трудный» — Августа говорила о своем брате, как мать говорит о ребенке или путешественник о вершине горы. Она обращалась с ним, как с чудом природы, а не как с человеческим существом, отвечающим за себя. Может быть, поэтому-то он ее и любил.

Но в то время, как мучающийся и тиранический Байрон думал царить над своими гостями на Пиккадилли, судьба его решалась в Киркби. Когда леди Байрон приехала к своим родителям, ее нельзя было узнать. Круглые щеки, из-за которых она получила прозвище Пипин (ранетное яблочко), осунулись и побледнели. У нее была бессонница.

Мысли, страхи, сомнения держали ее в лихорадочном бодрствовании. Если она считала себя непогрешимой, то должна была признать его вину. Что делать? Что сказать? Она любила Байрона и хотела его спасти. Слишком догматическая, чтобы проявить терпимость, она приходила в ужас от его поступков, взглядов. Но он был сумасшедший, это извиняло его, ему надо было лечиться. Здесь она снова встретилась с идеей долга, а как только абстрактное понятие долга встречалось среди данных проблемы, она чувствовала себя уже на твердой почве.

Родители были так напуганы ее видом, что ей пришлось кое-что рассказать, но она не сказала им ни слова о своих подозрениях относительно золовки. Сэр Ральф был возмущен. «Вы не можете себе представить, — писала Аннабелла Августе, — до чего строг мой отец, он гораздо строже матери». Однако после того, как она объяснила родителям, что ее муж больной человек, они простили его и настаивали на том, чтобы он приехал в Киркби полечиться. «Нельзя себе представить большей заботы и самого горячего желания сделать все, что возможно для этого несчастного. Мать моя очень спокойна, хотя и глубоко огорчена... Отец и мать находят, что со всех точек зрения было бы гораздо лучше, если бы Байрон приехал сюда. Они говорят, что за ним будут здесь очень хорошо ухаживать и что теперь, когда им известна грустная причина всего происшедшего, они не будут уж оскорбляться или рас-

страиваться его поступками... Воздействовать на него, чтобы склонить приехать сюда, можно посредством наследника». Байрон не раз говорил о том, что он намерен видеться со своей женой, пока у нее не родится сын (хотя бы только для того, чтобы досадить Джорджу Энсону), а потом уедет на континент.

Таковы были первые дни. Но по мере того как рассказы Аннабеллы о ее жизни с Байроном постепенно раскрывали, что это была за жизнь, возмущение ее родителей росло. Леди Ноэл, всегда жаждущая деятельности, предложила отправиться в Лондон посоветоваться с юристом. Сама Аннабелла была сбита с толку новостями, которые приходили с Пиккадилли. Похоже, что ее соображения о болезни не подтверждались. Доктор Леманн писал: «Что до состояния рассудка моего больного, то я должен сказать, что не нашел ничего похожего на настоящее помешательство. Он отличается крайней раздражительностью, что, вероятно, является следствием неправильного функционирования печени и органов пищеварения и при неумелом лечении могло бы перейти в помешательство, но мне кажется, что всему этому нетрудно положить конец».

Если он в здравом уме, его поведение непростительно, и благочестие леди Байрон, так же как и ее рассудочная гордость, диктовали в таком случае тяжелый, но необходимый выход. С ее точки зрения, земная жизнь была только приготовлением к бессмертию. Она не чувствовала себя вправе провести эту жизнь с существом осужденным, которое повлечет ее за собою на вечные муки. И она приходила к решению о неизбежной разлуке. Но это повергало ее в отчаяние.

Леди Ноэл в Лондоне, наоборот, испытывала то чувство приятной важности, которое испытывают старые женщины, освобожденные от любовных волнений, когда им удается освободить от них молодых. Она советовалась со знаменитым законоведом, сэром Самуэлем Ромильи, и, кроме того, с молодым, блестящим адвокатом, доктором Лэсингтоном: «Этот человек — совершенный джентльмен, такого ясного и блестящего ума я никогда не встречала. Он держится того же мнения, что и все, а именно, что ваш отец должен предложить

дружеское соглашение. Я уверена, что лорд Байрон не станет противиться этому... В обратном случае, Лэсингтон полагает, церковный суд разрешит развод из-за грубого обращения и жестокости». Когда она узнала о решении дочери, то одобрила его.

2 февраля сэр Ральф послал Байрону письмо с предложением развода. Оно было перехвачено миссис Ли, которая отослала его обратно, надеясь избежать рокового решения. Тогда сэр Ральф приехал в Лондон, и второе письмо было вручено в руки Байрону. В нем сообщалось, что родители его жены не считают себя вправе разрешить ей вернуться к нему и просят указать его поверенного. Байрон был поражен и потрясен до крайней степени. В руках были два письма Аннабеллы, написанные ею при отъезде, и такие нежные. Что же случилось? Он не мог поверить, что это решение принято леди Байрон. Почему она его покинула? Она страдала от его характера, но ведь она простила... Августа? Но обе невестки теперь, казалось, объединились против него. Может быть, он и находил странное удовольствие в намеках, которые по наивности считал непонятными, но какие доказательства могла бы представить леди Байрон, а кроме того, разве со всем этим не было покончено задолго до его женитьбы?

Немыслимо, чтобы женщина могла покинуть его таким образом! Когда ее присутствие раздражало, он мог забавляться мыслью о разлуке, но сам факт приводил в ужас. Сентиментальный хамелеон, он теперь вспоминал только их счастливые минуты. Накануне еще, в гостях у леди Мельбурн, он пел дифирамбы своей жене и целый час только и говорил о ее замечательных качествах.

Байрон — леди Байрон: «Все, что я могу сказать, кажется бесполезным, и все, что бы я мог сказать, тоже, без сомнения, будет тщетно; и все же я хватаюсь за обломки моих надежд, покуда они не исчезнут навеки. Разве вы никогда не были счастливы со мной? Разве вы никогда этого не говорили? Разве мы не обменялись обоюдно изъявлениями нежности и привязанности, самой теплой и самой взаимной? Разве

это не проявлялось почти каждый день хоть у одного из нас, а чаще у обоих?..»

Он имел основание думать, что Аннабелла будет тронута этим призывом. Жена Флетчера, которая тогда находилась при ней, была свидетельницей ее отчаяния. Но Аннабелла знала теперь, что никакая супружеская жизнь с Байроном невозможна, а он в своих расчетах упустил из виду существенный элемент — религиозную твердость Аннабеллы. Он не верил, что она может быть неумолимой. Но как же не быть такой, когда веришь в непогрешимость своих суждений — и не из-за силы собственного ума, но по божественному наитию? «Я считаю, — писала она миссис Ли, — что мой долг поступить так, как я решила». Байрон пустил в ход все свое очарование и кокетство, свое красноречие и детскость: «Мой дорогой Пип, не можете ли вы уладить как-нибудь все это? Я просто болен от этой истории». Потом, когда увидел, что она непоколебима, он, поддаваясь своему неистовому характеру, сделал нелепый жест, послал ей одно из писем, которое она писала, будучи невестой, то самое, где говорилось: «Я буду слишком счастлива — возврата не будет». Он подчеркнул эти слова и прибавил на полях: «Сбывшееся предсказание. Февраль 1816», а внизу страницы написал три строки из Данте:

Or non tu sai com'e fatta la donna...
Avviluppa promesse — giuramenti;
Che tutta spargon poi per l'aria e venti*.

В Лондоне новость распространилась быстро. Слишком много докторов, адвокатов и прислуги знали об этом. Теперь начиналась пытка вопросов, советов, которыми любопытная кучка друзей мучает, разумеется, для его же спасения, всякого несчастного, которому не удалось уединиться.

«Дорогой лорд Байрон, — писала ему леди Мельбурн, — про вас рассказывают историю, которую весь свет Лондона

* Наверно, ты не знаешь, как устроена женщина...
Она щедра на обещания и клятвы;
И все они разлетаются по воздуху волей ветра *(ит.)*.

считает вполне достоверной, поэтому мне кажется необходимым, чтобы вы ее узнали. Говорят, что вы с Аннабеллой разошлись. Обычно, когда ходят такие нелепые сплетни, самое лучшее — не обращать на них внимания. Но дело в том, что об этом так повсюду говорят и этому верят, несмотря на мои возражения, что, по-моему, вы должны попросить Аннабеллу вернуться или сами поехать к ней». Леди Каролина, услужливо и втайне торжествуя, предлагала «совет грешницы».

Встревоженная Августа советовала брату сдаться. «Мне кажется, — говорила она, — что если денежная сторона в их предложении будет приемлема, он будет очень рад избегнуть публичного скандала. Его это очень расстроит, дорогой мистер Ходжсон, не может не расстроить». Байрон пытался успокоить своих друзей: «Я думаю и считаю своим долгом сказать об этом даже теперь, в самом разгаре этой горькой истории, что нет на свете существа более совершенного, более разумного, более благожелательного, приветливого и милого, чем леди Байрон. У меня никогда не было и нет ни малейшего повода упрекать ее хоть в чем-нибудь за все время, пока она жила со мной». Он утверждал, что причиной зла было то болезненное состояние, которое сделало его крайне раздражительным, а главным образом давление, оказанное на леди Байрон ее матерью, леди Ноэл, которая его ненавидела.

Когда стало ясно, что ни Байрон, ни его друзья не могут поколебать Аннабеллу, на сцене остались одни поверенные. Хэнсон защищал интересы Байрона. Он утверждал, что его клиент признал свое дурное поведение во время пребывания на Пиккадилли-Террас, но считал, что это прощено письмом: «Dearest Duck...» Его противник, доктор Лэсингтон, ограничился ответом, что ему известны от леди Байрон слишком серьезные факты, и примирение вряд ли возможно. Хэнсон спросил, в чем заключаются эти обвинения. Ему ответили, что их огласят только в том случае, если дело перейдет в суд. У Лэсингтона действительно имелся в руках настоящий меморандум, составленный Аннабеллой, где она методично, по параграфам и под номерами, оставаясь «Принцессой Парал-

лелограммов» и в самой большой трагедии своей жизни, изложила тайные причины своего решения.

Преданный, и недипломатичный Хобхауз был в страшном негодовании против леди Байрон. Для него, который знал все эксцентрические привычки своего друга и понимал смятение, в какое могло быть повергнуто скукой супружеской жизни это примитивно необузданное существо, истинные причины неладов были очевидны. Конечно, Байрон, как это с ним часто бывало, показал себя грубым, своенравным и раздражительным. Леди Байрон вообразила себя объектом страстной ненависти и, убедив себя в этой опасной мысли, способствовала его дурному поведению, самой манере держаться с ним, на которое теперь жаловалась. «Каковы же преступления лорда Байрона? — сурово писал Хобхауз. — Он поздно вставал, обедал один и пребывал большей частью в дурном настроении?» Когда до него дошли сплетни об инцесте, он с целью опровергнуть их составил документ, который просил леди Байрон подписать:

Текст Хобхауза (7 марта 1816 г.): «Леди Байрон официально заявляет, что единственной причиной или поводом, побуждающим разойтись с лордом Байроном, является ее убеждение в том, что дальнейшая их супружеская жизнь, в силу несовместимости взглядов и привычек, не принесет им духовного счастья... Она официально и категорически отрицает за себя и за свою семью какое бы то ни было касательство или доверие к скандальным и клеветническим сплетням, распространяющимся...»

Леди Байрон отказалась подписать. Тогда друзья Байрона составили другой текст, менее отчетливый. Леди Байрон уже не просили удостоверить, что она не верит распространившимся слухам. Она удостоверяла только, что они исходили не от нее.

«9 марта 1816 г. Леди Байрон заявляет, что она не считает себя никоим образом ответственной за оскорбительные слухи, которые могли распространиться в свете о характере и поведении лорда Байрона. Они, безусловно, не исходила от нее

и не распространялись ни ею и никем из ее близких. Оба обвинения, о которых упоминает мистер Уильмот, не входят в число тех претензий, которые, если бы развод не состоялся по дружескому соглашению, она сочтет для себя необходимым предъявить лорду Байрону».

Это было менее удовлетворительно, чем документ Хобхауза, но приходилось этим довольствоваться. Оставалось разрешить денежный вопрос, который, к сожалению, был чрезвычайно важен для Байрона, сидевшего в это время без единого пенни. Он был в таком денежном затруднении, что в первый раз, несмотря на свои предубеждения против писательского ремесла, решился принять чек от Меррея. Наконец поверенные пришли к соглашению. Из тысячи фунтов, которые входили в приданое леди Байрон, она получала пятьсот фунтов, другая половина оставалась Байрону. После смерти леди Ноэл «третейский суд» должен был разделить между супругами доходы от наследства дядюшки Уэнтворта. Итак, Байрон, кроме своих личных доходов, получал в собственность пятьсот фунтов и большие надежды.

В доме на Пиккадилли-Террас было так грустно, как будто там кто-то умер. По залам слонялись судебные приставы, сваливая в кучу книги перед продажей. 6 апреля состоялся аукцион. Меррей купил бóльшую часть книг и ширмы, на которые Байрон наклеил портреты Джэксона, Анжело и гравюры, изображавшие знаменитые матчи бокса. В комнате повсюду стояли склянки с пилюлями и микстурами, прописанными ему от болезни печени. Забытые мелочи еще напоминали об Аннабелле. В этой унылой атмосфере Байрон успокаивался медленно. Подобно иным людям, выросшим в сыром и туманном климате и чувствующим себя здоровыми лишь среди туманов и дождей, он не выносил солнца счастья. Аннабелла исчезла. Как Эдльстон, как Мэтьюс, как Маргарет Паркер, как его М. Э. Ч., как невероятная миссис Байрон, — и она выскользнула из его жизни. Она уже приобретала то таинственное очарование, каким обладали для него тени прошлого и смерть. Один в этом большом доме, он бродил

вечерами, присаживался за свой рабочий стол и вспоминал о тех часах, которые были отрадными, об этой головке, слишком тяжелой от дум, которая так часто искала отдыха на его плече, об этой маленькой девочке, которую он называл «орудием пытки», когда она была здесь, и которая стала ему дорога теперь, когда он лишился ее. Он брал листок бумаги и писал, покрывая его слезами, и снова находил без усилий тот живой и простой ритм, который сам по себе вызывал в нем мучительную боль:

Прощай, и если уж наверно,
Ну, что ж, простимся навсегда,
Неумолимая, — но в сердце
Не будет злобы на тебя.

И то, что на сердце горело,
Где сладко засыпала ты,
Тогда прочесть ты не сумела
А ныне не скажу — прочти.

Да, многому я был виною,
И пусть бы был наказан я,
Но хоть не этою рукою,
Что столько нежила меня.

Но знай, что медленной кончины
Любовь должна в разлуке ждать,
И невозможно в миг единый
От сердца сердце оторвать.

Прощай! С тобою разлученный,
Теряю все, что я люблю.
Один — увядший и сожженный —
Погибнуть больше не могу.

Иногда в нем поднималась злоба. Он особенно ненавидел миссис Клермонт, которую не без основания подозревал в том, что она подговаривала леди Байрон покинуть его; он написал на нее обидную и злобно-обличающую сатиру:

Росла на чердаке, воспитана на кухне.
Пожалована от людской к столу...

Ужасное сочинение, где старая гувернантка в конце концов сравнивалась с маской Горгоны, после страшнейшего описания ее пергаментных щек, каменных глаз и желтой крови, превращавшейся под кожей в застывшую грязь. Преувеличение? Конечно, но он уже не мог владеть собой; чувствовал себя затравленным зверем перед всеми этими светскими сплетнями. Политические круги, напавшие на него в момент появления «Корсара», снова свирепо подняли голос. Неосторожный, как всегда, он только что опубликовал стихи (якобы переведенные с французского), где называл Наполеона «сыном свободы», и оду звезде Почетного легиона, «звезде отважных, чьи лучи — это души погибших героев». Трехцветное знамя сравнивалось с «радугой, чьи божественные цвета были избраны Свободой». Журнал «Чемпион», публикуя «Домашние» стихи лорда Байрона, сообщал, «что он дает их читателям, чтобы показать, какие нравственные качества сопровождают политические убеждения благородного лорда...» Эта кампания выставляла Байрона врагом Англии. Его «невинная жена, столь скромная и сдержанная», выставлялась символом всех британских добродетелей. Все как будто радовались, что он оказывался виновным. Этот поэт, распутник, либерал, калека никогда не был истинным англичанином. «Он разыгрывал из себя мятежника, восставал против всех домашних приличий. До тех пор, пока его поведение могло сходить за литераторскую аффектацию, возмущаться могли только самые строгие люди. Но когда скандал перешел за пределы фантазии в доме 13 на Пиккадилли-Террас, дело приняло другой оборот» — и мнение средних классов обратилось против Байрона.

Когда он входил в палату лордов, вслед ему раздавались оскорбительные замечания; в самом собрании никто не говорил с ним, исключая лорда Холлэнда. Газеты тори сравнивали его с Нероном, Гелиогабалом, Генрихом VIII и с самим дьяволом. Роджерс, его садистский друг, считал своим долгом держать Байрона в курсе самых ругательных статей: «Я уверен, — говорил он, входя в комнату Байрона с газетой в

руке, — что тут есть еще какой-нибудь выпад против вас, не обращайте на это никакого внимания». Он разворачивал газету и начинал читать вслух, поглядывая время от времени, как это действует на Байрона. Однажды статья заканчивалась так: «Что же до этого поэтишки, этого пренеприятного субъекта, мистера Самуэля Роджерса...» Роджерс вскочил и швырнул газету. «Это, должно быть, каналья Крокер», — сказал он и посоветовал Байрону вызвать автора на дуэль.

Либеральные салоны не решались его защищать. Его личная жизнь была жизнью его касты и его времени, но он совершил непростительную ошибку, создав себе из этого славу. Леди Мельбурн когда-то предостерегала по поводу его цинизма, теперь она уже не могла его спасти. Леди Джерсей, мужественный друг, попробовала пойти против течения и устроила бал, на который пригласила Байрона и Августу. Но едва брат с сестрой появились, гостиные опустели. Бедная леди Джерсей! Ни нежный цвет ее лица, ни коралловое ожерелье, ни живость ее очей, ни остроумие, ни прекрасные ее руки не помогли ей в этот день победить ненависть. Кроме нее, нашлась только одна женщина, решившаяся поговорить с Байроном и Августой, — это была красивая рыжеволосая мисс Эльфинстон. Мужчины смотрели неумолимо, некоторые удалились, чтобы только не подавать руки Байрону. Он стал в угол, скрестил руки и с презрением смотрел на враждебную толпу, замечая движения каждого из них. С этого вечера он почувствовал себя более твердым. «Странно, но волнение, каково бы оно ни было, всегда поднимает мужество и ставит меня на ноги, хотя бы на некоторое время». Грандиозность его несчастья давала то, в чем он нуждался: возможность играть большую роль, хотя бы и сатанинскую. Быть отброшенным всем обществом — в этом была своя красота. Изгнанный из своего внутреннего рая, он видел себя изгнанным из своей страны путем остракизма, более явного и грубого, чем голосование в палате. Пусть так. Если Англия не желает его присутствия, он снова пустится в странствования.

Из всех живых существ, с которыми его должно было разлучить изгнание, он сожалел только об одном — об Августе. В пасхальное воскресенье, 14 апреля, он приехал к ней проститься. Она была накануне родов и уезжала к себе в деревню. Августа провела с ним печальный вечер, и к концу свидания он в первый раз заговорил об угрызениях и заплакал. После того как миссис Ли уехала в Сикс-Майл-Боттом, Байрон написал Аннабелле, поручая ей свою сестру:

«Еще несколько последних слов... кстати, их не так много и они таковы, что вы обратите на них внимание. Я не жду ответа, это не важно, но, по крайней мере, вы меня услышите. Я только что от Августы, это чуть ли не последнее существо, которое вы меня заставили покинуть... Куда бы я ни уехал, а я уезжаю далеко, мы с вами никогда не встретимся ни в этом, ни в ином мире... Если со мною что-нибудь случится, не забудьте Августу, а если и она исчезнет — то ее детей...»

Неделя перед отъездом заполнилась новым приключением, которое, конечно, не уменьшило его презрения к женской доступности. С некоторых пор какая-то незнакомка осаждала его любовными письмами. Вначале эти письма были подписаны вымышленным именем. Слуги Байрона дважды отказывались принять незнакомку. Затем она стала подписываться своим настоящим именем — Клер Клермонт. Она просила рекомендации в Дрюриленский театр. Байрон начал с того, что отослал ее к Киннеру. Она стала посмелее: «Вы хотите меня уверить, что только иллюзия заставляет лелеять мысль о привязанности к вам. Но может ли это быть иллюзией, когда вот уже целый год вы занимаете мои мысли каждое мгновение, когда остаюсь одна... Не надеюсь, что вы меня полюбите, я недостойна вашей любви... Будете ли вы возражать против следующего плана? В четверг вечером мы выедем вместе в почтовом дилижансе миль за десять—двенадцать от Лондона. Мы будем там на свободе, и никто не будет знать; на следующий день рано утром мы возвратимся...» А через не-

сколько дней: «Где я вас встречу? Как и когда? Вы уезжаете в понедельник в Италию, а я — бог весть куда... Я вас очень прошу, ответьте ласково и без этих саркастических отступлений. Если вам хочется развлечься и я могу в этом помочь, поступайте, как вам хочется, я соглашусь на все, только бы не противоречить». Ему было скучно, необходимо было новое «ощущение», чтобы забыться. Девушка была молода. У нее был красивый голос. Он согласился провести с ней ночь.

Это был конец. Багаж был уже готов. Он купил для своего путешествия замечательную коляску, скопированную с коляски императора. С ним ехал философский Флетчер и юный медик Полидори, изучавший медицину в Эдинбурге. Полидори льстил себя надеждой, что он — писатель. Меррей обещал ему пятьсот фунтов за дневник путешествий, и он немедленно купил себе толстенную тетрадь. Эти последние дни Полидори беспрерывно торчал на Пиккадилли. Там бывал еще Натан, еврей-музыкант, которому Байрон подарил свои «Еврейские мелодии». Частенько заходил Ли Хент и каждый день — Хобхауз. Киннер принес пирог и две бутылки шампанского на дорогу. Затем явился Хэнсон рассказать о свидании с леди Байрон; по его словам, она выглядела так, словно у нее «здесь все разбито» (он показывал на сердце). Полидори, шумливый и наивный, вмешивался в разговоры всех посетителей, рассказывал о дневнике, который будет вести, и о трех написанных им трагедиях. Хобхауз, англичанин до мозга костей, не одобрял этого доктора-иностранца. Полидори ему не нравился. Он окрестил его Полли-Долли и говорил Байрону, что пожалеет о том, что берет его с собой. Споры, визиты, подарки несколько скрашивали эти последние дни и прикрывали их грусть. Накануне отъезда Байрон подписал акт добровольного разлучения, а на полях его приписал четверостишие:

Лишь год назад супругой милой
Ты мне шептала о любви,
Как сладки эти клятвы были —
И вот что стоили они.

Натан, зная, что Байрон очень любит бисквиты, послал ему опресноки, которые он называл «пасхальное печенье» — началась еврейская пасха.

Наконец 24 апреля, рано утром, Изгнанник покинул дом, где год назад думал найти приют своей скитальческой жизни. На улице толпа ротозеев теснилась около «императорской» коляски. Байрон сел со Скропом Дэвисом. Полидори и Хобхауз ехали следом в другом экипаже. Французское правительство отказало поэту в паспорте из-за его опасных политических убеждений, и он, чтобы попасть в Швейцарию, должен был ехать через Дувр, Остэнде и Бельгию. Только они выехали из Лондона, как Полидори взялся за заметки: «Темза со своими величественными волнами катилась по долине, неся многочисленные корабли на своих водах...» Хобхауз вздохнул и забился в угол коляски.

В Дувре Флетчер, который уехал из Пиккадилли после своего хозяина, нагнал их и рассказал, что после отъезда Байрона судебные исполнители вторглись в дом и похватали все, вплоть до ручной белки. Корабль отправлялся на следующий день утром, и Байрон, чтобы провести время, предложил поехать осмотреть могилу Черчилля.

Чарлз Черчилль был пятьдесят лет назад знаменитым сатириком и, как Байрон, мелькнул кометой одного сезона; у него тоже был свой «чудесный год». Старый служитель провел их к могиле — маленькому заброшенному, поросшему травой холмику, на котором стоял серый камень. На их расспросы сторож ответил, что ничего не знает о человеке, который тут погребен. «Он умер еще до меня, — ответил он, — ведь не я ему копал могилу». Этот ответ гамлетова могильщика привел в восхищение Байрона и погрузил в одно из любимых размышлений — о славе и тлении. В присутствии своих друзей и удивленного старика он улегся на могильной траве.

Последний вечер в Англии был посвящен слушанию трагедии Полидори. Хобхауз и Дэвис хохотали от души, и Полидори казался обиженным. Байрон серьезно и благожелательно перечел наиболее удачные места.

Любопытство в Дувре было сильно возбуждено. Многие дамы из общества переоделись горничными, чтобы незамеченными проникнуть в коридор гостиницы. На следующий день, 25 апреля, Хобхауз встал очень рано, но Байрон еще не появлялся. Он был в своей комнате и писал прощальные стихи Томасу Муру:

Вот корабль в морском молчании,
Шлюпка ждет на берегу.
Милый Мур, на расставание
Тост двойной провозглашу.
Вздох за тех, кто меня любит,
Улыбнусь на злость врагам,
Пусть судьба меня погубит,
Спорить с ней не буду я.

На этом он должен был остановиться. Взбешенный капитан корабля орал, что не будет больше ждать. Даже невозмутимый Скроп Дэвис взволновался. Наконец на набережной увидели лорда Байрона, подпрыгивавшего под руку с Хобхаузом. Он передал Дэвису пакет, адресованный мисс Эльфинстон. Это был превосходный Вергилий, которого он некогда получил в награду в школе Харроу. Он прибавил: «Скажите ей, что если бы мне выпало счастье жениться на такой женщине, как она, мне не пришлось бы теперь удаляться в изгнание». Шум и суматоха отплытия поддерживали его некоторое время, но, поднявшись на борт, он имел несчастный вид. Немного позже девяти часов сходни были подняты. Хобхауз побежал на самый край деревянного мола. Когда корабль прошел около мола, уже качаясь на волнах, Хобхауз увидел «дорогого мальчика» — он стоял на палубе. Байрон приподнял каскетку и помахал ею на прощание другу. «Благослови его Бог, — подумал Хобхауз, — этот мужественный ум и доброе сердце».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Жизнь в своем течении — это пропасть потерянного времени; ничто не может быть восстановлено или истинно обретено иначе, как в форме вечности или, что то же, в форме искусства.

Сантаяна

XXVI
ШЕСТВИЕ СЕРДЦА, ИСТЕКАЮЩЕГО КРОВЬЮ

И вот опять я на волнах! Еще раз
Играет подо мной волна, как конь,
Хозяина узнавший...

Уже скорбь изгнания обретала нового Чайльд Гарольда. Этот удар, этот стыд, эта накипь ненависти, осужденная Августа, вся Англия, настроенная враждебно, — он слишком много думал об этой драме, думал до тех пор, пока мозг его не превратился в один сплошной «смерч безумия и пламени». Он жаждал укрыться в уединенном убежище, но в уединении, населенном духами; творить и «жить, творя более живую жизнь». Что такое был он, Джордж Гордон Байрон, в апреле 1816 года? Ничто. Нежный и злой, грустный и веселый, рассудительный, как Вольтер, и сумасшедший, как ветер...

Кто я? — Ничто. Но ты не такова,
Мысль потаенная моя...

Чтобы снова стать Байроном, надо было снова превратиться в Гарольда; странствование начнет третью песнь.

Он сам теперь от света удалился.
Надежды нет, но все ж не так темно.
Он знает, что он попусту родился,
Что до могилы все предрешено,
И это знанье горечи дает улыбку...

И в то время как в глубине поэтического горнила волновались темные мысли, перемешиваемые невидимым рабочим, искавшим для них форму, высокомерный и веселый английский джентльмен развлекался с доктором Полли-Долли приключениями путешествия. Этот новый Байрон на первом же этапе путешествия (Остэнде) стал, как некогда его отец, капитан в Валенсии, возлюбленным служанки в гостинице. Полидори, завороженный пятьюстами фунтами Меррея, начал свой дневник в Бельгии:

«Антверпен. Пошли в кафе и видели, как все играли в домино, читал «Таймс» от 28 апреля... Женщины здесь покрасивее, у каждого источника мадонны... Ван-Дейк, на мой взгляд, куда лучше Рубенса. Брюссель. Единственные красивые женщины в Брюсселе — англичанки. Непристойности, выставленные напоказ на памятниках; фонтаны, изображающие, как людей рвет потоками воды; и еще хуже...» Байрон, которого всегда трогали больше переживания прошлого, чем то, что происходило перед ним, не захотел видеть ничего, кроме Ватерлоо. Там разрушилась его маленькая кумирня. В Брюсселе накануне сражения спали иные из его друзей, молодые, веселые, которым назавтра суждено было умереть; здесь невиннейшая леди Фрэнсис во время кровавого ожидания делала глазки Веллингтону. «Шум праздника врывался в ночь. Потом пушка...»

Они наняли коляску, чтобы ехать в Ватерлоо. Она увязла в песке, и «проклятое колесо окончательно отказалось вертеться, как ему полагается». Байрон должен был ковылять по полю битвы под руку с доктором, искавшим кости. Фермер продал Байрону казацкую лошадь, на которой он и продолжал свою прогулку. Росли цветы, поле уже было вспахано. «Если бы на каждом шагу не встречались настойчивые и на-

доедливые ребята, предлагавшие солдатские пуговицы, нельзя было бы и заметить никаких следов войны». Байрон и Полидори вырезали свои имена в часовне в Гугумонте. Байрон описал сражение своему спутнику, восхваляя мужество французов. Потом отошел и погрузился в размышления. Вот в этом банальном окружении в один день закатилась прекраснейшая из человеческих судеб. Значит, действие столь же тщетно, как и слова. «Завоевывай или теряй этот мир, — все равно он ничего не стоит». Единственная мудрость — это уединение, молчание, презрение. «Но для слишком живых сердец отдых кажется адом» — и вот Бонапарт завоевывает континент, Байрон пишет «Чайльд Гарольда», и люди волнуются, подобно горячечному больному, который ищет прохлады в движении и не находит этой прохлады никогда, потому что его горячка в нем самом... К вечеру они покинули поле боя, молчаливый Полидори и Байрон верхом на лошади, распевая во все горло песни турецкого всадника.

Франция была закрыта для них, и они поехали в Швейцарию по долине Мааса и Рейна. «Императорская» коляска Байрона привлекала нищих. «Подайте нам что-нибудь, господин командир батальона». «Одно су, монсиньор король Ганноверский!» Эти титулы забавляли Байрона и наполняли радостью сердце его лекаря. «Я с ним на равной ноге, повсюду в путешествии нас принимали совершенно одинаковым образом...»

— А в конце концов, — сказал он однажды Байрону, — что вы, в сущности, можете сделать такого, чего не мог бы сделать я?

— Вы хотите, чтобы я ответил вам, — сказал ему Байрон. — Я думаю, что есть три вещи, которые я могу сделать, а вы нет.

Недоверчивый Полидори попросил назвать их.

— Я могу, — ответил лорд Байрон, — переплыть вплавь вот эту реку, я могу потушить свечку выстрелом из пистолета в двадцати шагах и я написал поэму, четырнадцать тысяч экземпляров которой были проданы в один день.

Что же касается эрудита Флетчера, как называл его Хобхауз, он с восторгом установил, что Рейн между Кобленцем и Майнцем напоминает некоторые долины Албании, но питание здесь лучше. Он толстел.

Повсюду путешественники находили следы императора. «Кто поставил этот памятник, провел эту дорогу, вырыл этот канал?» — спрашивали они. «Наполеон», — отвечали всякий раз крестьяне. Байрон, любитель совпадений, радовался, находя на всех постройках буквы: Н. Б. — Ноэл Байрон.

Утесы, покрытые замками, склоны, отягченные виноградниками... Этот радостный рейнский пейзаж напоминал ему Августу. В мифической вселенной Байрона она была Верностью в Несчастии. Он писал ей с горячей нежностью, посвятил стихи: «Утес Драхенфельса, увенчанный замком...» Он говорил, что ему хотелось бы жить с ней в этих местах, которые стали бы прекраснейшими в мире.

Когда б твои очи еще осветили
Прекрасные рейнские берега...

Байрон послал ей эти стихи вместе с засушенными цветами. Но Августа была уже гораздо дальше от него, чем он думал.

Они проехали через поле битвы в Мора, где швейцарцы разбили Карла Бургундского. Кости мертвецов еще валялись на земле. Байрон, задумчивый могильщик славы, купил несколько костей для Меррея. Наконец 25 мая 1816 года они приехали на берега Женевского озера и остановились в отеле Дежеан в Сешероне. На листке, который полагалось заполнить путешественникам, Байрон написал: возраст — сто лет.

В этом же отеле несколькими днями раньше остановилась молодая девушка, которая была в Англии последней возлюбленной Байрона, Клер Клермонт. С ней приехала дочь второго мужа ее матери, Мэри Годвин, и молодой человек, возлюбленный этой «сестры», Перси Биши Шелли. Байрон

никогда не видел Шелли, но читал его поэму «Королева Мэб», которая ему очень понравилась. Клер представила мужчин друг другу.

Дневник Полидори: «Познакомился с Перси Шелли, автором «Королевы Мэб»; скромный, робкий, слабогрудый, двадцати одного года, в разводе с женой, содержит двух дочерей Годвина, которые проводят в жизнь его теории; одна из них — любовница лорда Байрона».

Шелли и Байрон очень скоро подружились. У того и у другого были свои мысли, оба они придерживались либеральных убеждений и считали Ватерлоо началом эпохи омерзительной реакции. У них были во многом общие вкусы, а это, может быть, больше, чем что-либо другое, соединяет людей. Оба они любили жить у воды. Шелли уже нанял лодку. Каждый вечер Полидори, два поэта и молодые женщины гребли на озере. Байрон, перемучившийся, несчастный, наслаждался спокойной тишиной этих вод, где отражались горы, сереющие в сумерках, и первые звезды. Однажды вечером, когда на озере поднялось сильное волнение, он оживился: «Я вам спою албанскую песню, — сказал он, — будьте сентиментальны и пожертвуйте мне все ваше внимание». Он испустил дикий гортанный крик и, смеясь над разочарованием женщин, которые ждали восточной мелодии, объяснил, что это точное подражание стилю албанских горцев. В этот вечер Клер и Мэри переименовали его в Альбэ, и это прозвище так и осталось за ним в этом маленьком кружке. Но чаще он сидел, наклонившись над бортом лодки, и молча смотрел на воду. Он любил это удивительное спокойствие, где

...еле ловит слух,
Весло ль скрипит, грести уже не хочет,
Или сверчок поет нам: доброй ночи...

Когда причаливали к берегу, Шелли, который ходил быстро, сам того не замечая, оказывался сейчас же далеко впере-

ди вместе с двумя женщинами. Байрон издали следовал за ними, ковыляя и бормоча новую строфу.

Через две недели Шелли нанял маленький крестьянский домик на другом берегу озера, а Байрон — чуть-чуть повыше прелестную виллу Диодати. Это был старинный дом, красиво расположенный на склоне холма, откуда открывался прекрасный вид на озеро, на зелень виноградников, на Женеву и на Юрские горы. Это благородное и вместе с тем вполне буколическое жилище, маленький домик большого сеньора, понравилось Байрону. Жизнь его скоро пошла по заведенной изо дня в день рутине. Поздний завтрак, потом визит к Шелли, прогулка по озеру, обед в пять часов, столь краткий, что он предпочитал обедать в одиночестве. Затем, если погода была хорошей, еще прогулка в лодке. Когда шел дождь, Шелли приходили вечером на виллу Диодати и нередко оставались там до утра. Всю свою жизнь Мэри вспоминала эти два голоса — важный и музыкальный голос Байрона и пламенный, резкий голос Шелли. Она любила их слушать, закрыв глаза. Как только один замолкал, начинал говорить другой.

Байрон сначала обращался с Шелли с некоторой высокомерной недоверчивостью. Он любил в других видимость общественных добродетелей; он не питал к Клер ни любви, ни уважения и из-за нее немножко презирал Шелли, с которым она его познакомила. Но тонкий ценитель ума, он скоро пленился живой проницательностью Шелли, еще более живой, чем у Мэтьюса или Хобхауза. На вопросы, которые с детства Байрон задавал мирозданию, Шелли своим пронзительным голосом давал новые и изощренные ответы. «Кто сотворил этот злой мир, — спрашивал Байрон, — Бог или демон?» Идеалист-атеист Шелли отвечал, что и Бог и демон суть лишь проекции человеческих устремлений. Зло не было для него, как это было для Байрона, необходимым элементом человеческой природы. «Чистому все вещи чисты». Юпитер, творец ненависти, обязан своим существованием тому остатку ненависти, который жил в сердце Прометея. Христианский бес своей злобой обязан злобе душ определенного склада. Зло

существовало, но его не было в природе, оно было тем искусственным безобразием, «условностью», которую создают люди, объединяясь в общество, — то, что можно встретить в браке, в солдатчине, в суде, в монархах. Единственной естественной реальностью в глазах Шелли была красота, которая узнается по гармонии, рассеянной в прелестных вечерах на озере, в птицах, звездах, женских лицах.

Байрон, мало расположенный к метафизике, наполовину соблазняясь, наполовину насмешничая, слушал этот дискурс о пантеистической любви. Потом, когда наступала его очередь говорить, он выдвигал более мрачную доктрину, «методистскую, кальвинистскую, августинскую». Нет, дело было не так просто, как этого хотел, как в это верил Шелли. Зло существовало, это был грех. В своей собственной душе он видел зрелище конфликта, для которого не находил разрешения. Он принес несчастье многим женщинам, хотя некоторых любил, других уважал. Он-то хорошо знал, что люди и сложны и несчастны. Слишком чистый Шелли не знал ни мужчин, ни женщин. Менее проницательный, чем Байрон, и, может быть, менее строгий к самому себе, он, поддаваясь искушению, называл это добродетелью. У Байрона был слишком точный ум, чтобы он мог закутывать свои ошибки золоченым туманом доктрин. Он считал, что человек не добр. Сходясь с Шелли в том, что надо стремиться к свободе народов, он не верил, что для этого достаточно произносить неопределенные и великодушные фразы. Он хотел героического действия, но действия определенного, — вот для такого-то определенного народа, видимого и существующего. Его отвращение к обществу было совсем не таким, какое высказывал Шелли, ненавидя мир, выдуманный им, и ничего не зная о настоящем мире. Реалистический Байрон бежал от общества, которое когда-то хотел завоевать. Он говорил: «Я не люблю мир, и мир не любит меня», — но жалел об этом. Для Шелли жизнь была простой задачей, это было борение добрых сил, которые, как он верил, жили в нем, с миром, ему чуждым. В нем не было раздвоенности, он знал только одно-

го Шелли. Байрон же знал многих Байронов и для него все это было внутренним конфликтом. Конфликт между Байроном — Мэри Чаворт и Байроном — леди Мельбурн, между сентиментальным человеком и циником, между нежностью и гордостью, между конформистом и бунтовщиком — между одним из самых великодушных и одним из самых жестоких существ. Непоколебимая судьба, принуждавшая его к поступкам, о которых он потом сожалел, не была творением его рассудка. Он не верил, подобно Шелли, во всемогущество человека, который может переделать мир; вокруг него, он чувствовал, существовали божественные и дьявольские силы. Шелли, расписываясь в книгах гостиниц, приписывал к своему имени — «афей». Для Байрона творец существовал, но творение было злым. Каин имел основание жаловаться на бога иудеев. Прометей — проклинать Юпитера, и он, Джордж Гордон Байрон, невинная жертва роковой своей крови, и он тоже был из расы великих бунтовщиков.

Так сменяли друг друга эти два голоса. Байрон, вполне признавая в Шелли самые высокие достоинства, иногда очень раздражался его непониманием реальных вещей. Шелли жаловался Мэри на то, что мышление Байрона носит светский и аристократический характер. Но они стали такими неразлучными друзьями, что Полидори, который ревновал к Шелли, занявшему его место в жизни Байрона, мечтал вызвать Шелли на дуэль.

Хобхауз был прав, когда не советовал Байрону брать с собой Полли-Долли. Маленький лекарь стал невыносим. Он считал себя вправе вмешиваться в самые тонкие споры и портил все. У него возникали ссоры с женевскими обывателями, которые Байрон должен был улаживать. Байрон проявлял по отношению к нему необыкновенное терпение, называя его «младенцем и младенческим доктором Полли-Долли». Он говорил, что бóльшая часть его жизни уходит на то, чтобы ухаживать за собственным медиком.

Около 2 июня Шелли с Байроном отправились вдвоем на прогулку по озеру; им посчастливилось оставить доктора По-

лидори на Диодати, так как он стер себе ногу. Во время этого путешествия поэты были застигнуты бурей у Мейери. Байрон разделся, и так как Шелли не умел плавать, предлагал спасти его. Шелли отказался, уселся на дно лодки и сказал, что он потонет, не сопротивляясь.

Они посетили вместе родину Руссо, вполне довольные друг другом, хотя ритм их жизни был очень различен. Шелли, вставая с солнцем, обходил горные тропинки, Байрон поднимался к полудню и не любил ходить. Но им нравилось перечитывать «Новую Элоизу» среди тех ландшафтов, где она была написана. Они оба были взволнованы Шильонским замком. «Я никогда не видел, — писал Шелли, — более ужасного памятника той холодной и бесчеловечной тирании, которую человек находит удовольствие проявлять над человеком». В камере Бонивара, где Байрон вырезал свое имя, они попросили рассказать им историю этой жертвы тиранов, и Байрон в одну ночь написал «Шильонского узника», в то время как Шелли сочинял «Гимн духовной Красоте». За время этого путешествия Байрон добавил немало строф к «Чайльд Гарольду». Иные были посвящены Руссо, иные Клarансу, «нежному Кларансу, родине истинной любви», другие Лозанне Гиббона и Фернею Вольтера. Байрон сорвал себе веточку акации, той самой, под которой Гиббон смотрел на Монблан, написав последнюю фразу своей книги. Шелли не захотел последовать его примеру, боясь оскорбить другое имя, более высокое, имя Руссо.

Влияние Шелли на Байрона увеличилось за время этого путешествия. Шелли «прописывал ему порции» Вордсворта, которого Байрон избегал читать. Но среди этого окружения, успокоенный и покоренный тишиной озера, он полюбил эту поэзию, где перед ним снова проходила пантеистическая любовь, которая была религией Шелли. Под этим двойным влиянием в его стихах, которые он тогда писал, появились новые для него темы. К суете сует, которая лежала в основе всей байроновской поэзии, примешивались более нежные ноты. Может быть, жизнь все же не целиком была достойной пре-

зрения. На берегу этих мирных вод, глядя на эти прекрасные горы, сам Чайльд Гарольд обретал какой-то мир. Одиночество и природа — вот, быть может, секрет счастья, которое он до сих пор считал невозможным.

Я не живу в себе, я превращаюсь
В часть окружающего. И тогда
Громады гор суть чувство...

Форма оставалась байроновской, контуры сохраняли их отчетливую ясность. Но мысль была продиктована Вордсвортом. Этот пламенный резкий голос провел свою борозду в сознании Байрона, и иногда, особенно вечерами, когда небо и земля затихали, Байрон, глядя на отражение звезд в воде и на громадные тени гор, как будто слышал, как вокруг него смутно колеблются доброжелательные и таинственные силы. Но эти ощущения были в нем мимолетны. «Забыть свое я, раствориться в красоте Всеобщего», — возможно ли это для Великого Эгоиста?

Во время путешествия быстрая смена впечатлений, пейзажей могла заставить его на мгновение забыть о внутренней драме. Но как только он вернулся в размеренный мир на Диодати, он снова населил его своими призраками. А в то же время жизнь вокруг была так проста. Что было в этой жизни? Зеленые склоны, спокойное озеро. Она была так далеко, эта комната на Пиккадилли, оскверненная пустыми бутылками и судебными исполнителями. Те, которых нет с нами, подобны мертвым. Они — бледные тени, мы забываем их черты, как черты умерших. Но, подобно мертвым, отсутствующие посещают нас и расстилают около нас свой саван. Мэри Энн... Августа... Аннабелла... Как во время «Корсара», «мысль бежала через все, да, через все». Он сделал много зла и не считал себя виновным. Его юношеская душа была великодушной; человеческая злоба сделала из него чудовище. Сколько добродетели, растраченной понапрасну! Несправедливость и жестокость судьбы возмущали его. В своем сознательном бре-

ду он вызывал одно за другим мгновения этой судьбы... Эннсли...

И холм
Увенчан был цветущей диадемой
Деревьев, обегающих кругом.

Он написал большую поэму о своей юношеской любви, «Сон». Удивительна была эта неспособность забыть столь незаметное происшествие... Затем «Стансы к Августе».

День судьбы моей прожил мало,
Омрачилась моя звезда,
Только сердце твое не узнало
Всех грехов, что молва нашла.
Знаешь ты мою тайную горечь,
Ты ее разделила со мной,
И души любовную волю
Узнал я только с тобой...
Человек — и не обманула,
Женщина — не бросила меня,
Оклеветанная — не пошатнулась,
Я любил — ты не сделала зла...

Что стало с ней, с Августой, там, далеко за морями? Он не знал. Серебряные воды озера под его окнами напоминали ему Ньюстедское озеро. На тех берегах, поросших камышом, был он счастлив с ней. Он писал ей трогательные письма: «Не огорчайтесь и не ненавидьте себя. Если вы ненавидите одного из нас, пусть это буду я — но не делайте этого — это убьет меня. Мы последние на белом свете, кто должен или может перестать любить друг друга...» «Какой я был дурак, что женился — да и вы не умнее, моя дорогая. Мы могли бы жить одни так счастливо — старая дева с холостяком. Я никогда не найду такой, как вы, ни вам (как бы это ни показалось тщеславным) не найти такого, как я. Мы созданы для того, чтобы жить вместе, и вот поэтому мы, или я по крайней мере, оторваны обстоятельствами от единственного существа, которое всегда могло бы меня любить и к которому я мог бы

бесконечно привязаться... Ведь если бы вы даже были монахиней, а я монахом — и то мы могли бы говорить с вами через решетку, а не через море. Но все равно — мой голос и мое сердце всегда будут твоими».

Она ничего не ответила. В своих темных, трепещущих письмах она говорила, что часто видится с Аннабеллой, которая очень добра к ней... Очень добра — леди Байрон? Уф! Это было удивительно. В его галерее символических фигур Аннабелла стала Неумолимой Супругой, его «Моральной Клитемнестрой». Мадам де Сталь, которая жила в Коппе на другом берегу и к которой он часто заходил, задумала помирить его с Аннабеллой; она заставила его написать ей, но он знал, что это будет напрасно. Аннабелла разбила его сердце. Сердце, о котором он когда-то с гордостью говорил, что оно твердо, как подошва горца.

Конечно, он был виноват перед леди Байрон, но она была его женой, она пошла за него «на горькое и на доброе», она не была «отмечена провидением», чтобы поразить его... Когда-нибудь судьба отомстит за него. Из античных божеств он никого не почитал так, как Немезиду, мстительницу богов. Он таинственно предрекал: «Днем раньше, днем позже, то, что она сделала, падет на ее же голову, — это будет вызвано не мной, потому что мои чувства к ней — это не чувства Мести, — но помните, что я вам говорю, вы увидите, что она кончит несчастно рано или поздно». И когда она заболела, он написал:

Грустила ты — и не был я с тобою,
Занемогла — я не пришел к тебе...
Я отомщен, но это мое право,
Как ни грешил я, не твоей руке
Назначено быть Немезидой...
Для милостивых милость существует...
Ты сеяла мою печаль — и соберешь
Горчайший плод своих живых несчастий...

Визиты к мадам де Сталь были единственным связующим звеном с внешней жизнью. Ему очень нравился маленький

замок Коппе, такой очаровательный со своей коричневой кровлей, дворик, закрытый двумя башенками, романтический парк, водопад, овражек. Иногда Байрон встречал там английских гостей, которые глядели на него, словно он был сам Сатана. Некая миссис Харвей упала в обморок, когда он вошел, на что дочь мадам де Сталь, кроткая и очаровательная графиня де Брольи, воскликнула: «Ну, право же, в шестьдесят пять лет это несколько преувеличенно!». Граф де Брольи находил его разговор «изобилующим нечестивыми шуточками и общими местами ходячего либерализма». Мадам де Сталь поругивала его: «Вам незачем было сражаться с миром, — говорила она ему, — это немыслимо. Мир слишком силен для отдельного человека, кто бы он ни был. Я сама попробовала это в молодости, но это невозможно». Действительно, было похоже на то, что она права. Байрон задумал броситься в атаку на затуманенные вершины, на коих восседали британские Условности, но никто не может безнаказанно бросаться на богов, в которых он сам втайне верит, — и вот теперь он здесь, пригвожденный ненавистью к своему одинокому утесу. Прометей, нелепо покоящийся среди жидкого хора годвинических Океанид.

Мадам де Сталь рассказала ему, что Каролина Лэм 10 мая выпустила роман, героем которого был он. Она дала ему книгу. Она называлась «Гленарвон», а на заглавном листе стоял эпиграф из «Корсара»:

Он имя будущим оставил поколеньям
С одною доблестью и тьмою преступлений...

Байрон прочел роман не без усилий, ибо это была весьма скучная книга. Леди Каролина описывала в ней чуть-чуть завуалированно свою жизнь. Героиня в ранней молодости вышла замуж за лорда Эвонделя, который был не кем иным, как Вильямом Лэмом. «У лорда Эвонделя был один недостаток — слишком великодушный и добрый характер, благодаря которому он позволял своей легкомысленной подруге командовать

и устраивать все по[illegible] «Вы будете для меня законом, — говорил лорд Эвондел[illegible]ей жене. — Вы будете моей возлюбленной, моим рук[illegible]телем, а я буду добровольным рабом». Ясно, что леди [illegible]дель разочаровалась в этом слишком слабом человеке и [illegible]юбила Гленарвона, который представлял собою смесь Ба[illegible]на, Корсара и Лары. «Жизнь отвратительна мне, — крича[illegible]енарвон, — я презираю общество, любовь, чувства. Damn[illegible] Don't talk about it!»*. Леди Оксфорд, описанная весьма стро[illegible] тоже играла свою роль: «Она была уже не первой молодос[illegible] известный педантизм лишал приятности ее беседы». Л[illegible] Каролина зашла так далеко, что напечатала в качестве [illegible]сьма Гленарвона к леди Эвондель подлинное письмо Ба[illegible]на о разрыве с ней. В конце концов она предоставила Гле[illegible]ону погибнуть в волнах.

Каролине страстн[illegible]телось знать, что скажет Байрон о ее книге. Он написал [illegible]енький стишок:

Читал [illegible]льдерим» —
Гм-гм...
Стран[illegible] про Анжу —
Скажу!
Уэбсте[illegible] «Ватерло» —
Хэлло!
«Глен[illegible]н» Каро Лэм,
А ну его ко всем!

Он находил, что, е[illegible] бы романистка написала просто то, что было на самом де[illegible]оман был бы много романтичней и занятней. «Что касает[illegible] сходства, — добавлял он, — портрет не может быть удачн[illegible] я слишком мало ей позировал».

Отсутствующие по[illegible]ны мертвым. Но иногда мы живем гораздо больше с мер[illegible]ми, чем с живыми. Что такое была Клер, живая любовни[illegible] по сравнению с этими требовательными тенями? Она п[illegible]дила каждый вечер на Диодати к своему возлюбленно[illegible] уходила на заре по виноградникам, возвращаясь в дом Ш[illegible]. Она была беременна и очень уг-

* Черт с ними, не го[illegible]те мне о них! *(англ.)*

нетена. Работала для Байрона, переписывала «Шильонского узника» и новые строфы «Чайльд Гарольда». Надоедала ему и раздражала. Женщина, лишенная нравственности, бросившаяся ему на шею из-за каприза синего чулка... Она ждала ребенка от него? Пусть. Он воспитает его. Ребенок — это отпрыск рода Байронов, и, может быть, он будет дорог ему, так как Аду у него отняли. Но он не хотел больше видеть мать.

Шелли питал к Клер нежную, братскую привязанность, и тон, которым Байрон говорил с ней, казался ему невыносимым. Он продолжал восхищаться поэтом, блеск и легкость которого изумляли его вплоть до самоуничижения, но человек беспокоил и раздражал его. Либерал в теории, Байрон придавал немалое значение происхождению; для него было не безразлично, что Шелли был сыном баронета, и он всегда давал чувствовать, что сам он — лорд. В его манере говорить о женщинах было что-то высокомерное и равнодушное, и это шокировало Шелли. А Байрон со своей стороны считал бесчеловечными логические построения друга. Этот резкий голос утомлял его; иной раз, склонный к подозрительности, он сомневался в чистоте Шелли. Он называл его Змием... «Мефистофель у Гете называет змея, который соблазнил Еву, «моя тетушка, знаменитая змея», и я всегда думал, что Шелли не кто иной, как один из ее племянников».

Хобхауз и Скроп Дэвис сообщали о своем приезде. Как это освежительно услышать неотразимо-заикающегося Дэвиса, забыть о Вордсворте и пантеистической любви и поболтать о вечеринках Киннера. 20 августа Шелли уехали, увозя с собой Клер. Через несколько дней Байрон написал Августе: «Не ругайте меня — что я мог сделать? Неосторожная девица, вопреки всему, что я мог бы сделать или сказать, пожелала следовать за мной или, лучше сказать, предшествовать мне, — потому что я ее нашел уже здесь; и чего я только не делал, чтобы уговорить ее уехать отсюда, и вот она наконец уехала. Теперь, дорогая, говорю тебе по правде, что я не мог помешать этому, что я сделал все, что мог, и мне удалось положить этому конец. Я ее не любил, да и вообще у меня нет

наличного запаса любви для всякого встречного-поперечного, но не мог же я разыгрывать стоика перед женщиной, которая отмахала восемьсот миль, чтобы я перестал философствовать. Ну, теперь вы знаете об этом столько же, сколько и я, а история эта кончена».

XXVII
ЛАВИНЫ

Посланники дружбы, Скроп Дэвис и Хобхауз, приехали в конце августа. Они были в восторге от дома и вида Юрских гор. Привезли с собой всякие вещи из Англии, которые изгнанник просил в каждом письме: магнезию, палку с клинком и красный зубной уэттовский порошок. Они с удовольствием отметили, что друг их выглядит лучше, на лице нет больше той желтизны, которая была у него в Англии. Он казался успокоившимся, в манерах, даже чересчур спокойных, замечалось усилие, которое ему приходилось делать, чтобы скрыть мрачное волнение своих страстей, но много было уже и то, что он мог сдерживаться. В Лондоне рассказывали, что он развращал гризеток из самых низов и что Августа сопровождала его, переодетая пажом. Хобхауз нашел, что жизнь на Диодати превосходит своей невинностью все на свете, и послал благоприятный бюллетень миссис Ли: «Ваш брат обращает большое внимание на декорум и живет, не оскорбляя ни Господа Бога, ни мужчин, ни женщин... Его здоровье значительно улучшилось, не видно больше ни бренди, ни магнезии, ни бессонниц и нет больше этих содовых потопов. Ни грубости, ни извращенности, даже его крики прекратились; он кажется таким счастливым, каким и должен был бы быть. Вы понимаете, что я хочу сказать, — таким счастливым, каким может быть благородный и чувствительный человек после катастрофы, во время которой такое обвинение, ложно или истинно, было возведено на него».

Хобхаузу, конечно, захотелось осмотреть страну. Три мушкетера Тринити вместе с Полидори отправились в Шамони, к Монблану. Байрон не без труда прыгал по ледникам. В гостинице Монтавера в книге гостей они нашли подпись Шелли, за которой шли слова «афей и философ», написанные по-гречески. «Я думаю, — сказал Байрон, — что я окажу услугу Шелли, если зачеркну это», что и сделал тут же. На обратном пути Байрон затащил своих друзей в Коппе, где они были счастливы повидаться с мадам де Сталь, Бонштеттеном и Шлегелем. Хобхауз только что прочел «Адольфа»; он сказал мадам де Сталь, что узнал некоторые ее выражения: «светлячки на мертвых листьях светят как будто только для того, чтобы показать, что вокруг все мертво и сухо». Мадам де Сталь обернулась к Бонштеттену и сказала ему: «Очень мило, не правда ли?» Хобхаузу очень понравилось в Коппе.

Байрон передал не без робости своим друзьям рукопись третьей песни «Чайльд Гарольда». Но Хобхауз, который не жил с Шелли, был очень удивлен: «Тут есть прекрасные места, но я не знаю, смогу ли полюбить это так же, как первые песни. Здесь какая-то таинственность и метафизика». Что же до «Стансов к Августе», которые ему Байрон тоже показал, он нашел их плаксивыми, скучными и пародировал их самым безжалостным образом:

Ты поэт — так избавь нас от скуки,
Умница — так дай передохнуть,
Ты нам все — извини ж, ради бога,
Если нам невтерпеж эта муть.

Действительно, разговаривать с Хобхаузом о чувствах было довольно трудно.

Скроп Дэвис уехал первым, увозя с собой отшлифованные камни, агаты, хрустальные ожерелья, которые Байрон накупил в Шамони для своих племянниц Ли и для дочки Ады — «своего сокровища». Это была самая выдуманная из всех его привязанностей — эта маленькая девочка, которую он видел два раза, но которую он как-то по-своему любил.

Через несколько дней после отъезда Дэвиса отправили несчастного Полидори; он был не лишен благородства, но тщеславие делало его невыносимым. Хобхауз, который любил безжалостно ставить точки над «i», заметил, что он предрекал это; оставшись теперь вдвоем с Байроном на Диодати, он предложил предпринять новую прогулку в горы и осмотреть Юнгфрау.

Темно-зеленые пастбища, бесчисленные колокольчики в стадах, пастухи, стоящие неподвижно на далеких вершинах, которые, кажется, принадлежат скорее небу, чем земле, последние скатерти почерневших снегов, которых не растопило лето, — все это напоминало Байрону его каникулы в детстве в Шотландии. «Это похоже на сон, — сказал он Хобхаузу, — слишком блестяще и слишком дико, чтобы быть действительностью». Ему нравились ледники, волнистая поверхность которых напоминает какую-то окаменевшую бурю, водопады, чьи гривы из пенистых нитей света вызывали образ гигантского белого коня, того самого, быть может, на котором скачет апокалипсическая Смерть. И тяжелые сернистые облака, ползущие по краю пропастей, словно пена адского океана. Среди этих необыкновенных пейзажей Байрон думал об Августе и во время всего путешествия вел для нее дневник:

«Вчера, 17 сентября 1816 г., отправился (с Хобхаузом) в горы побродить. Буду вести коротенькие записи для моей сестры Августы.

— Музыка коровьих колокольчиков на пастбищах, пастухи перекликаются с утеса на утес, играют на свирели, бродя по склонам, которые кажутся почти недоступными, — все это показывает вживе то, что я раньше только слышал или воображал о пастушеской жизни... Это чисто, без всякой примеси — одиноко, дико и патриархально... В этот миг я населяю душу природой.

— Девять часов. Ложусь спать. Хобхауз в соседней комнате стукнулся головой об дверь и, ясное дело, проклинает

все двери на свете. Сегодня не устал, все же надеюсь уснуть. Внизу болтают женщины. Прочел французский перевод Шиллера. Покойной ночи, дорогая Августа.

— Гринденвальд. Звездный свет, очень красиво, но чертовская тропинка. Впрочем, это не важно, добрался благополучно, небольшая гроза... Прошел через целый лес совершенно засохших сосен, голые стволы без коры, безжизненные ветви. Все это уничтожено за одну зиму, — это зрелище заставило меня подумать о самом себе и о моей семье.

— Дорога из Берна во Фрибург. Купил собаку — очень некрасивую, но очень злую; большое достоинство в глазах ее хозяина да и в моих. Она куцая, ее зовут Мутц.

— Мне повезло во время этой прогулки (тринадцать дней) — как в отношении погоды, так и в отношении выбора спутника... Готов был совершенно удовлетвориться. Люблю Природу и преклоняюсь перед красотой. Могу переносить усталость, лишения мне скорей приятны, видел несколько пейзажей, самых благородных в мире. Но среди всего этого — горькие воспоминания и всего более о моем недавнем и наиболее интимном разочаровании, воспоминания, которые идут за мной через жизнь; они грызли меня все время среди этого путешествия. Ни музыка пастухов, ни грохот лавин, ни буря, ни горы, ни ледники, ни лес, ни облако — ни на одну минуту не облегчили тяжести, которая давит мне сердце, и не позволяли мне освободиться от моего несчастного «я» — в могуществе, силе и славе всего того, что было вокруг меня, подо мной и надо мной.

— Я вне упреков, и для всего есть свое время. Я выше желания мстить, да, кроме того, не знаю такой грозной мести, которая была бы достаточна для всего, что я перестрадал. Придет час, и то, что я чувствую, почувствуют и другие... Но довольно об этом. Вам, дорогая Августа, посылаю этот дневник, который вел для вас, — о том, что видел и испытал. Любите меня так, как вы любимы мной».

В августе Байрона посетил на Диодати Льюис, автор «Монаха». Перевел ему несколько мест из «Фауста» Гете. Тема

могла его тронуть. Вопросы, которые Фауст задавал вселенной, пакт с чертом, потеря Маргариты — разве это не было его собственной историей? Но если б он, Байрон, был творцом «Фауста», он сделал бы его более мужественным и более мрачным. С какой стати дрожать перед духами? Человек, настоящий человек, не боится их и не боится смерти.

Всякое творение вырастает из толчка, который оплодотворяет благодарную почву. Почва у Байрона была готова: это раскаленная масса невыраженных чувств, ужаса, любви, желаний, сожалений — лава, которая еще раз грозила уничтожить все. Из шока, созданного чтением «Фауста» и альпийскими пейзажами, выросла большая драматическая поэма «Манфред». Он написал два первых акта в двенадцать дней во время путешествия. Пейзажи, которые он описывал прозой в дневнике для Августы, превратились после легких изменений во фрагменты новой драмы и смешались со скорбными признаниями. Все живые сцены путешествия, встреча с охотником, пастух, играющий песню на свирели, — все это теперь вошло в поэму, сюжет которой был достаточно неопределенен, чтобы вместить все.

Манфред, синьор в феодальном замке на Альпах, предавался магическим наукам; он богат, учен, но душу его как будто терзает память о былом преступлении. В первой сцене, весьма фаустической, он вызывает Духов земли, океана, гор, света. «Что ты хочешь от нас, сын земли?» — спрашивают духи Забвения. «Чего? — Того, что есть во мне...» — отвечает Манфред. Что же в нем есть? Это предоставляется угадать. Сожаление о женщине, Астарте, которую он потерял и с которой вновь хотел бы соединиться, желание отомстить другой женщине, которую он, однако, не называет. Против этой последней таинственный голос произносит ужаснейшее заклятие — и так как Байрон не может покинуть самого себя и забыть о своем «я», намеки ясны для нас и символы прозрачны. И мы знаем, что Манфред — это Байрон, Астарта — Августа, а объект заклинаний — Аннабелла.

Как бы ни был сон глубок,
Твой рассудок не заснет,
Не покинут эти тени,
Неотвязны эти пени,
Силой, что сильней тебя.
Ты не сможешь быть одна.
Словно саваном опутан,
Дух твой облаком укутан,
И навек ты жить должна
Моим заклятьем заклята...
Этим скрытым лицемерьем
И притворством — чем умела
Человеком ты прослыть,
Сладостью чужих страданий,
Братом стал тебе сам Каин.
Время близится расплат,
Будешь ты сама свой Ад.

Затем Манфред умоляет колдунью вызвать для него Астарту. Он так описывает ее:

Она меня напоминала всем —
Глаза, и волосы, и даже голос
Прекрасный — так нам говорили все,
Но все нежней, утишенней, прелестней,
Те ж мысли одинокие и бред...
И тот же нрав, но мягче и свободней.
Улыбка, слезы, жалость — я не знал их —
И нежность — только к ней ее питал я.
Смирение — но я его не ведал.
Все добродетели — ее, мои ж ошибки:
Я так любил ее — и был ей в гибель*.

«Я любил ее, и я ее погубил» — вот тайна отчаяния Манфреда, как и самого Байрона. И Байрон голосом Манфреда кричит о своих страданиях, слишком хорошо спрятанных под маской спокойного хозяина Диодати и вежливого визитера Коппе.

И одиночество — не одиноко,
В нем фурий дикий крик. Я скрежетал

* Манфред, акт II, сцена II.

Зубами в темноте ночной до света,
И проклинал себя я до потемок,
Безумия молил себе — и нет...

Тщетно адские силы вызывают Астарту для Манфреда, она является, но не говорит ни слова, такая же немая, какой была в то время Августа для Байрона, которую память ему воспроизводила все менее и менее отчетливо.

...И ты меня любила слишком,
И слишком я тебя любил. Но мы
Не созданы, чтобы терзать друг друга,
И грех смертельный было так любить!
Скажи, что ненависти нет, — и пусть
Один несу за вас я искупленье...
Еще бы перед гибелью услышать
Твой голос мелодичный! — Говори!

Она исчезает, не ответив ему, и Духи с ужасом взирают на отчаяние Манфреда. «Если бы он был одним из нас, — говорят они, — это был бы страшный дух».

Поток лавы был великолепен. В «Манфреде» не хватало третьего акта, но Байрон не стал его писать тогда. Он вернулся на Диодати с Хобхаузом, и горное очарование уже рассеялось.

Одной из самых важных причин тоски Манфреда было молчание Астарты. Почему Августа отвечала на жалобы Байрона банальными, ничего не говорящими письмами? Почему ее раздражающая непоследовательность, столь обаятельная на взгляд Байрона, оборачивалась на этот раз в плоские нравоучения? Встревоженный Байрон угадывал за невнятными фразами сестры влияние какого-то совершенно иного ума, который он узнавал, пожалуй, слишком хорошо. Но он был далек от того, чтобы вообразить себе, что произошло за время его отсутствия между двумя женщинами.

В тот день, когда Байрон покинул Англию, леди Байрон (которая уже несколько недель жила в Лондоне, чтобы быть неподалеку от юриста и советника, Лэсингтона и Ромильи)

уехала в деревню к маленькой Аде. Ей было двадцать четыре года, а жизнь, ей казалось, была кончена для нее. Ее чувства к Байрону были недобрыми, — она его слишком любила, чтобы не ненавидеть теперь, не переставая, впрочем, и любить. Августа, которая виделась с ней перед ее отъездом, поразилась ее ужасающим спокойствием мертвой.

Моральные проблемы, которые беспокоили это кропотливое сознание задетого казуиста, не были разрешены отъездом мужа. Как должна она была обращаться с Августой? Дружески? Но это значило бы отнять всякую значимость у самого серьезного из ее обвинений против Байрона на тот случай, если бы ей когда-нибудь пришлось выступить против него по вопросу о воспитании ее дочери. Неприязненно, как этого хотели ее юристы? Но это значило подтвердить все сплетни, распускавшиеся Каролиной Лэм и многими другими; кроме того, это значило сделать для миссис Ли невозможной жизнь в Англии. Если б Августа поехала за Байроном в изгнание, если бы она открыто показала себя и сестрой, и супругой, леди Байрон, победительница, осталась бы госпожой положения. Но романтическая потребность жертвы была в ней всемогуща! Она не хотела погибели своей золовки; считала, что ее христианский долг спасти душу Августы и, если окажется возможным (хотя она уже не верила в это), душу Байрона. Этот двойной результат мог быть достигнут только в том случае, если виновные не будут видеться друг с другом. Уважать их свободу — значило сделаться соучастницей их проклятия.

Столь хитросплетенными путями долг повелевал — совершенно так же, как сделали бы ревность и обида, преследовать грешницу; но под маской долга, разумеется, проскальзывало в сознание этой щепетильной женщины чувство более тревожное и вдобавок более естественное, а именно — желание знать. Только уверенность убивает ревность. Но у Аннабеллы не было такой уверенности насчет ужасного происшествия, которое было истинной причиной ее несчастья. Она угадывала признак инцеста, бродившего по ее дому со

дня свадьбы, но к чему относилось замеченное ею? Была ли эта страсть давнишней, уже затихшей и угасшей? Или, наоборот, эта чудовищная любовь продолжалась и после его женитьбы? Она не знала этого и жаждала узнать. Августа занимала в ее мыслях так много места, что этому можно было бы удивляться, если бы нам всем не было свойственно привязываться с упорным беспокойством, доходящим почти до нежности, к существу, которое владеет тайной, пусть даже ужасной, но которую мы жаждем узнать.

В этом смятении леди Байрон посчастливилось найти наперсницу. Близкая подруга Августы, миссис Джордж Вильерс, попросила леди Байрон поддержать золовку против светских клевет. Аннабелла нанесла ей визит и рассказала правду. Миссис Вильерс, благонравная дама, была и поражена и заинтересована до крайности. Августа всегда говорила о разлуке и о сплетнях тоном такой оскорбленной невинности, что миссис Вильерс с трудом могла поверить леди Байрон. Убедившись в ее правоте, она впала в благородное негодование. «Можно было бы простить Августу, — говорила она, — если бы она мучилась, раскаивалась, но эта высокомерная легкость преступницы была совершенно непростительной». Таковы же были чувства и леди Байрон. Как многим нравится помогать разорившемуся другу только для того, чтобы он не смел мечтать о счастье и довольстве, так и эти две женщины готовы были прийти на помощь грешнице, но только при условии, что она добровольно унизится. Байрон — он тоже был грешником, но, по крайней мере, знал, что такое грех. Августа же, казалось, никогда об этом и не думала. «Я всегда замечала, — писала Аннабелла, — эту поразительную разницу между ними: чувства Байрона, хотя они и не согласовались с его поступками, были гораздо более тонки и благопристойны в вопросах морали, чем чувства Августы. Она как будто не считала свои преступления значительными».

Миссис Вильерс была согласна с леди Байрон в том, что необходимо привести Августу от гордости к раскаянию. Миссис Ли, казалось, считала вполне естественным, чтобы меж-

ду ней и невесткой в глазах света поддерживались дружеские отношения. Необходимо было дать ей почувствовать, что она теперь находилась вне закона.

Леди Байрон — миссис Ли: «Я не хотела беспокоить вас до ваших родов, но теперь, зная, что вы оправились, не могу далее скрывать от вас, что по соображениям, связанным с некоторыми подробностями вашего поведения, которые, впрочем (как бы я ни была уверена в них), хотела бы похоронить в молчании, я стою перед необходимостью и долгом ограничить мои отношения с вами...»

Две добродетельнейшие женщины с трогательным беспокойством вопрошали друг друга, как ответит на эти угрозы их падшая сестра: «Я думаю, что первым ее чувством будет страх, вторым — гордость...» Но Августа ответила очень скромно: «Я вынуждена для блага моих детей принять от вашего сострадания предложение ограничить наши отношения; по-видимому, это все, что вы можете предложить той, которая, по вашим словам, больше недостойна ни вашего уважения, ни вашей любви. Придет время, когда ваше мнение изменится».

Теперь было необходимо, чтобы довести до конца это нравственное врачевание, добиться от нее сначала признания в ее преступлении, а затем отказа видеться с Байроном. Переписка между невестками продолжалась, и мало-помалу та, что была слабее, помимо своей воли допустила в письмах несколько полупризнаний. Она созналась, что преступные отношения существовали до женитьбы Байрона, но клялась с упорством, казавшимся искренним, что после его свадьбы она была непоколебима*. После этого допрос принял более точные формы. Если двое по обоюдному согласию долго об-

---

* *Леди Байрон — миссис Ли:* «Так как вы не стремитесь и никогда не стремились обмануть меня в том, что касается давнишних фактов, насчет которых моя уверенность непоколебима, я готова поверить, когда вы говорите, что никогда не вредили мне сознательно...»

Леди Байрон — миссис Вильерс: «Я получила ответ — он как раз таков, каким и должен быть, — это все, на что я могла надеяться. Я совершенно убеждена в невиновности Августы за весь тот период, когда это могло непосредственно касаться меня». — *Примеч. авт.*

ходят молчанием серьезный, мучительный вопрос, то в тот момент, когда наконец решаются вскрыть этот нравственный нарыв, они нередко находят мрачное, но острое удовольствие и томительное счастье в том, чтобы вдвоем изучать подробности, которые были как для одного, так и для другого предметом столь долгих одиноких дум. Аннабелла объясняла Августе, каким образом (в первый же день по приезде в Сикс-Майл-Боттом) все показалось ей подозрительным, а Августа услужливо разбирала свои собственные заблуждения и свою безумную уверенность в слепоте Аннабеллы.

Иногда грешница вновь забывала о раскаянии. Миссис Вильерс 18 июля 1816 года, на другой день после свидания с ней, писала леди Байрон, что «Августа разговаривала только о тюлях и шелках, у нее был здоровый и прекрасный вид, она, по-видимому, совершенно холодна и не чувствует никакого гнета на душе». К счастью, спустя некоторое время она оказалась подавленной и смущенной. Но дело не было еще окончено.

Опасность заключалась в том, что Байрон снова мог оказать на нее влияние. Он хотел, чтобы они встретились в Швейцарии или Италии; можно было опасаться, что она соблазнится этим, тем более что полковник Ли, совершенно запутавшийся в долгах, был способен согласиться на ее отъезд. Она же казалась готовой на все безумства, когда брат ее говорил, что он несчастен. Тщетно описывала ей Аннабелла ужасные страдания, которые рождались у Байрона угрызениями и которым она была свидетельницей. «Я никогда сама не видела, — говорила Августа, — то, что вы описываете, как его мучения... Если бы я знала, как помочь истинному его счастью! Но, увы! Я не знаю этого...» Иной раз леди Байрон с полным удовлетворением прикрепила бы к груди своей золовки доску с надписью: «Нераскаянная еретичка».

Наконец в августе 1816 года она приехала в Лондон повидаться с Августой. Чтобы приготовиться к этому окончательному допросу, она по своему обыкновению составила памятку с нумерованными параграфами: «Что вас более угнетает:

ваш грех или его последствия? Ваша вина против Бога или против ваших ближних? Чувствуете ли вы совершенно ясно, что всякая мысль, связанная с таким грехом, сама по себе греховна и что сердце может быть преступно даже и тогда, когда поступки невинны?»

В течение первой половины сентября женщины виделись каждый день*. Во время этих бесконечных разговоров Августа в конце концов оказалась в руках более сильного существа и вручила Аннабелле руководство своей душой. Она обещала, что будет с этих пор показывать ей письма лорда Байрона и будет сама отвечать ему только холодно. Леди Байрон не требовала, чтобы она прекратила переписку с братом: «Я не советую вам ограничивать переписку, но прошу всегда думать о том, чтобы исправить его чувства, а не о том, чтобы успокоить их или удовлетворить. Избегайте поэтому всяких фраз и всяких намеков, которые могли бы навести его на дурные мысли... Позвольте еще мне предостеречь вас от легкости мысли и от того несколько сумасбродного тона, которые он любит, но любит по той недостойной причине, что это мешает ему серьезно размышлять». Бессознательная ловкость женщины — она отнимала у Августы то, что составляло все ее очарование.

В Женеве погода становилась холодной и дождливой. Байрону хотелось уехать из Швейцарии. С другой стороны озера, из Сешерона, английские туристы блокировали его балкон своими морскими биноклями в надежде усмотреть там юбку. Чувствительный, как все гонимые, он чувствовал, что его даже в этом уединении преследуют ненавистью, которая провожала при отъезде. Ему хотелось бы пересечь горы и уехать к волнам Адриатики — «как загнанному оленю, который в отчаянии бросается в воду».

---

* *Записки леди Байрон:* «Августа сделала мне полное признание о прежних отношениях — энергично отрицая при этом, что они могли продолжаться после моей свадьбы... Она призналась, что стихи (I speak not, I trace not, I breathe not) были посвящены ей».

Миссис Вильерс — леди Байрон: «Я поговорила с Августой относительно этих стихов весьма твердо». — *Примеч. авт.*

В начале октября он покинул Диодати и отправился с Хобхаузом в Милан через Симплон. Великолепный Флетчер ехал с ними и восхищал Хобхауза своим искусством переводить в английскую обыденность все, что только ему ни встречалось. Один из водопадов напомнил Флетчеру «белый парик почтенного мистера Бехера». Шесть лошадей втащили коляску Байрона на самый верх Симплона. Они проехали через зону еловых лесов, зону каменистой пустыни и зону вечных снегов. На вершине, не найдя никакой стены, чтобы написать на ней свои имена, они записали их на клочке бумаги и тщательно спрятали его под камень. Потом, спускаясь от вечных снегов через каменистое одиночество и утесы с елями, они приехали наконец в горную долину Домодоссола с ее белыми колокольнями, возвышающимися над склонами, покрытыми виноградниками.

Флетчер получил приказание приготовить карабины, кинжалы и пистолеты. Англичанам говорили, что страна небезопасна. Несчастная Италия после падения Наполеона попала под иностранное владычество. Священный союз, «Общество династий», сделал из Ломбардии Австрийское королевство, которым лейтенант господа бога Меттерних управлял при помощи своей полиции. Шпионы шныряли повсюду, в семьях царил донос. Либералы и патриоты основывали тайные общества. С самого Милана у Байрона образовались связи с либералистской средой. У него была рекомендация от мадам де Сталь к монсиньору Людовику Дебрэму, священнику при дворе экс-короля Италии. Через него он познакомился с маркизом Дебрэмом (который был когда-то министром внутренних дел у Евгения Богарнэ), с самым знаменитым из живых поэтов Италии Монти и писателем Сильвио Пеллико. Страна нравилась ему. У крестьянок были прекрасные черные глаза. Храбрость и любовь были написаны на каждом лице.

Он был в восторге от Амвросийской библиотеки, где ему показали «реликвии» Лукреции Борджиа, прядь ее волос, длинных и прекрасных, и ее письма, «такие прелестные, такие любящие, что он почувствовал себя несчастным, что не

родился раньше, когда можно было, по крайней мере, хоть увидеть ее». «И догадайтесь-ка, прошу вас, — писал он Августе, — как она иногда подписывалась? Вот так +, крестом, который должен, как она говорила, заменять ее имя... Разве это не забавно? Я думаю, вы знаете, что она была замечательно красивой и знаменита еще своим образом жизни, и что она любила этого кардинала Бембо (плюс еще эта ее история с папенькой, папой Александром и ее братом Цезарем Борджиа — иные этому верят, другие — нет). Она кончила тем, что стала герцогиней Феррарской, прекрасной женой и матерью, — словом, совсем примерной».

В театре «Скала» в ложе Дебрэмов Хобхауз и Байрон познакомились с французом господином де Бейлем, бывшим интендантом Императорского хранилища, который рассказал им удивительные истории. Он сказал им, что был личным секретарем Наполеона и нес службу у императора во время отступления из России. «Наполеон тогда совсем потерял голову, — сказал Бейль, — он подписывал свои указы «Помпей». Когда Бейль ему сказал: «Ваше величество изволили ошибиться», он взглянул на него с ужасной гримасой и промолвил: «Ах, да». Однажды Бейль видел, как восемьдесят четыре генерала явились на главную квартиру, восклицая: «Вся моя дивизия!.. Ах, вся моя бригада!..» Когда император уехал, Бейль был прикомандирован к Мюрату; Мюрат садился на постель и горько плакал. Потом Бейль говорил о Талейране, сказал, что, попади он в суд, его бы осудили, и что Наполеон вовсе не был жесток и, пожалуй, даже слишком мягок. Он сообщил им, что госпожа Ней теперь в Милане и что на гробнице своего мужа она велела сделать надпись: «Тридцать пять лет славы; один день заблуждения». Удивительный человек, этот господин де Бейль, — всегда он самолично присутствовал при самых невероятных обстоятельствах. «У меня все основания, — писал Хобхауз, старательно записав все эти драгоценные анекдоты, — считать Бейля человеком, достойным доверия, но у него манера говорить очень зло, и он про-

изводит впечатление материалиста, каков и есть на самом деле».

В Милане Байрон и Хобхауз снова обрели несчастного Полли-Долли. Он поссорился с каким-то офицером, и Байрону еще раз пришлось вмешаться, чтобы спасти его. Маленький доктор был теперь кандидатом на пост медика принцессы Уэльской. «Бедная женщина, — сказал Хобхауз, давая ему рекомендательное письмо, — надо быть полоумной, чтобы взять себе такого лекаря». Но Луи Дебрэм, менее несправедливый, чем Хобхауз (страстный ксенофоб), был лучшего мнения о бедном докторе. «Редко можно встретить, — писал он госпоже де Сталь, — такого честного, простодушного и искреннего человека, как Полидори».

Луи Дебрэм выразил ей свое суждение и о самом Байроне, тем более интересное, что оно совпадало с мнением сэра Вальтера Скотта:

«Лорд Байрон — это сама любезность. Ему представился случай показать свое доброе сердце Полидори, и он сделал это очень просто и предупредительно... Я думаю, что есть люди с душой, быть может, мало социальной, но в высшей степени гуманной. Лорд Байрон одарен целым рядом качеств, которых, что, впрочем, вполне естественно, не замечают его соотечественники и домашние, и главным образом потому, что у него отсутствуют качества, которые обычно принято требовать... Мы дали ему понять, что нас совершенно не касается то или иное установившееся о нем мнение и что наше суждение о нем будет зависеть всецело от него самого. Его произведения так нравятся всем нашим друзьям, кто знает английский язык, что мы, не говоря об этом прямо, всегда даем ему почувствовать наше глубокое восхищение, и это способствует дружескому взаимоотношению и дает ему возможность держать себя совершенно уверенно в обществе людей, которыми я его окружил. Награда для тех, кто умеет утешить смятенные души, в том, что только они одни и могут понять эти души».

Итальянские друзья показали Байрону все достопримечательности Милана. Он слышал эхо Симонетты и видел со-

бор в сиянии луны. Господин де Бейль отметил удивительное впечатление, которое произвела на Байрона картина Даниела Креспи. Она изображала монаха в гробу посреди церкви, который во время заупокойной службы внезапно срывает покров мертвеца и поднимается из гроба, восклицая: «Проклят я судом праведным!» Байрона нельзя было увести от этой картины, он был тронут до слез. Из уважения к гению его спутники незаметно вышли, сели на лошадей и дожидались на дороге.

Наконец 4 ноября Хобхауз и Байрон уехали в Венецию. Они проехали Брешу, Верону (где Байрон был растроган воспоминаниями о Джульетте), Виченцу и однажды ночью, задремав в гондоле под весьма сумрачным небом, вдруг проснулись посреди огней Венеции. Эхо весельных ударов говорило, что они идут под мостом, — гондольер крикнул: «Риальто!» Через несколько минут они пристали к ступеням отеля Великобритании на большом канале, и их повели по великолепной лестнице в золоченые комнаты, обтянутые разрисованным шелком.

XXVIII
ВЕНЕЦИЯ — ВОЛШЕБНИЦА СЕРДЦА

Байрон — Меррею: «Венеция мне нравится не менее, чем ожидал, а ожидал немало. Это один из тех городов, которые я знал, еще не видя, и после Востока — это то место в мире, о коем больше всего мечтал. Мне нравится задумчивая веселость ее гондол и тишина каналов. Не отталкивает даже явный упадок города, хоть я и сожалею о своеобразии его исчезнувших костюмов, впрочем, их еще немало, и скоро карнавал». И *Тому Муру:* «Я думаю провести в Венеции зиму... Город не разочаровал меня... Я слишком долго жил среди развалин, чтобы не полюбить запустения».

Венецианский диалект ему нравился, как и охряные тона венецианских домов, как звучные имена и розовый мрамор дворцов, как мрачная красивость ночных гондол. В городе Купца и Мавра, Порции и Дездемоны ему казалось, что на каждой улице встречается тень Шекспира. Он не чувствовал себя таким калекой в городе, где ходьба заменялась медленным скольжением в гондолах.

Венецианская республика больше не существовала. Крылатые львы св. Марка не стояли стражей ни над дожами, ни над Советом десяти. «Буцентавр» был сожжен французами. Как и в Милане, австрийский правитель представлял здесь Меттерниха. Но город остался сладострастным и веселым. Кафе на площади Св. Марка всегда полны. В Венеции было восемь театров (больше, чем в Лондоне и Париже). Итальянское общество объединялось в conversazioni, причем самым блестящим считался салон графини Альбрицци, которую венецианцы звали «итальянской баронессой де Сталь». Она позаботилась,чтобы ей немедленно представили «первого поэта Англии». Хобхауз нашел, что эти conversazioni были жалкой копией салона Коппе, однако хозяйка казалась милой особой.

4 декабря друзья разъехались. Хобхауз уехал в Рим, Байрон остался в Венеции. Он нашел себе сразу «приют и любовницу» у синьора Сегати, торговца тканями, который держал на Фреццерии (длинная узкая улица по соседству с собором Св. Марка) лавочку под вывеской Corno*. Очень скоро его подмастерья добавили к этому: inglese**. Торговля Сегати шла плохо, но жена у него была молодая и красивая. Кроме того, она прекрасно пела, из-за ее голоса супругов Сегати принимали в домах венецианской аристократии. Марианна Сегати сумела внушить Байрону (столь невинному под своей маской распутника), что он был ее первым возлюбленным. В Венеции она слыла жадной и доступной, но он был очарован ею: «С первой недели, как сюда водворился, я полюбил гос-

---

* Рог *(ит.)*.

** Английский *(ит.)*.

пожу Сегати, продолжаю ее любить и теперь, потому что она очень красива, мила и говорит по-венециански, а это меня забавляет, а еще потому, что она наивна, я могу ее видеть и заниматься с ней любовью во всякое время, что как раз подходит моему темпераменту».

В общем, он любил ее по-своему, полусентиментально, полупрезрительно, как любил бы верного пса, лошадь или песенку Тома Мура. Она была веселой, когда это ему нравилось, молчаливой, если ему было грустно, — прекрасное ручное животное. Альпы, работа над «Манфредом», новизна Италии успокоили то внутреннее кипение, в которое на Диодати он едва решался заглядывать. Он перестал если не страдать, то, по крайней мере, наслаждаться своим страданием. Болтовня иностранки на «ее прелестной ублюдочной латыни» помогала притупляться его чувствам. Для физической усталости, лучшего средства от страстей, он добыл у коменданта австрийского форта четырех лошадей и каждый день скакал на Лидо, по узкой полоске земли, где адриатические волны бушевали у ног его коня.

Каждый день его гондола останавливалась у армянского монастыря. Он подружился с монахами и любил приезжать к ним на маленький островок, усаженный иудиными деревьями, кипарисами и апельсиновыми деревьями. Пройдя через цветущую обитель, он входил в комнату, всю завешанную иконами, и помогал там отцу Паскалю Ашару составлять англо-армянскую грамматику. Он любовался оливковым цветом его лица и длинной черной бородой, которая делала его похожим на старшего жреца соломонова храма. Армянский язык был труден, но в самой этой трудности была привлекательность. «Мне кажется необходимым заставить мой мозг побиться над какой-нибудь трудной задачей, — эта же самая трудная, какую только здесь можно найти».

Когда его спрашивали, сколько времени он пробудет в Венеции, отвечал: «...надеюсь, что любви и армянского алфавита мне хватит на зиму». Он охотно разговаривал с монахами, завидовал их одиночеству, мирному убежищу, душевно-

му покою. Отец Ашар рассказывал об Армении и утверждал, что именно там, согласно всем библейским авторитетам, и находился земной рай. Бог знает, где искал его Байрон. Нашел ли он его, наконец, в Венеции? Иногда он верил в это. Поездки в гондолах, скачки верхом, уроки армянского языка, ласки Марианны удерживали на почтительном расстоянии великого врага — скуку. Венецианцы уже смотрели на него как на естественное украшение своего города. Благодаря «Божественной комедии» и афинянину Николо Жиро он довольно хорошо говорил по-итальянски.

Языков зная много, для чужих
Я перестал быть чужестранцем...

Как когда-то в Греции, он теперь, снова оторвавшись от своей страны, отрывался и от своей приверженности ко всему английскому. Вдали от англичан он иногда в глубине души забывал и об английском авторитете. «Если бы я мог остаться таким, как сейчас, то был бы не только счастлив, удовлетворен, а это, по-моему, труднее и случается реже. У меня есть книги, достаточный комфорт, прекрасная страна, язык, который мне нравится больше всех других, много развлечений, знакомств, сколько хочу, и красивая женщина, которая не надоедает. У жизни мало что осталось, что могло бы возбудить мое любопытство, не много может она предложить мне такого, чего бы я не видал или в чем бы не принимал участия, — и было бы в высшей степени глупо с моей стороны ссориться с удачей из-за того, что она не захотела сопутствовать мне; да к тому же ведь отчасти я был и сам этому виной. Если настоящее будет длиться, порву с моим прошлым, и вы можете считать себя покойником, так как никогда уже по доброй воле не возвращусь жить на ваш тесный остров».

Пришел карнавал, лучшее время в Венеции, время маскарадов и серенад, вылазок и тайн, время, не столь любимое мужьями, сколь любовниками, время, когда женщины, перед покаянием грядущего поста, запасаются для него мате-

риалом. Байрон начинал их знать довольно хорошо, этих черноокиx венецианок. У каждой был, по крайней мере, один amoroso*; те, у которых действительно был только один, считались добродетельными и меняли его на другого во время карнавала. Только одна Марианна Сегати, довольная своим красавцем-англичанином, думала лишь о том, чтобы его удержать.

Красочные костюмы, турки, евреи, греки, римляне оживляли черные гробы гондол. Байрон отдавался пляшущему ритму этой жизни. Его письма к Тому Муру пели, как венецианские гитары:

Чем ты занят ныне,
Милый мой Том Мур,
Чем ты занят ныне,
Милый друг Том Мур?
Вздыхая и тоскуя,
Млея и рифмуя,
Целуясь и воркуя —
Чем же, милый Мур?
Карнавалом веет,
Милый друг Том Мур,
Карнавалом веет,
Милый мой Том Мур,
Маски все хитрее,
Тамбурин звончее...

На темных улицах до утра слышались звуки песен и поцелуев, Марианна и Байрон разгуливали целые ночи напролет, в то время как Венецианский Купец спал под вывеской Английского Рога. Это было очаровательно в продолжение нескольких дней, а затем эта ночная жизнь утомила Байрона. Здоровье его слабело. Может быть, то была лихорадка этих уснувших вод? Припадок малярии, вроде того, который чуть не погубил его в Патрасе? Или это уже старость? Ему минуло двадцать девять лет. «Шпага уже ножны износила», — говорил он и писал Марианне восхитительные и усталые стихи:

* Любовник *(ит.)*.

Больше мы грести не будем
Темной ночью в тишине,
Хотя мы все так же любим,
Тот же месяц в вышине.
Шпага ножны износила,
Сердце износило грудь,
И любви живая сила
Замолчит когда-нибудь.
И хоть ночь любовью дышит,
И бежит рассвет ко мне,
Наших весел не услышит
Яркий месяц в вышине.

Он провел пост в постели, сильно недомогая, и в лихорадочном бреду образы прошлого вновь обретали опасную силу. Что сталось с Августой? Он ничего не понимал в этом новом ее покаянном жаргоне.

«Думаю, что получил все ваши письма, полные по обыкновению несчастий и тайн, но я никак не могу выразить сочувствия, так как, клянусь жизнью, никак не пойму, отчего вы страдаете: от ушной боли или от разбитого сердца, вы ли хворали или дети; к чему относятся ваши таинственные и меланхолические опасения — к роману ли Каролины Лэм, или к свидетельствам миссис Клермонт, а может, к великодушию леди Байрон, или к прочему вранью... Думаю, все, чем вы могли огорчаться, давно уже прошло; что же до меня, то предоставьте меня, пожалуйста, самому себе».

И немного позже:

«Я снова повторяю вам, что гораздо лучше было бы объяснить мне все эти ваши тайны, чем продолжать эту нелепую манеру писать намеками. Что вы хотите сказать? Что такое могут узнать кругом, чего бы мы с вами не знали гораздо лучше и что вы могли бы спрятать от меня? Что касается м е н я, то я никогда не отступал, — я уступил для вас, потому что думал, что они будут пытаться вас скомпрометировать, хоть им и нет никакого дела до того, что было до моей женитьбы на этом адском чудовище, гибель которого я когда-нибудь да увижу». Письмо это было переслано леди Байрон с таким комментарием Августы: «Я не могу придумать письма груст-

нее — столько злобы, ненависти и горечи по отношению ко всем на свете, — его только и остается, что сжечь; в общем, мне ясно, что он недоволен собой, бедный мальчик». В этой женщине не было злобы, но она умела и муки преисподней перевести в детский лепет.

Во время своей болезни Байрон закончил третий акт «Манфреда»; он получился несколько сжатым (Байрон не умел, подобно Гете, маневрировать большими массами сверхъестественного), но интересным своей философией. Манфред — перед лицом смерти. Аббат соседнего монастыря пытается примирить его с самим собой, может быть, эта сцена была эхом разговоров Байрона с монахами-армянами. Католический священник предлагает грешнику покаяние и прощение. «Я не говорю о наказании, сын мой (возмездие принадлежит только Создателю), но церковь дает мне возможность облегчить грешнику дорогу к самой высокой надежде». «Слишком поздно, — отвечает Манфред. — Ничто не может изгнать демона, когда он — сама душа грешника. Никто не может отпустить грехи человека, внутри которого — Ад». Не с Богом не может примириться Манфред, а с самим собой.

О мой отец! Я знал земные мысли
И доблестные юности порывы,
Они меня могли б таким же сделать,
Как все, — и я б зажег народы...
...Но все прошло,
И стало ясно — обманулась мысль,
И покорить свой дикий нрав не мог я...
...Со стадом не могу смешаться я.
Хотя бы вожаком и волчьей стаи;
Лев одинок — и я таков, как он...

В последней сцене духи, посланные адом, пытаются схватить и унести Манфреда. Он прогоняет их:

...В свой Ад вернись!
Ты власти не имеешь надо мной
И никогда владыкой мне не будешь.

Что сделал — сделано. Несу в себе
Такую казнь, что злее не измыслишь.
Бессмертный дух себе судья единый.
И за добро и зло он сам заплатит.
Не ты мой искуситель — ты б не мог
Ни обмануть, ни взять меня добычей,
Я сам свой разрушитель — и таким
И там я буду...

Таким образом, в первый раз Байрон, увлеченный Шелли в метафизические размышления, пробовал примирить непобедимое ощущение греха со скептической философией, не позволявшей принять ортодоксальные идеи ада и наказания. Он нашел поистине изумительное байроническое решение, сделав себя одного центром и сутью этой системы. Байрон сам был искусителем Байрона. И Байрон сам наказывал Байрона в Байроне. Байрон, он же и погибель Байрона, будет для Байрона загробной карой. Ад существует, но это не ребяческий ад Мэй Грэй. Ад существует, но он внутри нас, и живые сами погружаются в него.

Старик! Ведь умереть не так уж трудно...

Это была последняя фраза Манфреда аббату, это и есть, как писал Байрон Августе, «вся мораль поэмы». Не все люди боятся смерти. Одни боятся ее потому, что любят жизнь, другие потому, что страшатся будущей жизни. Но человеческое существование — суровая битва, и бывают чувствительные существа, ощущающие безвыходный внутренний конфликт; для них смерть — как бы желанное успокоение. Байрон был из таких людей. Слишком мужественный, чтобы бежать от жизни, но слишком усталый, чтобы бояться смерти, он хранил о ней среди сутолоки этого странного карнавала никогда не покидавшую мысль. Как когда-то на серых стенах Ньюстеда, пляска смерти извивалась по фризам его венецианского убежища.

Ему стоило большого усилия написать этот третий акт. Первый вариант, отосланный Меррею, показался слабым

всем его друзьям. Он переделал его. Наконец в июне 1817 года драма была напечатана в Англии. Это было довольно опасно для Августы, которую в глазах света любовь Манфреда к Астарте обвиняла самым прозрачным образом. «Никакое признание не могло бы быть более полным, — писала миссис Вильерс. — Это так прозрачно, что его друзья не решатся и подумать отрицать эти намеки... Видели ли вы журнал «The Day and New Times» от 23 июня? Там есть длинная критическая статья о «Манфреде», недурно написанная, по-моему, но полная намеков, и совершенно явных, на Августу». Что же касается самой Августы, теперь уже окончательно прирученной, она писала Аннабелле, спрашивая, что она должна говорить о «Манфреде», если ее спросят. «Вы не можете говорить о «Манфреде», — ответила ей леди Байрон, — не выражая вашего неодобрения самым определенным образом».

Весной, когда Байрону стало лучше, доктора посоветовали ему переменить климат, чтобы совсем избавиться от лихорадки. Хобхауз, который находился в Риме уже пять месяцев, занимаясь археологией, звал туда своего друга. Байрон колебался. Может быть, это было наивно, но мысль покинуть Марианну делала его совершенно «каролиническим». Она хорошо ухаживала за ним во время болезни. Он не хранил ей верности, но был привязан. Как только он влюблялся, его сейчас же увлекала нелепая надежда, что найдет прекрасную душу. И даже Марианна Сегати, снисходительная супруга венецианского торговца, становилась неожиданным воплощением «прекрасного идеала».

С другой стороны, путешествие в Рим давало возможность написать четвертую песнь «Чайльд Гарольда», и он решился послушаться медиков. Проехал через Феррару, где написал «Жалобу Тассо» и видел гробницу Ариосто, Флоренцию, где нашел, что одна из женщин на картине, изображавшей «Избиение младенцев», походила на леди Понсонби. Как Флетчеру, ему всюду мерещились английские лица. Затем по дороге в Рим он проехал около Тразименского озера. В детстве

скромный священник Петерсон рассказывал ему о земле, покрытой мертвецами, и о ручье, в котором текла кровь карфагенян и римлян. Крестьяне показали ему этот ручей, за которым осталось имя Сангвинетто*. Озеро было словно серебряный листок; хорошо возделанные поля и группы деревьев являли мирный пейзаж.

В Риме, как всегда, он жил в двух планах: Байрона и Чайльд Гарольда. В плане Байрона он много ездил верхом, исправлял проклятый третий акт «Манфреда», который мерреевский синклит продолжал упрямо отвергать, и писал Муру:

«О Риме ничего не буду вам говорить; это неописуемо, и путеводитель здесь лучше всякой книги. Вчера обедал у лорда Лэнсдоуна... Ездил верхом почти целый день... Насчет Колизея, Пантеона, Святого Петра, Ватикана, Палатина и т. д. и т. д., — как указано выше, зри путеводитель... Аполлон Бельведерский похож на леди Аделаиду Форбс, я никогда не встречал подобного сходства. Видел живого папу и одного мертвого кардинала — у обоих был прекрасный вид... Вот пришел Хобхауз, лошади у подъезда, итак — поехали».

Скульптор Торвальдсен, к которому его направила графиня Альбрицци и которому он позировал, имел счастливый случай усмотреть этот переход от Байрона к Чайльд Гарольду. Байрон, усаживаясь в мастерской скульптора, принял выражение, совершенно непохожее на то, которое ему было свойственно.

— Не сядете ли вы поудобней? — сказал Торвальдсен. — Вам нет надобности принимать такую позу.

— Это моя обычная поза, — ответил Байрон.

— Вот как! — сказал Торвальдсен. И он изобразил Байрона таким, каким тот хотел быть.

Когда бюст был окончен, Байрон сказал:

— Это не похоже на меня. У меня более несчастный вид.

Для Чайльд Гарольда Рим был самым лучшим местом для размышлений. На всем свете не нашлось бы такого изобилия байронических тем. Величие и падение, развалины и красо-

---

* Кровавый *(ит.)*.

та, божественные банальности встречались на каждом перекрестке... Размышление над гробницей Цецилии Метеллы. Кто была она, эта важная дама, покоящаяся в этой крепости? Была ли она невинна и прекрасна? Была ли она из тех, которые любят своего повелителя, или из тех, которые предпочитают чужих? Умерла ли она юной, с последним розовым лучом детства на щеках, или в старости, с серебряной сединой в длинных косах? У него было столько личного в отношении к смерти, что он растрогался над этой неведомой кончиной. Мечтания на Палатине. Ночные птицы перекликались меж поросших плющом камней, камней, которые были когда-то дворцом императоров... Вечная мораль всей истории человечества. Свобода рождает славу, слава — богатство, тиранию, которая возвращает варваров, и цикл начинается снова... Риторика? Конечно. Но риторы необходимы. Лунным вечером в Колизее, когда звезды дрожали под арками, увитыми дикими цветами, в магическом круге, посещаемом великими мертвецами, — против тех, кто заставлял его страдать, против своей «моральной Клитемнестры», против оскорблявших его изгнание он вызвал свою любимую богиню Немезиду и отмщающее Время:

Держала равно ты всегда, везде
Весы людских грехов, о Немезида.
Здесь поклонялись древние тебе.
Ты призывала фурий из Аида
Кричать, свистать вокруг Ореста...
...Здесь
Я тебя зову — восстань из праха.
Ты слышишь?*

Хотя четвертая песнь «Чайльд Гарольда» и не была написана, у Байрона уже накопился материал, он мог уезжать. Хобхауз, который думал остановиться в Неаполе, пытался увезти его с собой, но Байрон чувствовал себя несчастным вдали от Марианны. Он написал ей, чтобы она выехала навстречу, и вернулся вместе с ней в Венецию.

* Чайльд Гарольд, песнь IV, строфа CXXXII.

Стояла жара, и Байрон опасался лихорадки. Он нанял на лето виллу в Ла-Мира на Бренте недалеко от Венеции. Марианна с хорошо оплаченного согласия суконщика отправилась жить с ним. Вилла была старинным монастырем, церковь давно исчезла. Под огивой в стену был вделан камень, надпись на нем гласила:

HIC SAEPE LICEBIT
NUNC VETERUM LIBRIS
NUNC SOMNO ET INERTIBUS HORIS
DUCERE SOLLICITAE
*IUCUNDA OBLIVIO VITAE**

Соседи им не мешали. Напротив жил старый мексиканский маркиз, девяноста лет от роду. Рядом — француз, знавший Вольтера. Брента отражала самые прекрасные закаты в мире. Хобхауз по возвращении из Неаполя приехал к Байрону, и они оба работали. «Странная жизнь, — записывал Хобхауз, — очень спокойная и комфортабельная... Нашел Байрона в добром состоянии, весел и счастлив, с каждым днем все милее... Сегодня вечером он мне рассказывал о своих семейных делах. Больше не думает о своей жене. — Это твердо». Байрон писал четвертую песнь «Чайльд Гарольда»; Хобхауз, эрудит и педант, «надоедал ему ученой топографией» и составлял «Исторические заметки к «Чайльд Гарольду». Нередко они переправлялись через лагуну, чтобы покататься верхом на Лидо, и Хобхауз, в свою очередь, наслаждался несравненным очарованием этих прогулок: «С Байроном на Лидо. Прелестный день. Вспоминаю чувство радости, когда мы скакали по пляжу. Легкий бриз. Байрон сказал мне, что леди Байрон думала, будто он не любит меня. Как-то она заявила, что я беспринципный человек, потому что Байрон сказал ей, что я бы стал смеяться, если бы услышал некоторые из ее чудных изречений. Бедное маленькое противоречивое существо». Так прошли пять блаженных месяцев.

---

* Здесь часто можно будет над книгами древних в часы отдохновения или во сне предаваться сладкому забвению бурной жизни *(лат.)*.

2 января, в годовщину своей женитьбы (он придавал большое значение этой дате), он посвятил четвертую песнь «Чайльд Гарольда» Джону Хобхаузу, эсквайру: «Другу, которого я давно знал и с которым скитался далеко, который был мне помощником во время болезни и товарищем в огорчениях, радовался моим успехам и был твердым во время бедствия...» Однако последняя песнь «Чайльд Гарольда» не выиграла оттого, что была написана под непосредственным руководством Джона Кэма Хобхауза, эсквайра. Третья, внушенная Шелли, была более поэтичной. Но и здесь была глубокая поэзия: замечательное описание Венеции, трогательное воспоминание об Англии, глубокие и меланхолические строфы о субъективности любви:

Любовь! Ты не земной печальный житель,
Мы ждем тебя, незримый серафим...
Но никогда, — желанием снедаем,
Не встретится взор с облаком твоим.
Тебя создал дух, небо населивший
Фантазией алкающей, — и им
Дан этот облик, сердце посетивший,
И ум возвышенный...
Дух, красотой своею возбужденный,
Вполне своим твореньем опьянен, —
Где формы взял ваятель вдохновленный? —
В себе. Такой красы не видел он.
И доблестью и прелестью пленен
Не бывшей юности живой рассудок, —
Вот безнадежности недостижимый рай.

То, что было верно относительно любви, было правильно и относительно честолюбия. Человеческие желания не совпадают с естественным ходом вещей. Мы мечтаем о совершенстве, тогда как носим неизгладимое пятно греха. Мечтаем о великих делах и в то же время падаем жертвой мелких подлостей. Байрон, увы, сам испытал, как могут мелочные коварства испортить жизнь, которую хотели бы сделать прекрасной:

Но все ж я жил, и жил я не напрасно!
Дух потеряет силу, кровь — свой жар,
Погибнет тело в недугах несчастных,
Но что-то есть во мне. И — дивный дар —
Он время утомит и злобу кар.
Он на земле — чужой. Его не знают,
Замолкшей лиры вспомнившийся звук,
В окаменевшие сердца он проникает
И поздний их порыв любовью зажигает.

Пророческие и справедливо-гордые строфы... Что делать перед этим убожеством человеческих деяний? Ничего, если не владычествовать силой духа над посредственностью и не искать в природе счастье, невозможное в обществе. Он закончил песнь описанием моря, единственного верного друга:

Люблю тебя, мой океан! И в детстве
Я рад был на груди твоей играть,
Нестись вперед с твоею пеной вместе,
Бороться с водами, парить, взлетать,
А если воды хмурились опять
И страшными вставали в злом порыве,
Мне было сладко, — я ведь был твой сын,
И верил водам в диком их разливе,
И руку забывал в твоей косматой гриве.

Итак, «Чайльд Гарольд» был окончен. Но это была не единственная работа пяти месяцев в Ла-Мира. Лорд Киннер (брат достопочтенного Дуга) приехал в Венецию и привез Байрону новую английскую поэму Хукэма Фрира, легкую сатиру, подражающую итальянским поэтам, и в частности Пульчи. Байрону поэма очень понравилась, и он начал писать в той же манере венецианскую сказку, которую назвал «Беппо». Этот тон подходил к его новому состоянию. Тон хорошего настроения, цинизма даже по отношению к своим собственным стихам; каждый раз, когда строфа начинала уклоняться к лирическому отступлению, рука ироничного птицелова настигала ее:

О, Англия, я все ж тебя люблю,
Я так сказал в Кале и повторяю...
Люблю свободу слова и печати...
Парламентские я люблю дебаты,
Когда от них не вся храпит палата.
Умеренный, я чествую налог,
Каминный уголь, если он не дорог...
Погоду — на два месяца в году...

Немного позже молодой француз Альфред де Мюссе воспринял этот байроновский тон, как Байрон воспринял его у итальянцев.

Любовь к госпоже Сегати не продлилась даже до конца пребывания в Ла-Мира, и это была вина Марианны. Она обнаружила свою жадность: продала бриллианты, которые подарил ей возлюбленный. Он узнал об этом, выкупил их и подарил ей второй раз, не без того, чтобы подшутить над этой своеобразной привязанностью к его подаркам. Муж Сегати, периодически страдавший припадками чести, обошелся слишком дорого за эту зиму. Наконец, для полного уподобления этого союза мрачному супружеству Марианна начала ревновать.

Байрон стал избегать ее. Однажды, катаясь с Хобхаузом верхом по берегу Бренты, они заметили среди крестьянок двух прелестных девушек. Байрон предложил одной из них, Маргарите Коньи, встретиться. Она ответила, что готова любить его, так как замужем, а все замужние женщины это делают, но ее муж (булочник) очень свиреп. Байрон окрестил свою булочницу «Форнариной» и, пользуясь силой злата, увел. Ей было двадцать два года. Она не умела ни читать, ни писать. Он никогда еще не встречал более примитивной женщины; эта ему понравилась.

Кумушки Ла-Мира рассказали Марианне, что поздно ночью в деревне слышали ржание лошади Байрона. Царствующая султанша, обеспокоившись, отыскала соперницу, встретила ее и осыпала проклятиями. Маргарита, откинув белый платок, которым закрывала лицо, ответила: «Ты ему не жена,

и я ему не жена. Ты его донна, и я его донна, твой муж рогач и мой такой же. Так по какому же праву ты лезешь ко мне со своими попреками?» После этого славного монолога она удалилась, заставив госпожу Сегати призадуматься. Когда Марианна попробовала пожаловаться Байрону, поняла, что победа не на ее стороне.

В январе 1818 года Хобхауз должен был ехать в Англию. Накануне отъезда двое друзей устроили празднество, достойное Венеции XVIII века, и для прогулки на Лидо пригласили двух певцов. Они уселись один на носу гондолы, другой на корме и, покинув Пьяцетту, запели стихи Тассо «Смерть Клоринды» и «Дворец Армиды», как гондольеры давних времен. Перед сном Хобхауз, которым всегда овладевало грустное настроение, когда он расставался с этим странным и обаятельным человеком, записал в своем дневнике: «Провел вечер с Байроном, закончившим своего «Чайльд Гарольда», и в полночь простился с моим дорогим другом — он мне действительно очень дорог. Перед тем как расстаться, он сказал мне, что когда-то он был человеком, испытывавшим очень сильные чувства, но теперь все это погребено. Я охотно верю первой части этой фразы. Да благословит его Бог».

С Хобхаузом опять исчезал Свидетель. Опасная свобода для Байрона. Период, который последовал за этим, был самым распущенным в его жизни, а причины нравственного беспорядка довольно ясны.

1. Слабость сдерживающего влияния иностранного общества, мнение которого было ему безразлично. В этой стране легких нравов, вдалеке от единственной человечьей орды, в которой он действительно чувствовал себя ответственным членом, он снова становился одиноким животным, не думавшим ни о чем, кроме удовлетворения своих желаний. Последним его другом был англичанин, консул Гоппнер, маленький остроумный человек, женатый на очаровательной швейцарке. Но Гоппнеры, которым льстило быть на равной ноге с лордом Байроном, не решались говорить ему правду и поэтому не могли заменить Хобхауза.

2. Конец владычества Марианны. Он еще продолжал жить у Сегати на Фреццерии, но его увлечение Маргаритой Коньи росло. Он писал Муру: «Венецианка с громадными черными глазами... с телом Юноны — большая, сильная, как Пифонесса, с блестящими глазами, черными кудрями, развевающимися в лунном сиянии — одна из тех женщин, из которых можно сделать все. Я уверен, что если вложу ей в руку кинжал, она вонзит его туда, куда скажу, — кстати, и в меня, если оскорблю ее. Мне нравится эта разновидность животных, и я уверен, что предпочел бы Медею всякой живой женщине». Он полагал, что любит эту разновидность животных, но не был ей верен. Боязливая, нежная женщина с «глазами газели» сильнее привязывала его и делала более счастливым.

3. Невероятная покупательная сила его английских доходов на венецианском рынке греха. Ему хватило бы на жизнь его поэм, оплачивавшихся по тысяче гиней за песнь, но у него были, кроме того, пятьсот фунтов годового дохода от Аннабеллы, и Ньюстед был только что продан за громадную сумму в девяносто четыре тысячи пятьсот фунтов его старому товарищу по Харроу, майору Уильдмэну («справа от меня Лонг, слева Том Уильдмэн»). У достопочтенного Дуга (его банкир и друг Дуглас Киннер) Байрон был кредитоспособным вкладчиком.

Курьезная черта, унаследованная от Китти Гордон, появлялась в нем, как только у него заводились деньги. Он становился скуп, без низости, оставаясь в то же время щедрым; это была скупость совершенно в манере его матери. Она была способна отдать своему мужу, а затем своему сыну почти все, что у нее было, но в то же время могла жалеть истратить несколько фунтов. В этом Байрон был похож на нее. Он всегда любил, быть может, по наследству, соблюдать известный аскетизм в еде. Ему доставляло удовольствие знать, что еда обходится в несколько экю, сократить расходы по дому и тщательно проверять счета Флетчера. Экономя таким образом, он набивал копилку и любил смотреть, как там собирались золотые цехины.

В любви он не торговался. Ему были теперь известны ресурсы Венеции. Он почти покинул литературный салон графини Альбрицци. Бывал у графини Бенцони, где собиралось более свободное общество, но главным образом разыскивал женщин их народа. «Женщин здесь выводят великолепно. Я люблю их диалект и манеры. У них есть очень трогательная наивность, а романтичность города — могущественная приманка; хорошая кровь, впрочем, не всегда теперь у дам из аристократии, ее надо искать под фацциоли, т. е. под платочками». Он любовался этими крепкими женщинами, «которые годятся рожать гладиаторов». Он встречал их в большом количестве и водил в таинственное казино, потому что эти встречи надо было скрывать от Маргариты Коньи, которая, вероятно, обезобразила бы соперниц. Венецианцы рассказывали, что в этом казино он содержал до девяти муз, но это, конечно, была легенда. Так, во время изгнания Данте в Равенне прохожие на улице показывали друг другу его бороду, опаленную огнем преисподней.

В апреле 1818 года он узнал о смерти леди Мельбурн: «Прошло уже время, когда я мог оплакивать мертвых, — тем не менее я почувствовал смерть леди Мельбурн, самой лучшей, самой приятной и самой умной из женщин, которых когда-либо знал, — и молодых и старых. Но я пресытился ужасами, и события такого рода оставляют у меня лишь некоторый род оцепенения, худшего, пожалуй, чем боль... Еще одной связью меньше между мной и Англией».

Другая смерть, которая очень поразила его и подтвердила его веру в предопределение, была смерть сэра Самуэля Ромильи, юридического советника леди Байрон, одного из инициаторов развода. Байрон предал Немезиде, богине мщения, всех тех, кто в этой истории действовал против него. Он написал леди Байрон:

«Сэр Ромильи перерезал себе горло, потеряв свою жену... А три года назад он выступал адвокатом того, что лишило меня моей жены... Этому человеку и в голову не приходило,

когда он на законном основании раздирал мое сердце, что не пройдет и тридцати шести месяцев, как семейное несчастье отправит его в землю... Недаром в полночь в Риме призывал я Немезиду, сидя на самой ужасающей из развалин».

Немезида поразила только сэра Самуэля. Леди Байрон совершала грустные паломничества.

Дневник леди Байрон: «Я только что из Ньюстеда, только что вошла в дом... Я видела старые знамена, которые он имел привычку развешивать на стенах замка в день своих именин. Комнаты ничуть не изменились. Он мог бы вернуться туда. Они не казались покинутыми. Женщина, которая у него служила, жалела, что имение продано: «Он должен был жить здесь после женитьбы, но его жена ни разу не приезжала, и вряд ли бедняжке придется побывать здесь». Парапеты и ступени, на которых он сидел... Тропинки, по которым он гулял... Его комната, из которой я не могла уйти, в которую невольно возвращалась...»

Из Англии приходили еще время от времени письма Шелли. Ребенок, которого носила Клер, покидая Байрона на Диодати, родился 12 января 1817 года. Мэри сообщила об этом отцу вместе с известием о своем собственном замужестве, а Шелли спустя некоторое время написал, что в ожидании решения Байрона относительно имени Мэри и Клер звали девочку Альба. «Она очень красива, — говорил Шелли, — и хотя у нее скорее хрупкое сложение, она прекрасного здоровья. Глаза у нее такие умные, каких я никогда не видел у такого маленького ребенка. Волосы темные, глаза темно-синие, ротик очаровательной формы». Шелли привык нести бремя расплаты за безумство тех, кого он любил; однако через несколько месяцев он выразил желание, чтобы лорд Байрон, как обещал, позаботился о своей дочке.

Байрон, всегда интересовавшийся своим родом, мечтал воспитать себе ребенка. Но письма, которые он писал по этому поводу Киннеру, составляли довольно мрачный контраст с той воздушной ласковостью, которой Шелли окружал колыбель Альбы. «Шелли написал мне (из Марлоу) письмо о моей дочери (последний ублюдок), которая, как кажется, очень

красива; он желает узнать, нужно ли мне ее прислать... Не займетесь ли вы тем, чтобы переправить ее сюда или чтобы устроить ее в Англии. Я признаю ее своей и воспитаю сам, дам ей имя Бирон (чтобы отличить от законной линии) и окрещу ее Аллегрой, это венецианское имя». И в марте 1818 года в письме к Хобхаузу, спрашивая его, скоро ли ему пришлют для подписи акт продажи Ньюстеда, он писал: «Клерк мог бы привезти мне бумаги и одновременно моего ребенка от Клер. Попросите, пожалуйста, Шелли упаковать ее тщательнее — вместе с красным зубным порошком, магнезией, содой в порошке, зубными щетками и несколькими хорошими романами».

Когда Шелли приехали в Милан, кормилица-швейцарка привезла маленькую Аллегру к отцу. Байрон нашел ее красивой и умненькой и был очень горд, видя, как она сделалась любимицей венецианских дам. «Что замечательно, так это то, что она гораздо больше похожа на леди Байрон, чем на свою мать, — до того, что наш почтенный Флетчер прямо поразился, да и я сам тоже удивлен. Забавно, не правда ли? Мне кажется, что она похожа также на свою сестру Аду; у нее очень голубые глаза, рыжеватые кудри и адский характер — но это от папаши». Он был очень счастлив увидеть девочку из рода Байронов, хотя бы и незаконную.

XXIX
ПАЛАЦЦО МОЧЕНИГО

Профессиональный Дон Жуан разрушает свой дух таким же роковым образом, как и аскет, чьим зеркальным отображением он является.

Олдос Хаксли

«Милостивый государь!

С великим прискорбием извещаю вас о смерти дорогого моего хозяина, лорда, который скончался сегодня утром около де-

сяти часов от длительной лихорадки, приключившейся вследствие забот, морских купаний, женщин, прогулок верхом под солнцем, и все вопреки моим советам...»

Таково было полукомическое, полутрогательное письмо, которое Байрон написал в конце июня 1818 г. Хобхаузу, подписав его: *Флетчер.*

Но он шутил только наполовину. Расставшись с Марианной Сегати, он покинул дом на Фреццерии и нанял за четыре тысячи восемьсот франков в год один из трех дворцов Мочениго на Большом канале. У него был теперь свой дом, как у истинного венецианца; его гондола была привязана к столбам, украшенным белыми и синими спиралями — цвета Мочениго; у подъезда, о который бились зеленые воды канала, гости встречали гиганта с громадными усами, гондольера Тита, который так же легко умел находить хороших гребцов, как и доступных жен. Сквозь решетки отдушин слышался лай собак, крик обезьян, пение птиц; разносился, покрывая все другие звуки, мощный голос Маргариты Коньи и детский голосок Аллегры, которая разделяла с Форнариной владычество над этим домом.

Маргарита Коньи, сперва мимолетная прихоть, постепенно заняла более прочное положение. Однажды вечером Байрон нашел ее на ступенях дворца Мочениго. Она отказалась вернуться к мужу. Беспечный фаталист Байрон после припадка ярости готов был терпеть около себя существо, которое требовало, чтобы он позволял себя любить. Маргарита рассмешила его какой-то шуткой на венецианском диалекте и — осталась.

Он быстро раскаялся в свой слабости. Форнарина била других женщин, перехватывала письма, училась читать, чтобы узнать, что в них написано, и внушала глубокий ужас Флетчеру и Тита. Весь дом жаловался на нее. Байрон прощал. Она вела счета. Свела до половины расходы по дому и любила его — великие и редкие добродетели. Свирепая радость, которую она выказывала, встречая возвращающегося к ней возлюбленного, напоминала Байрону тигрицу, встречающую своих тигрят, но он ничего не имел против тигриц.

Наоборот. Именно этот звериный, примитивный характер, отличавший беспорядочное и распущенное существование в палаццо Мочениго, и его относительная невинность позволяли не стыдиться этого существования. Живя чувством, он страдал сам и заставлял страдать других, наслаждение казалось ему менее опасным.

Его философия жизни значительно изменилась со времени изгнания. «Манфред» был последней вспышкой бунта, последним криком индивидуальности, побежденной миром. Теперь он презирал «Корсара» и «Лару»; он не понимал, как публика могла переносить эти преувеличенные и фальшивые характеры. Любимым чтением в продолжение нескольких месяцев был Вольтер. Он находил там собственный пессимизм, но с комической точки зрения. Кандид мог бы стать Чайльд Гарольдом, если бы Вольтер не властвовал над Кандидом, если бы Вольтер не судил Вольтера. Судьба человека кажется трагической, если разум, отождествляясь с одним-единственным существом, — Отелло, Гамлетом, Конрадом — разделяет его страдания и ярость. Она представляется комической, если наблюдатель в одно и то же время отмечает невероятную экзальтацию отдельного человека и одинаковый для всех механизм страстей. Байрон, который в своей переписке всегда был гением юмористики, до сих пор не позволял себе проявлять в стихах эту черту ума. В «Дон Жуане», над которым работал уже год, он наконец нашел возможность свободно изливать эту смесь Вольтера и Экклесиаста, которая и была обычной формой его мышления.

«Дон Жуан» должен был быть современной эпопеей:

За эпос взялся я. Скажу заране —
Двенадцать песен есть, и в них вошли
Любовь, война и буря в океане,
Фрегаты, капитаны, короли.
Характеры есть для повествований,
И панорама Ада там вдали;
Во вкусе Энеиды иль Гомера
Соблюдена эпическая мера.

Никогда Байрон не обладал более ясным умом, более точной и мужественной формой. Тон был взят из «Беппо»; это была поэзия, которая насмехалась над самой собой, скрывала горькую и сильную философию под легкой веселостью и немного сумасбродными рифмами. Он долго, без удержу отдавался порывам своей чувствительности. Со спокойствием отдаленности сила суждения обретала свои права. Крики и жалобы — все это прошло. Конечно, Байрон был более сложен и более чувствителен, чем Вольтер. Его теоретическая философия была, как и у Вольтера, деистическим рационализмом, но Вольтера не тревожили ни воспоминания о кальвинистском детстве, ни конфликт между чувственным темпераментом и душой естественно религиозной. Круг его мыслей был ясен и узок. В Байроне бескрайние неведомые пропасти — сумрачные и населенные чудовищами — окружали светоносную зону. Вольтер был совершенно доволен собой, когда удавалось «раздавить тайну десятью короткими истинами», — Байрон, изведавший вкус греха, хранил чувство тайны. Но она сместилась, — это была тайна не столько судьбы Джорджа Гордона Байрона, сколько судьбы человеческой, и поэтому становилась универсальной и классической.

Только первая песнь была автобиографией, но без прежней горечи. В первых же стихах появилась Аннабелла. Мать Дон Жуана была списана с нее:

Ей — математика любимая наука,
Величья благородная игра,
Аттический рассудок. Дальше — скука,
Серьезный спор, туманные слова...
Слова — задачи, мысли — теоремы...
Сплошное совершенство без сравнений...
От адских ков так далеко ушла,
Что ангелу хранить ее не надо...

Но очень скоро поэма становилась более широкой и ясной. Зачем негодовать на мир? Надо жить, умирать, заниматься любовью, платить налоги. Все это — развлекательно, опасно, грустно, неизбежно.

И никогда уж больше, никогда
Не будет сердце мне росой живою...
И никогда, о сердце, никогда ведь
Не будешь ты вселенною моей!
Ты было всем; теперь пора оставить
И горе и восторг влюбленных дней,
Иллюзий нет — и нечем чувства славить,
И так, быть может, даже лучше мне;
В душе благоразумье воцарилось, —
Не знаю, как оно там очутилось.
Любовь мою давно уж время губит —
Ни дева, ни жена и ни вдова
Меня не очаруют и не влюбят...
Но истинную мудрость обожая,
Я часто говорю себе — Увы,
Все, что живет, все это умирает,
И плоть и лист единой ждут косы...
Не так плоха была пора младая,
Коль снова жить — опять бы дни прошли,
Скажи спасибо, что не хуже было,
Читай-ка Библию да жми кошель унылый.

Эта новая мудрость Байрона некоторыми своими чертами напоминала шекспировскую. И Шекспир, живя, узнал, что все человеческие желания — любовь, честолюбие — всего лишь иллюзии. Просперо из «Бури» знает, что жизнь есть сон. Тем не менее он сохраняет вкус и уважение к любви молодых людей. Байрон, хоть и считал себя исцеленным от иллюзий, продолжал думать, что иллюзии молодости и прекрасны и необходимы:

Но ты милей всего — всего на свете,
Ты, первая, горячая любовь...

В этом Дон Жуан был более сентиментален, чем Кандид. Новый Байрон был обращенный романтик, но нераскаянный фантазер.

Гоппнеры написали Шелли, что Байрон решил уехать из Венеции, если туда приедет Клер, но если она хочет, то может увидать Аллегру так, чтобы Байрон не знал об этом. Ал-

легры уже не было во дворце Мочениго. Гоппнеры дали почувствовать Байрону, что неудобно держать ребенка в подобной обстановке, и предложили взять на себя заботы о девочке. Шелли привез Клер к консулу. Пока она была с дочерью, отправился к Байрону, и тот проводил его на своей гондоле до Лидо, где ждали лошади. Шелли в «Юлиане и Маддало» описал свой разговор с Байроном. Они говорили о Боге, о свободе воли, о судьбе. Разумеется, Байрон стоял на точке зрения фатализма, человеческой беспомощности, а Шелли отвечал:

...То наша воля
Нас сковывает...
А мы могли бы быть иными, были б
Мечтами нашими о счастьи и величьи...
Где правда, красота, любовь? Мы ищем
Их — в нас они! Когда б не слабость,
Поступки наши шли бы вровень с мыслью!
Когда б не слабость!.. Тщетные мечтанья
Быть сильными, — Маддало отвечает. —
Что об Утопии нам говорить...

Это был вечный их спор. Шелли считал, что все зависит от человека, что можно творить свою жизнь, а Байрон говорил, что зло есть сама по себе существующая реальность, о которую разбиваются все человеческие усилия. Кальвинизм против радикализма.

Во время второго путешествия в Венецию Шелли увидели у Байрона Форнарину. Их суждение было весьма строгое. Шелли не мог, как Байрон, любоваться красивыми животными; он слишком уважал любовь, чтобы выдержать зрелище, как она опускается до простой чувственности. Мэри Шелли, разумеется, отнеслась к этому еще более строго. Она еще с первых дней на берегах Женевского озера была в ужасе от манеры Байрона обращаться с женщинами. Тонкие губы на ее лице, обрамленном длинными темными кудрями, сложились в презрительную улыбку. Нет ничего более загадочного и смутного, чем чувства порядочной женщины по отношению к Дон Жуану. Может быть, в покачивании голов супругов

Шелли, когда они выходили из дворца Мочениго, было и неуловимое сочувствие и та неопределенная зависть, которую вызывают мятежники.

Но факты быстро возвратили им сознание собственной правоты. Слабость всякого эпикуреизма заключается в том, что он предполагает в человеке способность, без всякой духовной узды, быть умеренным в своих удовольствиях.

Осенью Байрон опять свалился, поймав опасную болезнь. По приказанию медиков он выставил свою красавицу, но не без труда, так как в первый раз она нанесла себе рану перочинным ножом, как когда-то сделала Каролина Лэм, а во второй раз бросилась в канал, откуда была выужена гондольерами. Наконец он мог лечиться в одиночестве.

Хэнсон, приехавший в декабре к своему клиенту подписать акт о продаже Ньюстеда, нашел Байрона еще больным. Хэнсон и его сын, совершенно ошеломленные, скользили между розовых дворцов в гондоле, нагруженной связками документов, зубными щетками и красным зубным порошком. Они поднялись во дворец Мочениго мимо собак, птиц, лисицы, волка в клетке; по мраморной лестнице их провели в апартаменты Байрона.

— Well, Хэнсон, — сказал Байрон, — я не думал, что вы поедете в такую даль.

На глазах у него выступили слезы. «Удивительная чувствительность поэта», — отметил с удивлением молодой Хэнсон. Байрон, кусая ногти, — привычка, оставшаяся с детства, — забросал их бесчисленными вопросами о Лондоне, о своих друзьях.

Дела его шли хорошо. Аббатство было продано за девяносто тысяч гиней (двенадцать миллионов франков). Из них надо было заплатить двенадцать тысяч ростовщикам, шестьдесят шесть тысяч составляли часть леди Байрон (она имела право собственности, но не имела права пользоваться доходами), и Хэнсон привез с собой счетов на двенадцать тысяч. Свободной наличности, таким образом, не оставалось, но проценты с собственности леди Байрон давали Байрону три

тысячи триста фунтов дохода в год (около четырехсот тысяч франков). Если прибавить к этому доход от его поэм (а начиная с 1816 года он получал от Меррея больше семи тысяч фунтов), он был одним из самых богатых людей в Италии. Он сказал Хэнсону, что это его очень радует, «так как деньги — это могущество и удовольствие, и я их очень люблю».

К его бронзовым кудрям примешались белые пряди. Лицо у него было бледное, опухшее, желтое, а руки набухли складками жира.

XXX
CAVALIÈRE SERVANTE*

Люди часто бывают счастливее, чем они хотели бы.

Алэн

Еще раз весна прогнала венецианскую лихорадку. Легкие волны Большого канала бились о сваи, на которых вились голубые и белые спирали. Флетчер толстел. В хозяйстве прибавилось два новых бульдога. В несгораемом шкафу увеличилось число цехинов. И сердце сентименталиста уже порхало, выискивая, где бы ему опуститься. Одна юная венецианка так пленила Байрона, что он свалился в канал, пытаясь забраться к ней в окно. Ее весьма знатная семья отправила к нему патера и полицейского. Он предложил тому и другому кофе, и все устроилось. Юная девица захотела, чтобы он развелся со своей математичкой.

— Угодно вам, — спросил он, — чтобы я ее отравил?

Она не ответила. Он полюбовался страстями солнечной земли, а затем вернулся в свет в поисках добычи.

На конверсационе у Бенцони ему представили графиню Гвиччиоли, совсем молоденькую тициановскую блондинку

* Рыцарь, служащий своей даме *(ит.)*.

с прекрасными зубами, обильными кудрями, несколько коротконогую, но с изумительным бюстом. Год назад она вышла замуж за шестидесятилетнего синьора. Байрон вспомнил, что встречал ее раньше, всего через три дня после ее свадьбы. Она ничем не показала тогда, что заметила его; обычай требовал, чтобы молодая женщина подумала, по крайней мере, год перед тем, как взять себе чичисбея. Во вторую встречу она была немедленно побеждена. «В этот вечер я чувствовала себя усталой, — писала она, — потому что в Венеции ложатся поздно, и я с большой неохотой, только чтобы послушаться графа Гвиччиоли, поехала на этот вечер... Его благородные манеры, голос и тысячи его чар сделали из лорда Байрона существо, настолько превосходившее все, виденное мною, что он произвел на меня самое глубокое впечатление». Байрон, выходя из гостиной графини Бенцони, сунул записку в руку Терезы Гвиччиоли. Он назначил ей свидание, она явилась, и с этой минуты они виделись каждый день.

Она считала себя свободной. Неписаные законы супружества в этой стране были ясны и точны. Девица сидела взаперти в монастыре до шестнадцати лет, затем ей искали богатого мужа; чем старше он был, тем выше ценился. Молодая особа видела иногда жениха в приемной монастыря. Она была невыразимо счастлива получить свободу ценой своего тела. О любви не было речи ни с той, ни с другой стороны. Графу Гвиччиоли было шестьдесят лет, когда он женился на Терезе; ей шестнадцать. С первых же дней они жили на разных половинах, и она продолжала называть его «сударь». Это был довольно приятный старик, хоть и ходили слухи, что он отравил свою первую жену и убил кардинала Манцони; весьма образованный друг поэта Альфьери, интриган и самый богатый собственник в Романье. Но даже и образованному старцу несколько затруднительно быть приятным молодой женщине... «Любовь, — говорил Байрон, — здесь совсем не то холодное, расчетливое чувство, как на севере. Здесь это серьезное занятие в жизни, это потребность, необходимость. Кто-то очень хорошо определил итальянскую женщину: существо,

которое любит. Они умирают от любви, в особенности римлянки». Молодая графиня отбыла свой срок верности; муж, доверие которого уж было заслужено, присматривал за ней менее строго, — самое время завести любовника.

Приключение во многом напоминало ситуацию с Каролиной Лэм. Гвиччиоли были еще более родовиты, чем Мельбурны. Тереза красотой превосходила англичанку, но проявляла такие же бурные чувства и такое же презрение к общественному мнению. Она была хорошо воспитана, говорила по-итальянски и по-французски, много читала, декламировала стихи, цитировала латинских историков и занималась живописью. Все это было немножко по-детски, но тем не менее очень мило. Вначале она допускала только платонические нежности, хотя не без того, чтобы позволить надеяться на большее. Но с гарантиями.

Верная законам любви своего общества, она искала не мимолетного увлечения, а верного чичисбея. Вопрос для молодой женщины был серьезным. Выйти замуж можно было не раздумывая. Но выбор любовника — дело нешуточное. Супруг собирался увезти ее в Равенну, в Болонью, где у него были имения. Поедет ли за ней Байрон? Чичисбей должен был поехать. Дон Жуан находился в великом затруднении.

Байрон — Хобхаузу: «У меня есть надежды, милостивый государь, — надежды, но она хочет увезти меня в Равенну, потом в Болонью. Это было бы очень мило, если бы дело было верное; но ради одних надежд — ежели она в конце концов ускользнет от меня и я потерплю фиаско — мне нельзя будет показаться на площади Св. Марка. В данном случае деньги бессильны, так как граф чудовищно богат. Она красива, но у нее нет такта; отвечает вслух, когда надо шептать, говорит о возрасте со старыми дамами, которые хотели бы, чтобы их считали молоденькими, и как раз сегодня вечером привела в ужас корректную компанию у Бенцони, обратившись ко мне очень громко «мио Байрон», в то время как остальные красавицы в мертвом молчании глядели на нас во все глаза и выразительно делились своими наблюдениями с почтительными

кавалерами... Одно из ее предварительных условий — чтобы я никогда не уезжал из Италии. Уезжать я и не собираюсь, но мне бы не хотелось превратиться в профессионального чичисбея».

За несколько дней до отъезда в Равенну она стала его любовницей и так гордилась этим, что объявляла новость открыто на всех конверсационах, вечерах, наэлектризовав гостиные Бенцони и Альбрицци и немного смутив графа Гвиччиоли, человека скромного. По счастью, чета должна была покинуть Венецию на все лето, и граф увез свою жену, оставив Байрона еще раз влюбленным, нежным, задумчивым, циничным и восхищенным собой.

Как только графиня Гвиччиоли приехала в Равенну, у нее сделался выкидыш. Во время путешествия она писала каждый день. Она обожала его и теперь, когда была нездорова, умоляла приехать. Он колебался, несколько недоверчивый, спрашивая себя, чей бы это мог быть ребенок?.. Не его, конечно. Графа? Возможно. Она обещала, если Байрон приедет, принять у себя в доме. Несмотря на опытность по части женщин и их безумств, он был озадачен такой смелостью. «Наставлять рога папскому сановнику в его же собственном доме, да еще когда этот сановник, подобно Кандиду, отправил на тот свет двух человек и одного из них — священника, — это, пожалуй, чуть-чуть сильно для моей невинности, тем более что для этого есть и иные места не хуже. Очаровательница забывает, что можно свистнуть мужчине и он побежит куда угодно — до, но после! Она должна была держать себя менее великодушно в Венеции или менее требовательно в Равенне».

Но Байрон, умевший очень хорошо высмеивать желания женщин, гораздо хуже умел им сопротивляться — и был уже по дороге в Равенну. Стояла жара. Дороги были покрыты пылью. «Если бы я не был самым верным из мужчин, я бы сейчас плавал на Лидо, вместо того чтобы куриться в падуанской пыли». Да, он не был самым верным и, ворча про себя, ехал, наполовину рассерженный, наполовину довольный,

поглядывал на женщин Болоньи, любовался красными чулками кардинала-легата, но больше всего пришел в восторг от двух эпитафий, которые увидел на кладбище Де-ла-Чертоза в Ферраре.

Ему должна была понравиться Равенна, маленький таинственный городок, хранивший в узких и прохладных улицах следы варварской империи. Город, где жила Франческа, где жил в изгнании Данте. В нескольких шагах от гостиницы невзрачный купол приютил останки поэта. Для прогулок верхом — громадный сосновый лес, тянущийся до берега моря, — эта почва была когда-то покрыта морем, и римский флот бросал здесь свои якоря. Это была Пинета Боккаччо, памятный лес Равенны, где псы призрачного охотника извечно гнались за Дамой, презревшей любовь. Байрон привязался к этой лесной и морской одинокой тишине, оживленной звоном кузнечиков.

Его приезд поверг город в волнение. Граф явился к Байрону в гостиницу и вежливо пригласил навестить супругу, которую, может быть, его светлость сумеет развлечь в ее болезни, по-видимому, весьма серьезной. Дворец Гвиччиоли, большое серое здание, находился в нескольких сотнях метров от гостиницы. Байрон пришел и растрогался. Ничто так не привязывало его к женщине, как слабость. Тереза лежала, она кашляла, у нее было кровохарканье. Он устроился у ее изголовья и превратился в самую заботливую сиделку. Слегка волнуясь, каждую минуту ждал, что кто-нибудь из графских сбиров воткнет ему кинжал в горло. Ну что ж! Смерть все равно придет когда-нибудь, это, пожалуй, уж не так плохо — погибнуть за Терезу. Он стал рабом и был счастлив. Когда он уезжал из Венеции, Гоппнер предсказал ему, что он еще раз попадет под власть женщины. Он был склонен верить предсказаниям — и вот это исполнилось.

Байрон боялся только одного — чтобы Тереза не умерла. «Так всегда случается со всеми людьми или вещами, к которым я чувствую действительную привязанность... Никогда я не мог сберечь в живых собаку, которую любил или которая

любила меня...». «Если что-нибудь случится с моей теперешней Amica*, то все кончено для меня в мире страстей — это моя последняя любовь. Что же до разврата, то я питаю к нему отвращение, что вполне естественно для человека, который жил, как я; из порока я извлек, по крайней мере, одно преимущество, то, что сейчас люблю в лучшем смысле этого слова. Это будет моим последним романом».

Он вызвал из Венеции своего друга, профессора Аглиетти, чтобы тот выслушал госпожу Гвиччиоли. Аглиетти велел продолжать лечение — это были визиты Байрона. «Невыразимое счастье, которое мне доставляло присутствие лорда Байрона, оказало прекрасное действие на мое здоровье», — говорила графиня Гвиччиоли... Это действие было таково, что она смогла снова стать его любовницей; это происходило во дворце, где горничная, молодой негр и подруга Терезы помогали в этой любви. Опасная дерзость, так как граф, найдя однажды дверь на запоре, удивился.

Но граф Гвиччиоли был загадочным человеком. Несмотря на этот инцидент, он продолжал являться к Байрону с чрезвычайно вежливыми визитами и катал его в великолепной коляске, запряженной шестеркой лошадей. Равеннские жители обсуждали эту дружбу с иронией и презрением. Граф был самым богатым собственником в Романье, но отнюдь не самым популярным.

Но стоило ли думать о графе? Байрону пригнали его лошадей, и он каждый день ездил верхом по лесу. Видел свою даму в любой час, удобный или неудобный. Жил день за днем, скорее приятно, не желая думать о будущем. Когда госпоже Гвиччиоли стало лучше, она велела оседлать пони и поехала кататься вместе с ним. У нее была шляпка, как у Пульчинелло, и костюм амазонки небесно-голубого цвета. Она была наивна и набожна. Учила Байрона останавливаться и молиться, когда колокола древних базилик возвещали час Ave, Maria.

---

* Подруга *(ит.)*.

Ave, Мария! Благословен этот час,
Время, и край, и воздух, где часто
Знал я этот миг с его силою властной...

Ему нравилось, что возлюбленная — католичка и верующая. Вальтер Скотт был прав, находя общее между душевными потребностями Байрона и пышными обрядами римской церкви. Он воспитывал свою дочь Аллегру католичкой. Когда Тереза, неподвижная и молчаливая, слушала «ангелюс», он с религиозным экстазом слушал, как поют вокруг него кузнечики и лепечет сладостно Романья. Госпожа Гвиччиоли знала «Жалобу Тассо», написанную в Ферраре, и потребовала от Байрона поэмы, посвященной равеннскому изгнаннику. Покорный любовник, Байрон написал «Пророчество Данте». Окончив его, он отправился со своей возлюбленной в паломничество к гробнице флорентийца. Графиня Гвиччиоли была вся в черном, Байрон надел вышитый мундир. Они вошли в часовню. Байрон положил одну из своих книг и стоял, скрестив руки на груди, глядя на могилу, покуда подруга молилась.

Он все больше привязывался к ней. Это была почетная победа: она была урожденная графиня Гамба, красива, влюблена без памяти, совсем не глупа, — так, по крайней мере, казалось Байрону — и даже довольно образованна для девочки, едва вышедшей из монастыря. Может быть, он судил бы и строже, не будь она иностранкой, но тут примешивался забавный экзотизм, делающий приятными на чужом языке даже плоскости. В общем, она еле-еле знала английский и не понимала ни одного слова из его стихов. Но для нее он был поэт, человек, созданный для любви. Она создала из него героический образ и этот образ любила; не хотела видеть в нем циника, хотела, чтобы он был ее рыцарем, нежным, неземным, одним словом, таким, каким женщины всегда хотели бы видеть своих возлюбленных. Он уступал ей не без некоторого страха показаться смешным, но и не без удовольствия, ибо Байрон графини Гвиччиоли напоминал другого Байрона из Харроу или Ньюстеда, которого сам любил когда-то. Он был

готов на самые длительные безумства. «Если вы встречаетесь с моей супругой, — писал он Августе, — скажите ей, что мне хочется еще раз жениться, и так как ей наверно тоже этого хочется, то нельзя ли устроить это при помощи какого-нибудь там шотландского закона, не оскорбляя ее незапятнанную чистоту». Однако, с точки зрения Терезы, обманывать мужа было долгом, но покинуть — преступлением.

В конце концов Гвиччиоли уехали в Болонью, так как графу нужно было объехать свои владения. Вполне прирученный Байрон на следующий день последовал за ними, и в Болонье продолжилась та же жизнь. Он нанял помещение во дворце и вытребовал из Венеции Аллегру. Девочка забавляла его. Она смешно говорила по-итальянски, когда встречала: «Bon di, papa»*. Она была, подобно Августе, настоящим отпрыском рода Байронов, не могла произнести букву «р», гримасничала, как Байрон и его сестра, у нее была ямочка на подбородке, почти всегда сдвинутые брови, очень белая кожа, нежный голосок, странная любовь к музыке и железная воля во всем. Было занимательно глядеть, как возле тебя растет новая ветка этой странной породы. Байрон играл с ней; ездил верхом, прогуливался по саду под пурпурным навесом зреющих гроздей, сидел у фонтана, говорил с садовником, потом ехал на Кампо-Санто поболтать с могильщиком, у которого была самая красивая дочка в Болонье.

«Я забавляюсь контрастом между этим красивым и невинным личиком пятнадцатилетней и черепами, которыми могильщик уставил несколько ниш; там есть один череп, который датирован 1766 годом и (как говорит предание) обладал некогда самым очаровательным, самым благородным и богатым личиком Болоньи. Когда я гляжу на этот череп и на эту девушку, вспоминаю, чем он был, и думаю, чем она будет, — ну, право же, мой дорогой Меррей, мне не хочется вас шокировать и я не стану говорить, что приходит мне в голову. Не все ль равно, что станется с нами, бородатыми мужчи-

* Добрый день, папа *(ит.)*.

нами, но неприятно думать, что женщина не много долговечнее, чем красивое дерево».

Мысли меланхоличные, но ведь он и был меланхоликом... Равенна, потом Болонья... Он начал уставать от ремесла чичисбея. Если и проводил время, по его выражению, «порочно и приятно», то возрастало ощущение пустоты жизни. Это не было виной госпожи Гвиччиоли. Она молода, любезна, верна, но он чувствовал с горечью, что человек не должен растрачивать свою жизнь у ног женщины... Тридцать один год — а что он делает? Любовь? Третья песнь «Дон Жуана»? «Увы, я всегда был бездельником, а в перспективе быстрый упадок, и нет того, чтобы я ловил мгновения этой жизни — такой короткой...» Действовать... действовать... действовать... Но как действовать? Заняться в Англии избирательной реформой? Нет там ничего, в этой стране, которая изгнала его. Хотелось съездить туда еще один раз весной и потом отправиться и поселиться в Южной Америке. Он вырезал из газет объявления о льготах, которые правительство Венесуэлы предлагало иностранцам, желавшим там колонизироваться. Боливар, освободитель своего народа, был одним из его героев.

«Уверяю вас, это очень серьезно и я думаю об этом уже давно, как можно видеть из отрывка моего дневника, который посылаю... Я поеду с моей побочной дочерью Аллегрой... и раскину палатку навсегда. Италия мне еще не надоела, но здесь человек должен быть или чичисбеем, певцом дуэтов, знатоком опер — или ничем. Я сделал кое-какие успехи в этих искусствах, но не могу не признаться, что чувствую некоторое разложение. Лучше быть неловким плантатором, неопытным колонистом, охотником или чем угодно, только не таскать женский веер... Я люблю женщин — бог тому свидетель, но чем больше система, которую они завели тут, порабощает меня, тем она кажется отвратительнее, особенно после Турции, здесь полигамия дает все преимущества женщинам. Был я любителем интриг, мужем, зеркалом для девок, а теперь — чичисбей — клянусь всем святым! — престранное ощуще-

ние... Нет, мне нужно найти себе отчизну и home* и — если возможно — свободную отчизну. Мне еще нет тридцати двух лет. Я еще могу быть приличным гражданином, основать дом, семью, не хуже, а может быть, и лучше, чем первую. Но нет в Европе свободы — это уж точно — это негодная часть нашей планеты».

Хобхауз, которого Меррей посвящал в эти проекты, не принимал их всерьез: «Наш поэт слишком добр для плантатора... Это самая полоумная выдумка из всех — скажите это ему... там ведь не будет ни зубных щеток, ни Quarterly Reviews. Там будет все, чего он не терпит, и ничего из того, что любит». Хобхауз любил Байрона, но обращался с ним, как с ребенком.

Чтобы развлечься хотя бы видимостью действия, Байрон сошелся с кружком Societa Romantica, маленьким итальянским кружком любителей свободы, и его присутствие в Болонье начало беспокоить шпионов «отеческого» правительства папских владений. Многочисленные рапорты направлялись от директора болонской полиции к главному директору римской полиции. Там отмечалась престранная дружба между графом Гвиччиоли и лордом Байроном, «небезызвестным литератором, коего либеральные убеждения и огромное богатство делают исключительно опасным». «Он никогда не выходит из дому и вечно пишет», — опасливо отмечал агент, а другой добавлял: «Если вы полагаете, что он занят только тем, чтобы наставлять рога Гвиччиоли, то ошибаетесь. Он сластолюбив и безнравственен до последней крайности, но в политике не столь непостоянен». Из Лондона принц Эстергази писал Меттерниху: «Лорд Кестлэри просил меня предупредить вас, дорогой князь, что считает необходимым, чтобы вы не выпускали из вида поведение и переписку лорда Байрона, и он (лорд К.) получил новые известия о заговоре карбонариев, готовящемся в окрестностях Милана». Священный союз был тесным союзом.

* Дом, домашаний очаг *(англ.)*.

В конце августа Гвиччиоли оставили его на несколько дней одного с Аллегрой, и в их отсутствие он еще яснее ощутил пустоту своей жизни. Грустно бродил в саду, нашел как-то на столе «Коринну» госпожи де Сталь и написал на последней странице:

«Моя дорогая Тереза, я прочел эту книгу у вас в саду — вас не было, сердце мое; если бы вы были тут, я бы не мог читать. Это одна из ваших любимых книг, а автор ее был одним из моих друзей, вы не поймете этих английских фраз, и другие их не поймут, потому-то я и не царапаю их по-итальянски. Но вы узнаете почерк человека, который вас страстно любил, и догадаетесь, что он, склонясь над вашей книгой, мог думать только о любви. В этом слове, которое так прекрасно на всех языках, но еще более прекрасно на вашем — Amor mio — заключена вся моя жизнь теперь и навсегда. Я чувствую, что существую сейчас, и боюсь, что должен всегда существовать, чтобы исполнять то, чего вы желаете. Моя судьба в ваших руках, вы женщина, вам семнадцать лет, и два года назад вы покинули монастырь. От всего сердца хотел бы я, чтобы вы там остались или, по крайней мере, чтобы я не встречал вас после вашего замужества... Но сейчас уже поздно. Я люблю вас, и вы меня любите, по крайней мере, вы так говорите и ведете себя так, будто любите, что, во всяком случае, большое утешение. Вспоминайте обо мне иногда, когда Альпы и Океан разделят нас — этого никогда не случится, если вы не пожелаете».

Она уезжала от него всего на три дня, этого было достаточно, чтобы он стал по отношению к ней каролиническим.

Когда чета Гвиччиоли вернулась в Болонью, граф узнал, что его снова вызывают в Равенну. Графиня объявила мужу, что по состоянию ее здоровья ей необходимо быть сейчас в Венеции и если он не может ее сопровождать, лорд Байрон охотно будет ее спутником. Граф Гвиччиоли согласился, и двое влюбленных выехали вместе из Болоньи 15 сентября 1819 года. Это было счастливое путешествие. Когда они приехали в Венецию, медики посоветовали графине отправиться в де-

ревню. Лорд Байрон еще владел виллой в Ла-Мира и был так любезен, что предоставил ее в распоряжение госпожи Гвиччиоли, выразив полную готовность жить с ней.

Как во времена Марианны Сегати, глубокие, темные воды Бренты отражали самые прекрасные закаты в мире. Вечера стали длинные. В Равенне новизна, занимательность чужого языка, вечная боязнь быть застигнутыми заполняли все время. Но одиночество отнимает все взятые напрокат иллюзии, и женщина в семнадцать лет быстро исчерпывает все, что она знает. «Это напоминает мне, — писал Байрон, — словцо Кюррена Муру: «Я слышал, вы женились на хорошенькой женщине — очень милое создание? — прелестное создание! — скажите, пожалуйста, гм... — а как вы проводите вечера?» — Ужасный вопрос, но ответ может быть прост, когда речь идет о жене, а не о любовнице. Разумеется, вечера кажутся длиннее, чем ночи. Я теперь очень нравственный человек и ограничиваюсь одним строгим адюльтером; не забудьте, что это все, что мне оставила моя добродетельная супруга». Адюльтер, как когда-то супружество, нередко заставлял его зевать.

К счастью, к нему приехал Том Мур, который, путешествуя с лордом Джоном Расселем, 8 октября явился на Ла-Мира. Байрон принимал в это время ванну, Мура встретил старый его друг Флетчер. Наконец появился сам Байрон, очень обрадованный тем, что видит друга своей юности, приветливый, веселый, но такой постаревший, что Мур был прямо потрясен. Он утратил ту одухотворенность, которая так отличала его раньше. Отпустил баки, потому что Тереза сказала, что у него голова музыканта. Носил длинные волосы, падавшие на шею, что придавало ему вид иностранца. Он был все так же красив, но лицо пережило ту же эволюцию, как и его поэзия. Теперь в нем было больше юмора и умудренности Дон Жуана, чем мрачного романтизма Манфреда и Чайльд Гарольда. Он предложил Тому Муру поселиться во дворце Мочениго и сейчас же проводить его в Венецию. Но сначала представил графине Гвиччиоли, которая показалась Муру

неглупой и приятной. Гондольер Тита со своими невероятными усами, в роскошной ливрее уселся впереди коляски и в Фузине перевез двух друзей через лагуну.

Мур был взволнован при виде Венеции, Байрон взволнован Муром. Они перебирали все воспоминания из лондонской жизни, веселые или смешные: счастливые вечера у Киннера, бренди, ирландские песенки. Байрон вел себя, как ребенок, который нашел товарища. Наконец приехали в палаццо Мочениго. Байрон крикнул: «Осторожней, собака!» Потом: «Берегись, обезьяна!» Затем ударом ноги открыл дверь, которая не хотела открываться, и сказал Муру: «Вот моя комната, она будет вашей». Во время пребывания Мура в Венеции Байрон проводил с ним целые дни и только к вечеру возвращался на виллу, в общество своей amica. Венецианцы умоляли Мура поговорить серьезно с Байроном, который оскорблял местный обычай, живя в одном доме с любовницей. Графиня Бенцони сказала: «Вы должны побранить вашего друга. До этой несчастной истории он так мило себя вел».

Точно каникулы наступили для Байрона с приездом Мура. В последний вечер, приехав из Ла-Мира к обеду, он сказал Муру с видом счастливого школьника, которого отпустили с урока, что графиня подарила ему ночь и они не только пойдут в Оперу, но и поужинают, как в доброе старое время. После «Феличе» они отправились выпить пунша на площадь Св. Марка, пока бронзовые истуканы на башне не выбили своими молотками два часа ночи; потом при свете луны Байрон и Мур гуляли по Венеции. Ночь была торжественно прекрасна. Затихший город дворцов дремал в своих водах, в блистающем ночном спокойствии. Мур был глубоко растроган. Байрон оставил веселый тон и говорил с тихой и спокойной грустью.

На другой день Мур приехал на Ла-Мира проститься с другом. Байрон вышел к нему, держа в руке маленькую сумку из белой кожи.

— Посмотрите, — сказал он, — вот Меррей дорого заплатил бы за это, но вы, полагаю, и шести пенсов не дали бы

— Что это такое? — спросил Мур.

— Моя жизнь и мои приключения, — отвечал Байрон. — Это не может быть опубликовано при моей жизни, но я вам дарю. Делайте с этим, что хотите.

Мур горячо поблагодарил и сказал:

— Вот чудеснейшее наследство моему маленькому Тому, который удивит этим людей конца XIX века».

Когда настал час отъезда, Байрон велел подать лошадей и проводил Мура по деревне.

Домашние дела шли довольно скверно. Граф Гвиччиоли до сих пор если и подозревал, то, во всяком случае, терпел связь своей жены. Но в ноябре 1819 года он перехватил письмо графа Гамба, отца Терезы, который давал дочери совет быть поосторожней, и явился в Венецию крайне раздраженный. Он нашел супругу в превосходном состоянии и ненавидящей его столь сердечно, что произошла довольно грубая ссора. На этот раз он предложил ей выбрать — муж или любовник, но не оба вместе. Она выбрала любовника и предложила Байрону бежать с ней. «И я, наверно, пришел бы к такому же решению, — говорил он, — будь мне двадцать лет вместо тридцати одного, потому что любил, но знал, что подобная авантюра будет для нее уже непоправимой. Вся семья — особенно сестры и отец — будет ужасно огорчена, и репутации остальных сестер будет нанесен немалый ущерб. Я с трудом уговорил ее вернуться в Равенну с мужем, который обещал все забыть, если она меня бросит». Граф Гвиччиоли, обливаясь слезами, сам явился к Байрону.

— Если вы оставите вашу жену, — сказал ему Байрон, — разумеется, я возьму ее к себе, это мой долг, да и желание, если дело дойдет до этого, но если вы, как говорите, действительно расположены жить с ней и любить по-прежнему, то я не только не буду причиной новых неприятностей в вашей семье, а даже уеду за Альпы.

Горе Терезы его трогало: «Прошу, умоляю тебя успокоиться, — писал он ей, — и поверь, я до конца жизни не перестану тебя любить... Я уезжаю, чтобы спасти тебя, покидаю страну, которая стала для меня невыносимой без тебя!» Он

решил не оставаться больше в Италии. Уедет сперва в Англию, затем (кто знает) во Францию, в Америку, в Соединенные Штаты, в Венесуэлу. Проездом через Англию он увидит Августу и попытается понять, что случилось с этой непостижимой женщиной.

Байрон — Августе: «Дорогая, моя любимая, я был невнимателен, не писал вам, но что сказать? Три года отсутствия и полная смена декораций и привычек — это так много изменило, что у нас нет теперь ничего общего, кроме привязанности и родства. Но я никогда не переставал и не перестану ни на одно мгновение чувствовать эту полную привязанность без границ, которая всегда соединяет меня с вами и делает совершенно неспособным испытывать действительную любовь к какому-нибудь иному человеческому существу, ибо чем бы оно могло быть для меня после вас? Любимая, мы во многом виноваты, но я не жалею ни о чем, разве что об этой проклятой женитьбе и вашем отказе любить меня так, как раньше... Я не могу ни позабыть, ни простить до конца вашей замечательной попытки добродетельного перерождения... Сердце разрывается от одной мысли о нашей долгой разлуке, и я уверен, что это достаточное наказание за все наши грехи. Данте более человечен в своем «Аду», ибо оставляет вместе своих несчастных любовников (Франческу да Римини и Паоло, которые вели себя, конечно, не так дурно, как мы, но все же достаточно нечестиво), и если они и страдают, то, по крайней мере, вдвоем... Когда будете мне писать, расскажите о себе и скажите, что вы меня любите. Не говорите о разных делах и людях, которые мне ничуть не интересны, ведь Англия для меня — только страна, где вы живете, а вокруг только море, которое нас разделяет. Говорят, разлука убивает слабое чувство и увеличивает сильное — увы! То, которое я к вам питаю, — это соединение всех чувств и всех привязанностей...»*

---

* Подлинность этого письма, кстати сказать, замечательного, никогда не оспаривалась. Но мнения расходились в том, кому оно было адресовано; утверждали, что оно написано не Августе. Однако это мне-

В течение двух недель после отъезда Терезы он намеревался покинуть эту страну. Приезд Мура вызвал в нем тоску по родине, друзьям. Даже всякие мелочи существования подстегивали желание вернуться на родину. Надо было бы полечить зубы у Уайта. Купить щеток, соды, магнезии — все, что он тщетно просит в каждом письме и чего упорно не присылают. Потом все, казалось, обратилось против этого путешествия — новый приступ лихорадки. За ним заболела лихорадкой Аллегра, потом ее кормилица, гондольер и горничная. Он бродил по дворцу Мочениго мрачный, одинокий, превратившись в сиделку около больного ребенка. То он собирался отложить поездку до весны, то отказаться от нее вовсе. Из Англии его не особенно обнадеживали. Августа не знала, что делать. Леди Байрон приказала не встречаться с братом. Но Августа знала, что, если он вернется, у нее не хватит мужества не видеться с ним, но она хотела избежать соблазна. «Я боюсь, — писала она Меррею, — что намерение приехать на этот раз вполне обдуманно и серьезно». И несколько восклицательных знаков подряд подчеркивали ее беспокойство.

А из Равенны, наоборот, его звала Тереза. Бог весть как, но она все устроила: она опять больна и не поправится, если Байрона не будет рядом. Ее отец поговорил с ее мужем, муж согласился. Она ждала своего Байрона.

Пришел день, назначенный для отъезда в Англию. Перед дворцом Мочениго волны Большого канала покачивали гондолу, нагруженную багажом. Байрон был готов, уже надел перчатки. Аллегра была в гондоле, ждали только его и ору-

---

ние, мне кажется, невозможно защищать, так как фраза «precious piece of reformation» повторена и комментирована в письме от 27 июня 1819 года леди Байрон к миссис Ли: «Это письмо, — пишет она, — является важным свидетельством вашего предшествовавшего ему «перерождения», которое доказано для меня вашим собственным уверением и подтверждено фактами». См. в «Астарте», с. 85, письмо, приведенное полностью, которое доказывает: 1) что леди Байрон говорит об этом письме, как о написанном Августе, 2) Августа сама передала ей его и сообщила, что оно написано ей. См., кроме того, письма Августы, написанные до него и после. Более полное обсуждение см. у Джона Фокса в «Тайне Байрона», с. 137 и след. — *Примеч. авт.*

жие. В этот момент он объявил, что если час пробьет раньше, чем оружие будет в гондоле, то не поедет. Пробило час, и он остался. Он написал Гвиччиоли: «Любовь победила. Я не мог найти в себе сил, чтобы покинуть страну, в которой ты живешь, не повидавшись хотя бы еще раз... Я гражданин мира — все страны для меня одинаковы. Ты всегда была с тех пор, как мы узнали друг друга, единственной моей мыслью. Я думал, что самое лучшее для тебя и для спокойствия твоей семьи было бы, чтобы я уехал... Но ты решила, что я должен вернуться в Равенну. Я еду — я сделаю — я стану — все, что ты захочешь. Большего не могу тебе сказать!»

XXXI
АРСЕНАЛ ВО ДВОРЦЕ ГВИЧЧИОЛИ

И ты, Италия, хранишь дар роковой красы...

Он был счастлив снова увидать свою тихую Равенну, узкие улочки, таинственные дворцы, базилики с черепичными крышами, деревни с бесконечными дорогами «и божественный лес, густой и живой». На улицах лежал снег. Тереза Гвиччиоли встретила его с наивной радостью, как больной ребенок, которому строгие родители, чтобы ускорить выздоровление, позволили повидаться с любимым товарищем... Граф держал себя сдержанно, но не враждебно. Семья Гамба, которая, казалось, до сих пор только порицала эту связь, обращалась теперь с Байроном, как с родным. В частности, брат Терезы, граф Пьетро Гамба, горячий и веселый юноша, выразил ему свои дружеские чувства. Чичисбея принимали как зятя.

Байрон остановился в «Альберго империале», в котором не было ничего императорского, кроме названия. Останется ли он там на день, на неделю, на год? Он не знал. Судьба сама заботилась об устройстве его жизни. Он приехал, потому что

звала женщина. Уехал — если бы того пожелали. В его привязанности не было ни порывов первых дней любви, ни мелочной придирчивости разрыва. Он плыл по течению без руля, по ленивым и ласкающим волнам фантазии госпожи Гвиччиоли.

Аллегра была с ним со своей кормилицей, окруженная массой игрушек, которые ей подарили Гоппнеры в день отъезда. Было довольно неудобно жить в гостинице с ребенком, и Байрон предпочел снять квартиру. Узнав, что он ищет помещение, граф Гвиччиоли предложил снять пустой этаж его дворца. Предложение удивительное, но удобное. Байрон выписал из Венеции свою мебель и поселился еще раз под тем же кровом, где жила его возлюбленная. Правду говоря, этого супруга было не так-то легко понять.

Что же до графини, очень гордившейся своим красивым возлюбленным-англичанином, то казалось, что для нее не существовало большего удовольствия, как показывать его всюду, где только возможно. В первую же неделю она заставила его надеть вышитый мундир, шпагу и повезла на бал к маркизу Кавалли, своему дяде. Она хотела войти под руку со своим поэтом. Он же, вспоминая о вечере у леди Джерсей, опасался «взрыва», однако маркиз, вице-легат папы и «все прочие вицы» были как нельзя более любезны. Байрон пришел в восторг от красоты, ума и бриллиантов равеннских женщин, но все же побаивался скандала. Все это было донельзя дико, но приятно. К черту английскую мораль. Он начинал, как ему казалось, понимать нравы этой страны. В общем, девятая заповедь здесь читалась так: «Прелюбы сотвори, пожелай жену ближнего твоего». Но желать можно было только одну, которая, кстати, оказывалась ревнивой, как фурия, требуя верности от своего любовника, как долга чести. «Здесь судят о характере человека, мужчины или женщины, не по тому, как относится супруг к супруге, а по тому, как он или она ведут себя по отношению к любовнице или возлюбленному». Чичисбей должен относиться к мужу с большим почтением; первое впечатление иностранцев — что они родственники. Опас-

ность заключается в том, что relazione* или amicizia**, продлившись от пяти до пятнадцати лет, нередко встречаются со вдовством и обычно кончаются sposalizio***. Мужчине отведена жалкая роль служить украшением женского существования. Романтизм торжествует, но какой ценой? Байрон иногда вышучивал себя с суровым юмором: «Я очень серьезно упражняюсь в искусстве складывать шаль, и достиг бы больших успехов, если бы не складывал всегда изнанкой вверх». Финал довольно плачевный для человека, который в своё время мечтал о славе и героических деяниях. Он сильно презирал бы себя среди утех во дворце Гвиччиоли, если бы итальянская политика не предложила ему, весьма кстати, счастливую возможность опасности.

Уже несколько месяцев назад он примкнул к итальянскому политическому движению. Он готов был отдать жизнь за свободу Италии, в значительной степени по той причине, что любил эту страну и свободу, и в некоторой степени потому, что не любил жизни. В Болонье он входил в кружок Società Romantica. Теперь же он был вполне посвященным карбонарием; так как престиж большого английского вельможи успешно помогал делу и он лучше всякого итальянца был защищен от полиции, то даже стал главой равеннской группы карбонариев, называвшейся Americani.

В 1820 году Европа, сперва оглушенная тумаками Священного союза, постепенно начинала приходить в себя. Испания после революции, которой потребовалось всего лишь «шесть лет терпения и один день объяснений», наконец получила конституцию. Этот пример воодушевлял подданных папы, неаполитанского короля и Меттерниха. В Неаполе сотня солдат, прокричавшая «Да здравствует король и конституция!», так напугала короля, что он 6 июля 1820 года подписал указ, провозглашавший конституционное правление. Стены равеннских зданий были покрыты надписями: «Да здравству-

* Знакомство *(ит.)*.
** Дружба *(ит.)*.
*** Свадьбой *(ит.)*.

ет республика и смерть папе!» Кардинал Равенны бледнел под своим пурпуром. Карабинеры возмущались ливреями слуг Байрона, носивших военные эполеты. Байрон отвечал, что слуги его семьи носят эти ливреи с 1066 года, и приказал своим людям стрелять, если на них нападут. Дети на улицах Равенны кричали: «Да здравствует свобода!» Катаясь верхом в Пинете, Байрон встречал своих americani, маршировавших с песней «Все мы солдаты свободы!..». «Они приветствовали меня, когда я проехал мимо. Я ответил им и поехал дальше. Это показывает, какое теперь настроение в Италии». В письмах просил всех своих друзей присылать ему сабли и порох: он устроил во дворце Гвиччиоли арсенал на полтораста ружей. Все это говорило о его смелости, так как анонимные письма советовали отказаться от прогулок и не доверять полиции Buon governo*.

Граф Гвиччиоли был человек богатый, но не неуязвимый. Из чувства осторожности он уважал всякое правительство, каково бы оно ни было; и он начинал находить, что любовник его жены очень плохо воспитан. Виданное ли это дело, чтобы чичисбей выставлял в спальне ружья целыми рядами и компрометировал респектабельный дом? Он сдал этому иностранцу целый этаж дворца и разрешил выезжать с его женой; он считал Байрона чудовищно неблагодарным. В доме только и видели заговорщиков. Все ящики были набиты пламенными прокламациями. Правительство арестовало перевод «Чайльд Гарольда»; кругом цитировали поэму Байрона о Данте как революционный гимн. В секретных рапортах австрийской полиции римский правитель описывал графа Гвиччиоли, как «conosciuto per uno del più feroci perturbatori della pubblica tranquillità e strettamente legato con il detto lord Byron»**. Strettamente legato было не лишено юмора. Еще раз граф приказал жене выбрать между ним и Байроном. Она возмутилась. Выбрать? С каких это пор заставляют жену выбирать? Бай-

* Доброго правительства *(ит.)*.

** Известный как один из ужасных нарушителей общественного спокойствия, тесно связанный с упомянутым лордом Байроном *(ит.)*.

рон умолял Терезу быть осторожней, граф мог потребовать развода, а условия жизни разведенной женщины были затруднительны в Романье. Церковная власть не позволяла женщине без мужа жить с любовником. Но очаровательные моральные рассуждения Дон Жуана были тщетны. Упрямая Тереза повторяла свое: «Я, конечно, хочу остаться с ним, если он не будет мешать вам остаться со мной. Как хотите, но это прямо невероятно, чтобы я была единственной женщиной во всей Романье, которая не смеет иметь amico».

Вся Равенна стояла за любовников. Гамба — потому, что они терпеть не могли Гвиччиоли, а народ и женщины, как говорил Байрон, «...всегда на стороне виновных», но еще и потому, что его обожали бедняки Равенны. Он шел на помощь нищете этой страны, раздавая деньги старухам, которых встречал с вязанками дров на дороге Пинеты, раздавал на церкви, на монастыри. Если где-нибудь ломался орган, Байрон платил за починку, если где-нибудь нужно было восстановить башню, Байрон сам предлагал это городу. Кроме того, все знали, что он — за свободную Италию. Глас народа предрекал ему победу.

Курьезно, что развод в конце концов был потребован, но не графом, а семьей Гамба из-за тяжкого оскорбления. Гвиччиоли же, наоборот, был против этого, так как не желал выделять так называемую вдовью часть. Дело перешло в папский суд и наделало немало шуму. Такой истории не было в Равенне за последние двести лет. Адвокаты отказались действовать в пользу Гвиччиоли, говоря, что либо он дурак, либо жулик: дурак, если ему потребовалось девятнадцать месяцев, чтобы узнать о связи, всем известной, жулик — если он ее терпел. В конце концов в июле папа утвердил развод. Графиня должна была жить в доме своего отца, графа Гамба, и Байрон мог видеть ее лишь с великими ограничениями. Он предложил выплачивать ей пенсион, но суд решил, что граф Гвиччиоли повинен заботиться о нуждах жены, а Тереза нимало не была в этом заинтересована.

Когда-то Байрон проклинал и ругал туманных богинь британских условностей, а теперь он пал по приговору папского суда жертвой условностей итальянских. Графиня Гвиччиоли была из хорошего рода, из-за Байрона (поскольку такие истории не обходятся без мужчины) потеряла своего мужа; по долгу чести он чувствовал себя обязанным жениться на ней, если обстоятельства позволят, — точь-в-точь, как он когда-то считал долгом связать себя с Каролиной Лэм.

Байрон — Августе: «Это (как говорится в афишах) окончательно мое последнее представление... Вы понимаете, что когда женщина разводится с мужем из-за любовника, последний, по долгу чести (или, по крайней мере, как в моем случае, по склонности), обязан прожить с ней остаток жизни в случае, если она будет вести себя прилично. Таким образом, вы видите, что я кончаю тем, чем начал наш отец, и, вероятно, вы больше никогда в жизни не увидите меня...

Эта связь длится около трех лет... Могу сказать, что, не будучи столь безумно влюбленным в нее, как это было вначале, я привязался так, как не думал быть привязанным ни к какой женщине после трех лет связи (исключая одной, и вы знаете, кто это?), и у меня нет ни малейшего желания и никаких видов на разрыв... Если бы леди Байрон пожелала доставить нам удовольствие и умереть, а также и супруг графини Гвиччиоли (католики ведь даже и разведенные не могут вступать в брак), мы должны были бы, вероятно, пожениться, хотя я бы этого не хотел, так как супружество — это средство возненавидеть друг друга.

Вам должна была бы очень понравиться будущая леди Байрон по трем причинам: 1) она великая защитница настоящей леди Байрон и всегда говорит, что уверена, будто я отвратительно с ней обращался; 2) очень хорошо относится к вам; мне стоило труда помешать ей написать вам одиннадцать страниц (она очень любит писать письма); 3) прочитав «Дон Жуана» во французском переводе, она взяла с меня обещание не продолжать его, заявив, что это отвратительно... В

ней много нашего. Я хочу сказать, что она умеет подмечать смешное, как тетя Софи, как вы и все Байроны».

Очень может быть, что изумительное постоянство Байрона в этой истории до некоторой степени объясняется теми «байроновскими чертами», которые он неожиданно, но тем не менее действительно нашел в Терезе.

Указ о разводе приказывал госпоже Гвиччиоли жить у отца. 16 июля она уехала на виллу графа Гамба недалеко от Равенны. Кардиналы, может быть, думали таким образом разлучить любовников, но Гамба, отец и сын, любили Байрона, разделяли его политические убеждения и покровительствовали этой любви. Его принимали в их загородном доме, куда он приезжал верхом не один раз в месяц в продолжение всего лета. Осенью, когда Тереза вернулась в Равенну, он мог видеть ее у Гамба каждый вечер. Она была изумительно верна ему: «Я уверена в своей любви, — писала она, — больше, чем в том, что увижу завтра солнце... У меня был один грех, один и останется».

В общем, положение не было неприятным. Таинственность и трудность свиданий, смесь конспирации и любви не позволяли усталости проникнуть в эту связь. Байрон провел один холодную и долгую зиму 1821 года во дворце Гвиччиоли. Дороги были покрыты снегом, лошади приплясывали в конюшне. Он сидел дома, читая и поглядывая на огонь. Но что можно найти в книгах? «Кто может сказать что бы то ни было, чего Соломон давно уже не сказал до нас...» Опять начал вести дневник, и эти записи были, пожалуй, замечательней, чем его дневник 1813 года. Подобно солнцу Греции, ум Байрона так живо освещал предметы и чувства, что их контуры выступали с неумолимой четкостью. Он описывал их такими, какими видел, и так же мало допускал лжи относительно себя, как и относительно других, придавая событиям и людям вид естественных явлений, равных перед лицом его скуки. Он отмечал каждую минуту своего существования со

странным чувством необходимости отмечать все, что его касалось:

«Обедал около шести часов. Кормил двух котов, сокола и ворона. Читал «Историю Греции» Митфорда, «Отступление десяти тысяч» Ксенофонта. Потом писал вот до этого времени — до без шести минут восемь».

Дневник полон очаровательной шекспировской причудливости, которая проистекала от того, что Байрон, подобно елизаветинским шутам, переходил неожиданно от лирической строфы к шутке, от мировой республики к здоровью своего ворона.

«Сидел дома все утро — смотрел на огонь. Спрашивал себя, когда же придет почта... Написал за полчаса пять писем, все короткие и дикие. Слышу коляску, спрашиваю пальто и пистолеты, как всегда — необходимые атрибуты. На улице холодно — коляска открытая, а жители диковаты и — воспламенены политикой. Прекрасная раса, впрочем, чудный материал, из которого вырастет нация. Часы звонят, и я отправляюсь изъявлять свою любовь. Довольно опасно, но не неприятно. Кстати, не забыть поставить сегодня новую ширму. Она довольно-таки древняя, но все будет в порядке после небольшого ремонта. Оттепель продолжается. Надеюсь, завтра можно поехать верхом...

Девять минут двенадцатого. Вернулся от графини Гвиччиоли, урожденной Гамба. Говорили об Италии, патриотизме, Альфьери, госпоже Альбани и прочих мудреных предметах. Еще о Саллюстиевом «Заговоре Катилины» и «Югуртинской войне». В девять часов пришел ее брат, граф Пьетро, в десять отец, граф Руджиеро. Говорили о различных способах войны, о фехтовании на саблях в Венгрии и Шотландии. Решили, что восстание начнется 7 или 8 марта; дата внушает доверие, если бы ранее не было решено, что восстание будет в октябре 1820...

Вернулся. Опять читал «Десять тысяч». Иду спать.

6 января 1821. Туман — оттепель — дождь — грязь. Верхом ехать невозможно...

В восемь отправился со своим обычным визитом. Слышал немного музыки — люблю музыку...

Думал о положении женщин у древних греков — довольно удобно. Их положение сейчас — это остаток варварства рыцарских и феодальных времен — искусственно, неестественно. Они должны заниматься домом — их нужно хорошо кормить и одевать, но не давать вмешиваться в общественную жизнь. Воспитывать в религии, но не давать им читать ни поэзии, ни политики — только душеспасительные и поваренные книги. Музыка — рисование — танцы — ну, немного садоводства и земледелия время от времени. В Эпире я видел, как они мостили дороги, и очень хорошо. Почему бы и нет — все равно, что косить и доить!

Вернулся домой, опять читал Митфорда, играл с собакой, дал ей поужинать... Сегодня вечером в театре, когда в последней сцене появился принц на троне, публика начала хохотать и требовать у него «Конституции». Это так же, как и убийства, показывает, каково здесь настроение умов. Так продолжаться не может. Должна бы существовать всеобщая республика — и я думаю, что так и будет.

Ворон хромает на одну лапу — как это могло случиться: полагаю, какой-нибудь идиот наступил на нее. Сокол очень живой, коты жирны и шумливы, обезьян я не видел с тех пор, как холодно; да им и неприятно, когда их сюда поднимают. Лошади должны быть довольны; как только погода позволит — поеду верхом. Скверное сейчас время — итальянская зима невеселая штука, но остальные времена года очаровательны».

Это был почти что тон лондонского дневника времени «Корсара». Почти, но не совсем. Поток лавы застыл. Внутренняя борьба была уже не так горяча. Байрон несколько смирился с нелепостью жизни и даже со скукой. Он еще хотел волнений, но уже не искал их больше в любовных страстях; темперамент был менее жив, волосы поседели.

«Почему я всю свою жизнь более или менее скучал? И почему теперь это не так сильно, как когда мне было двадцать

лет, если воспоминания меня не обманывают? Я не знаю, полагаю, что это в моей природе. Воздержание и гимнастика, к чему я прибегаю время от времени, ничего в этом не меняют. Бурные страсти помогали, когда я находился под их непосредственным влиянием — странно, но это приводило меня тогда в повышенное настроение, я не был угнетен. Плавать тоже хорошо для моего настроения, но, в общем, оно мрачно и становится все мрачнее день ото дня. Это безнадежно, потому что кажется, что мне не так скучно, как было в девятнадцать лет. Доказательством служит то, что необходимо было тогда играть, пить или что-нибудь делать, без чего я чувствовал себя несчастным. Теперь я могу томиться спокойно...

Но чувствую, как во мне растут лень и отвращение, более могущественные, чем безразличие».

Ничто уже больше не внушало ему живых чувств. Он был слишком англичанином, чтобы принимать всерьез свою итальянскую жизнь, а Англия была не более чем далекий сон. Иной раз звук, запах, чтение пробуждали минувшее. Стих Коули «Под волной стеклянной, свежей и прозрачной» вызывал на мгновение струящийся и дрожащий образ ствола дерева со странными очертаниями, который он видел в Кембридже на дне реки, когда нырял с Лонгом. «О, на улице играет шарманка — и это вальс. Хочется перестать писать и слушать. Она играет вальс, который я слышал десять тысяч раз на лондонских балах между 1812 и 1815 годами. Странная вещь — музыка...» Тени скользили. Каролина Лэм в вальсе... Он знал, что в этом году на балу у Олмэк она появилась, одетая Дон Жуаном, со свитой чертей. Для нее драма кончилась маскарадом. Что касается леди Байрон, он пришел в негодование, узнав, что она была дамой-патронессой благотворительного бала. Патронесса бала, в то время как ее муж в изгнании рискует своей жизнью для чужого народа. Ему было очень горько. Если бы он мог увидеть дневник, который вела в это время Аннабелла, он прочел бы следующее:

«Вышла рано утром, чтобы посмотреть на мой старый дом на Пиккадилли. С улицы видела комнату, где мы так часто

были вдвоем, это похоже на то, как будто я жила там с другом, который давно уже умер для меня. Не осталось ни тени прежних моих мучений. Только могильная тишина».

Байрону тоже иногда казалось, что их письма — диалоги Мертвых. Все же он продолжал поручать ей Августу: «Какова она ни есть, какова бы она ни была, вам никогда не было причины жаловаться на нее. Наоборот. Вы не можете знать, чем вы обязаны ей. Ее жизнь и моя, ваша жизнь и моя — это были вещи совершенно разные. Когда одна кончилась, началась другая. А теперь обе оборвались».

Друзья были далеко. Хобхауз, выступивший в парламенте со своей ярой радикальной политикой, угодил в тюрьму. Флетчер выкопал эту новость в итальянской газетке. Байрон посмеялся. Во-первых, потому, что «Рошфуко» (как он говорил) прав, и несчастья друзей всегда заставляют нас смеяться, но еще и потому, что он не любил демагогии, так же как и тирании, одной из форм которой она является. Он написал комические стихи о пленении Хобхауза, который рассердился на это. Скроп Дэвис проигрался вконец и должен был бежать на континент. Можно ли представить себе Лондон без дэвисовского заикания? «Брюмель в Кале, Скроп в Брюгге, Бонапарт на Святой Елене — вы в вашем новом жилище (тюрьме), а я в Равенне, подумайте! Столько великих людей! Ничего подобного не бывало с того времени, как Фемистокл был в Магнезии, а Марий в Карфагене».

22 января 1821 года ему минуло тридцать три года.

«Завтра день моего рождения, то есть в полночь, сегодня, через двенадцать минут мне будет ровно тридцать три года!!! Иду ложиться с тяжелым сердцем от мысли, что прожил так долго и с такими малыми результатами...

Сейчас три минуты первого. Часы в замке пробили полночь — и мне уже тридцать три года.

Eheu fugaces, Posthume! Posthume! Labuntur anni...*, но жалею об этом не столько из-за того, что я делал, сколько из-за того, что мог бы сделать».

* Увы, Постумий! Постумий! Бегут быстрые годы... (Ода Горация.)

Дорогою жизни грязной и темной
Тридцать три года тащился я ровно.
Что ж эти годы оставили, что?
Тридцать три года иль — ничего.

На другой день он написал эпитафию умершему году:

1821
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ПОГРЕБЕННЫЙ В ВЕЧНОСТИ
ПРОШЕДШЕГО,
ОТКУДА НЕТ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ДЛЯ БЫТИЯ — ХОТЯ БЫ ОНО И МОГЛО БЫТЬ
ДЛЯ ПЕПЛА —
ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД
СЛАБО НАПОЛНЕННОЙ ЖИЗНИ,
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ
ДОЛГОЙ БОЛЕЗНИ, ДЛИВШЕЙСЯ МНОГИЕ МЕСЯЦЫ,
ВПАЛ В ЛЕТАРГИЮ
И ИСПУСТИЛ ДЫХАНИЕ
22 января 1821

Эти месяцы в Равенне он много работал. «Дон Жуан» был прерван госпожой Гвиччиоли на пятой песне: «Я согласился по настоянию госпожи Гвиччиоли не продолжать поэму. Она прочла французский перевод и находит, что это отвратительное произведение. Вполне естественно, даже с точки зрения итальянской нравственности, потому что женщины всего света верны своей франкмасонщине, которая заключается в иллюзии чувства, а это является единственной сферой их владычества (все это благодаря рыцарству и готам — греки, те лучше их понимали). Всякое произведение, которое изображает комедию страстей и смеется над сантиментами, естественно воспрещено всеми сектами. Я никогда не видел женщины, которая не обожала бы Руссо и не ненавидела бы Жиля Блаза и Граммона по той же причине. Так как я теперь послушен, я уступил».

Графиня Гвиччиоли, весьма твердая в защите традиционной романтики, не переносила никакой ереси в религии любви, которая властвует над вселенной. Когда однажды Байрон сказал, что любовь — это недостаточно высокая тема для трагедии, она пришла в негодование и засыпала его доказательствами противного. Он никогда особенно не блистал в спорах, тем более с женщиной: тотчас же уступил и сделал из Сарданапала любовника.

Так как ему пришлось отказаться от «Дон Жуана», он стал работать над трагедиями; одни из них были навеяны историей Венеции («Марино Фальеро», «Двое Фаскари»), другие — древней историей и Библией. Мысль писать трагедии явилась у него после того, как он близко познакомился с произведениями Альфьери; его антиромантический идеал, естественно, сводился к идее спасти английскую трагедию посредством возвращения к единствам*.

Однако для него всякий сюжет, даже исторический, и трагедия, даже классическая, всегда были предлогом к самоосвобождению. Если он раздумывал о том, написать ли «Тиберия», то делал это в надежде выявить свои собственные чувства. «Обдумывал сюжеты четырех трагедий, которые надо написать: «Сарданапал» уже начат; «Каин» на метафизический сюжет, что-то в стиле «Манфреда», но в пяти актах, может быть, с хором; «Франческа да Римини» в пяти актах; не уверен, может быть, начну и «Тиберия». Мне кажется, что я мог бы внести кое-что из моего трагического в описание мрачного лишения свободы и старости тирана — также и его пребывания на Капри, — смягчив подробности и тщательно изобразив отчаяние, которое должно было привести его к столь порочным наслаждениям. Потому что только могущественный и отчаявшийся разум мог искать прибежище в этих одиноких ужасах, тогда как в то же время он был стариком и властелином мира».

* Требование классической трагедии: единство времени, места и действия.

Сочиняя «Сарданапала», он сочинил защитительную речь pro domo*. Сарданапал вел ту же жизнь, что и Байрон во дворце Мочениго, и на упреки друзей отвечал похвальным словом наслаждению:

Все человеческое в трех словах,
Вся жизнь. Послушайте — Сарданапал,
Царь, сын царя, — он ел, любил и пил.
Иль по-другому: здесь Сарданапал
Сто тысяч войска страшной смерти предал.
Вот их могилы, вот его трофеи...
Завоевателям я это оставляю,
А для меня довольно и того,
Что для рабов своих я мог ослабить
Несчастья нищеты...

Но из всех драм самой разоблачительной оказался «Каин». Его с детства мучила и преследовала эта тема Первого Обреченного — человека, который был осужден богом до преступления. «Каин» был попыткой излить в форме драмы его страстное возмущение против существования зла в божественном творении. В первой сцене изображен Адам и его дети после падения, все поклоняются Иегове, только Каин остается молчаливым. Каин не простил Богу. Какой грех совершил Адам? — спрашивает он.

Вот дерево — зачем не для него!
А коли нет, зачем же должен жить
Он рядом с ним...
И есть
На все один ответ: «Так Он поставил,
Он добро». Откуда это я узнаю?
Он всемогущ, но разве справедлив Он?
Я по плодам сужу — горьки они...

Появляется Люцифер, который объявляет себя равным Богу. Он предлагает показать Каину истинный мир, в котором нет условностей. Каин не решается покинуть свою сестру Аду, являющуюся в то же время его женой.

---

* Защищая самого себя *(лат.)*.

Люцифер

Ты любишь
Его? И любишь больше, чем отца и мать?

Ада

Люблю. И это тоже грех?

Люцифер

О нет,
Но детям вашим будет грех.

Ада

Как? Брата дочь моя любить не может?

Люцифер

Так, как ты любишь Каина, — нет.

Ада

Боже!
Им не любить и им не создавать
Вновь любящих? А молоко они
У той же груди пили...

Люцифер

Но этот грех ведь не мое созданье,
И не был он для вас грехом, хотя
Покажется грехом для тех, кто вас
Заменит.

Ада

Но какой же это грех,
Когда он сам не грешен? Добродетель
Как может стать грехом?

После смерти Авеля является ангел, чтобы заклеймить Каина, который переносит кару, но не признает за собой вины.

Да, я есмь я. Но я ведь не просился
Жить здесь и сам себя не создал...

Это вопль самого Байрона, отмеченного, как он думал, каиновой печатью и осужденного бродить по земле. И он тоже убил своего младшего брата, первого Байрона. Был ли он ответственен за это? Он был тем, чем был, он не сам произвел

себя на свет, он не мог действовать иначе и кричал несправедливому Богу: «Почему ты поступил со мной так?»

Вальтер Скотт, которому он посвятил «Каина», мужественно принял посвящение, но попробовал оправдать Бога: «Великий ключ к тайне, может быть, заключается в несовершенстве наших способностей. Мы видим, сильно чувствуем то частичное зло, которое нас угнетает, но мы знаем слишком мало об общей системе вселенной, чтобы понять, каким образом существование этого зла может быть совместимо со всеблагостью Создателя».

«Каина» жестоко раскритиковали, особенно с точки зрения ортодоксальной религии. Это не было, конечно, произведение атеиста, и Байрон с неутомимой настойчивостью напоминал об этом, но это было сочинение еретика. От Кента и до Пизы духовенство произносило проповеди против этого кальвинистского Прометея. Но даже скандал не создал успеха. Трагедии разочаровали английских читателей Байрона, они были более романтичны, и он очень огорчился. «Вы видите, что значит метать бисер перед свиньями. Покуда я писал преувеличенные бессмысленности, которые развращали вкус читателей, они аплодировали и вторили мне, словно эхо, а теперь, когда я дал за последние три-четыре года вещи, которым нельзя дать умереть, все стадо рычит, ворчит и рвется назад в свое болото. В конце концов я наказан поделом за то, что портил их, потому что ни одна душа на свете не сделала столько, сколько я в моих первых сочинениях, для того, чтобы распространить этот стиль, преувеличенный и фальшивый».

Англия отворачивалась от поэта. Оставался человек действия. Ах, если б он мог показать Хобхаузу, который был так доволен собой потому, что попал в парламент и в тюрьму, и писал (не подписывая) памфлеты против Каннинга, — показать ему, что он, Байрон, не мог бы удовлетвориться подобными имитациями мужества. Итальянская революция, где он мог бы играть большую роль, — вот на что он возлагал теперь свои надежды.

Всю зиму вместе с Пьетро Гамба и его «братьями» americani он конспирировал, жертвуя одновременно и собственной особой и деньгами. Нужно было припрятать штыки, мушкеты и патроны? Нужно было провести тайное совещание? Он для всего предлагал дворец Гвиччиоли. «Это довольно крепкая позиция — узкие улицы, защищаемые изнутри, надежные стены». Нужны были деньги? Он давал их. Он знал, что рисковал жизнью. Но считал, что дело стоило того. «Подумайте — свободная Италия. Ничего подобного не было со времен императора Августа... Что значит «я», если хотя бы одна искра, достойная прошлого, может быть во всем блеске передана будущему».

Характерная черта: энтузиазм и физическая храбрость соединялись в нем с предусмотрительностью и непоколебимым здравым смыслом. Он сомневался в успехе итальянцев, если они не смогут объединиться. Не уставал призывать их к методичным действиям, правильно представлял себе стратегический план применительно к местным условиям: «Я посоветовал им выступать в отдельности, отдельными группами и в разных местах (но одновременно), чтобы рассеять внимание войсковых частей, которые, несмотря на малочисленность, все же, благодаря своей дисциплинированности, победят в регулярном бою толпу, не имеющую настоящей тренировки».

События показали правильность его предвещаний. В начале марта неаполитанцы были разбиты австрийскими войсками. Король, присягнувший конституции, отрекся от нее. Все маленькие изолированные восстания были раздавлены одно за другим. Равеннцы, как и другие, вынуждены были отказаться от своего проекта, и, как это всегда бывает, революция, которая не смогла победить, была жестоко подавлена. Папская полиция составила проскрипционные списки. Она не осмелилась тронуть Байрона, но чтобы задеть его, в июле 1821 года изгнала семью Гамба.

Госпожа Гвиччиоли была готова на изгнание, но не желала терять своего любовника. Куда он за ней поедет? Она

предложила Швейцарию. Но там было слишком много англичан, готовых направить свои подзорные трубы на лорда Байрона. Пока он колебался, пришло письмо от Шелли, сообщавшего, что едет к нему. Шелли беспокоился о судьбе Аллегры и хотел поговорить о ней. Во время конспирации Байрон считал небезопасным держать девочку в доме, который был превращен в арсенал и перед которым резали среди бела дня. Он давно уже решил, что она будет католичкой и выйдет замуж за итальянца. Конечно, по совету госпожи Гвиччиоли, которая была воспитана в монастыре, Байрон поместил Аллегру в монастырь Баньякавалло, недалеко от Равенны.

Клер была вне себя. Она писала ему умоляющие письма, упрашивала отдать Аллегру Шелли, если он не хочет, чтобы она жила с ним. Но Клер, как когда-то Аннабелла, принадлежала к той породе женщин, которые приводили Байрона в ярость. Она соединяла в себе отсутствие стыдливости, в чем он упрекал Каролину Лэм, с «проповедями и сантиментами» леди Байрон, и, как и тем двум, он не прощал злобы, которую она в нем вызывала. К тому же он слишком презирал ее, чтобы доверить ей отпрыск Байронов. «Клер пишет мне самые дерзкие письма по поводу Аллегры, — вот что выигрывает человек, решившийся позаботиться о своих побочных детях! Если бы мне не было жаль бедную девочку, я почти готов был бы отослать ее к этой безбожнице, ее матери, но это уже слишком плохо. Если Клер полагает, что она сможет вмешиваться в нравственное воспитание ребенка, то ошибается; этого никогда не случится... Крошка будет христианкой и замужней женщиной, коли то возможно».

Этот текст превосходно показывает бессознательного моралиста, который жил в глубине его души.

Шелли приехал 6 августа. Он ничего не знал о Байроне со времен Венеции и был очень удивлен моральным и физическим улучшением, которое нашел в нем: «Он совсем восстановил свое здоровье и ведет образ жизни, совершенно противоположный тому, что было в Венеции. У него нечто вроде

постоянной связи с графиней Гвиччиоли, которая сейчас во Флоренции. Флетчер здесь, он словно тень, которая чахнет и возрождается вместе с материальной субстанцией своего хозяина. Флетчер снова обрел равновесие, и меж его преждевременно поседевших волос всходит как будто новый белокурый урожай. Лорд Байрон сделал громадные успехи со всех точек зрения: в гении, в характере, в нравственности, в счастье. Его связь с Гвиччиоли принесла очень много добра. У него были дурные страсти, но теперь он как будто победил их и становится тем, чем и должен быть: добродетельным человеком. Интерес, который он проявляет к итальянской политике, и его участие в этом — это вопросы, о которых не могу писать, но они изумят вас и доставят удовольствие... Он прочел мне неопубликованные песни «Дон Жуана», отличающиеся изумительной красотой. Это не только выше, но неизмеримо выше всех современных поэтов. Каждое слово несет на себе печать бессмертия».

В этом письме можно угадать искреннюю попытку заставить Мэри думать несколько лучше о Байроне. Во времена Женевы и Венеции Шелли были очень строги. Освободившись на несколько дней от влияния «бессмысленной породы женщин», Шелли становился более справедливым. Он не чувствовал себя другом Байрона. Дружба предполагает большую свободу ума. Даже для такого бескорыстного человека, как Шелли, слава Байрона в сравнении с его собственной несправедливой неизвестностью была препятствием. Дурные чувства друг к другу бродили между ними. Шелли отстранял их, переступал через них, но тщетно боролся против этой стесненности. Байрон признавал, что Шелли — один из самых замечательных людей, которых он когда-либо знал, он лучший судья в поэзии и самый великодушный. Его присутствие было для Байрона словно живой и ясный пламень. Тот, кто когда-либо грелся около него, должен был жалеть о нем всю жизнь. Но в то же время Шелли был живым упреком. Горячий, энергичный, он знал, чего хотел, казалось даже, он знал, что хорошо и что дурно. Байрон любовался им, завидовал и

иногда разглядывал его исподтишка, с тайным желанием найти в нем недостаток. Что бы подумал «Рошфуко» об этом добродетельном атеисте? А что, если даже и Шелли был лицемером?.. Но даже под режущим светом байронического анализа Шелли оставался неуязвимым.

Жизнь во время пребывания Шелли шла, как всегда. Утренний сон, завтрак после полудня, прогулки верхом по лесу, вечерние чтения, ночные разговоры. Шелли с любопытством бродил по громадному дворцу, встречаясь на парадной лестнице с пятью павлинами, тремя цесарками и египетской цаплей, свидетелями никогда не разнимаемых ссор между обезьянами, кошками, вороном и соколом. Во время бесед с Байроном Шелли рассказал ему об их общем друге Ли Хенте, которому очень трудно жилось в Англии и которого Шелли хотел переправить в Италию. Чем бы его занять тут? У Байрона явилась мысль. С некоторых пор его отношения с Мерреем ухудшились. Он думал организовать вместе с Муром журнал, чтобы печатать свои произведения. Мур отказался. Почему бы не предложить Хенту основать вместе с Шелли и им либеральный журнал? Сотрудничество с Байроном было бы кладом для Хента. Шелли, не давая времени своему хозяину передумать, поспешил написать Хенту, чтобы тот поскорее приехал.

Байрон уполномочил его также написать госпоже Гвиччиоли (которую Шелли не знал) и попросить ее отказаться от Швейцарии и выбрать в качестве резиденции Пизу. Графиня Гвиччиоли согласилась и закончила свое письмо трогательной и изобличающей его тревогу фразой: «Сеньор, ваша доброта внушает мне неудержимое желание попросить вас об одной милости. Сделаете ли вы это для меня? «Non partite da Ravenna senza Mylord». Не уезжайте из Равенны без милорда...» Она знала, как опасно оставлять Байрона одного. Но существо, питавшее к Байрону еще меньше доверия, был сам Байрон. Он знал себя, боялся своих слабостей и предвидел, что, если останется в Равенне без Шелли и Гвиччиоли, снова впадет в какие-нибудь излишества. Он долго на-

стаивал, чтобы друг не уезжал от него. Но Шелли приехал, чтобы повидать Аллегру. Он навестил ее в монастыре, а затем вернулся в Пизу.

Графиня Гвиччиоли и Гамба вскоре последовали за ним; они одобрили выбор Мэри, которая сняла для Байрона дворец Ланфранки. Байрон заставил ждать себя около трех месяцев. Снова, как во время своей помолвки, проявлял «все меньшую и меньшую поспешность». Ему не везло: каждый раз, как он привязывался к стране, городу, дому, какая-нибудь женщина отрывала от них. Он полюбил Равенну, народ уважал его, духовенство покровительствовало, потому что он расстилал свои ковры и ткани в дни процессий; работал с удовольствием, хорошо себя чувствовал. С недели на неделю он откладывал свой отъезд. Графиня Гвиччиоли обворожила Мэри Шелли, которая ее жалела. «Графиня Гвиччиоли, — писал Шелли, — очень красивая, сентиментальная и невинная итальянка, которая пожертвовала громадным состоянием ради любви к Байрону и которой, если только знаю моего друга, и ее, и человеческую природу, не раз в будущем придется пожалеть о своей неосторожности»

А в это время Байрон во дворце Гвиччиоли работал над мистерией «Небо и земля». Сюжетом для нее послужила библейская легенда о падших ангелах, которые любили дочерей человеческих. Падшие ангелы, подобно Каину, были одной из самых давнишних тем его размышлений. Уже и мебель была отправлена в Пизу, оставались только стол и матрац. Посреди пыли и шума укладки он сочинял хоры Духов и песню архангела. Наконец 29 октября ему пришлось уступить, покинуть дворец Гвиччиоли и ехать к той, которая когда-то была хозяйкой этого дворца.

По дороге из Равенны в Пизу он был потрясен и взволнован, встретившись в Болонье с другом своего детства, лордом Клэром. «Эта встреча уничтожила на мгновение все года, протекшие между сегодняшним днем и Харроу. Это было новое чувство для меня, необъяснимое, вроде как выход из

гроба... Клэр был тоже очень взволнован — даже больше, чем я, потому что чувствовал, даже в кончиках пальцев, биение его сердца, тогда как мой собственный пульс не давал подобных ощущений. Мы провели не более пяти минут вместе на большой дороге, но трудно вспомнить час из моей жизни, который мог бы перевесить эти пять минут».

Поистине, жизнь соткана из материи снов. Проплывают лица, которые наполняют дни, они внушают ревность, любовь, ярость. Они бледнеют. Кажется, что уже стерлись. Но возникают снова, внезапно живые, между двумя почтовыми каретами, на незнакомой дороге, пыльной и знойной.

По дороге он встретил и трупоподобного Роджерса. Они вместе бродили по флорентийским музеям, но Байрон не любил музеев и его раздражало любопытство посетителей-англичан. Проезжая через Болонью, он повез Роджерса на кладбище Чертоза, где жил могильщик с красивой дочкой. «Этому человеку, — писал Байрон Хобхаузу, — очень хотелось оставить Роджерса в своей коллекции скелетов».

Шелли еще раз написал Байрону перед самым отъездом, прося привезти с собой Аллегру, которая теперь, оставаясь одна в Баньякавалло, чувствовала себя так далеко от всех, кто ее любил. Но Байрон приехал один. Впрочем, не совсем один. Потому что в клетке, подвешенной под экипажем, с ним ехало еще целое стадо гусей. При всех насмешках над Англией он все-таки был привержен в мелочах к старинным обычаям своей родины. Он любил, чтобы у него были маленькие хлебцы с крестом на Святую пятницу и жареный гусь в день св. Михаила. Купил для этой цели гусыню и, боясь, чтобы она не оказалась слишком тощей, кормил сам целый месяц до праздника, но так привязался к ней, что когда пришел праздник, отказался от мысли ее зажарить. Затем он не захотел ее лишить семейных радостей и с тех пор путешествовал в обществе четырех гусей. Так Шопенгауэр, ненавидевший людей, растрогался на ярмарке во Франкфурте, глядя на грустного орангутана.

XXXII
КРУШЕНИЕ

Вы все грубо заблуждались относительно Шелли, который был вне всяких сравнений самым лучшим и самым неэгоистичным из людей. Я не знал никого, кто не был бы животным по сравнению с ним.

Байрон

Для существ, отмеченных печатью Каина, одиночество — одно из самых легких несчастий. В Пизе Байрон никогда не чувствовал себя таким счастливым, как это бывало с ним в Равенне. В Романье почтенные дамы Пинеты, americani, Гамба занимали его и при этом не беспокоили. В Пизе он снова очутился в маленьком английском обществе, которое немедленно стало его осуждать. Присутствие Шелли не стесняло. Даже наоборот. Чем больше он видел его, тем больше проникался к нему уважением. Он ценил его храбрость, ему нравилось смотреть, как Шелли направляет свою лодку против сильного течения Арно и свое упорство против человеческого общества. Он нуждался в Шелли, который умел желать за нерешительных. Но самое главное было то, что Шелли восхищался им: «Вселенная не так удивлялась чудным и стремительным творениям Создателя, как я последнему труду этого ангельского духа, заключенного в смертный дворец стареющего тела». Но вокруг Шелли был целый мир Авелей, суровых и бездарных. Они признавали Байрона-поэта, но человек их удивлял и разочаровывал. Он был слишком человечен; внешние подробности его жизни раздражали их. Они презирали его образ жизни, его дворец, его ливрейных слуг, зверинец и обеды. Его цинизм всегда шокировал Мэри Шелли. Клер нарисовала пизанскому обществу его портрет без всякого снисхождения. Он чувствовал все это и знал, что бессилен познакомить их с настоящим, затаенным Байроном, кото-

рого, быть может, полюбили бы. Его разговор, такой простой, когда он говорил с Шелли, с ними становился язвительным и напыщенным. И будучи не в силах уничтожить эту легенду о самом себе, он был вынужден осуществлять ее.

Дворец Ланфранки на берегу Арно был так велик, что в нем мог бы поместиться целый гарнизон, и «до того набит привидениями», что Флетчер не раз просил переменить ему комнату. По утрам Байрон с госпожой Гвиччиоли прогуливался по двору среди апельсиновых деревьев. После полудня госпожа Гвиччиоли выезжала в коляске вместе с Мэри, а Байрон в это время отправлялся кататься верхом в компании Шелли, капитана Вильямса, ирландца Таафи — переводчика Данте (который был столь же плохим наездником, как и поэтом), принца Маврокордатоса, учившего греческому Мэри, и драгунского лейтенанта Медуина, двоюродного брата Шелли. Кавалькада отправлялась на ферму, владелец которой разрешил Байрону заниматься у него стрельбой. Мишенью ставили экю, которое затем доставалось фермеру. Возвратившись домой, Байрон играл на бильярде или работал. После обеда — как и в Равенне — визит к Гамба, а затем работа до трех часов утра. Иногда вечером Тереза Гвиччиоли с братом поднимались на верхний этаж Тре-палаццо, где Шелли занимал маленькое помещение, и он читал им свои стихи. В такие вечера Медуин приходил один к Байрону и после каждой беседы с ним записывал все, что тот говорил. Байрон это знал; он любил этого наивного слушателя и мог без конца рассказывать ему о своей юности.

Все повязки мумии, испещренные знаками, развертывались для Медуина... Мэри Чаворт... Субъективизм в любви... «Это была романтическая любовь. Мэри Чаворт была прекрасным идеалом всего, что моя юная фантазия могла придумать несравненного, все мои сказки о небесной природе женщин я черпал из этого совершенства, в которое превращало ее мое воображение. Я говорю превращало, ибо потом я видел в ней, как и во всей их породе, все, что угодно, но только не ангельские черты». Каролина Лэм... «В ней было

мало привлекательного. Породистое тело было слишком худым для того, чтобы быть красивым. Ей не хватало той округлости, которую не заменяет ни изящество, ни грация». Леди Оксфорд... «Более сильной страсти я никогда не испытывал. Она приобрела надо мной, как все женщины, такую власть, что стоило большого труда порвать с ней, даже когда я узнал, что она неверна мне». Аннабелла... Тема предзнаменований. «Я припоминаю, что когда в первый раз встретил мисс Милбенк, я оступился на лестнице и сказал Муру, который был со мной, что это плохое предзнаменование. И мне нужно было послушаться этого предупреждения... Миссис Вильямс предсказала, что для меня будет несчастным двадцать седьмой год моей жизни. Эта ворожея была права. Никогда не забуду это 2 января. Только одна леди Байрон (он произносил Байрн) и была спокойна, мать ее плакала, а я дрожал, как лист».

На прогулке Медуин всегда держался рядом с Байроном, который говорил без умолку, время от времени бросая на своего Босуэлла взгляд, словно испытывающий его доверчивость. 10 декабря Байрон не захотел упражняться в стрельбе и казался грустным. «Сегодня день рождения Ады, — сказал он Медуину, который спросил, чем он огорчен, — этот день должен бы быть самым счастливым в моей жизни... Я боюсь годовщин. Всякие необыкновенные вещи случались со мной в день моего рождения, и вот с Наполеоном — тоже». На следующий день он показал Медуину письмо из Англии: «Я прекрасно знал, что вчера еще надо мной носилось несчастье. Бедняга Полидори умер. Когда он был моим лекарем, он вечно рассказывал о синильной кислоте и возился со всякими ядами. И вот — он и отравился. Меррей пишет, что действие было мгновенно, он умер без единой судороги. По-видимому, причиной самоубийства были разочарование и обманутое честолюбие».

28 января он узнал о кончине леди Ноэл. «Я очень огорчен за бедную леди Байрон. Все будут думать, что я обрадуюсь этому случаю, но это неверно. Мне не нужно больше бо-

гатства. Я написал леди Байрон письмо в самых благожелательных выражениях, как вы можете себе представить». Доходы уэнтвортского наследства были поделены между Байроном и его женой; его доход превышал теперь семь тысяч фунтов в год. Первое, что сделала Аннабелла, ставши хозяйкой Киркби, — послала Августе дичи.

Медуин был не единственным, кто вел записи о Байроне. В середине января к английской компании в Пизе присоединился еще один странный человек. Его звали Трилони. Он прожил весьма удивительную жизнь, был моряком, дезертиром, пиратом. Он понравился супругам Шелли. «Шести футов роста, — писала Мэри, — черные, как вороново крыло, волосы, густые и вьющиеся, как у мавра, глаза серые, очень выразительные». Трилони со своей стороны полюбил Шелли, но с Байроном у него сложились тяжелые отношения. Байрон, встретив настоящего корсара, начал с того, что захотел ему понравиться. Он обращался с этим специалистом по морским приключениям так же, как некогда обращался с боксером Джэксоном, — с тем почтительным смирением, которое любитель испытывает по отношению к профессионалу. Он заказал ему постройку яхты для себя и Шелли. Но Байрон терпеть не мог людей, чем-либо примитивно похожих на байронических героев. «Конрадовские черты» в Трилони раздражали его. Трилони со своей стороны был также глубоко разочарован. Этот маленький, хромой, меланхоличный человечек, рассказывавший разные истории про актеров и боксеров и про то, как он переплыл Геллеспонт, казался ему недостойным Чайльд Гарольда. Потом Байрон заметил, что Трилони иной раз привирает, и как-то однажды сказал о нем: «Если бы мы могли приучить его мыть руки и не врать, из него можно было бы сделать джентльмена». Эту фразу передали Трилони, и с тех пор он возненавидел Байрона.

В маленьком обществе полуписателей, где люди тщательно разбирают и себя самих и друг друга и где суждения быстро обходят весь кружок, Байрон чувствовал свою слабость.

Он знал, что жизнь, которую ведет, совсем не то, что от него ждут. Хотя он не чувствовал себя несчастным с госпожой Гвиччиоли, но все же подумывал иногда, не становится ли эта связь немножко смешной. Говоря о ней, он несколько иронично называл ее «mon amica» и произносил это тем же тоном, каким когда-то говорил о своей «маленькой ножке». То же увечье — это слишком верная любовница, с которой он по-супружески посиживал под сенью тощих апельсинов дворца Ланфранки.

Действия... действия... действия... Когда в марте 1822 года принц Маврокордатос, узнав, что греческое движение начинает всерьез развертываться, уехал, чтобы стать во главе повстанцев, Байрон ему позавидовал. Он был из тех людей, для которых гораздо легче перевернуть всю свою жизнь, нежели поступиться одной привычкой, и которые скорей умрут, нежели признаются в какой-нибудь ошибке.

Одно из последствий скрытого дурного настроения, постоянно поддерживаемого у Байрона пизанским обществом, завершилось трагедией. Он не взял с собой в Пизу свою дочку Аллегру. «Caro il mio pappa, — писала Аллегра, — essendo tempo di fiera desiderai tanto una visita del mio Pappa?» «Она хочет повидаться со мной, — комментировал Байрон, — потому что сейчас ярмарка, и ей хочется получить пряник от отца, как я полагаю». Он применял изречения своего любимого Ларошфуко даже к пятилетнему ребенку.

Клер, которой осведомленные друзья сообщили, что в Баньякавалло вредный климат и в монастыре даже не топят, глядела на зимнее пламя своего камина во Флоренции и думала, что ее дочке холодно. Она еще раз написала Байрону, умоляя поместить Аллегру в какую-нибудь приличную семью, — все равно куда, лишь бы это было в здоровом климате. Но Клер была груба и бестактна. Несмотря на свой атеизм, она была англичанкой-протестанткой; прибегала к аргументам, которые задевали Байрона и только ожесточали его.

«Я осведомлялась, — писала она ему еще раз, — о порядках в монастыре и узнала, что дети находятся там в самом не-

счастном положении... Все путешественники, писавшие об Италии, осуждают монастыри, — это может служить достаточным доказательством, не говоря уже о невежестве и легкомыслии итальянок, которые все воспитаны в монастырях. Они плохие жены, бесчеловечные матери, беспутные и неграмотные, они являются позором и несчастьем общества. И это воспитание, которое вы выбрали для вашей дочери! Бедняжка Аллегра, обреченная отцом вырасти невеждой и распутницей, лишенная поддержки и привязанности друзей своих родителей, приговоренная к чужой религии и позорному воспитанию, подтвердит в глазах общества все возводимые на вас обвинения. Можно представить, как будет радоваться леди Байрон (пока еще не оправдавшаяся в своем поведении по отношению к вам) похвальной безопасности своего ребенка и себя самой. Весь свет будет превозносить ее предусмотрительность, а моя несчастная Аллегра явится живой уликой в осуждение вам!»

Вопрос о монастыре стал для Байрона, таким образом, вопросом личного характера и принципа. Нападки на женщин, воспитанных монахинями, казались ему направленными против госпожи Гвиччиоли, а нападки на религиозное воспитание вообще всегда страшно раздражали его. Он не ответил на письмо. На этот раз Шелли энергично стал на сторону Клер, возмущался поведением Байрона и заявил, что у него теперь только одно желание — как можно скорей уехать из города, где живет лорд Байрон. Вильямсы и Клер получили поручение поискать на лето дом на берегу моря. Едва те уехали из Пизы, как Шелли узнали от Байрона, что Аллегра умерла.

Байрон не хотел уступать дерзкой женщине, ему хотелось показать свой авторитет, потому что знал: за ним наблюдают, но, разумеется, он не верил, что приговаривает свою дочь к такому концу. Он по-своему любил Аллегру, он пытался дать ей воспитание, приятно было обнаруживать в ней красоту и недостатки Байронов — он мечтал увезти ее с собой за границу и сделать из нее единственного друга своей старости. Те-

перь он переживал это по-своему, с тем же яростным эгоизмом. Графиня Гвиччиоли наивно рассказывала, что, когда он узнал от нее о смерти Аллегры, «смертельная бледность покрыла его лицо, и он упал на стул... Он не уронил ни одной слезы, но на лице было такое отчаяние, скорбь была так глубока, так возвышенна, что в этот миг он мне показался существом не человеческой, а какой-то высшей природы. На другое утро он показался мне спокойнее, у него было выражение религиозного смирения. «Она счастливее нас, — сказал он, — к тому же ее положение в обществе не позволило бы быть счастливой. Это Божья воля — не будем больше говорить об этом».

Нельзя было требовать от Клер, чтобы она умилялась чувствами Байрона с невинностью госпожи Гвиччиоли.

Шелли — Байрону: «Я должен был сказать Клер о том, что случилось. Мне не хочется описывать вам ее горе, вы уже довольно страдали... Она хочет увидеть ее в гробу перед тем, как гроб отправят в Англию. Ей хочется также, чтобы вы подарили ей портрет Аллегры и ее локон, хотя бы самый маленький... Боюсь, что это письмо навеет на вас ту печаль, которая царит здесь. Но природа по-прежнему столь же жива и прекрасна, сколь мы несчастны, ведь мы, как говорит Фауст, построили наш маленький мирок в этом великом мире всеобщего скорее как контраст, чем как копию этого божественного примера».

Горе Байрона приняло неизбежную форму воспоминаний о пережитом.

«Я хочу, чтобы она была погребена в церкви Харроу: на кладбище есть одно место около тропинки, на вершине холма, откуда виден Виндзор, там есть могила под большим деревом (с именем Пичи, или Пичей), где я просиживал целые часы, когда был ребенком... Это было мое любимое место... Но мне хочется поместить над гробом памятную доску, и поэтому лучше положить тело в церкви. Около двери, налево от входа, есть памятник с доской, на которой написано:

Скорбь справедлива, и слезы пристали
Тем, кто над доблестным прахом рыдали, —
Здесь благодарность душой излита,
Последние слезы, любовь и хвала.

Я еще помню эти слова (спустя семнадцать лет) не потому, что в них есть что-нибудь замечательное, но потому, что с моей скамьи на галерее взгляд мой обычно обращался к этому памятнику; я хочу, чтобы Аллегра была погребена как можно ближе к нему, а в стену вделали мраморную доску со словами:

Памяти
АЛЛЕГРЫ
дочери Д. Г. лорда Байрона, скончавшейся в Баньякавалло
в Италии апреля 20, 1822 в возрасте 5 лет и 3 месяцев.
«Я приду к ней, но она не вернется ко мне».

Самуил, XII, 23

Однако викарий Харроу счел недопустимым погребать в церкви тело незаконнорожденного ребенка — и только розовый куст на маленьком кладбище на вершине холма отметил (и отмечает по сей день) место, где покоится дочь Байрона.

За недостатком действия единственным лекарством от тоски и скуки была работа. Байрон много работал в Пизе. Он написал фаустовскую драму «Преображенный урод», которую Шелли нашел отвратительной, но представляющую собой интересный документ. Она интересна прежде всего своим сюжетом, непосредственно связанным с жизнью Байрона: Арнольд, горбун от рождения, продает душу черту, чтобы излечиться от своего увечья, стать похожим на других и быть любимым; затем — знаменитой репликой, которой начинается драма:

Мать Арнольда: Вон отсюда, горбатый!

Арнольд: Таким я рожден, мать.

Говорят, что это подлинная реплика Байрона матери; наконец, весьма любопытной заметкой Байрона к третьему, незаконченному акту: «Арнольд ревнует к самому себе в сво-

ем прежнем виде, к силе своего ума, которым он тогда владел». Заметка, которая, может быть, говорит о том, что Байрон думал над проблемой личности и ясно отдавал себе отчет в последовательном существовании нескольких Байронов.

Он опять взялся за «Дон Жуана»: «Очень возможно, что у меня будут готовы три или четыре песни «Дон Жуана» к этой осени или немного позже; ибо я получил от моей Диктаторши позволение продолжать его — но при условии, что он обязательно будет более скромным и более чувствительным, чем вначале. В какой мере эти условия будут выполнены, покажет дальнейшее, но эмбарго снято было только после того, как я на них согласился».

Он работал хорошо еще потому, что теперь зачастую оставался на вилле Ланфранки один. Несчастные Гамба были изгнаны еще раз. Во время драки с каким-то заносчивым сержантом привратник Байрона, юный балбес в ливрее, имел несчастье ударить этого унтер-офицера рогатиной и сломать ему ребро. История наделала шуму. Тита и еще один человек, не причастный к делу, были арестованы. Наконец тосканское правосудие, не осмелившись задеть Байрона, постановило изгнать семью Гамба. Байрону пришлось снять для них виллу в Монтенеро близ Ливорно. Почти каждую неделю он отправлялся туда на свидание с Терезой, которая, благодаря этому гонению, снова приобрела некоторый престиж в его глазах. Он меньше видел в ней супругу с тех пор, как их разлучили.

1 июля он был у Гамба в Монтенеро, когда ему доложили о приезде Ли Хента. Год назад Ли Хент с энтузиазмом принял его предложение, переданное через Шелли. Не то чтобы он очень любил Байрона; Хент был незлобивым поэтом, но находился в великом подчинении у своей жены Марианны, а та с 1815 года, когда Байрон часто навещал ее мужа, невзлюбила его. Она была крайне задета тем, что леди Байрон ожидала мужа в коляске у ворот и не изъявляла желания познакомиться с ней. «Байрон со своими книгами под мышкой, — говорила она, — всего-навсего только лорд и любитель, изображающий из себя литератора». Но предложение Шелли при-

шло как раз в то время, когда Хенты находились в отчаянном положении, и это явилось для них единственно возможным выходом.

Путешествие этой четы с шестерыми ребятами было очень затруднительно. Марианна приехала больная. В Ливорно их встретил Трилони — мрачный, усатый, истинный «странствующий рыцарь» — и отвез их в Монтенеро. Они приехали как раз в тот момент, когда между слугами Гамба и Байрона разыгралась кровавая драка. Бедному Хенту показалось, что он попал в самую настоящую мелодраму. Он не узнал Байрона в этом толстом человеке с длинными вьющимися волосами и открытой шеей. Все казалось ново, дико, необычайно. Граф Пьетро Гамба вздумал было вмешаться в драку и тотчас получил удар кинжалом. Госпожа Гвиччиоли, красная, с растрепанными волосами, испускала пронзительные крики. Окровавленный Гамба изрыгал угрозы убийце. Байрон наблюдал эту сцену со сладострастной невозмутимостью. Полиция, потеряв терпение с этой неугомонной публикой, угрожала Гамба изгнать их на этот раз вовсе из Тосканы. При появлении Трилони все актеры, занятые в этом представлении, бросились к нему, не замечая Хента, с самыми противоречивыми требованиями. Он должен тотчас же отвести яхту Байрона «Боливар» на Женевское озеро, во Францию, в Америку! Совершенно отчаявшийся Хент решил, что Байрон сейчас бросит его одного в Италии в самый день приезда.

Вечером из Каза-Магни на своем «Ариэле» приехал Шелли. В действии он был великолепен — преодолевал смятение человеческих прихотей не хуже, чем течение Арно в своей ореховой скорлупе. Байрон должен оставаться в Италии, он должен быть верным журналу, дать поэму для первого выпуска. Шелли бросился в атаку. Байрон не выдержал штурма и сдался по всем линиям. Не давая ему опомниться, Шелли увез Хентов во дворец Ланфранки. На этот раз ему пришлось воевать с ними. Они жаловались буквально на все: лорд Байрон поместил их в первом этаже в сырости, а все остальные этажи дворца занимал сам; мебель, которую Шелли купил для

них на деньги Байрона, оказалась скверной. Шелли водворил их, успокоил, устроил. Хент, думая о нем в этот вечер, записал в своем дневнике: «Можно было бы представить себе поистине божественную религию, если бы основой ее было милосердие, а не вера».

Шелли нужно было задержаться в Ливорно, так как он хотел составить у нотариуса завещание, затем собирался вернуться в Каза-Магни на «Ариэле» со своим другом капитаном Вильямсом.

Спустя три дня около двух часов ночи у дверей дворца Ланфранки раздался стук. Горничная госпожи Гвиччиоли крикнула: «Chi e!» Это были Мэри Шелли и Джэн Вильямс. Хент уже был в постели, и обеих женщин провели к Байрону. Они с трудом поднялись по лестнице. Их встретила улыбающаяся Гвиччиоли. Мэри Шелли, задыхаясь, пробормотала: «Где он?»

Ни Тереза, ни Байрон ничего не знали. Шелли уехал из Пизы в воскресенье, в понедельник сел на судно. Вечером в понедельник была гроза.

После смерти Шелли маленькое пизанское общество распалось. Трилони и Медуин уехали. С Байроном остались только Мэри Шелли, у которой не хватало духа покинуть Италию, да в нижнем этаже дворца Ланфранки — своеобразное наследство Шелли, семья Хентов.

Для несчастного Ли Хента смерть Шелли превратила изгнание в кошмар. Уже один переход от дымного Лондона к сверкающей яркости Ливорно ослепил и встревожил его. Едва он успел приехать, его сверхчеловеческий друг, к которому он стремился, исчез. Хент видел это тело — такое живое — наполовину съеденное рыбами. Он видел, как высокое пламя погребального костра взвилось на песке итальянского пляжа, и Байрон, голый, «пресыщенный ужасами», бросился в море и поплыл — так же когда-то он боксировал во время похорон вдовы-регентши. Хент и Байрон в этот раз ехали вместе в карете и, проезжая через лес, пели, как полоумные...

Да, это был кошмар, освещенный неумолимой белизной песков на солнце, но кошмар непробудный.

Хент скоро понял, кого он потерял в Шелли. Отныне, когда орел поссорится с воробьем, их уж не помирит этот сильный резкий голос. Один в чужом краю, с человеком, которого он почти не знал и с которым у него не было никаких общих вкусов, обремененный больной женой и шестерыми детьми. Хент иногда испытывал головокружение, глядя на пропасть, на краю которой он пристроился.

В продолжение нескольких недель положение еще было терпимо. Байрон был верен памяти Шелли. Нельзя сказать, чтобы он оплакивал его, но насильственная смерть людей, которых он любил, являлась всякий раз новым эпизодом непрекращающейся борьбы между ним, Байроном, и Судьбой. Все те, к кому он привязывался, должны исчезнуть. Шелли, утонувший вслед за Мэтьюсом, вслед за Лонгом,— так оно и должно было быть. Еще раз снова надо вернуться к унылой рутине существования и подумать не без отрады, что когда-нибудь невидимая рука настигнет и его. Это был скорее вызов, а не скорбь. Но он защищал память Шелли, «лучшего и самого неэгоистичного из людей». Хенты в палаццо Ланфранки существовали под охраной великой тени.

Впрочем, Байрон верил в успех «Либерала». Хобхауз и Мур подтрунивали над его содружеством с Хентом, но он надеялся доказать им, что его имени достаточно, чтобы обеспечить успех любого журнала. Теперь, после утраты Шелли, он даже был доволен тем, что во дворце живет писатель, критик, которому каждое утро можно показывать строфы, сочиненные ночью. Но Хенту уже надоел этот слишком требовательный патрон. Их взгляды на «Либерала» были совершенно различны. Хент был полемист, Байрон — гений. Хент хотел этим журналом «задать встряску миссис Грэнди и Джону Булю»; Байрон просто хотел печатать в нем все, что напишет. Прихоти Байрона, которые в его собственных глазах были законами вселенной, раздражали Хента. Во дворце Ланфранки он работал в маленькой комнатке, которая выходила

во двор с апельсиновыми деревьями. Каждое утро он слышал, как Байрон встает, принимает ванну, одевается и поет очень громко, фальшивя, какую-нибудь арию, чаще всего из Россини. Спустя некоторое время Байрон под окнами Хента кричал: «Леонтиус!» — латинская интерпретация имени Ли Хента, придуманная Шелли. Хент поднимался, вздыхая, здоровался и выходил во двор. Если госпожа Гвиччиоли бывала в это время в Пизе, она выходила к ним в косичках, по-утреннему, и Хент должен был выслушивать попеременно жалобы Байрона на ревнивый нрав госпожи Гвиччиоли и госпожи Гвиччиоли на грубость Байрона.

Любовники теперь уже слишком хорошо знали друг друга, чтобы Тереза, как прежде, могла воображать «своего поэта» чуть ли не бесплотным героем романа, достойного Петрарки. Для Байрона факт был фактом, и когда женщина становилась его любовницей, он говорил о ней со всеми в резких и откровенных выражениях, не оставлявших никакого сомнения о характере их отношений. Этот реализм задевал Терезу. Байрон со своей стороны считал ее верной, бескорыстной, любящей, но подверженной порокам, неизбежным у «бессмысленной породы женщин»,— ревности и сантиментам.

Хент для этой беспокойной четы был весьма суровым наперсником. Его настраивала против них жена. Так же, как и леди Байрон, госпожа Гвиччиоли не нашла нужным знакомиться с миссис Хент. Женщины не разговаривали друг с другом. Марианна Хент вела себя по отношению к Байрону вызывающе. Она прогоняла детей, когда он появлялся, находя, что его речи слишком опасны для юных ушей. Байрон знал это, и суровое суждение женщины, которая жила под его крышей и его благодеяниями, задевало. Удивительная наивность для ученика «Рошфуко», которому следовало бы предвидеть естественные последствия благодеяний. Но ему опротивели все Хенты: и родители, и дети. Он писал Мэри Шелли: «Мне противно видеть в этих стенах, где обретаются дети Хентов, какую-нибудь вещь, принадлежавшую Шелли. Все, что не изгажено их грязью, изломано их руками. У входа

наверх в свои апартаменты Байрон поместил бульдога, коему было поручено держать гостей на приличном расстоянии.

— Не пускай сюда этих кокни! — говорил Байрон собаке, поглаживая ее.

Бельэтаж и нижняя половина дворца Ланфранки жили почти что в состоянии войны. Хент с презрением отзывался об этом «столь мало поэтичном поэте и столь мало величественном лорде». Спустя несколько недель Байрону пришлось в третий раз провожать Гамба. Изгнанные на сей раз из всей Тосканы, они вынуждены были спасаться в Геную. Он был в отчаянии, что ему придется тащить с собой Хента и «весь его готтентотский крааль». У него не хватало жестокости бросить их в Пизе, но, царапая наспех строфы «Дон Жуана» на краешке последнего стола, оставленного рабочими при перевозке, он проклинал их от всей души.

XXXIII
ДЖЕНТЛЬМЕН ТОСКУЕТ ПО РОДИНЕ

Мартин решил, что человек создан для того, чтобы жить в конвульсиях тревоги или в летаргии скуки.

Вольтер

Я снова на волнах! Еще раз...

Но до чего странным казалось ему это третье путешествие Чайльд Гарольда. Еще раз позволил Отшельник кучке людей, чужеродной и нежеланной, привязаться к нему, еще раз не хватило у него мужества стряхнуть эту человеческую гроздь. Ему нужна была теперь целая флотилия, чтобы перевезти из Леричи в Геную свою незаконную семью, своих клиентов и своих слуг. На «Боливаре» ехали лорд Байрон, Тереза и семья Гамба, на другом судне — Ли Хент, Марианна Хент и орда

маленьких Хентов, на третьем — Трилони, важный, взволнованный адмирал этой эскадры, с шумной начальственной спесивостью надзирающий за бумагами и инструментами; на фелуке разместились кое-как слуги и звери. «Трудно было представить себе что-нибудь более красивое, чем эти корабли, скользящие под белыми парусами около утесов по голубому морю», — говорил Хент. Может быть, это и было восхитительной картиной для Хента, который не был ответственен за это племя, но для Байрона, которому надо было в дальнейшем поддерживать всю ораву и выслушивать ее жалобы, это было несколько менее приятное зрелище.

Мэри Шелли было поручено найти помещение — традиционная роль Шелли. Она наняла два дома в предместье Альбаро, на холме, возвышавшемся над заливом; громадную казарму в сорок комнат для себя и Хентов, для Байрона — розовую вельможную виллу Каза-Салюццо. В довольно обширном саду были павильон и кипарисовая аллея, в тени которой Байрон полюбил заниматься чтением; восхитительный вид на море. В спальне Флетчеру велено было повесить маленький портрет Ады и гравированный портрет самого Байрона. В верхнем этаже была помещена графиня Гвиччиоли и вся ее семья.

Каза-Салюццо оказалась для Байрона, подобно дворцу Ланфранки, домом несчастий. Ему захотелось в первые же дни переплыть Генуэзский залив под палящим солнцем. Эта экспедиция уложила его в постель, у него слезла кожа, и он никак не мог поправиться. В Англии первый номер «Либерала» произвел скандал. Хобхауз и Киннер писали предостерегающие письма. Бывают скандалы, внушающие уважение своими грандиозными размерами, но этот был всего лишь смешон. Мур, Киннер, Хобхауз — либералы, но светские люди пожимали плечами. Байрон, задетый, объяснял, что ему приходится действовать так из сострадания, что Хент после смерти Шелли остался целиком на его содержании — у бедного малого жена и шестеро ребят. Меррей, чтобы защитить своего автора, показал кое-кому это письмо. И оно дошло до

самого Хента. Тогда весь дом о сорока комнатах набросился на несчастного Байрона.

Мэри Шелли написала ему с раздражающей смесью почтительной любезности и туманных моральных упреков: «Как может преуспевать журнал, когда один из основателей умаляет его значение в Лондоне, представляя делом благотворительности?»

Разумеется, в глазах Байрона все эти «причитания» были невыносимы. Он, конечно, вовсе не собирался оскорблять Хента, он сам испытал бедность и уважал ее. Но надо сказать правду — разве стал бы он основывать с Хентом журнал, если бы тот был богат? Конечно, нет!.. «Я всегда обращался с ним с деликатностью столь щепетильной, что запретил себе давать ему советы из боязни, так как он истолкует их, что называется, желанием воспользоваться положением человека».

Он был прав, но Хент не простил ему. Если и не произошло окончательного разрыва (потому что Хент нуждался в Байроне), встречи их стали редкими и мучительными.

Хент меланхолически прогуливался по гравию аллеи, думая о Шелли. Он ни о чем больше не говорил теперь с Байроном, кроме как о докторе Джонсоне. Байрон любил имитировать Джонсона и напыщенно произносил: «Why, sir»*, оглядываясь кругом, — устаревшая шутка, которая раздражала Хента почти так же, как арии Россини, которые Байрон распевал в ванне. Визиты на Каза-Салюццо стали очень редкими. Хент предпочитал обращаться к Байрону с просьбами о деньгах письменно и почти всегда в язвительном и ироническом тоне:

«Я вынужден обеспокоить вас, чтобы попросить еще сто крон, и скоро буду вынужден, опасаюсь, просить... еще».

Обращение «мой дорогой Байрон» он заменил «дорогим лордом Байроном». Байрон отвечал «дорогому лорду Хенту». Затем непосредственные сношения прекратились, и кроны вручались племени Хентов каждую неделю через управляющего Байрона, Лега Замбелли. Новая обида.

---

* Как, сэр? *(англ.)*

В жизни на Каза-Салюццо слишком недоставало волнения и величия. Байрон любил Терезу Гвиччиоли и особенно в тот период в Равенне, когда он, подвергаясь опасности, отправлялся верхом к ней на свидание между визитом заговорщика и стычкой с полицией. Несколько позже, в изгнании в Монтенеро, она превратилась в его глазах в символ мученицы за свободу. Когда Ли Хент увидал ее в первый раз, «убежденную, что она для всего мира героиня, идущая рядом с поэтом, она была в состоянии экзальтации, которая давала ей маску для этой роли». В продолжение нескольких месяцев в Пизе и Генуе Тереза внезапно состарилась, ее лицо потеряло оттенок страстной наивности, казалось, что ее мучила тайная печаль.

Любовник был еще «искусно управляем, и его крепко держали в руках», но ему это уже наскучило. Казалось, что существование стало еще более мрачным, чем в те времена, когда он, безвестный юноша, запирался в Ньюстеде, чтобы зевать в одиночку. Тогда он никого не знал, кроме Хэнсона и Далласа, родственника и поверенного, — последние связи всякого человека с человечеством. Затем он стал лондонским «львом», знаменитейшим писателем мира, когда можно было говорить не шутя: «Наполеон и Байрон». Мало-помалу заколдованный круг стирался, оставляя его в одиночестве посреди этого жестокого света. От одиночества к одиночеству — кривая его жизни замыкалась.

Если бы он поставил точку сейчас, со своей ясной манерой, без всякой снисходительности, что мог бы он отметить?.. Март 1823 года. На башенных часах десять минут двенадцатого, розовый дворец в незнакомом городе, любовница и любовь, которая тянется уже четыре года, старик, отец этой женщины, несколько собак, Флетчер. И больше ничего на свете... Да, поистине, жизнь теперь была еще более пуста, чем в самые тяжелые минуты юношества. Для этого ли он страдал?.. И ведь в то же время «в нем была внутренняя сила». Мысль обращалась к Англии. Почему он не живет, как пэр королев-

ства? Почему политика не могла бы быть объектом его деятельности?

Как когда-то он тосковал о восточных пейзажах, так теперь тосковал о северных. Он мечтал о сером небе и о больших тучах, гонимых ветром, таких, какие бывают в Шотландии. Он отсылал своего «Дон Жуана» в Англию и почти с любовью описывал, как его герой бросает первый взгляд на утесы Дувра:

И скалы встали перед ним стеною.
Он их увидел за крутой волной.
И сердце гордым чувством беспокоит
Гор Альбиона пояс меловой,
Как будто он роднит его с чужою,
Надменною торгашеской страной,
Что всюду шлет свои товары и законы,
Кому и волны дань несут безмолвно.

Через луга, похожие на сады, Жуан двигался к этой могущественной массе кирпича, дымов и кораблей:

Лондон, —
Туманный, грязный, но идущий вдаль.
Как только видят очи...

Ах, как он завидовал Жуану в его путешествии!

Сможет ли он когда-нибудь его совершить? Это зависело только от Аннабеллы, которая стала предлогом для неписаного указа, отправившего Байрона в изгнание. Если бы она позволила ему снова жить в глазах света мужем и отцом, все было бы забыто. Образ жены менялся. Он знал, что Аннабелла — человек искренний, что у нее большие достоинства, что ее благочестие непритворно, добродетель — подлинна. Почему бы ей не простить? В своем одиночестве он с нежностью вспоминал о ней. Байрон обратился к проезжавшему через Геную большому другу леди Байрон, полковнику Монтгомери, с просьбой достать ему ее портрет. У него, который так любил почти каждый вечер посещать музей своего прош-

лого, не осталось ничего от его жены, ни одного письма. Иногда он открывал маленькую записную книгу счетов, единственную реликвию, где сохранились два слова, написанные ее рукой... «Household»*. И это было все. Нет, впрочем, когда он был в Пизе, она прислала ему локон Ады, а сбоку написала дату. Было ли это обещанием? Кто знает? Он набрасывал ответ: «Я должен подтвердить вам, что получил волосы Ады, которые очень нежны и красивы и уже почти такие же темные, как мои, когда мне было двенадцать лет... Но они не вьются, может быть, потому, что им не дают отрастать. Благодарю вас за то, что написали дату и имя, и скажу, почему: я думаю — это единственные два-три слова, написанные вашей рукой, которые мне остались... Потому что я вернул вам ваши письма и, исключая слова Household, написанного два раза в старой книжке счетов, у меня больше ничего нет».

Он не послал этого письма — не знал, как его примут, но желание через Аннабеллу и с нею занять свое место в свете жило в нем. Эту мысль и многое другое о своем характере он открыл одной приятельнице-англичанке, проезжавшей через Генуя в 1823 году, — знаменитой леди Блессингтон.

Байрон познакомился с лордом Блессингтоном в 1812 году в Лондоне. Они часто встречались у Ватье или в Кокоа-Три. В это время леди Блессингтон была никому неведомой ирландкой, которая вела трудную жизнь. Она вышла замуж за лорда Блессингтона только в 1818 году, уже после отъезда Байрона. Но он очень много слышал о ней: знал, что Лоуренс написал ее портрет, по которому весь Лондон сходил с ума, что она написала три книги, что ею восхищался Том Мур. Когда 1 апреля 1823 года ему принесли на виллу Альбаро две карточки, лорда Блессингтона и графа Альфреда Д'Орсей, Байрон был одновременно взволнован, испуган и очень доволен. Граф Д'Орсей был, как говорил Байрон, француз и друг семьи, «очень молод и сущий красавец». Леди Блессингтон, которой ее лорд надоедал до смерти, не могла обойтись без

* Домашнее хозяйство *(англ.)*.

своего парижского рыцаря. Мужчины сказали Байрону, что «миледи» в коляске, у ворот. Он побежал своей неловкой походкой, извинился и попросил ее войти.

Она ждала этой встречи в продолжение нескольких дней с нетерпением, боялась разочароваться; так оно и оказалось. Думала увидеть высокого мужчину, с величественным и внушительным видом, но увидела словно вычеканенную голову и полные выражения глаза, но они принадлежали маленькому существу, с почти детским телом. Так как он снова похудел после солнечного удара, костюм сидел на нем слишком свободно и имел вид купленного в магазине готового платья. В его манерах была неловкость, проистекавшая оттого, что он думал о своем увечье. На другой день Блессингтоны увидели его у себя в отеле, несколько стесненного, очень дружественно настроенного, и леди Блессингтон скоро заметила (а она приручила многих на своем веку), что нет ничего легче, как привязать к себе этого человека. Никакое кокетство не портило их дружбы. Миледи, как выражался Байрон, была совершенно гарантирована «своим парижским уловом». Байрон верил в дружбу между мужчиной и женщиной при условии, что тут не запутается любовь. Он считал леди Блессингтон умной женщиной; катаясь вместе верхом или отправляясь завтракать в соседние виллы, они беседовали с большой откровенностью. Она записывала эти разговоры и через несколько недель обнаружила, что она написала одну из самых живых и самых правдивых книг, которые были когда-либо написаны о Байроне. Она прекрасно поняла его во всей его сложности. Ей показалось, что основной его чертой была чувствительность, великодушная и болезненная, которая в юношестве представляла основу прекрасного характера. Преждевременный холод злобы не дал взойти этим добрым семенам, но не смог их и убить. Когда Байрон говорил, что он падший ангел, это была правда. В нем были элементы ангела, но он нашел людей такими жестокими и фальшивыми, что ужас перед лицемерием стал его главным чувством.

Леди Блессингтон часто слушала, как он анализировал чувства других и даже свои; подобно Ларошфуко, но еще злее, всюду усматривая расчетливость и ложь. Казалось, ему доставляло удовольствие выставлять в смешном виде романтические чувства, а минуту спустя обнаруживал эти чувства с такой силой, что слезы навертывались у него на глазах. Она поняла, что он пришел к насмешкам, чтобы излечиться от этих чувств, заметила, что если он читал патетические стихи, то всегда с насмешливым видом и комическим пафосом — это была его защита против эмоции. Он отказывался признавать высокие стороны в своем собственном характере и с удовольствием распространялся о своих недостатках.

В религии она находила его не то что неверующим, но скептиком и, во всяком случае, деистом. «Прекрасный день, лунный свет, все великие зрелища природы, — говорил он, — пробуждают глубокие религиозные чувства во всех возвышенных умах». Но был гораздо более суеверным, чем религиозным, и, казалось, обижался, когда эту слабость не разделяли. Он очень серьезно рассказал леди Блессингтон, что призрак Шелли явился одной женщине в саду. По-прежнему он боялся пятницы. Приходил в ужас от рассыпанной соли, разбитого стакана.

И все-таки чертой, поразившей ее больше всех после врожденной доброты, был его здравый смысл. Это был антиромантический, антииндивидуалистический здравый смысл, который необыкновенно поражал в этом самом необщественном (как о нем говорили) из всех живых существ. Редко человек рассуждал о браке с такой мудростью. «Если люди, — говорил он, — так любят друг друга, что не могут жить в разлуке, то брак есть единственная форма связи, которая может обещать им счастье... Я говорю даже не о морали, не о религии, хотя обычно трудности еще десятикратно увеличиваются благодаря их влиянию, но даже если представить себе людей, которые лишены того и другого, то и для них не закрепленная супружеством связь должна повести к несчастью, ежели

они обладают некоторой тонкостью ума и той благородной гордостью, которая ее сопровождает. Унижения и обиды, которым подвергается женщина в подобном положении, не могут не оказать существенного влияния на ее характер, что лишает того очарования, которым она побеждала; это делает ее подозрительной и обидчивой. Она становится вдвойне ревнивой по отношению к тому, от кого зависит, и ему приходится подчиняться рабству гораздо более суровому, чем рабство брака, но без его респектабельности».

Это был, конечно, портрет Терезы Гвиччиоли, которая становилась все более и более ревнивой и ревновала даже к леди Блессингтон. Но могущество его наблюдательности особенно проявлялось на нем самом. «Я часто возвращаюсь в мыслях к дням детства и всегда удивляюсь остроте моих чувств в то время. Моя бедная мать, а потом школьные товарищи своими насмешками внушили мне, что я должен считать свое увечье большим несчастьем, и я никогда не мог победить этого чувства. Нужно обладать большой врожденной добротой, чтобы победить разъедающую горечь, которую телесный недостаток внедряет в рассудок и которая настраивает вас против всех на свете».

Он был из тех людей, которые никогда не могут утешиться, потеряв юношеские иллюзии. Он говорил, что ошибочно думать, будто с возрастом исцеляются от страстей. Страсти только меняются с возрастом: любовь заменяется скупостью, а доверчивость — подозрительностью. «Вот, — говорил он, — что дают нам возраст и опыт. Что до меня, то я предпочитаю юность, лихорадочный жар рассудка зрелости, когда рассудок в параличе. Я вспоминаю время моей юности, когда сердце было полно до краев добрыми чувствами ко всем, кто хоть немного, казалось, любил меня, а теперь, в тридцать шесть лет, — а ведь это еще не старость, мне с трудом удается, помешивая потухающие угли того же сердца, разбудить хотя бы легкий пламень, чтобы согреть мои обледеневшие чувства».

Как должен был трогать эту молодую женщину и нравиться ей этот школьник тридцати пяти лет, неисправимый сен-

тименталист, тщетно стремившийся сделаться циником. «Бедный Байрон», — говорил он когда-то Аннабелле тоном ребенка. «Бедный Байрон», — говорила в свой черед леди Блессингтон, — бедный Байрон, такой добросовестный и такой слабый, столько добродетелей и так оклеветан, бедный Байрон, «потому что со своим гением, со своим состоянием он — бедняк».

За эти два месяца, апрель и май 1823 года, отношения между Байроном и Блессингтонами становились все более близкими. Граф Д'Орсей написал портрет Байрона и Пьетро Гамба. Разговор с леди Блессингтон был для Байрона отдыхом от трескотни его возлюбленной. Он был очень грустен, когда его друзья должны были уезжать. В последний раз принес всем троим по подарку на память. Слезы навертывались на глаза. Он вытер их и обронил какое-то саркастическое замечание по поводу собственного волнения.

«Дон Жуан», казалось, питался скукой и нравственным одиночеством Байрона. В Пизе, потом в Генуе он написал десять песен с легкостью, разнообразием приемов и изумительной гибкостью формы; поэма расширялась. Жуан оставался ее героем, но приключения стали только предлогом. Истинным сюжетом стал сюжет «Гулливера», сюжет «Кандида»; сатира на европейских избранников. Байрон никогда не любил «правящих классов». Воспитанный с детства пуританином, то есть оппозиционером, он и в палату лордов вошел только затем, чтобы сказать пэрам несколько суровых слов. Он чувствовал себя чужим в свете в то самое время, когда, казалось, жил, как большой сеньор XVIII века. Буря, которая изгнала его из света, ранила, но не удивила. Наблюдая теперь из более спокойной обсерватории Европу, такую, какой ее сделали эти жестокие люди, он находил удовольствие показывать им кровавый крах их доктрин.

Его обвиняли в том, что высмеивал человеческую природу? Боже справедливый! Но что он сказал такого, что до него не было сказано Данте, Сервантесом, Свифтом, Макиавелли, «которые знали, что эта жизнь не стоит и картофелины»?

Ни из анализа природы, ни из анализа нашей собственной мысли мы не можем извлечь достоверности. Одна система съедает другую, как древний Сатурн своих детей:

> Не знаю ничего, не отрицаю.
> Не спорю и не соглашаюсь. Вы
> Что знаете? Что смерть нас ждет?..

Это Байрон говорил еще со времени «Чайльд Гарольда», но в то время тщета религий и систем привела его к сомнению в полезности человеческих усилий вообще; тогда, говоря о порабощенной Греции, он только сетовал над ее судьбой. Теперь, быть может, под влиянием своих недавних итальянских конспираций, быть может, от неудержимой жажды действия его сомнение во всем соединилось с верой в определенную политику. Он открыл, что метафизический скептицизм не обязательно связан с политическим скептицизмом. Наоборот. Если все мы, несчастные человеческие существа, втянуты в эту ужасную и лишенную всякого смысла авантюру, будем помогать друг другу и попробуем, как говорил Шелли вслед за Гете, построить наш маленький мир на груди великой вселенной. Как скептик Вольтер бился за Каласа, так он хотел сражаться за свободу.

> И я хоть на словах хочу сражаться,
> А повезет, — так и не на словах,
> Со всеми, кто воюет с Мыслью...
> Не то чтоб я хотел польстить народу,
> Довольно демагогов без меня, —
> Мне хочется, чтоб мир освободился...

Больше всего нападал он на войну. Он посылал Жуана на осаду Измаила во время русско-турецкой кампании, чтобы показать, как мало стоит жизнь человеческая для этих мясников, торгующих оптом и управляющих нами. Он издевался над военной славой, над этими ловцами чинов и медалей, которые отдают жизнь за галун, за цитату, где нацарапано их имя, за возвышение Суворовых, Веллингтонов: «Человек, осушивший

хотя бы одну слезу, — говорил он, — более заслуживает честной славы, чем тот, кто проливает целые моря крови...»

Он высмеял и самого национального героя, Герцога, «спасителя нации, которая не спаслась, освободителя Европы, которая и поныне в цепях, восстановителя костылей легитимизма». Тон был сильным, таким, который должен был взволновать Европу, полную в то время инвалидов войны. Эта «современная» поэзия должна была тронуть сердца тех, которые сражались, и всех тех, которые страдали от эгоизма своих хозяев.

И буду звать я всех вплоть до камней
Подняться на земных тиранов...

Не без глубоких оснований в «Дон Жуане» заключалось большое похвальное слово Дон Кихоту. Байрону никогда не был чужд здравый смысл Санчо, а возраст, который большинству людей приносит сомнение и иронию, как будто вылечил его от них. Страдания Дон Кихота казались теперь скорее горестными, чем развлекательными.

Грустнее нет рассказа. Заставляет
Еще смеяться он. Его герой
За право бьется — злобу побеждает,
И идеал его — неравный бой.
А доблесть от рассудка избавляет,
Но грустен этот образ дорогой.
Мораль ее печаль глухую точит,
Ее услышит всякий, кто захочет
Исправить зло и защитить невинных,
В защиту девы труса победить,
Встать одному против врагов бесчинных,
Иль иго чужестранцев отстранить.
Увы, — как в сказке говорят старинной, —
О добродетели нам можно пошутить
Иль помечтать, загадку сочиняя...

Так в саду, усаженном черными кипарисами, пленник сентиментализма, вечно юношеский ум, Байрон мечтал о славных приключениях и либеральном рыцарстве. Разве не

было его обязанностью показать Джону Булю кое-что из судеб этого низкого мира? На протяжении нескольких строф он становился Ювеналом, Экклесиастом. Потом любовь к прошлому увлекала его. Вслед за Жуаном он снова проникал в гостиные, где когда-то царил, и тогда сатира превращалась в балладу о любовниках данных времен.

Кем же хотел он быть? Гамлетом или Дон Кихотом? Страстным приверженцем справедливости, который осмеливается, падает и не жалеет о падении, или мечтателем, испорченным для действия мечтами? Знал ли он сам это? Он был изменчив, детские иллюзии все еще мешались с самой необольщающей мудростью. То он хотел переделать мир, то созерцал покорно вечное и бессмысленное движение:

Меж двух миров звездою жизнь играет,
Меж ночью и зарей, где край земли, —
И что такое мы? Кто это знает?
И менее того — что будем мы?
А бег времен и носит и гоняет
Пузырики — то здесь, а то — вдали
Из пены времени. Кругом безмолвно.
Могилы царств встают, как будто волны.

XXXIV
ГЕРОЙ И СОЛДАТ

Если у Байрона было что-нибудь действительно характерное — так это его большой здравый смысл.

Дизраэли

Уже два года следил Байрон с меланхолическим интересом за переменными успехами развивающегося в Греции восстания. В Пизе, когда Маврокордатос* поехал в Грецию, что-

* Александр Маврокордатос — один из вождей греческого восстания.

бы присоединиться к повстанцам, Байрон говорил всем окружающим, что ему хотелось бы поехать с ним. Он писал об этом Муру, он говорил об этом Гамба, Медуину (который записал его фразу: «Мне хочется вернуться в Грецию, и, вероятно, я там умру»), Трилони, который этому не верил. Вообще вряд ли кто принимал в Пизе всерьез проекты Байрона. Они так часто менялись! Венесуэла, Соединенные Штаты, Англия, Греция — его воображение не надолго пленялось этими мечтами. Репутация в глазах друзей сложилась окончательно. Он был женственным, слабым, чувствительным. Прямая противоположность человеку действия со всех точек зрения.

Тем не менее греческий проект оказался более длительным. И не потому, что Байрон ненавидел турок. Он сохранил наилучшие воспоминания о седобородых пашах, которые принимали его в 1810 году. Тогда он жалел порабощенную Грецию, но считал, что это непоправимо. Теперь, казалось, восстание имеет шансы на успех. Турки не сумели ввести свое управление в стране. Они расположились там «лагерем, временно раскинутым в Европе». Но всякий лагерь может попасть в положение, когда его приходится снимать из-за атаки противника, и их было относительно легко прогнать.

Но почему же в таком случае греки не освободились в XVIII веке? Чтобы восстать, надо верить в восстание. Только с французской революцией греки, подобно итальянцам, полякам, восприняли слова: свобода, право народов. Им перевели «Марсельезу». Байрон в строфах «Чайльд Гарольда» заинтересовал Европу их судьбой. Они перестали смотреть на свое порабощение как на естественное положение. Это значило — перестать быть рабами.

Движение началось с организации тайных обществ, которые сперва надеялись на помощь России. Но Меттерних не дремал и заставил царя увидеть «признаки революции в греческом движении». Слова Питта: «Я отказываюсь рассуждать с человеком, который не понимает, что в английских интересах необходима целостность Оттоманской империи» —

оставались магической старомодной аксиомой из числа тех, которые так часто управляют внешней политикой Британии. Франция, находившаяся еще под опекой Священного союза, могла дать только отдельных волонтеров. Грекам приходилось рассчитывать только на самих себя.

С 1821 года вспыхнуло несколько очагов восстания. Архиепископ Патраса Германос, солдат-священник, скрылся в горах. В тот же день Колокотронис, предводитель горцев, поднял Морею. Другой повстанец — Одиссей — овладел частью восточной Греции. На западе повстанцами командовал принц Маврокордатос. Соглашение между этим образованным молодым человеком, европейцем, носившим сюртук и золотые очки, и горцами, вроде Одиссея и Колокотрониса, было не таким простым. Разногласие между руководителями восстания спасло турок от катастрофы. Но за границей вести о греческих победах пробудили между демократами всех стран немалый энтузиазм. Старые наполеоновские офицеры, иенские студенты и шведские мистики ехали драться за Грецию.

Английское правительство относилось к восстанию враждебно, но когда в январе 1823 года греческий депутат Луриоттис приехал, чтобы защитить греческую идею, несколько вигов, из более прогрессивно настроенных, усмотрели возможность легкого драматического сдвига в игре внутренней политики. Они основали комитет, который заседал в таверне «Корона и якорь» и, как и все такие комитеты, выпускал ряд бесполезных документов, устраивал пышные обеды, но действовал очень мало. В этот комитет входили Иеремия Бентам (реформатор права, логики, тюрем и университетов), радикальные депутаты вроде Бурдетта, Хобхауза, банкиры вроде Киннера; секретарем комитета был мистер Джон Боуринг, полиглот и ученик Бентама.

На первом заседании комитета было решено послать Эдуарда Блэкьера, автора ряда книг о Средиземье, в Грецию, чтобы завязать сношения и получить информацию. Трилони, который был знаком с Блэкьером, в феврале написал ему, что Байрон нередко говорил о своем желании поехать в Грецию.

Хобхауз и Киннер усмехнулись — «милый мальчик» не годился в военачальники. Однако его имя могло оказать пользу. Блэкьер сообщил Байрону, что по пути в Грецию он заедет в Геную, чтобы повидаться с ним. Таким образом, оказывалось, что обстоятельства вынуждают Байрона к действиям.

В апреле Блэкьер и Луриоттис приехали в Каза-Салюццо, и Байрон предложил им в июле поехать на Восток, если комитет считает это полезным. И почему ему было не поехать? Он жаждал ощущений, которых было так мало в монотонном генуэзском существовании, и ему хотелось показать, что он не только стихотворец, — поездка в Грецию давала эту возможность. «Быть первым человеком в стране (но не диктатором), не Суллой, а Вашингтоном или Аристидом, вождем по таланту и правде, — это значит приблизиться к божественному». Когда-то он написал это; верил в это и теперь. Ему всегда хотелось сделать то, «что немногие из людей или никто не мог бы сделать». Неудача «Либерала», некоторый неуспех последних напечатанных вещей — все это заставляло его подумать, что надо снова завоевать общественное мнение. Поэт перестал нравиться. Может быть, Англия и была права. Он всегда считал себя солдатом или государственным деятелем, лишенным из-за своего увечья возможности вести ту жизнь, для которой он был рожден. Отныне он хотел «посвятить себя политике и благопристойности». «Если я проживу еще десять лет, вы увидите, что со мной еще не покончено. Я говорю не о литературе, потому что это — пустяки; и, как бы странно это ни показалось, не верю, чтобы она была моим призванием. И вы увидите, если время и судьба позволят, я сделаю кое-что, что удивит философов всех времен».

Но, конечно, он ждал от этой жертвы не только искупления в глазах общества, скорей он думал о спасении Байрона в его собственной байронической душе. Он показал в «Манфреде», что ад был для него внутренней драмой. Этот разлад, посеявший с самого юношества вражду между Байроном, который мог бы быть, и Байроном, который был на самом деле, мог быть разрешен настоящим героизмом и дать вос-

торжествовать прежнему мятежному школьнику. Он нацарапал несколько стихов в тетради — начало неоконченной песни:

Проснулись мертвые — ужели буду спать?
С тиранами мир бьется — промолчу ли?
Поспела жатва — иль не соберу я?
Не сплю, терновник колет изголовье,
И каждый день трубит рожок в окно
И будит отзвук в сердце...

«Стишки», — говорил он пренебрежительно.

Но никто лучше его не измерил этот разрыв между живыми чувствами, такими, какими видел их его усмехающийся здравый смысл, и чувствами, которые выражаются в стихах. Но как бы безжалостен ни был его анализ, как ни иронична была улыбка, когда кто-нибудь из его приятелей говорил о «греческом вопросе», сам он знал хорошо, что любовь к свободе и желание великих деяний были в нем реальны и сильны.

Он встречал в течение своей жизни столько препятствий к действию, что не мог не бояться тех, которые еще стояли перед ним. Прежде всего — Тереза. Он хорошо знал упорство «бессмысленной породы» и свою собственную слабость перед этой породой. «Госпожа Гвиччиоли, естественно, против того, чтобы я ее покинул, будь это хоть на несколько месяцев, и так как ее влияние помешало мне в 1819 году вернуться в Англию, то она прекрасно сможет удержать меня в 1823 году вдали от Греции». Но раньше, чем убеждать Терезу, ему надо было решить вопрос более неотложный и для него еще более мучительный: действительно ли грекофильский комитет в Лондоне желал его сотрудничества? После истории 1816 года он проявлял по отношению ко всему английскому подозрительность парии. Для воображения нет страшнее тех врагов, которых мы не видим. Он был уверен, что англичане еще крайне раздражены против него, и решил ничего не просить у них, чтобы не давать им возможности отказать. С исключительной скромностью он предложил себя Хобхаузу и был чрезвычайно доволен, когда после долгого молчания,

которое его задело, он был избран членом комитета. Письма этого времени показывают его с самой хорошей стороны — щедрым (он сразу объявил, что готов платить из своего кармана, и начал с того, что отправил на свой счет медикаменты и порох), простым и, самое главное, удивительно точным.

Письмо, которое написал ему мистер Боуринг, содержало в себе обычные общие места о «классической земле свободы, колыбели искусств и гения, обители богов, рае поэтов и прочих превосходных вещах». Это был тон, которого Байрон не выносил в прозе. «Энтузиазм!» — говорил он с отвращением. Он ответил рапортом о положении греков, достойным хорошего начальника штаба: «Материальные нужды греков как будто прежде всего таковы — парк легкой артиллерии с частями горной службы; во-вторых — пушечный порох, в-третьих — оборудование для госпиталей...» На четырех страницах, полных фактического материала, он отмечал нужды, наиболее удобные способы пересылки, адреса полезных корреспондентов. Весь здравый смысл Китти Гордон, оценивающей расходы Ньюстеда. Это составляло пикантный контраст с пустым красноречием комитета.

Был ли он, как сам думал вопреки мнению его друзей, человеком действия? Истина была, конечно, сложнее. Весьма способный к действию, ибо он в одно и то же время обладал и храбростью, и чувством реального, и точностью, Байрон был приговорен к мечтаниям благодаря своей нерешительности. Ему хотелось быть сразу и защитником народа и большим сеньором-вольнодумцем, мужем и Дон Жуаном, вольтерьянцем и пуританином. Он боролся с английским обществом и хотел его привилегий. Ни консерватор, ни радикал, он был в английской политике тем зверем, который был несчастнее всех других, ибо он был наиболее противоречивым — вигом. Ему всегда не хватало единства мысли и действия, которое так необходимо для больших замыслов.

Но в этой греческой истории все было просто. Его родовые предрассудки не мешали ему желать освобождения чужого народа. Наоборот, он чувствовал, что в силу темных и

глубоких причин, классических воспоминаний, героических легенд он был бы поддержан английским общественным мнением в этой роли. И поэтому его успокоенный разум работал во всю свою мощь; ясность, осторожность давали свой результат и делали из него достойного вождя.

•

Лето шло, и его старый недруг, судьба, был к нему милостивей, чем обычно. Граф Гамба был возвращен из изгнания, ему было разрешено вернуться в Равенну, если он приедет с дочерью. Папа и граф Гвиччиоли желали этого возвращения. Муж готов был простить на резонном условии, как говорил Байрон, всегда очень справедливый по отношению к мужьям своих любовниц, — «не иметь его, Байрона, в качестве квартиранта». Брат, Пьетро Гамба, которого Байрон все больше любил за его храбрость, жаждал сопровождать. Отец, брат, муж, любовник, все на свете (как когда-то было с Каролиной Лэм), все в один голос советовали госпоже Гвиччиоли примириться с мужем. Женская страсть снова приводила всех к единодушию. Но Тереза, опираясь на чувство, крепко держалась, как говорил Байрон, против воли доброй половины Романьи с папой во главе, и это, — добавлял он с ужасом, — после четырех лет связи.

Если он хочет ехать в Грецию, говорила она, пусть едет, она поедет с ним, она уж показала, что может страдать за свободу. «Разумеется, это дикая идея, — говорил Байрон, — потому что в таком случае надо все оставить, только бы не подвергать ее опасности. С другой стороны, если она закатит сцену, у нас вырастет из этого еще история о дурном обращении, и разрыве, и о леди Каролинизации, и о леди Байронизации, и о Гленарвонизации, и все это поедет против меня. Не было еще на свете человека, который столько бы уступал женщинам, и все, что я на этом заработал, — это репутация женского тирана. В конце концов я сделаю, что смогу, и у меня есть надежды... Если я покидаю одну женщину ради другой, то у нее есть хоть некоторое основание жаловаться, но если человек стремится уехать на защиту правого дела,

чтобы исполнить великий долг, то, право, этот эгоизм захо дит немножко далеко».

Наконец в начале июня все как будто уладилось. Обливающуюся слезами графиню Гвиччиоли увез отец. Судьба Хентов была устроена, Байрон оплатил их путешествие до Флоренции. На будущее он отдавал Хенту свой пай в «Либерале» и свои авторские права на произведения, напечатанные в этом журнале. Блэкьер из Греции призывал Байрона. Пора было поторопиться с отъездом. Молодому Гамба было поручено зафрахтовать судно. Он был очень мил, этот юный Гамба, но у него был, как говорили итальянцы, «дурной глаз». «Он принимался за каждое дело серьезно и добросовестно, составлял на все тщательные, точные записи, и каждая новая страница этих неудобочитаемых заметок начиналась по манере Болонского университета словом Considerando*. А потом все шло черт знает как».

Выбранный им корабль «Геркулес» был дрянной посудиной и плохо держался в море. Получив распоряжение нанять врача, он взял студента Бруно, полного благих намерений, но неопытного и до смерти боявшегося Байрона. Бруно признавался позже, как слышал, что, если бы он допустил малейшую ошибку, Байрон затравил бы его своими собаками или приказал бы своему татарину прикончить его. Татарин этот был храбрый Тита, а собаки были совершенно безобидные. Но эти невысказанные страхи делали доктора Бруно крайне нервозным. Во время этой кампании, как только заболевал кто-нибудь из членов экспедиции, Бруно заливался слезами, ломал руки и терял голову. Байрон вызвал из Флоренции Трилони. Выбор был не из счастливых. Трилони не любил Байрона и ехал, настроенный по отношению к нему не совсем лояльно. Он надеялся, что ему удастся воспользоваться именем Байрона, чтобы проникнуть в Грецию, а там уж он будет действовать самостоятельно. Для Трилони и для самого себя Байрон заказал «двое шлемов гомеровских размеров, похожие на те, что в шестой книге Илиады напугали ребенка

* Принимая во внимание *(лат.)*.

Астианакса. Под высоким согнутым пером красовался его собственный герб и девиз Crede Biron. Все это укреплялось на голове громадным ремнем самого угрожающего вида». Но Трилони, приехав, отказался надеть эту штуку, и каски остались в Генуе.

•

13 июля 1823 года все были на борту. Байрон, несмотря на свое суеверие, все же согласился ехать в пятницу, 13-го числа. Он вез с собой, кроме Трилони, Бруно и Гамба, восьмерых слуг, среди которых были Флетчер и Тита, лошадей, оружие, амуницию, две маленькие пушки и пятьдесят тысяч испанских долларов. Солнце жгло, воздух был так неподвижен, что невозможно было сняться с якоря. К вечеру Байрон сошел на берег и, усевшись под деревом, пообедал сыром и фруктами. Наконец около полуночи поднялся ветер. «Геркулес» плохо держался в море. Лошади, испуганные бурей, сломали загородку. Пришлось снова вернуться в порт. Байрон сказал, что дурное начало нужно считать счастливым предзнаменованием, но сам все же призадумался. Своему банкиру Барри он признался, что почти был готов отказаться от поездки. «Но Хобхауз и другие будут смеяться надо мной». Ему захотелось еще раз побывать на Каза-Салюццо, и, войдя туда, он сказал Гамба: «Что-то с нами будет через год?» Он попросил оставить его одного и в глубокой задумчивости провел несколько часов в пустых комнатах.

Чувства у него были смешанные. Он хотел покинуть этот дом (счастья в нем не было) и жалел его. Он боялся грусти о том, что уже прошло. Иногда воображал себе, какова станет жизнь после успеха в Греции. Прошлое окупится победой. Аннабелла простит, но чаще он думал о предсказании миссис Вильямс. Он действительно думал, что идет навстречу смерти.

Если бы еще он мог относиться к себе серьезно и думать, что эта смерть будет смертью героя, — это бы поддержало, но его ужасная ирония обращалась против него самого. Он говорил леди Блессингтон: «Мои глаза никогда не открывают-

ся на безумие поступков, на которые меня толкает страсть, до тех пор, пока я не зайду так далеко, что уже нет возможности отступить с честью. И тут рассудок выступает не вовремя и прогоняет энтузиазм, который увлекал меня на это и который мне так необходим, чтобы идти дальше. И тогда этот же самый путь становится тяжелым. Я не могу больше разогреть свое воображение, хотя бы от этого зависела жизнь, и положение вызывает у меня же в уме комические соображения. Если я переживу эту кампанию (а это великое «может быть» в истории моей жизни), я напишу две поэмы на этот сюжет — одну эпическую, а другую шуточную, где уж не пощажу никого, а себя меньше всех...»

К вечеру он отправился в город, принял горячую ванну и вернулся на борт «Геркулеса». Наконец поднялся попутный ветер. Экспедиция остановилась в Ливорно; там Байрона встретила приятная неожиданность — стихи Гете, в которых тот выражал ему свое восхищение, кроме того, один из первых экземпляров «Мемуаров с острова Св. Елены», посланный Августой, что стало, разумеется, его излюбленным чтением. На борту он был приятным и веселым спутником. Боксировал с Трилони, фехтовал с Гамба, обедал в одиночестве сыром, огурцами и сидром, стрелял из пистолета по чайкам, плавал, когда не было ветра, играл с собаками и шутил с капитаном «Геркулеса», опытным моряком, но пьяницей.

Этот капитан Скотт подружился с Флетчером, и как-то раз, когда два эти героя сидели и попивали грог, Байрон услышал их разговор.

— А зачем это, — спрашивал капитан Скотт, — ваш хозяин отправляется в эту дикарскую страну?

Флетчер сам не раз задавал себе этот вопрос.

— Там сплошные скалы да бандиты, — говорил он, — а живут они в дырах и вылезают оттуда на манер лисиц. И у всех у них громадные ружья, пистолеты и ножи. — У Флетчера остались самые дурные воспоминания о Греции и греках, он был туркофил.

— Турки, — говорил он, — единственные приличные люди в этой стране. А ежели они уйдут, то эта Греция будет сущий дом сумасшедших, которых выпустили на волю... Там и живут-то только блохи, мухи да бандиты. А зачем милорд туда едет? Один господь бог это ведает, а никак не я.

И в этот миг, заметив, что хозяин его слушает, добавил:

— И господин мой не может отрицать, что говорю я сущую правду.

— Нет, — ответил Байрон, — это правда для тех, кто смотрит на мир свиными глазками и ничего другого увидеть не может.

Было решено, что раньше, чем поехать в Грецию, где сумятица, царившая между партиями, не позволяла выбрать место для высадки, они остановятся на Ионийских островах и там подождут более точных сведений, с которыми должен был явиться Блэкьер. Группа семи островов находилась под английским протекторатом; это была нейтральная зона, но нейтралитет был благожелательным для Байрона. Сперва они было выбрали Занте, но один англичанин, встретившийся им во время пути, посоветовал Кефалинию; там английским резидентом был полковник Нэпир, замечательный человек и большой друг греков. 1 августа «Геркулес» вошел в главный порт Кефалинии — Аргостоли. Там Байрона ждало большое разочарование: Блэкьер за пятнадцать дней до его прибытия уехал в Англию, не оставив никаких сообщений. Поистине, эти люди из английского комитета вели себя с несносной небрежностью! Они заставили его покинуть дом, работу, любовницу, а теперь оставили на незнакомом острове — без указаний, объяснений, без определенной цели.

Три недели оставался Байрон на рейде в Аргостоли на борту «Геркулеса». Он не мог решить, стоит ли ему говорить с английскими чиновниками. Там были офицеры. Как-то они его примут? «С его болезненной чувствительностью, эгоцентризмом, он был убежден, что уже сделался предметом ненависти и иронического недоумения для всех англичан». Поэтому был очень удивлен, когда офицеры 8-го Королевского

полка пригласили его на обед; но еще больше удивился, когда к концу обеда они поднялись, чтобы выпить за его здоровье. Он ответил им с чувством, а потом, наклонившись к полковнику, спросил, все ли сказал, как подобало. Он был несколько испуган, но очень счастлив.

Если англичане его хорошо приняли, то греческие беженцы на острове привязались к нему, как к своему спасителю. Они знали, что он богат и знаменит. Сулиоты, воины этого почти варварского племени, о котором он сохранил романтическое воспоминание еще со времени своего первого путешествия, заполняли палубу «Геркулеса». Их живописная внешность так понравилась Байрону, что он нанял себе сорок человек для личной охраны, но быстро раскаялся в этом. Гамба, занявшись ими, открыл, что большинство из них не были ни сулиотами, ни греками. После нескольких дней испытания Байрон заплатил своей гвардии за два месяца, оплатил им дорогу до Миссолунги и был очень доволен, что отделался от них.

Во время всего пребывания в Кефалинии великодушие Байрона было безгранично. Рочдэл был продан в июне 1823 года за тридцать четыре тысячи фунтов. Если бы понадобилось, он был готов истратить все состояние на дело освобождения греков. «Мои личные вкусы очень просты, а доход будет значительным в любой стране, исключая Англию; он ведь равен тому, что получает президент Соединенных Штатов, государственный секретарь в Англии и французские послы при больших дворах». Но теперь, когда был готов все отдать грекам, он хотел сделать это разумно. Трилони, опереточный герой и авантюрист, гораздо больше, чем солдат, не понимал, почему Байрон не едет немедленно в Грецию.

— В какую Грецию? — спрашивал Байрон. — Надо ли присоединиться к Колокотронису в море, к сулиоту Ботцарису в Миссолунги или к разбойнику Одиссею в Афинах?

Никто этого не знал. Всякий вожак, которому удавалось собрать вокруг себя двадцать человек, посылал эмиссара к Байрону. Блэкьер, который наконец дал о себе знать, сове-

товал выждать. Полковник Нэпир отнюдь не обнадеживал его.

— В Грецию не легко въехать, но выехать оттуда еще труднее.

Кроме того, он уверял, что никому не следует вмешиваться в греческие дела, не имея под рукой двух европейских полков и переносной виселицы. К тому же турки еще были сильны, и их флот блокировал берега. Капитан Скотт не решался рисковать своим судном в водах, где патрулировал турецкий флот. Не могло быть ничего глупее, чем дать взять себя в плен. В конце августа Байрон решил пробыть еще несколько времени в Кефалинии и снял дом в маленькой деревушке на острове Метаксата.

В Метаксате Байрон обрел парадоксальное счастье. Никогда еще его жизнь не была так проста. Он хотел жить жизнью солдата. Аскетизм всегда давал ему и здоровье, и довольство собой. Гамба и доктор Бруно были его единственными товарищами. Иногда он встречался с кефалинитом, графом Делла-Децими, которого он прозвал «Ultima analisi», потому что любой разговор тот всегда начинал словами «при последнем анализе». Он нашел себе еще маленького пажа, грека Луку, нового Эдльстона.

Байрон с утра работал, выпивал чашку чая, ездил верхом, потом обедал овощами, а вечером читал «Мемориал, или Жизнь генерала Марсо» дона д'Августо. Каждый день к нему являлись греческие делегации, изгнанники просили о помощи и всегда получали ее. Ночью, в чистоте прозрачного лунного света, он смотрел на острова, горы, море и на далекую неясную линию греческих берегов.

Счастье? Да, это было счастье! Никакие страсти не волновали спокойствия его духа. Ни один критический взгляд здесь не подстерегал. Да и в чем можно было упрекнуть его? В конце длинного письма к Августе, где он пытался описать, сколько нужно терпения и философического спокойствия, чтобы распутать местные интриги, добавил: «Если вы думае-

те, что это послание достойно того, чтобы его прочла леди Байрон, вы можете послать ей копию». Может быть, в конце концов она одобрит его поведение, эта суровая Аннабелла, чье суждение он так уважал.

Если не считать неудачной поездки на Итаку, после которой с лордом Байроном случился приступ лихорадки, единственным приключением за это время была богословская дискуссия. На островах жил некий доктор Кеннеди, шотландец, очень религиозный человек, старавшийся распространить Библию между греками с Ионийских островов. Вскоре после приезда Байрона доктор во время религиозного спора с несколькими офицерами-вольтерьянцами пообещал доказать им истины Писания столь же неопровержимо, как доказываются теоремы Евклида. Было организовано собеседование, и Байрон захотел на нем присутствовать. Естественно, его присутствие возбудило большое любопытство. Один из друзей, встретив его, когда он направлялся туда, сказал:

— Я надеюсь, ваша светлость будет обращена.

— Я тоже надеюсь на это, — ответил Байрон совершенно серьезно.

У Кеннеди он уселся на кушетке, а остальные сели в кружок вокруг стола, и доктор начал свой доклад.

Первой его темой было: «Различие между христианством Евангелия и христианством человеческим». Байрон обещал терпеливо слушать, но на него поглядывали, и вскоре он начал говорить. Байрон сказал, что получил от матери весьма религиозное воспитание, всегда страстно интересовался вопросами религии, перечитал немало работ по теологии, но все же не понимает Писания. Он добавил, что всегда уважал людей, искренне верующих, и к таким людям всегда питал более доверия, чем к другим, но ему приходилось встречать слишком много благочестивых людей, поведение которых значительно отличалось от проповедуемых ими принципов. Потом, поговорив немного о своем старом друге черте, о Еве и змии, он перешел к теме, неотступно преследовавшей его вроде навязчивой идеи: в мире столько ужасных и бессмыс-

ленных зол, — как примирить с этим существование всеблагого Создателя?

— Я часто говорил с калеками, — сказал он, — и нельзя не признать, что их жизнь — это горе и мука с самого рождения. Чем оскорбили они Создателя, чтобы заслужить такую жизнь? Зачем живут они и умирают в таком ужасном состоянии? На что они нужны в мире? Многие из них страдают от телесных немочей, от постоянного гнета нищеты, они обречены на неустанную работу, погружены в неведение и предрассудки, у них нет ни времени, ни способностей, чтобы прочесть Библию, даже если им и дают ее.

Доктор ответил, что вопрос о происхождении зла — слишком обширная тема, это есть следствие недостатка благочестия, и несчастья в этой жизни укрепляют человека в надежде на лучший мир. Когда он заговорил о могуществе Божьем и о древнем образе горшечника и глины, Байрон воскликнул:

— Если бы меня разбили на куски, я бы, конечно, спросил горшечника: почему вы так со мной обращаетесь?

Аргументы Байрона как будто заинтересовали аудиторию более, чем то, что говорил доктор. И после ухода Байрона доктор упрекал своих друзей, что они поддались влиянию титула и славы их гостя.

Но добрый малый Кеннеди был незлопамятен. Он явился к Байрону в маленький домик в Метаксате, чтобы возобновить этот разговор, и был крайне удивлен библейской эрудицией своего собеседника.

— О да, — отвечал Байрон, — я читал Библию гораздо больше, чем вы, вероятно, думаете. У меня есть Библия, которую мне подарила моя сестра, прекрасная женщина, и я очень часто ее читаю.

Он пошел в свою комнату и принес карманную Библию в красивом переплете, подарок Августы. Во время этого спора, когда Кеннеди тщетно искал текст, чтобы подкрепить свою аргументацию, Байрон тотчас же его находил. Он ставил Кеннеди в тупик вопросами о черте, об Эндорской волшебнице.

— Я всегда думал, что это самая лучшая сцена с колдуньей, которая когда-либо была написана. Лучшая трактовка схожего сюжета — это Мефистофель Гете. Конечно, вы сочтете библейский образ более высоким, так как считаете это откровением, но если бы вы прочли Гете, то увидели, что это одна из самых высоких человеческих концепций.

Доктор улыбнулся на эту своеобразную ассоциацию и признался, что ему никогда не приходило в голову рассматривать Библию как литературное произведение. Потом он стал настаивать на том, что Байрону надо переменить свою жизнь.

— Я на добром пути, — сказал ему Байрон. — Как и вы, я верю в предназначение и в развращенность человеческого сердца вообще и моего в частности. Вот уже два пункта, на которых мы сходимся.

А затем, когда Кеннеди стал говорить ему о необходимости быть великодушным и милостивым и расточать вокруг себя добрые дела, Байрон спросил:

— А что вам нужно, доктор, чтобы признать меня добрым христианином?

— Увидеть вас коленопреклоненным и молящимся Богу.

— Слишком многого вы хотите, дорогой доктор.

Новости, которые приходили из Греции, несли с собой в одно и то же время и надежды и разочарование. Греки одержали победу над турками, но не могли столковаться между собой. Комитет сообщал, что он посылает корабль, груженный артиллерией и ружьями Конгрэва, новым изобретением, о котором рассказывали чудеса. Но в ожидании этого «корабля Арго» Байрон получал из Англии только карты да военные трубы, предметы, конечно, почтенные, но малополезные в стране, где солдаты не имели понятия ни о топографии, ни о музыке. Джентльмены из «Короны и якоря» обещали послать офицера для руководства операциями. Байрон думал, что хорошо было бы выбрать полковника Нэпира. Но пол-

ковник Нэпир был о Греции несколько иного мнения, чем комитет.

— До тех пор, — говорил он, — пока в Европе останется хоть один турецкий солдат, греческому правительству нечего думать о конституции.

Такие разговоры не могли понравиться либеральному комитету. Полковник Стэнхоп, которого прислали лондонские деятели, далеко не очаровал Байрона. Он был учеником Бентама — больше политик, чем солдат. Каков-то он будет на деле?

Нэпир, по крайней мере, помог Байрону сделать выбор между партиями. Он решительно выступал защитником Маврокордатоса, который, по его словам, был среди вождей революции наиболее честным и серьезным государственным деятелем. Маврокордатос был на острове Гидры, он связался с Байроном и сообщил, что готов выйти с греческим флотом, прорвать блокаду и явиться в Миссолунги, чтобы руководить операциями, если Байрон сможет, в ожидании займа, о котором торговались в Лондоне, дать вперед четыре тысячи фунтов стерлингов, чтобы оплатить экипаж. Это была немалая сумма; Байрон дал ее. Ему было приятно, что он, обыкновенный гражданин, содержит целое войско и флот. Забавляло, что деньги, которые он дал для Греции, уже превышают те, с какими Бонапарт начал итальянскую кампанию, — подробность, которую он вычитал в «Мемориале». Сулиоты Миссолунги просили его взять их на содержание и быть их вождем. Как ни был он раздосадован, ему все-таки хотелось попробовать. Это были прекрасные бойцы, и было бы великолепно иметь целое племя под своим началом! Кто знает? Освободив Грецию, он, может быть, бросится с этими людьми на иные ветряные мельницы. Он уже видел себя вождем этой банды, восстанавливающим справедливость на всем белом свете.

В конце года, благодаря финансовой поддержке Байрона, греческий флот был снаряжен, и Маврокордатос, а затем и Стэнхоп смогли прибыть в Миссолунги. Оттуда они умо-

ляли Байрона приехать к ним. «Мне нечего вам говорить, милорд, — писал ему Маврокордатос, — как мне не терпится увидеть вас. Мы ждем ваших советов, будем слушать вас, как оракула». Стэнхоп писал: «Вас ждут с лихорадочным нетерпением. Я прогуливался этим вечером по Миссолунги, и народ требовал от меня лорда Байрона».

Присоединиться к ним, может быть, было еще рано, но Байрон знал, что члены комитета в Англии издевались над его долгим пребыванием на острове. Он был оскорблен письмом Мура, где намекалось, что Байрон, вместо того чтобы шествовать навстречу героическим подвигам, находится в прелестной вилле и оканчивает «Дон Жуана». Это было неверно. Он не занимался ни «Дон Жуаном», ни другой поэмой.

— Поэзия, — говорил он Гамба, — занятие только для бездельников. Между более серьезными делами она кажется смехотворной.

Он прекрасно понимал, что приключение это небезопасно, «но про меня никогда не скажут, что я, взявшись помочь порядочному человеку в каком-нибудь щекотливом деле, не довел его до конца... Что до меня, то я останусь верным этому делу до тех пор, пока останется хоть одна соломинка, за которую можно ухватиться». 27 декабря он сообщил Муру, что через двадцать четыре часа поплывет к Маврокордатосу в Миссолунги. «Раздоры между партиями заставляли меня выжидать здесь, но раз Маврокордатос, их Вашингтон или Костюшко, снова очутился у власти, я могу действовать со спокойной совестью. Я везу деньги, чтобы оплатить эскадру, и имею влияние на сулиотов. Возможно, что мы попробуем взять либо Патрас, либо форты пролива. Но мне кажется, что греки или, по крайней мере, сулиоты (которые делили со мной хлеб и соль) ждут, что я буду сражаться вместе с ними. Пусть так. У меня есть некоторые надежды на то, что наше дело восторжествует. Но что бы там ни было, правилам чести надо следовать так же неуклонно, как и молочной диете. Я надеюсь соблюдать и то и другое».

XXXV
ГАМЛЕТ И ДОН КИХОТ

Путем пресыщения приходят ко дворцу Мудрости.

Блейк

Маврокордатос и Стэнхоп обещали Байрону, что греческий флот будет охранять его переезд в Миссолунги, но ни Стэнхоп, ни Маврокордатос не были настоящими организаторами, и два судна, перевозившие Байрона и его имущество, повстречали в море только турецкий флот. Судно, на котором ехал Гамба, было захвачено и отведено в Патрас для опознания; другому, на котором находился Байрон, удалось проскользнуть к северу, и там, несмотря на преследование, оно смогло укрыться за скалами Драгоместри. Но преследование турок могло возобновиться, а у Байрона было с собой всего четыре человека, способных сражаться. Он отправил послов к полковнику Стэнхопу с просьбой помочь ему. «Я немного опасаюсь оставаться здесь, не столько из-за себя, сколько из-за одного греческого малого, потому что вы знаете, какова была бы его судьба. А я предпочел бы скорее искрошить его и себя в куски, чем отдаться в руки этим варварам». Греческий малый был юный Лука, которого Байрон привез с собой из Кефалинии.

В Драгоместри они прождали трое суток. Флетчер страдал от ужасного насморка. Байрон уступил ему единственный матрац, который был на судне. Возможно, из-за таких знаков внимания Флетчер и говорил:

— Милорд, может быть, немного чудак, но у него такое доброе сердце.

Байрон провел там 2 января — годовщину своей свадьбы, день, который был для него всегда днем размышлений. 4 января он прибыл в Миссолунги.

Город Миссолунги стоит на берегу глубокой лагуны, по которой могут ходить только небольшие плоскодонные суда. Гряда островов, из которых главный, Василиди, является крепостью, отделяет лагуну от моря. Утром 5 января Байрон надел превосходный красный мундир, занятый еще в Кефалинии у Дэффи, полковника 8-го полка, и в маленькой лодке отправился через лагуну в город. Он был встречен артиллерийскими залпами, ружейной пальбой и дикой музыкой. Толпа солдат и граждан была на площади, когда он вышел на берег. Полковник Стэнхоп и принц Маврокордатос встретили его у дверей дома. Гамба, чудом спасенный от патрасских турок, «едва удержался от слез» перед этой трогательной сценой.

Миссолунги был рыбачий городок, расположенный ниже уровня моря. Громадные заросли камыша окружали его, а во время дождей и улицы превращались в болота. Осушить их не было никакой возможности, вода стояла вровень с домами. И все же в Миссолунги было какое-то странное, нечеловеческое очарование: наполовину затопленная морями, эта Атлантида, казалось, находилась вне мира. Одетые в овчины пастухи жили в хижинах среди камышей, у подножия лиловых гор. Всюду пахло солью, рыбой, тиной. Дом лорда Байрона был довольно высоким зданием; там уже поселился полковник Стэнхоп. Из окон был прекрасный вид; за тусклым серебром зеркальной лагуны вставали черные гряды островов, над которыми виднелись свайные жилища; их тонкие сваи четко вырисовывались на небе. Вдалеке в хорошую погоду можно было разглядеть Кефалинию, где Байрон провел счастливое время. Флетчер, Тита, Лега Замбелли постарались придать приличный вид убогому жилищу Байрона. На стены повесили оружие, полку с книгами. В большом зале первого этажа поместили сулиотскую гвардию. В городе, в кофейнях Миссолунги, солдаты в вышитых куртках и беженцы проклинали друг друга. Надо было иметь немало воображения, чтобы вызвать в памяти Грецию Леонида.

Байрон хладнокровно оценивал создавшееся положение. Его союзник Маврокордатос был честный человек, но не

пользовался авторитетом среди своих отрядов. Город был набит сулиотами; изголодавшиеся, плохо оплачиваемые греческими властями, они представляли собой более непосредственную опасность, чем турки. Война за независимость их мало интересовала. Они всегда были наемниками. Они «вздыхали по Сули» и поглядывали на север, где иной раз над облаками были видны утесы их родины; Маврокордатос боялся их и умолял Байрона взять их на содержание.

Все время ждали «корабля Арго», на котором лондонский комитет обещал прислать артиллерию и пиротехников. Необходимо было немедленно собрать отряд специалистов, чтобы по прибытии пушек они могли бы их обслуживать. Для этого Байрон ассигновал первую сумму в сто фунтов и пытался завербовать в отряд немцев и шведов. Он показывал себя примерным солдатом и ежедневно присутствовал на учении своей бригады среди болотистых равнин.

— Ничего на свете нет скучнее этого, — говорил он Гамба, — но необходимо терпение. Я не очень надеюсь на успех, но надо что-то делать, хотя бы для того, чтобы занять отряды, не давать им опускаться в бездействии и заводить беспорядок.

Самой соблазнительной перспективой было бы попробовать взять штурмом город Лепант, лежащий немного подальше, в Коринфском заливе, и еще занятый турками. Байрон послал двух своих офицеров, англичанина и немца, осмотреть укрепления Лепанта. Там был албанский гарнизон, которому не платили уже несколько месяцев. Оттуда послали к Байрону своих эмиссаров с сообщением, что он охотно бы сдался, если бы людям дали порядочную награду и оставили в живых. Таким образом, осада была бы нетрудной, а, с другой стороны, прославленное имя Лепанта в случае удачи помогло бы заключению займа, который греки пытались получить в Лондоне.

Погода была ужасная, все время шел дождь, и Байрон с Гамба катались в шлюпке по лагуне, так как ездить верхом по размокшим дорогам было невозможно, и обсуждали план

войны с Лепантом. Байрон признавался, что он не питает никакого доверия к своим отрядам, но чтобы укрепить их, необходимо оказывать им знаки уважения. Он сам желал вести их на приступ.

— Прежде всего, — говорил он, — надо, чтобы дикари не могли ни в чем заподозрить вашу личную храбрость.

Маврокордатос дал ему титул архистратига, или главнокомандующего. Байрон немного посмеялся над Гамба, как он делал всегда, когда опасался насмешки над собой, но очень гордился этим.

Вся политическая деятельность полковника Стэнхопа, его коллеги по комитету, приводила в отчаяние. Стэнхоп, которого Байрон называл «типографским» полковником, считал гораздо более важным дать грекам прессу с высоким направлением, чем армию. Он старался организовать школы и верил, что свобода страны укрепляется оттого, что ей преподносят теорию свободы. Байрон не хотел слышать ни о какой школе, кроме артиллерийской. У Стэнхопа был план реорганизации почты, план постройки образцовых тюрем, план, при помощи которого мистер Бентам сделался бы апостолом греков.

— Может быть, он и святой, — говорил Байрон, — но только не солдат.

Байрон согласился дать сто фунтов на газету, но сказал принцу Маврокордатосу, что если бы он был на его месте, то учредил бы цензуру. Стэнхоп вскипел:

— Если ваша светлость говорит это серьезно, я полагаю, что моим долгом является довести об этом деле до сведения английского комитета, чтобы показать ему, насколько трудна задача дать свободу Греции, если ваша светлость бросает на противоположную чашу весов свои великолепные таланты.

Байрон отвечал, что он был защитником свободы печати, но не в примитивном и склонном воспламеняться обществе, что свобода — прекрасная вещь в Великобритании, где одна газета уравновешивается другой, но печать, состоящая из единственной газеты, не может быть свободной в силу своей

безапелляционности. Первый же номер Greek Chronicle доказал, что он был прав. Одна из статей поучала сулиотов, что Бентам был величайшим человеком нашего времени, а может быть, и всех времен. Внешняя политика Стэнхопа была опасной. Пускаясь в бой против Священного союза, он призывал венгров последовать примеру греков. Байрон больше, чем кто-либо другой, ненавидел Священный союз, но считал абсурдным ввязывать греческую революцию в европейское революционное движение.

Поэт-практик и солдат-фантазер столкнулись друг с другом:

— Очень странно, — говорил Байрон, — что солдат Стэнхоп будет биться с турками пером, а я, писатель, шпагой.

Стэнхоп признавал чистосердечие Байрона: «У него не было ни педантизма, ни аффектации, он был естественен и прост, как ребенок. Он был терпеливым слушателем и, в общем, был очень внимателен; он был рыцарем вплоть до донкихотства». Все, кто жил тогда с Байроном, видели в нем то, что смутно угадывала леди Блессингтон и что отрицал Трилони: «живые черты великого характера». Он понял с самого своего приезда в это «королевство грязи и беспорядка», что приключение не будет ни блестящим, ни живописным. «Я явился сюда не для того, чтобы искать приключений, а чтобы помочь возрождению народа, который и в падении своем таков, что надо считать за честь быть его другом».

Чтобы подать пример, он стал жить на таком же пайке, как солдаты. Как и в Равенне, благодаря своей щедрости он приобрел популярность среди крестьян в окрестностях Миссолунги. В постоянной опасности среди необузданных дикарей, которые входили в его дом, призывали в свидетели, угрожали, он оставался энергичным и спокойным. Однажды греческие моряки с островов ворвались к нему в комнату и нагло потребовали, чтобы им выдали арестованного турка. Байрон, который велел задержать его, отказал. Моряки объявили, что они не уйдут из комнаты без арестованного. Тогда Байрон навел на них заряженные пистолеты, и греки удалились. Не раз отсылал он арестованных в Патрас, чтобы спас-

ти их. При обсуждении плана военных действий он выбирал для себя наиболее опасную позицию. «Что до моей личной безопасности, то, во-первых, о ней нечего думать, а во-вторых, я полагаю, что, в общем, человек столь же безопасен в одном месте, как и во всяком другом, а в конце концов лучше умереть, получив в тело пулю, чем лекарство».

Иногда он жалел, что приехал. Однажды, получив сильно запоздавшее письмо Хобхауза, который не советовал ему уезжать из Кефалинии без серьезных предосторожностей, он сказал:

— Ах, слишком поздно! Это то же, что посоветовать человеку не доверять женщине, на которой он уже женился.

Но он быстро оправлялся. Говорил, что ему больше по душе жить нищенской жизнью в Миссолунги, чем петь и пить каждый вечер в лондонских салонах после сорока лет жизни, как это делает Том Мур. «Бедность есть страдание, но, может быть, надо предпочесть ее бессмысленным развлечениям так называемых высших классов, которые так основательно лишены чувства и сердца. Я очень счастлив, что избежал этого теперь, и решил держаться в стороне от них до конца моей жизни». Поэт-солдат восторжествовал в нем над денди и светским человеком. Было ли это, как он думал, «до конца жизни»? Кто бы мог знать? Но в Миссолунги загнанные в нем пуританин и рыцарь нашли наконец свое твердое счастье в этом суровом приключении. В день своего рождения, 22 января 1824 года, он вошел в комнату, где находились Стэнхоп, Гамба и несколько его друзей, и сказал с улыбкой:

— Вы как-то жаловались, что я больше совсем не пишу стихов — сегодня день моего рождения, и я только что закончил одну вещь, которая, по-моему, лучше всего, что я когда-либо написал.

И он прочел им стихи, заканчивающиеся следующими строфами:

Если в сердце одни о былом сожаленья,
Что жить? Благородной смерти страна
Лежит пред тобой. Иди же в сраженье,

Где будет жизнь отдана.
Ее редко искали, и все ж находили,
Могилу солдата, — где лучше, друг мой?
Приглядись хорошенько средь праха и пыли
И ляг на покой.

Начинался тридцать седьмой год его жизни, который, как гласило предсказание, должен был стать для него роковым.

У Байрона появилась некоторая надежда, когда он узнал о приезде мистера Перри, артиллериста и пиротехника, посланного лондонским комитетом. Мистер Перри привез пушки, с ним приехали английские механики; говорили, что ему известна фабрикация знаменитых ружей Конгрэва. С помощью мистера Перри можно было, разумеется, взять Лепант. В конце концов Перри был всего лишь унтер-офицером, арсенальным мастером, но он понравился Байрону, который всегда любил специалистов. Его грубоватость была довольно занимательной. Он любил выпить и после значительного количества бренди с содой мог рассказывать небезынтересные истории. Ему, как и Байрону, казалось, что лондонский комитет — это самая диковинная ассамблея теоретиков, какую только можно себе вообразить. Он относился к энтузиазму с таким же ужасом, как и его новый хозяин. Перри сказал, что Блэкьер и Хобхауз были «говоруны», и заставил Байрона смеяться до слез, рассказав ему свою первую встречу с Бентамом, который во время разговора, не окончив начатой фразы, вдруг начинал бегать по лондонской улице, ошеломляя прохожих своим поведением — он считал это полезным для здоровья. Байрон попробовал объяснить Перри греческие затруднения и раздоры в Миссолунги. Это произвело на Перри дурное впечатление; он решил, что Байрон крайне встревожен, почти не верит в успех, но тем не менее хочет идти до конца. «У него было бледное лицо, дергались брови, это было похоже сразу и на беспомощность и на ярость».

Приезд Перри и его людей еще более увеличил беспорядок. Им предоставили здание сераля для того, чтобы устро-

ить там арсенал. Его необходимо было почистить и перенести туда материалы. Но почти каждый день был праздник какого-нибудь святого, а греческие солдаты не очень-то любили даровую работу. Отчаявшийся Байрон кончил тем, что сам, прихрамывая, взялся за уборку. Английские рабочие, посланные комитетом, возмущались грязными помещениями и убожеством Миссолунги. Содержимое пришедшего груза оказалось обманчивым. Знаменитых ружей Конгрэва не было. Немецкие офицеры из артиллерийской бригады были оскорблены тем, что Байрон хочет поставить Перри во главе бригады. Они считали Перри, который даже не был офицером, невежественным человеком; он являлся на учение в фартуке, с молотком в руке.

Байрон прекрасно понимал, что Перри вовсе не стратег, но он обладал по крайней мере здравым смыслом, а Байрон чувствовал себя одиноким. Все, кто окружал его, ненавидели друг друга и ссорились из-за его денег. Он мог надеяться только на Гамба и на своих слуг. Стэнхоп был честный человек, но безумец. С точки зрения Маврокордатоса, победа зависела не от какой-либо предварительной подготовки, а от звериной храбрости. Иностранцы из артиллерийской бригады ссорились из-за первенства. Перри и Байрон были единственными современными солдатами в этой экспедиции.

Мало-помалу, помимо воли, Байрон, который предполагал, что ехал наблюдать, повиноваться тем, кто знает в этом толк, и стать в ряды сражающихся, понял, что ему придется из-за неспособности остальных взять командование на себя. Однако он был слаб для этой роли и понимал это; отвратительный режим, которому он себя подвергал из чувства солдатского аскетизма, изнурял его, и в один прекрасный день его нервы могли не выдержать. Все это было так, но он был «мужчина», и притом единственный. «Сдается мне, что я должен быть командующим, а этот пост, наверно, не синекура. Не знаю, кончится ли это боксом между капитаном и полковником, но только мы с предводителями наших сулиотов, с нашими немецкими баронами и авантюристами всех стран

представляем собою самую прекрасную армию (союзников), которая когда-либо ссорилась под одним знаменем».

До конца февраля он продолжал играть в благодушие. Ездить верхом не мог, так как улицы превратились в трясину, но каждый день катался с Гамба в лодке, и они доезжали до домика рыбака, которого звали Газис. Там Байрона ждали лошади, и он мог проскакать по оливковому лесу. А затем челнок отвозил его назад через лагуну. Солнечные закаты были восхитительны. Он рассказывал Гамба о прошлом, об Абердине, о Ньюстеде, о Кембридже и яхте, на которой в Брайтоне он катал свою первую возлюбленную. Он с прежним удовольствием перебирал блестящие картины своей юности. И Гамба, и Перри — оба были тронуты детской простотой его характера. Как раз против его дома стоял турецкий дом с башенкой, покрытой орнаментами. Каждый раз, когда Байрон выходил из дома, он сбивал пистолетным выстрелом одну из этих завитушек. На звук выстрела на балкон выбегали женщины и осыпали Байрона малоцивилизованными и цветистыми проклятиями. Он был в восторге. Любил спускаться в мощеный зал, который служил казармой сулиотам, и играл там со своей собакой. Это продолжалось целый час, и он повторял:

— Лев, ты гораздо вернее людей... Лев, ты честный малый.

Лев, усевшись на земле, с удовлетворением помахивал хвостом, а Байрон казался счастливым.

Приближалось время, когда было намечено произвести штурм Лепанта. Гамба была поручена реорганизация корпуса сулиотов. В списке значилось много солдат, которых вовсе не существовало. Такие подлоги были древним обычаем этих наемников и обеспечивали предводителям дополнительное приличное вознаграждение. Гамба ввел контроль, но сулиоты были возмущены. Западная точность им не нравилась. Колокотронис в Морее узнал про греческие проекты в Миссолунги и опасался, что в случае успеха могущество его конкурента — Маврокордатоса — усилится. Он послал своих эмис-

саров, чтобы отвлечь сулиотов от Байрона. Распространялись самые нелепые слухи: Маврокордатос собирался продать страну англичанам, лорд Байрон был не англичанин, а турок под вымышленным именем. В момент, когда намечались последние подробности атаки, сулиоты внезапно потребовали, чтобы двое из них были назначены генералами, двое — капитанами и изрядное количество — офицерами. Из трех или четырех сотен сулиотов полтораста должны были получать теперь офицерское содержание. Байрон пришел в ярость и заявил, что не хочет больше иметь никакого дела с сулиотами. 15 февраля он собрал вожаков и объявил, что отправляет их назад. Но он был в отчаянии. Это был конец кампании, на которую он возлагал надежды всю зиму.

Вечером после этого тяжелого дня он разговаривал с полковником Стэнхопом; ему захотелось пить, и он велел принести сидра. Выпил, зашатался и упал на руки Перри. Лицо его исказилось, рот перекосился, и все тело содрогалось в жестоких судорогах. Минуты через две он пришел в себя, и первые слова его были:

— У нас сегодня воскресенье?

Ему ответили утвердительно.

— Ах, — сказал он, — было бы очень странно, если бы это было не так.

Воскресенье было одним из его несчастных дней.

Доктор Бруно хотел оказать ему помощь, но мысль о том, что ему пустят кровь, приводила Байрона, как многих, в неописуемый ужас. Перепуганный Бруно ломал руки, потом поставил ему пиявки к вискам, а затем не мог остановить кровотечение. Тита и Флетчер бросились в госпиталь за доктором Миллингеном, немцем на греческой службе. Тому удалось остановить кровь, однако довольно болезненно. Байрон, еще не совсем придя в себя, пробормотал:

— На этом свете все сплошное страдание.

Гамба, Флетчер, Тита и Бруно теряли голову. Все спрашивали себя, что это был за припадок. Падучая или удар?

Медики думали, что это нечто вроде падучей, продолжение его болезни в Венеции. Но пока они обсуждали этот вопрос (Байрон только что очнулся), им сообщили, что взбунтовавшиеся сулиоты идут к сералю. Ночью Гамба, Перри, Стэнхоп должны были бежать через затопленные улицы, перепрыгивая с камня на камень. Нужно было привести в боевую готовность артиллерийскую бригаду. Двое пьяных солдат проникли в комнату, где лежал Байрон, ослабевший, в полусознательном состоянии. Он не понимал, что они говорят, был один и совершенно беспомощен. Пронзительные крики Бруно около него вырывались из общего шума. В сырой и еле освещенной комнате Байрон, постепенно приходя в себя, смутно видел зияющую пропасть ужаса и общего замешательства. А над всем этим пел нескончаемым басом голос дождя, безостановочно стучавшего по крыше.

Следующая неделя была невеселой. Байрон, с тех пор как при нем произнесли слово «падучая», боялся за свой рассудок. Он продолжал испытывать головокружение и неприятное нервное состояние, походившее на страх, хотя знал, что у него нет никаких оснований для тревоги.

— Вы, может быть, думаете, — сказал он Миллингену, — что я беспокоюсь за свою жизнь? Я от всего сердца питаю к ней отвращение и буду благословлять час, когда от нее избавлюсь. О чем мне жалеть? Какую радость может дать мне жизнь? Я в буквальном смысле слова состарившийся юнец. Едва сделавшись взрослым, я достиг вершины славы. Что до наслаждения, то изведал его во всех видах, в которых оно может проявиться. Я путешествовал, удовлетворил свое любопытство, я утратил все иллюзии... Но боюсь двух вещей, и это меня неотвязно преследует. Я вижу себя медленно умирающим на ложе пыток или оканчивающим свои дни, как Свифт, — гримасничающим идиотом! Молю небо, чтобы пришел день, когда я брошусь со шпагой в руке на турецкий отряд, навстречу мгновенной смерти без страданий.

Письмо леди Байрон, пересланное Августой, в котором она подробно писала о его дочери Аде, пришло тотчас же после его припадка. Байрон обрадовался ему. Аннабелла обращалась без дурного чувства и отвечала на все его вопросы. Он спрашивал ее: «Любит ли девочка общество или предпочитает одиночество? Молчалива она или болтушка? Любит ли читать? Пылкий ли у нее характер? Надеюсь, что боги дали ей все, за исключением поэтического дара, — довольно одного полоумного на всю семью». Ответ успокаивал его: Ада была большого роста, крепкая, предпочитала поэзии прозу, у нее была склонность к механике и любимым ее занятием было строить маленькие кораблики. Увидит ли он когда-нибудь этих трех женщин?

«Дорогая моя Августа, — писал он, — вот уж несколько дней, как я получил ваше письмо и записку леди Байрон о здоровье Ады, и я вам очень признателен, потому что это было мне большой поддержкой, а я нуждаюсь в поддержке, так как недавно был болен».

Через четыре дня после несчастья с Байроном лейтенант Сасс, прекрасный шведский офицер, был убит одним из сулиотов, которому он хотел помешать проникнуть в арсенал. Простое недоразумение между двумя людьми, которые говорили на разных языках, но это вавилонское столпотворение становилось кровавым.

Убийство Сасса сильно подействовало на мужество английских пиротехников. Грязь и нищета Миссолунги, землетрясения и варварские войска чрезмерно тревожили их. Теперь ими овладело паническое настроение, и они просили отправить их обратно в Англию. Байрон попытался успокоить их, но полковник Стэнхоп сказал, «что он не мог бы поручиться за то, что их жизнь находится в безопасности».

— Хотел бы я знать, — ругался Байрон, — где это жизнь человеческая находится в безопасности, здесь или где бы то ни было?

Один из механиков, методистский пропагандист, приехал с изрядным запасом Библий на новогреческом языке. Уез-

жая, он поручил Байрону свой драгоценный багаж с просьбой распространить книги между греками, что Байрон добросовестно исполнил. Он находил какой-то трагический юмор в том, что всякого рода ответственность, военная, политическая, религиозная, одна за другой поручалась его слабым силам.

Жители Миссолунги, также перепуганные убийством Сасса, просили о высылке сулиотов. Чтобы добиться их отъезда, следовало выплатить им остаток жалованья — три тысячи долларов. Разумеется, Байрону пришлось отдать эту сумму. За три месяца он истратил в Миссолунги пятьдесят девять тысяч долларов, а что из этого вышло? «Нет больше сулиотов, чтобы охранять склады вооружения, нет рабочих, чтобы изготовлять снаряжение, нет снаряжения, чтобы вооружить солдат, и нет солдат, которые могли бы воспользоваться вооружением, если бы его и могли производить. Я начинаю думать, — признался Байрон Гамба, — что я ничего здесь не делал, кроме того, что терял время, деньги, терпение и здоровье. Однако я был готов к этому; знал, что наш путь не будет усеян розами, я должен был знать, что встречу разочарование, клевету и неблагодарность».

Полковник Стэнхоп, который был нелепым, но справедливым человеком, признавал, что Байрон ведет себя с твердостью, достойной удивления. Он написал комитету, и Хобхауз сказал снисходительно:

— Он всегда был таков в критические моменты.

Байрон даже остался верным своей любви к школьническим проделкам. Перри был напуган землетрясением; Байрон спустя несколько дней после землетрясения устроил искусственную катастрофу. Пятьдесят человек, спрятавшись в погребе, начали по приказанию Байрона раскачивать дом, который, будучи довольно ветхим, зашатался, в то время как в верхнем этаже, чтобы дополнить впечатление, перекатывали тяжелые предметы. Перри бежал, и Байрон был очень доволен.

Но нередко, несмотря на весь свой юмор, он терял присутствие духа. В его жизни всегда осуществлялся некоторый ритм: мужественная атака против всего света, а затем упадок

сил, разочарование, когда свет возвращал ему удары с непреодолимой силой. Как проделать нужную работу с людьми, которые приходят в ужас от нее? Положение в городе было ненадежное. Земляные укрепления находились в плохом состоянии, и их нужно было перестроить. На валах были старые турецкие пушки, которые нетрудно было бы привести в готовность. Маленький островок, закрывавший вход в лагуну, был еле укреплен. Что, если турецкий корабль захватит островок и пошлет несколько канонерок в лагуну? Этого будет достаточно, чтобы взять Миссолунги. Байрон и Перри понимали опасность и старались что-нибудь сделать. Но Маврокордатос, нерешительный, медлительный, не мог заставить своих людей работать. То не хватало денег, то был праздник какого-нибудь святого, то вожди не могли сговориться друг с другом. Когда греки говорили, что им неплохо было бы иметь короля, Байрон иногда подумывал, что это не лишено основания. Но Стэнхоп, который мечтал устроить у них конституцию на манер швейцарских кантонов, оскорблялся этим.

В конце концов, единственным радостным событием за эти тяжелые дни был отъезд «типографского» полковника. Он уехал в Афины, не преминув основать новый двухнедельный журнал — «Греческий телеграф» — на трех языках. В Афинах, в штабе Одиссея, он встретил Трилони, который стал еще более бандитом, чем когда-либо. Он присвоил себе сулиотский наряд и завел гарем из десятка женщин; сам Одиссей подарил ему одну из своих сестер. После этой женитьбы Трилони воспылал нежнейшими чувствами к старому атаману разбойников.

— Необычайное существо! — говорил он. — Храбрый, умница, благородный.

Одиссей, который умел пользоваться человеческими слабостями, применил эту тактику и к Стэнхопу. Он нашел швейцарскую конституцию безукоризненной, издевался над титулом принца Маврокордатоса и, казалось, живо заинтересовался доктринами Бентама. Стэнхоп писал Байрону:

«Я все время провожу с Одиссеем. Это человек большого ума и доброго сердца, он так же храбр, как его шпага. Все надежды он возлагает на народ. Он защитник сильного государства с конституционными правами. Открыл здесь две школы и позволил мне устроить типографию».

Трилони и Стэнхопу очень хотелось устроить в Салоне совещание между Одиссеем и Маврокордатосом. Возможно, там удалось бы примирить их, и, конечно, они бы предложили в таком случае Байрону титул верховного правителя Греции.

Байрон был польщен. Недоверчивый Маврокордатос опасался, что единственной целью Одиссея в этом случае было завлечь его в засаду и взять под свой надзор Байрона. Но Байрону очень хотелось устроить это свидание. Ему необходимо было вырваться на несколько дней из кошмара Миссолунги: беспрестанные просьбы о деньгах, недовольство пайком, хлеб такого дурного качества, что Байрон говорил: «Придется все-таки добыть булочника вместо кирпичника, который его выпекает»; угроза чумы, нападения на город соседних племен! В этом аду он сохранял мужество, но нервы его были до крайности напряжены.

9 апреля он получил письма из Англии с хорошими новостями по поводу греческого займа: подписка достигла двух с половиной миллионов, можно было организовать новую артиллерийскую бригаду и пехотный корпус в две тысячи человек. В этот день, развеселившись новостями из Англии, он решил поехать верхом с Гамба, хотя погода была ужасная. В трех милях от города их застал дождь. На обратном пути, когда они приехали к хижине рыбака Газиса, где их ждала лодка, Гамба сказал, что ехать в лодке и сидеть неподвижно в мокрой одежде небезопасно и что на этот раз умнее было бы ернуться верхом.

— Хороший буду я солдат, — сказал Байрон, — если стану обращать внимание на такие пустяки.

Они оставили лошадей и доплыли до Миссолунги на лодке.

Через два часа Байрона охватил озноб, он жаловался на лихорадку и на ревматические боли. Вечером, когда пришел Гамба, он уже лежал.

— Мне очень плохо, — произнес он, — смерть мне безразлична, но я не в состоянии переносить страдания.

Наутро он послал за Перри и рассказал ему об успехе займа: они вместе подготовили план финансирования летней кампании. Байрон имел намерение оплачивать из собственных средств артиллерийский корпус, снарядить два судна и купить горные пушки. Вечером, хотя его лихорадило, он весело разговаривал с доктором Миллингеном. Потом он задумался и вспомнил предсказание миссис Вильямс. Когда гости стали упрекать его в суеверии, он ответил:

— Я нахожу, что одинаково трудно знать, чему надо верить и чему не надо верить на этом свете.

Ночью он позвал Бруно и сказал, что его знобит. Бруно, а затем Миллинген предложили ему пустить кровь, но он отказался, сказав:

— Неужели у вас нет другого средства? Люди чаще умирают от ланцета, чем от пики.

Миллинген заметил ему, что пускать кровь опасно при нервном заболевании, но не при высокой температуре.

— Кто же тогда нервный человек, — ответил он, разозлившись, — если не я? Пускать кровь нервному больному — это вроде того, как если бы вы распустили струны музыкального инструмента, который и без того фальшивит, так как струны плохо натянуты. Вы сами знаете, какая у меня была слабость перед тем, как я заболел. Если вы мне пустите кровь, вы увеличите еще эту слабость и непременно убьете меня.

Грозный ураган, соединенный с сирокко, окутал Миссолунги. Шли проливные дожди. Перри, который видел, что Байрон серьезно занемог, думал отправить его в Зантэ, где бы за ним лучше ухаживали, но должен был отказаться от этого, так как ни один корабль не мог выйти в море. В продолжение нескольких дней медики настаивали, что его болезнь — про-

студа, в которой нет ничего серьезного. Флетчер был другого мнения.

— Я уверен, милорд, — говорил он, — что у вас никогда не было еще такого припадка.

— Я тоже так думаю, — сказал Байрон.

15 апреля у него был длинный разговор с Перри.

— У меня очень странные ощущения, — сказал он, — но с головой сегодня получше: мрачных мыслей больше нет, и я думаю, что поправлюсь. Я совершенно спокоен, но иной раз на меня находит меланхолия.

Потом он сказал:

— Я уверен, что счастье — это семейный очаг. Нет на свете человека, который так уважал бы добродетельную женщину, как я, и перспектива вернуться в Англию и жить с моей женой и Адой рисует мне картину такого счастья, какого я никогда не знал до сих пор. Тихая пристань будет хороша для меня, вся жизнь моя была океанской бурей.

Потом он заговорил о Тита, который в продолжение нескольких дней не покидал его комнаты, о Бруно, которого он любил, но находил слишком суетливым. Он говорил и о религии:

— Вы не можете представить себе, какие странные мысли идут на ум, когда меня мучает лихорадка. Я представляю себе, что я еврей, магометанин, христианин всевозможных сект. Вечность и пространство встают передо мной, но насчет этого, слава богу, я спокоен.

За ночь лихорадка и возбуждение усилились: он бредил. Миллинген и Бруно, угрожая ему неизбежностью мозговых явлений, в случае если он не позволит пустить себе кровь, добились его согласия. Он бросил им взгляд исподлобья, взгляд, который во времена «Чайльд Гарольда» заставлял вздрагивать женщин в лондонских гостиных, — и сказал, подставляя руку:

— Ладно! Вы — проклятая банда мясников! Вылейте из меня столько крови, сколько вам нужно, и отвяжитесь.

17 апреля ему пускали кровь дважды. Он умолял докторов не мучить его бесконечными требованиями крови. Тита,

перепуганный бредом своего хозяина, убрал пистолеты и кинжалы, которые всегда лежали около постели. Гамба, который не мог прийти посидеть около него накануне, ужаснулся, увидав, как он изменился. Слезы так и полились у него, и он должен был выйти. Вокруг кровати было полное смешение языков. Бруно и Тита говорили только по-итальянски, Флетчер и Перри — только по-английски, греческих слуг не понимала ни одна душа. Байрон без конца пил лимонад и время от времени поднимался с помощью Флетчера и Тита. Его больше всего преследовала мысль о том, что он не может заснуть.

— Я знаю, — говорил он Флетчеру, — что человек, лишенный сна, должен либо умереть, либо сойти с ума. Я не боюсь смерти. Я готов умереть, и гораздо больше готов, чем многие могли бы поверить.

18 апреля был консилиум четырех докторов — Миллингена, Бруно, Трейбера (ассистента Миллингена) и Лукки Вайа, медика Маврокордатоса. Это было в воскресенье, на Пасху. Жителей городка просили не шуметь. И вместо того чтобы бросаться друг к другу с традиционным «Христос воскрес!», жители Миссолунги спрашивали один другого: «Как здоровье лорда Байрона?» В этот день у них был обычай палить из ружей; было решено, что Перри уведет на некоторое расстояние артиллерийскую бригаду и заставит ее проделывать некоторые упражнения, чтобы отвлечь жителей из этой части города. Патрули ходили по улицам, чтобы вокруг дома соблюдали тишину. Мнения медиков разделились: Бруно и Лукка Вайа предлагали употребить средства, применяемые в случае тифа, тогда как Трейбер и Миллинген хотели снова ставить пиявки и горчичники, но были против того, чтобы снова пустить Байрону кровь, как того хотел Бруно.

— Ваши усилия спасти мне жизнь, — сказал Байрон Миллингену, — останутся тщетными. Я должен умереть. Я не жалею о жизни, потому что приехал в Грецию для того, чтобы окончить мое тягостное существование. Я отдал Греции мое время и деньги. Теперь я отдаю ей мою жизнь.

Во время этого пасхального дня он все же смог прочесть несколько писем и даже перевести одно, написанное по-гречески, от депутата Луриоттиса. После полудня окружающие поняли, что конец приближается. Флетчер и Гамба должны были выйти, они плакали. Тита остался потому, что Байрон взял его за руку, но отвернулся, чтобы не видно было, как он плачет. Байрон внимательно взглянул на него и, едва улыбнувшись, сказал по-итальянски:

— Che, questa è una bella scena!* — И тотчас же начался бред. Байрон, словно бросался в атаку, кричал по-английски, по-итальянски: «Вперед! Не робеть! Следуйте моему примеру! Не бойтесь!»

В минуты просветления он понимал, что умирает. Он сказал Флетчеру:

— Сейчас это уже конец; я вам должен сказать все, не теряя ни минуты.

— Принести перо, чернила и бумагу, милорд?

— О, боже мой, нет! Вы потеряете слишком много времени, а его нет у меня; мне недолго осталось жить. Теперь слушайте внимательно... ваше будущее будет обеспечено...

— Я прошу вас, мой лорд, перейти к более важным вопросам.

Байрон сказал тогда:

— Мое бедное, милое дитя — моя Ада, дорогая! Бог мой, если бы я только мог ее увидеть, благословить ее, и мою дорогую сестру Августу, и ее детей... Поезжайте к леди Байрон и расскажите ей все — вы с ней поймете друг друга...

В этот миг он казался чрезвычайно взволнованным. Голос его срывался, и Флетчер только временами мог уловить то одно, то другое слово. Байрон в течение некоторого времени что-то шептал, но разобрать ничего нельзя было. Затем, повысив голос, он сказал:

— Флетчер, если вы не исполните всего, что я вам сказал, я вернусь, если смогу, чтобы вас мучить...

* О, какая прекрасная сцена! *(ит.)*

Он знал мнительный и суеверный характер Флетчера, и, конечно, эта угроза была последним слабым проблеском веселого Байрона. Потрясенный Флетчер отвечал, что он не понял ни одного слова из того, что его светлости угодно было сказать.

— О, боже мой, — простонал Байрон, — тогда все потеряно, сейчас уже слишком поздно! Может ли это быть, чтобы вы ничего не поняли!..

— Нет, мой лорд, но я вас прошу, повторите то, что вы сказали.

— Не могу, слишком поздно, все потеряно...

— Да исполнится воля Господня, а не наша, — сказал Флетчер.

А Байрон, пытаясь сделать новое усилие, произнес:

— Да, и не моя, — но я попробую...

Он несколько раз пытался говорить, но смог только повторить:

— Моя жена — мое дитя... моя сестра... вы все знаете, вы должны все сказать, вы знаете все, чего я хочу...

Вслед за этим снова стало невозможно понять, что он говорит. Он называл имена и цифры, он говорил по-английски и иногда по-итальянски. Вдруг он произносил:

— Бедная Греция, бедный город, мои бедные слуги!

Потом:

— Почему я не знал об этом раньше? — И еще: — Мой час пришел! Я не боюсь смерти, но зачем я не побывал у себя перед тем, как приехать сюда?

Потом он сказал по-итальянски:

— Io lascio qualche cosa di caro nel mondo...*

Около шести часов вечера он сказал:

— Я хочу заснуть. — Повернулся и заснул глубоким сном, от которого уже не проснулся.

Казалось, он был не в состоянии двинуть ни одним членом, но те, кто смотрел на него, замечали симптомы удушья.

* Я оставляю что-то дорогое в этом мире... *(ит.)*

Хрип слышался в его горле. Время от времени Флетчер и Тита поднимали ему голову. Медики ставили пиявки, чтобы вывести его из этой летаргии. Кровь текла по лицу. Он оставался в этом состоянии двадцать четыре часа. Вечером 19 апреля, в сумерки, Флетчер, который бодрствовал около своего хозяина, увидел, как он открыл глаза и закрыл их тотчас же.

— Боже мой! — воскликнул Флетчер. — Я боюсь, что его светлость скончался!

Доктора попробовали пульс.

— Вы правы: он мертв!

Через несколько мгновений невероятная буря разразилась над Миссолунги. Спускалась ночь, молнии и удары грома неслись друг за другом во тьме. Краткое пламя молний рисовало вдали над лагуной темные очертания островов. Ливень, подхлестываемый ветром, бился в окна домов. Солдаты и пастухи еще не знали горестной вести, но они верили, как и предки их, что знамения сопровождают смерть героя, и, слыша невероятные раскаты грома, они говорили друг другу:

— Байрон умер!

ЭПИЛОГ

«В мелочах нашего существования бывают иногда удивительные совпадения, — говорит Стерн, — и я это часто наблюдал»

Байрон

За несколько часов до смерти Байрона из Англии прибыл пакет с письмами. Похвалы Стэнхопа, свидетельства греческих депутатов, приехавших в Лондон по поводу займа, наконец убедили Хобхауза в серьезности его друга. «Само провидение, — сказал один из греков, — послало этого человека нам на помощь». Хобхауз писал теперь своему «милому мальчику» с уважением:

«Ваше имя и достоинства превзойдут имена и заслуги всех современников. Могу вас уверить, что весь мир думает подобно мне... Ваш теперешний поход, несомненно, самый славный из всех, когда-либо затеянных человеком. Кэмпбелл говорил мне вчера, что он завидует тому, что вы делаете теперь (и вы можете этому поверить, так как он очень завистливый человек), гораздо больше, чем всем вашим лаврам, как они ни были прекрасны».

Итак, Англия простила. Но Байрон уже задыхался на руках у Флетчера, и письма остались нераспечатанными около его постели.

Вечером Маврокордатос издал приказ. Назавтра, на заре, пушки большой батареи должны выпалить тридцать семь раз, «это было число лет великого усопшего». Греки хотели соорудить Байрону гробницу в Пантеоне или в храме Тезея. Доктор Миллинген подтвердил, что умирающий просил оставить его кости истлеть в каком-нибудь уголке греческой земли. Но Перри и Флетчер, стоявшие к нему более близко, клялись, что получили противоположные приказания. Решили, что тело будет набальзамировано и отправлено в Англию.

Четыре робких, посредственных медика, которые лечили Байрона, собрались у его ложа. Перед тем как начать вскрытие, они залюбовались на минуту необыкновенной красотой его лица. Естественно вьющиеся волосы были совсем седые; лицо сохраняло саркастическое и надменное выражение. Когда вскрыли череп, они поразились тому, что мозг оказался, как у очень старого человека. Твердая оболочка мозга приросла к костяному покрову и вся была воспалена. Мягкая оболочка, налитая кровью, была похожа на воспаленную сетчатку глаза. Сердце и печень оказались в дурном состоянии. Медики пришли к заключению, что, если бы лорд Байрон и одолел эту болезнь, он все равно прожил бы недолго.

Наутро зловещая тишина нависла над городом. Дождь лил с такой силой, что торжественные похороны пришлось отложить на следующий день. 22 апреля гроб (солдатский гроб из простого дерева) был перенесен в церковь. На гроб была наброшена черная мантия, на ней лежали шпага и лавровый венок. Бедность убранства, грустные лица воинов-дикарей, толпившихся в церкви, — все это, по словам Гамба, создавало одну из самых волнующих сцен, которую когда-либо приходилось видеть около гроба великого человека.

14 мая Хобхауз был разбужен ужасным стуком в дверь. Он встал. Это была записка от Киннера, извещавшая о смерти Байрона. В пакете было несколько писем: одно от Гамба, другое от Флетчера, адресованное его жене, миссис Ли и капитану Джорджу Энсону, ныне седьмому лорду Байрону. Потрясенный Хобхауз отправился к Августе, передал ей письмо

Флетчера и, выслушав это безыскусственное повествование, погрузился в такую скорбь, что не в силах был владеть собой. Однако у него все-таки нашлось столько присутствия духа, что он посоветовал миссис Ли не публиковать ту часть письма, где говорилось о том, что после припадка падучей Байрон каждое утро клал Библию на свой стол. «Я боялся, — говорил Хобхауз, — чтобы эта маленькая подробность, которая так понравилась его лакею, не была принята за трусость или лицемерие. Охотно верю, что Библия действительно лежала на столе. Я припоминаю, что давно видел Библию около его постели, ее подарила сестра, но если, по крайней мере, его рассудок не был затронут болезнью, я уверен, что он не пользовался ею ни с какими суеверными целями. Он часто мне говорил: «Может быть, это и верно». Это, как говорит д'Аламбер, великое «может быть», но мне кажется, что он скорее склонялся к противоположному убеждению, когда я его видел в последний раз в Пизе».

Августа пообещала. Она всегда обещала, но передала новость об обращении Байрона его другу Ходжсону. «Великое утешение для меня, — говорила она, — знать, что бедного дорогого Байрона взяли от нас, чтобы избавить его от будущих испытаний и соблазнов. Мне сказали, что Флетчер сообщает, что за последний год его рассудок и его чувства изменились к лучшему. Он выражал сожаление о том, что написал «Дон Жуана» и другие преступные сочинения. Я считаю невозможным, чтобы Флетчер, который прожил с ним двадцать три года и который близко знал его привычки, мог придумать это без серьезных оснований. Видите ли, дорогой мистер Ходжсон, этот Хобхауз и его клика воображают, если будет сообщено, что он в последние минуты исполнял религиозные обряды с бóльшим вниманием, чем ранее, то враги Байрона (у которых вовсе нет никакой религии) скажут, что он стал методистом. Но пусть они говорят все, что им угодно, а для нас это первое утешение знать, что он так поступал». Так живые пользовались мертвым для удовлетворения своих страстей.

Капитан Джордж Байрон был послан к леди Байрон, чтобы предупредить ее. Вернувшись, он рассказал, что она находится в самом безутешном состоянии и хотела бы услышать рассказ о его последних минутах. Хобхауз и Киннер провели вечер вместе, вспоминая своего друга. Они вспоминали его магическое влияние, распространявшееся на всех, с кем он сближался, его скрытую чувствительность, его упорство в нежелании отдаться чувству.

Вся Англия в этот вечер интересовалась только Байроном. «Среди молодежи в то время, — говорит Эдуард Бульвер Литтон, — наблюдалось стремление покинуть Байрона ради Шелли и Вордсворта, но с того момента, как мы узнали, что его уже нет, почувствовали, что с ним и у него больше не было соперников. Столько из нас мучилось и погибало вместе с ним, что сама мысль о его смерти казалась противоестественной и немыслимой». Джон Уэлш писал Томасу Карлейлю: «Если бы мне сказали, что солнце и месяц исчезли с неба, то и тогда у меня не было бы такого ощущения пустоты во вселенной, какое произвели на меня эти два слова: Байрон умер». Теннисон, которому тогда было пятнадцать лет, убежал в чащу под обрыв и на камне среди мхов и папоротников написал: «Байрон умер».

Во Франции многие молодые люди надели креп на шляпы. В пассаже Фейдо была выставлена картина, изображавшая Байрона на ложе смерти, возле которой теснилась толпа. Во многих газетах отметили, что два самых крупных человека этого столетия, Наполеон и Байрон, исчезли почти в одно и то же время. В колледжах старшие собрались в кружок и провели грустный и трогательный день, перечитывая «Чайльд Гарольда» и «Манфреда».

Каролина Лэм тотчас же потребовала свои письма, но у Хобхауза были другие заботы. Еще в первый раз, посетив Августу, чтобы сообщить о смерти ее брата, он сказал:

— Теперь первое, о чем мы должны подумать, — это репутация Байрона, существуют эти его воспоминания...

Издатель Меррей купил их у Мура за две тысячи гиней, но Хобхауз боялся, как бы из-за ужасной искренности Байрона опубликование их не стало опасным. Киннер предложил выкупить их для семьи. Меррей явился к Хобхаузу и сказал, проявив полное бескорыстие, что он примет решение друзей Байрона, даже если ему и не смогут заплатить. Августа, весьма осмотрительная, выразила желание, чтобы мемуары не только не были напечатаны, но и были уничтожены. Хобхауз одобрил. Мур долго протестовал, говоря, что это было бы противно воле Байрона. Он предлагал их сохранить, запечатав, если нужно, и вручить доверенному миссис Ли, но потом, под давлением всех остальных, в конце концов уступил. Меррей хотел, чтобы рукопись прочли прежде, чем уничтожить, но Августа так страстно протестовала, что рукопись была сожжена. Газеты уже обвинили в этом леди Байрон, с которой никто и не советовался.

1 июля Хобхауз узнал, что бриг «Флорида», который вез прах Байрона из Греции, прибыл. Он явился на борт и встретил Стэнхопа, Бруно и Флетчера. Флетчер, рассказывая о болезни и последних минутах своего хозяина, заливался слезами. Судно медленно поднималось по Темзе. Три собаки, принадлежавшие покойному, играли на палубе. Хобхауз вспомнил тот день, когда Байрон махал своей каскеткой, и корабль, уносивший его в изгнание, плыл по бурному морю из Дуврского порта. Флетчер и Стэнхоп рассказывали о Миссолунги, лагуне, бунтующих солдатах, о дожде.

Судно стало на якорь в лондонских доках. Устроитель погребальных процессий мистер Вудсон поднялся на борт и опорожнил большой сосуд со спиртом, в котором привезли тело. Он спросил Хобхауза, не хочет ли тот еще раз взглянуть на своего друга. «Мне кажется, — говорил Хобхауз, — что я упал бы мертвым, если бы это сделал. Меня тянуло бросить последний взгляд, как тянет прыгнуть в бездну, но я не мог... Я ушел, потом опять вернулся и долго оставался около гроба. Большой ньюфаундленд Байрона, Лев, улегся у моих ног...»

Флетчер продолжал рассказывать о своем хозяине и сказал Хобхаузу, что Байрон любил его больше всех на свете.

Когда гроб сносили с корабля, толпа зрителей хлынула на берег. Лафайет, который отъезжал в Америку, просил показать тело, но ему было отказано. Августа, у которой хватило храбрости посмотреть, сказала, что его нельзя узнать. Она помнила Байрона 1816 года, с лицом, искаженным страданием, — она увидела холодную маску, выражавшую насмешливое спокойствие. И Хэнсон сказал, что не узнает его. Когда, в свою очередь, пошел Киннер, Хобхауз, влекомый неодолимым чувством, шел за ним мелкими шагами, пока тот не открыл лицо.

У леди Байрон спросили, каковы будут ее распоряжения в отношении похорон. Она ответила, что Хобхауз может поступать, как ему угодно. Настоятель Вестминстера отказал в погребении в аббатстве. Друзья Байрона решили похоронить его в маленькой церкви в Хакнолл-Торкард, в селе рядом с Ньюстедом, где были погребены все его предки.

Печальный кортеж двинулся по дороге Ноттингема. Из окна маленького дома в предместье две женщины смотрели на него: Клер Клермонт и Мэри Шелли. Навстречу из парка выехала коляска, в которой лежала больная женщина; коляска остановилась, чтобы пропустить процессию. Муж больной, ехавший впереди верхом, спросил, кого хоронят. Из кортежа ответили: «Лорда Байрона». Он поостерегся передать это тотчас же своей жене, ибо это была Каролина Лэм.

В Ноттингеме мэр, советники, старые друзья, Ходжсон и Уильдмэн — весь город присоединился к процессии, медленно направлявшейся в Ньюстед. Пересекли поляны, где Байрон с Мэри Чаворт скакали верхом в детстве. Год тому назад, как раз в этот день Байрон, входя в последний раз в Каза-Салюццо, грустно сказал Гамба: «Где-то мы будем через год». — Проходя у подножия холма, увенчанного купой деревьев, Хобхауз вспомнил обед в Эннсли, на котором он был одним из свидетелей первой встречи Байрона с замужней Мэри Энн.

Несколько дней спустя Флетчер явился к леди Байрон. Она выслушала его рассказ, ходя взад и вперед по комнате и рыдая так, что содрогалось все тело. Минут двадцать она умоляла Флетчера вспомнить о том, что Байрон, умирая, пробормотал для нее. «Хотя бы несколько слов...» Но Флетчер ничего не мог прибавить.

Завещание Байрона передавало Августе и ее детям все его состояние (более ста тысяч фунтов); шестьдесят тысяч фунтов по контракту возвращались леди Байрон. Новый лорд, капитан Джордж Энсон Байрон, был в стесненных обстоятельствах. Аннабелла предложила отказаться в его пользу от вдовьей части, так как она с дочерью должны были получить наследство Ноэлей. Он принял ее предложение, так как иначе у него не было возможности поддержать свой титул.

Августа в два года растранжирила громадное наследство. Ей пришлось платить бесчисленным кредиторам, покрывать карточные долги мужа, а также и сыновей, которые оказались достойными своего папаши. Кроме того, она была постоянным объектом угроз шантажистов. Ей угрожали опубликовать интимный дневник Каролины Лэм, содержавший признание Байрона по поводу миссис Ли. Во всех трудностях ей помогала леди Байрон, относившаяся к ней с почти невероятной снисходительностью. Все же в 1829 году Августа истощила терпение своей невестки, и они перестали встречаться. Весь остаток своей жизни леди Байрон посвятила благотворительности. Она основала в своем доме школу на кооперативных началах, где дети без различия происхождения обучались вместе. «Касты — это позор для Англии, как и для Индостана», — говорила она. Впоследствии она занялась индустриальными и сельскохозяйственными школами. До конца оставалась великодушной и славилась своим неослабевающим воодушевлением. К концу жизни у нее была близкая дружба с одним пастором, Робертсоном, который стал ее наперсником. Она рассказывала ему о Байроне то, что раньше решалась только писать для себя в дневнике: «Байрон не был скептиком... Его бог был богом мести... Контраст, который, как

ему казалось, существовал между ним и мной, делал меня объектом его ужасной ярости... Сознавая слабость собственного характера, он, естественно, ревновал к характеру совершенно противоположному или к такому, который ему таким казался...»

«Но хоть это и покажется диким после всего, что я вам рассказывала, я все-таки повторяю, что всегда в глубине его души жило существо более высокое и более достойное... Существо, которое он всегда подавлял, но никогда не мог уничтожить... Тогда с моей стороны это могло быть иллюзией, порожденной любовью, но мое убеждение на этот счет и сейчас осталось неизменным».

«К концу его жизни чувства по отношению ко мне становились мягче. Если бы он не умер, то понял бы, что с самого начала и до конца я была его единственным преданным другом. Но этого не было дано!»

Итак, и она, как Байрон, мечтала о мирной старости.

Она писала Робертсону об Августе: «Я считала миссис Ли моим другом, любила ее — люблю и сейчас. Я не могу запретить себе этого. Я еще увижусь с ней в этом мире, пока не умрем обе. Мне говорили, что это недостаток силы, нравственных принципов, — моя неспособность оторваться от существа, которое я нахожу недостойным. Возможно, что это и так, но такова моя природа. Виновата ли я?»

Они увиделись «еще раз в этом мире». В 1851 году (леди Байрон было пятьдесят девять лет, Августе шестьдесят семь). Эмили Ли, крестница леди Байрон, рассказала ей о нищете, в которую впала миссис Ли, больная, обремененная долгами. Аннабелла предложила свидание в Уайт-Харт-Отеле в Рейгэте. Миссис Ли явилась на это свидание. Леди Байрон встретила ее, вооруженная записной книжкой: «Где... Когда... Моя линия поведения...» Но Августа, как всегда, была уклончива и неопределенна; они расстались, не помирившись. Шесть месяцев спустя Августа была при смерти (она была в такой нищете, что продавала некоторые письма Байрона). Аннабелла явилась узнать о ней и дала денег: «Я на-

писала Эмили, которая оставалась одна около этого ложа смерти, прося ее прошептать от меня два добрых слова, которые уж давно не произносились... Dearest Augusta... Я узнала, что эти слова вызвали у нее давно иссякшие слезы и что она прошептала: «Радость... мое самое большое утешение...» и просила передать еще что-то, чего нельзя было понять. Второе непонятное предсмертное поручение!».

Последние годы жизни леди Байрон были невеселы. В 1852 году она лишилась своей единственной дочери, леди Ловлэс, на следующий год — своего друга, пастора Робертсона. Она стала носить прозрачный вдовий чепец на седых, отливающих серебром волосах. Внуки любили расчесывать ее длинные волосы, которые доставали до пола, когда она сидела. Аннабелла умерла в 1860 году. Она не хотела, чтобы ее погребли ни в Хакнолле, где лежали Байрон и его дочь, ни с ее предками в Киркби, а одну — на лондонском кладбище.

Когда Аде, дочери Байрона, исполнилось пятнадцать лет, ее тетка Августа прислала ей красиво переплетенный молитвенник. На другой год леди Байрон в первый раз прочла ей поэму ее отца «Гяур», которая ей понравилась, и стихи Fare thee well, которые она нашла напыщенными и искусственными. Впрочем, ее дарования были не поэтическими, а скорее метафизическими и математическими. Она перевела и прокомментировала «Замечания» Менабра об аналитическом аппарате мистера Баббеджа. Это была красивая женщина, несколько эксцентричная, с музыкальным голосом отца. Двадцати лет она вышла замуж за лорда Кинга, который стал впоследствии графом Ловлэс.

Баббедж стал ее несчастьем. Изучая его, она изобрела систему безошибочной игры на скачках. Безошибочность была у нее наследственной иллюзией. Она стала проигрывать, но не сдавалась, и проиграла наконец такую громадную сумму, что не осмелилась сказать об этом мужу. Ее выручила мать; но, больная, отчаявшаяся, Ада умерла в 1852 году тридцати шести лет и нескольких месяцев, как и отец. По ее просьбе она была погребена около него, в церкви Хакнолла.

Жизнь Медоры была еще более печальной. В 1826 году ее старшая сестра, Джорджиана Ли, вышла замуж (как ее мать, как все Байроны) за своего двоюродного брата, Генри Треваньона. Три года спустя он соблазнил свою юную свояченицу Медору, и она родила от него ребенка, который умер у кормилицы. Августа, которой Треваньон во всем покаялся, написала Медоре, что она понимает «слабость человеческой природы и силу соблазна», но этой истории надо положить конец.

Треваньон и Медора уехали во Францию и жили некоторое время в Нормандии под именем господина и госпожи Обэн. Затем Медора, раскаявшись, порвала с ним и решила уйти в бретонский монастырь, аббатство Релек. Пробыв там месяц, она обнаружила, что опять беременна. Снова вернулась к Треваньону, в замок Пенхот в Финистере, где и родила дочку Марию, которая была окрещена католическим пастором. Как и ее отец, лорд Байрон, Медора была привлечена строгостью римской церкви.

Жизнь с Треваньоном стала невыносимой. Он привел в дом новую любовницу и требовал, чтобы Медора им прислуживала. Она умоляла о помощи свою мать, от которой получила капитал в три тысячи фунтов (эти деньги Байрон передал Августе в день рождения Медоры), но этот капитал был неприкосновенным; а так как она нуждалась в наличных деньгах, ей пришло в голову написать леди Байрон. «Я получила очень отзывчивое письмо, деньги и предложение помочь мне и моей дочери Мэри». Леди Байрон, которая в это время путешествовала по Франции, предложила Медоре приехать к ней в Тур с дочерью и взяла ту и другую на свое содержание.

Медора оказывала на леди Байрон странное и неотразимое действие. В третий раз несчастная Аннабелла попадала под власть байронического очарования. Очень скоро она открыла Медоре причину глубокого интереса, который та ей внушала. «Ее муж был моим отцом». Леди Байрон, которая ненавидела имя Медоры, называла свою племянницу Элизабет и просила молодую женщину называть ее Пип, как ког-

да-то называл ее человек с таким же, как у нее, лицом. Медора была похожа на Байрона. Находясь в комнате, она разглядывала входящих, поворачивая и наклоняя голову с беспокойством, как делал ее отец. Даже стиль писем напоминал байроновский. Они начинались словами: «Dearest Pip». «Мой дорогой Пип, — писала она, — я думаю, что уеду из Лондона в субботу, потому что не могу отправиться в путешествие в пятницу». Странная галлюцинация.

Но счастье было непереносимой средой для дочери Байрона. «Злополучие — это ее лучший друг, — должна была признать Аннабелла, — и она не может выносить доброты». Очень скоро яростные сцены стали напоминать Эльнеби. Затем она сбежала в Париж. Там, не обладая способностью молчать, многим разболтала секрет своего рождения. «Вследствие беспорядочности и неосторожности ее матери к ней в руки попала пачка писем, черновиков и копий с писем, откуда было ясно, что она — плод греха». Беррье, который стал ее поверенным, написал леди Байрон, что содержание, выплачиваемое ей семьей (сто пятьдесят фунтов), было недостаточным. Байрон, большой любитель совпадений, заметил бы, что это была в точности рента, на которую его мать должна была жить в Абердине.

Содержание было увеличено при условии, что шкатулка с бумагами будет передана поверенному, сэру Джону Хьюзу, что и было сделано. Но Медора не умела вести себя спокойно: забрала свое содержание за несколько лет вперед и очутилась в нищете. Она жила тогда в Сен-Жермене. Поместила свою дочь Мэри в благотворительный приют и поступила на службу к командиру 8-го гусарского полка Граммону. Денщик командира Жан Луи Тайфер влюбился в нее. Но не мог жениться, потому что в то время это было запрещено для простого солдата на действительной военной службе. Но так как она ждала от него ребенка, послал ее на свою родину в Сен-Африк (в Авейроне), чтобы она там родила.

Там родился Жан Мэри Эли Тайфер, внук Байрона, признанный своим отцом и узаконенный в 1848 году женитьбой

Тайфера на Медоре. Интересно и трогательно отметить, что жизнь Медоры описывает ту же кривую, что и жизнь Байрона: за периодом страсти и вызова идет период искупления. Ставши фермершей в Авейроне в деревне Лапейр, Медора Тайфер была верна своему мужу, хорошо воспитала детей и показала себя великодушной и милосердной. Она перешла в католичество. От воспитания, которое получила, сохранила вкус к музыке. На ферме в Лапейре у нее было фортепьяно.

Это счастье длилось всего один год. В 1849 году Медора умерла, когда ей исполнилось тридцать шесть лет. «Вся деревня устроила ей трогательные похороны». Она оставила следующее завещание: «Я, Элизабета Медора Ли, отдаю и завещаю все мое земное имущество, ренту, которая была мне оставлена по завещанию покойного лорда Байрона, Жану Луи Тайферу и моим детям, Мэри и Эли... Заявляю, что прощаю мою мать и всех тех, кто меня жестоко преследовал, как надеюсь и я быть прощенной. Я прошу сэра Джона Хьюза вернуть Луи Тайферу шкатулку с моими бумагами, которая находится у него в руках».

Шкатулка никогда не была возвращена мужу Медоры. Тайфер поступил камердинером в Тулузе к господину Артуру де Варокье, и отец последнего пытался через французское посольство в Лондоне добиться возвращения шкатулки. Но адвокат посольства ответил, что в Англии существует обычай сжигать документы безнравственного характера, что с ними и случилось. Содержимое шкатулки было действительно сожжено 19 мая 1863 года в конторе сэра Джона Хьюза в присутствии советника французского посольства.

Мэри, дочь Медоры и ее двоюродного брата Треваньона, была красивой девушкой со спокойным, твердым и кротким характером. Она хотела сделаться монахиней, но долго ждала этой возможности, так как мать, умирая, просила позаботиться о брате Эли. Когда де Варокье взял на себя воспитание ребенка, она постриглась в Сен-Жермен-ан-Ле в монастырь Рождества и была монахиней в Сен-Илере. Мэри знала о своем происхождении. «Ей казалось, что она должна иску-

пить больше, чем другие, и вносила для себя более строгие правила в монастырский устав, который, как ей казалось, не дает ей ничего, кроме отрады». На своем молитвеннике она нарисовала нечто вроде надгробного памятника матери; она называла ее Элизабета Медора Байрон. Под рисунком написала (изменив он на она) стихи Ламартина:

Простри над нею длань великой благостыни,
Она грешила, но все небо может дать.
Невинность обрела она в страданьях ныне,
Любила, а любовь — прощения печать.

Мэри записывала свои мысли: «Моя жизнь словно осенний листок, дрожащий в лунном луче. Хрупко ее основание, коротко ее беспокойное бытие». Иногда говорила о лорде Байроне со своими подругами: «Бедный Байрон, — говорила она, — я его очень люблю». Она умерла в 1873 году.

Ее брат Эли, последний отпрыск незаконной линии, красивый рыжеволосый малый с крутым подбородком, был счетоводом, коммивояжером, торговым агентом по винному делу и умер в госпитале в Сэте 22 января 1900 года. Это был день рождения Байрона.

«Всякое существо, к которому я привязываюсь, погибает несчастной смертью». Проклятие постигло почти всех женщин, которых он любил. Мэри Энн Чаворт давно уже была несчастна. Около 1830 года ее видали в деревенской церкви, «согбенную заботами и тяжелой жизнью...» Мур, решивший после истребления мемуаров сам описать жизнь Байрона, приехал к ней в поисках материалов. Муж, Мастерс, был в отсутствии. Мур спел ей одну из ирландских песен, которые любил Байрон, и миссис Мастерс расплакалась. Ее конец был ускорен бунтом ноттингемских ткачей, которые во время великой реформы в октябре 1832 года атаковали ее дом. Пришлось спасаться ночью в амбаре, она простудилась и вскоре умерла сорока семи лет от роду. Ее статуя есть в церкви в Кольвике.

Тереза Макри, афинская дева, вышла замуж за англичанина, Джона Блэка, который явился после смерти Байрона сражаться за Грецию. Этот Блэк стал впоследствии английским консулом и остался в Греции. Поэма сделала Терезу Макри знаменитостью. Все англичане, приезжавшие туда, являлись к ней, и она, вздыхая, рассказывала о Байроне. Когда обстоятельства заставили ее мужа переехать в Миссолунги, она затосковала. Разговоры о Байроне, непрестанные вопросы о том, при каких обстоятельствах она его знала, кончились тем, что все это стало всерьез огорчать ее. Ночью ей виделся во сне Байрон, часто рассерженный и угрожающий. «Какая пытка!» — говорила она мистеру Блэку. «А как же ты можешь не видеть его во сне, когда ты только и делаешь, что думаешь о нем?» — возражал в ответ несколько раздосадованный муж.

Клер никогда не простила Байрона, и когда Мэри Шелли в «Лодоре» похвалила поэта, писала ей: «Боже мой, подумать, что человек ваших способностей мог всерьез вообразить своим долгом превозносить то, что было на самом деле всего лишь смесью тщеславия, безумия и всяких несчастных слабостей, которые никогда еще не соединялись в таком количестве в одном человеке».

Каролина Лэм всю жизнь оставалась ярким и жалким сочетанием блеска, разочарования и ничтожества. В апреле 1824 года у нее был приступ галлюцинаций: «В середине ночи мне показалось, что вижу лорда Байрона, — я закричала, спрыгнула с кровати и хотела бежать. У него был ужасный вид, и он скрежетал зубами, молчал, волосы стояли дыбом; он был гораздо толще, чем когда я его знала, и далеко не так красив». Месяц спустя из письма своего мужа она узнала о его смерти: «Каролина, — писал он ей, — я прошу вас соблюдать приличия. Я знаю, что это будет ударом для вас. Лорд Байрон умер». Она начинала поправляться, но встреча похоронного кортежа и выход в свет воспоминаний Медуина снова вызвали у нее припадки безумия.

Книга Медуина оказалась жестокой для нее. Именно из нее она узнала в первый раз ужасные стихи: «Remember thee...» Она написала Медуину. «Байрон никогда не мог сказать, что у меня нет сердца. И он не мог также сказать, что я не любила своего мужа. В своих письмах он без конца повторяет мне, что из них двоих именно мужа я люблю больше, и поверьте мне, все мое очарование в его глазах было то, что я была невинной, преданной и пылкой...» На расстоянии она понимала лучше. Да, то, что Байрон мог любить в ком-нибудь, действительно всегда было каким-то элементом юности и невинности. Отсюда Мэри Дюфф, Маргарет Паркер, Эдльстон, Николо Жиро, позднее Тереза. Сама она в течение нескольких дней в 1812 году должна была ему нравиться некоторым оттенком этой невинности... Как быстро она утомила его...

После чтения книги Медуина у нее случился припадок помешательства. Но ее бедная больная голова была весьма легковесна, и она вскоре все забыла. Скандал, произведенный этой книгой, весьма осложнил ее супружескую жизнь. Каролина провела зиму в Броккет-Холле без мужа. Один из ее юных соседей, Эдуард Бульвер, увлекся необыкновенной оригинальностью ее беседы. Она часто приглашала его. Жизнь в Броккет-Холле была вполне «каролинической». В три часа ночи она отправляла одного из своих пажей разбудить своих хозяев, чтобы они шли слушать игру на органе. Затем она до зари рассказывала им о Байроне, показывала кольцо, которое он ей подарил. Она дала его Эдуарду Бульверу, сказав, что дает его носить только тем, кого любит. Немного спустя она отобрала кольцо, и Бульвер увидел его на руке другого молодого человека. Бульвер был возмущен.

Леди Каролина однажды вечером приехала в Лондон, чтобы послушать «Фауста». Она пришла в восторг от постановки:

«Это мне напомнило Байрона, этого ангела, этого опасного и несчастного Байрона, которого я обожаю, хотя он и оставил мне ужасное наследство: «Remember thee...»

Она умерла сорока двух лет на руках своего мужа. «Ее манера держать себя, — писал Вильям Лэм, — хотя несколько и

эксцентричная и внешне, если не на самом деле, аффектированная, обладала такой силой очарования, которую трудно понять тем, кто не испытал на себе его действия».

Одна графиня Гвиччиоли, у которой не было призвания к несчастью, сумела перестроить свою жизнь так, что призрак лорда Байрона стал для нее только приятным и почетным спутником. В 1829 году лорд Мэлмсбери встретил ее в Риме на балу у австрийского посла. «Байрон умер всего пять лет назад, и ей было тогда двадцать девять. Мы стали очень хорошими друзьями. Я нашел, что она мила в обращении, образованна, отличается добродушием своей расы и очень любит развлекаться. Она уже совершенно утешилась в горе (которое было весьма бурным, как мне говорили), причиненном ей смертью ее поэта. Охотно о нем говорила и немало гордилась своей победой...» Госпожа Гвиччиоли рассказала Мэлмсбери, что Байрон писал свои знаменитые поэмы на первом попавшемся клочке бумаги... Потом он приходил к ней и читал их, внося много исправлений и хохоча во все горло. Она гордилась им и очень его любила... По ее рассказам, у него был очень капризный характер: в разговоре он всегда выставлял в смешном виде те самые страсти, которые в его поэзии бьют через край, в общем же, он был холодного темперамента...» Она никогда не любила цинизма.

В 1832 году Тереза приехала в Лондон, совершила паломничество в Харроу, отобедала у Друри, съездила помолиться на могилу Байрона в Хакнолл-Торкарде, была с визитом у Августы, где провела три часа, «говоря все время о Байроне». Около пятидесяти лет она вышла замуж за маркиза де Буасси, человека эксцентричного и весьма богатого. У нее был прекрасный особняк в Париже. «Изящество итальянки уступило место искусственным манерам светской дамы, что было ей не к лицу». В гостиной висел портрет Байрона, перед которым она охотно останавливалась, когда у нее были гости, и вздыхала: «Как он был красив! Бог мой, как он был красив!» Муж представляя ее, говорил: «Госпожа маркиза де Буасси, моя жена... некогда возлюбленная лорда Байрона». После

смерти маркиза де Буасси она напечатала воспоминания о Байроне, где сделала из него романтически-нежного героя, как раз такого, каким он отказывался быть при жизни.

Госпожа Гвиччиоли была предохранена от байроновского проклятия своим непроницаемым сентиментализмом. Наивный эгоцентризм спас от него также и Джона Кэма Хобхауза. В момент реформы 1832 года он был вознагражден за свои передовые политические убеждения. Вошел в министерство и долго в нем оставался. Позже он стал лордом Броутоном и одним из самых консервативных членов своей партии. Он умер восьмидесяти трех лет от роду и стал знаменитым благодаря изобретенной им формуле: «оппозиция Его Величества».

Известно, что Тита поступил в семью Дизраэли. Что же до Флетчера, то он открыл фабрику макарон, разорился, его, как и всех, выручила леди Байрон; к концу своей жизни стал сторожем в Голден-сквере, где можно было его видеть в высоком цилиндре с золотым галуном и с палкой в руке, преследующим ребят из протестантской французской школы.

На кладбище в Бромтоне находится могила боксера Джэксона — плита, которую с четырех углов держат классические гиганты. Этот памятник был поставлен ему английской знатью в знак высокого уважения.

В последние недели своей жизни Байрону могло казаться, что он умирает напрасно и что Греция не будет освобождена. В 1826 году Миссолунги был осажден второй раз. Бомбардировка разрушила почти все строения. Наконец голод заставил греков покинуть город. Мужчины, женщины, дети вышли и пытались пробиться через неприятельские линии. Было много убитых. В городе поднялась резня. Епископ Иосиф и прелат Капсалис заперлись на картечно-патронном заводе, последнем остатке того, что было артиллерией Перри, и взлетели на воздух вместе с патронами.

Если бы Европа в это время оставила греков, они были бы уничтожены. Австрия не вмешивалась из боязни России, Франция не смела вмешиваться; все зависело от Англии. Священные аксиомы министерства иностранных дел и герцога Веллингтона обрекали Грецию. «Но британский народ, тронутый жертвой и смертью Байрона и глубоко классический по своей культуре, возвел клефтов в героев Фермопил». Министр Каннинг, опираясь на общественное мнение, перевернул всю английскую политику. В Наваринской битве англорусско-французский флот положил начало независимости Греции. Это был конец Священного союза.

Не будет преувеличением сказать, что, если бы Байрон не дал греческому движению поддержку своим именем и своей смертью, общественное мнение Англии, конечно, не поддержало бы Каннинга. В Миссолунги, который теперь представляет собой маленький поздоровевший и процветающий городок, греки основали Парк Героев. На колонне написано имя Байрона вместе с именами Марко Ботцариса, Капсалиса, Завеллы. Рыбаки, поныне живущие в этом царстве воды и соли, в хижинах из плетеного тростника, знают имя Байрона. Они не знают, что он был поэтом, но если спрашивают о нем, отвечают: «Это был мужественный человек, который приехал умереть за Грецию, потому что он любил свободу».

ХРОНОЛОГИЯ

1643. Сэр Джон Байрон получил от Карла I титул первого лорда Байрона.

1747. 28 июля. Рождение сэра Ральфа Милбенка.

1751. 14 ноября. Рождение Юдифи Ноэл (впоследствии леди Милбенк).

1752. Рождение Элизабет Милбенк (впоследствии леди Мельбурн).

1755. Рождение Джона Байрона («Безумного Джека»).

1765. Рождение Кэтрин Гордон Гайт. 26 января. Дуэль Чаворта — Байрона.

1769. 13 апреля. Элизабет Милбенк вступает в брак с сэром Пэнисстон Лэмом.

1770. 8 июля. Сэр Пэнисстон Лэм получает титул лорда Мельбурна.

1777. 9 января. Ральф Милбенк вступает в брак с Юдифью Ноэл.

1779. Рождение Вильяма Лэма. Развод маркиза Кармэрсина с Амелией Арси, баронессой Конэйер.

1779. Леди Конэйер вступает в брак с Джоном Байроном.

1784. 26 января. Рождение Августы Мэри Байрон (впоследствии миссис Ли).

1785. 13 мая. Капитан Джон Байрон вступает в брак с мисс Кэтрин Гордон Гайт. 13 ноября. Рождение Каролины Понсонби (впоследствии леди Каролина Лэм).

1786. 27 июня. Рождение Джона Кэма Хобхауза.

1788. 22 января. Рождение Джорджа Гордона Байрона (впоследствии шестой лорд Байрон).

1789. 8 марта. Рождение Джорджа Энсона Байрона (впоследствии седьмой лорд Байрон).

1790. 1 сентября. Рождение Маргарет Пауэр (впоследствии графиня Блессингтон).

1791. Смерть капитана Джона Байрона. Ему тридцать шесть лет, возраст, в котором умирают Байроны.

1792. 17 мая. Рождение Анны Изабеллы Милбенк (впоследствии леди Байрон).

1792. 4 августа. Рождение Перси Биши Шелли.

1797. Эпизод с Мэри Дюфф.

1797. 30 августа. Рождение Мэри Годвин (впоследствии миссис Шелли).

1798. 27 апреля. Рождение Джен Клер Клермонт. 19 мая. Байрон становится лордом Байроном.

1800. Рождение Терезы Гамба.

1801. Байрон поступает в школу в Харроу.

1803. Байрон в Ноттингеме и в Эннсли.

1804. Пребывание в Саутуэлле у миссис Байрон.

1805. 3 июня. Леди Каролина Понсонби вступает в брак с Вильямом Лэмом. Август. Мэри Чаворт вступает в брак с Джоном Мастерсом. Октябрь. Байрон покидает Харроу и поступает в Тринити-колледж, Кембридж.

1806. Байрон готовит сборник стихов.

1807. Март. Байрон печатает «Часы досуга». 17 августа. Августа Мэри Байрон вступает в брак со своим кузеном Джорджем Ли, полковником 10-го драгунского полка.

1808. С ноября по август Байрон в Кембридже и в Лондоне. Сентябрь. Байрон приезжает жить в Ньюстед. 18 ноября. Смерть собаки Ботсвайна.

1809. Совершеннолетие Байрона, отпразднованное в Ньюстеде 22 января. 13 марта. Байрон занимает место в палате лордов. 16 марта. Он печатает «Английские барды и шотландские обозреватели». 11 июня. Уезжает из Лондона с Хобхаузом. С 1 по 21 сентября. Пребывание на Мальте. 25 декабря. День Рождества. Байрон приезжает в Афины.

1810. Январь и февраль. Байрон проводит шесть недель в Афинах. 3 мая. Байрон переплывает Геллеспонт. 14 мая. Приезд в Константинополь.

1811. Байрон живет в монастыре капуцинов в Афинах. 17 июля. Возвращение в Англию. 1 августа. Смерть миссис Байрон.

1812. 27 февраля. Первая речь Байрона в палате лордов. 29 февраля. Он печатает две первые песни «Чайльд Гарольда». 10 марта. «Однажды утром я проснулся знаменитостью...» 25 марта. Утренний бал в Мельбурн-Хаузе, устроенный леди Каролиной Лэм. Среди приглашенных лорд Байрон, мисс Милбенк, Сидней Смит, леди Джерсей, лорд и леди Киннер, мисс Эльфинстон, миссис Лэм, лорд Пальмерстон и пр. 27 марта. Первое любовное письмо леди Каролины Лэм к Байрону. Между 1 и 10 октября Байрон просит руки мисс Милбенк. Она отказывает. Байрон гостит в Эйвуде у леди Оксфорд. Он остается там до 15 ноября. Ноябрь. Байрон пишет «Не вероломна, а непостоянна...» 9 ноября. Байрон пишет леди Каролине Лэм письмо, в котором дает ей понять, что между ними все кончено, и которое она впоследствии приведет в «Гленарвоне».

1813. Январь. Вторичное пребывание в Эйвуде. Май. Байрон печатает «Гяура». 28 июля. Отъезд леди Оксфорд на континент и конец ее связи с Байроном. Миссис Ли приезжает в Лондон и останавливается во дворце Сент-Джемс. В течение июля и августа Байрон и миссис Ли выезжают из Лондона только два раза на недолгое время в Сикс-Майль-Боттом. 6 июля. Бал у леди Хискот. Сцена с леди Каролиной Лэм. 21 сентября. Байрон в Эстон-Холле, где ухаживает за леди Фрэнсис Уэбстер. Он возвращается туда снова в октябре. Чета Уэбстеров приезжает ненадолго в Ньюстед. С конца октября по январь 1814 г. Байрон в Лондоне. Декабрь. Он печатает «Абидосскую невесту». Декабрь. Он пишет «Корсара».

1814. 17 января. Байрон в Ньюстеде с Августой. Они проводят там три недели. 28 марта. Байрон живет в Олбэни. 10 апреля. Он пишет «Оду Наполеону Бонапарту». 15 апреля. Рождение Элизабеты Медоры Ли. Байрон пишет «Не вздохну, не шепчу, не пишу твое имя...» Он начинает писать поэму «Лара». Август. Байрон печатает поэму «Лара». 15 сентября. Байрон второй раз просит руки мисс Милбенк. Помолвка. Ноябрь. Байрон в качестве жениха гостит в Сихэме. Декабрь. Бай-

рон пишет «Еврейские мелодии». 24 декабря. Байрон и Хобхауз выезжают из Лондона. 30 декабря. Байрон с Хобхаузом приезжают в Сихэм. 31 декабря. Подписание брачного контракта.

1815. 2 января. Свадьба лорда Байрона с мисс Милбенк. 21 января. Лорд и леди Байрон возвращаются из Элнеби в Сихэм. 12 марта. Лорд и леди Байрон приезжают в Сикс-Майл-Боттом. 28 марта. Лорд и леди Байрон приезжают в Лондон и снимают дом № 13 на Пиккадилли-Террас. Апрель. Миссис Ли приезжает гостить на Пиккадилли-Террас. 17 апреля. Смерть лорда Уэнтворта, дяди леди Байрон. 20 мая. Сэр Ральф Милбенк получает от принца-регента право принять имя и герб Ноэлей. Конец июня. Миссис Ли уезжает из Пиккадилли-Террас и возвращается в Сикс-Майл-Боттом. 29 июля. Байрон делает завещание в пользу миссис Ли. Август. Байрон пишет «Звезду отважных» и «Прощание Наполеона». 15 ноября. Миссис Ли приезжает жить на Пиккадилли-Террас. 10 декабря. Рождение Августы Ады Байрон.

1816. 6 января. Байрон пишет жене и просит ее покинуть дом. 8 января. Леди Байрон советуется с доктором Бэльи о психическом состоянии Байрона. 15 января. Леди Байрон уезжает с Адой из Лондона. 16 января. Они приезжают в Киркби Мэллори. 2 февраля. Байрон узнает из письма сэра Ральфа, что леди Байрон желает получить развод. Февраль. Байрон печатает поэму «Паризина». 16 марта. Миссис Ли покидает Пиккадилли-Террас, где прожила четыре месяца, и поселяется во дворце Сент-Джемс. 17 марта. Лорд Байрон принимает развод «по дружескому соглашению». В тот же день он пишет «Прощай, и если уж...» 29 марта. Он пишет сатиру «Росла на чердаке». 8 апреля. Вечер у леди Джерсей. Среди приглашенных Байрон, миссис Ли, мисс Эльфинстон, граф де Флеоль, Бенжамен Констан с женой, миссис Лэм, Броугэм и пр. 14 апреля. Пасхальное воскресенье. Миссис Ли приезжает к Байрону проститься с ним. 21 апреля. Байрон подписывает акт о разводе. 23 апреля. Байрон, Хобхауз и Скроп Дэвис выезжают в Дувр. 25 апреля. Байрон садится

на корабль. Отъезд в Остэнде. 3 мая. Шелли, Мэри Годвин и Клер Клермонт выезжают из Дувра, направляясь в Женеву. Май. Байрон начинает третью песнь «Чайльд Гарольда». 25 мая. Байрон приезжает в Женеву и останавливается в отеле «Дежеан». Леди Каролина Лэм печатает «Гленарвон». Июнь. Байрон живет на вилле Диодати. 23 июня. Байрон и Шелли отправляются в путешествие по озеру. 27 июня они приезжают в Уши, где Байрон пишет «Шильонского узника». Июль. Байрон кончает третью песнь «Чайльд Гарольда». Он пишет «Сон», «Стансы к Августе» и еще несколько стихотворений. 29 августа. Шелли, Мэри и Клер покидают Женеву и возвращаются в Англию. 17 — 29 сентября. Байрон с Хобхаузом путешествуют в Альпах. Он начинает писать «Манфреда». 1 ноября. Крестины Ады Байрон. Миссис Ли, которая должна была быть крестной матерью, не принимает участия в церемонии. Крестный отец — капитан Джордж Энсон Байрон, крестные матери — леди Ноэл и виконтесса Тэмворс. 11 ноября. Байрон приезжает жить в Венецию. 30 декабря. Шелли вступает в брак с Мэри Годвин.

1817. 12 января. Рождение Аллегры, незаконной дочери Байрона и Клер Клермонт. Февраль. Байрон заканчивает «Манфреда». С 29 апреля по 26 мая. Путешествие в Рим. Июнь. Байрон в Венеции начинает писать четвертую песнь «Чайльд Гарольда». Октябрь. Байрон пишет «Беппо». Ноябрь. Байрон продает Ньюстед полковнику Уильдмэну.

1818. 16 февраля. Граф Блессингтон вступает в брак с Маргарет Пауэр, вдовой мистера Сент-Леджер-Фармера. 6 апреля. Смерть леди Мельбурн. Сентябрь. Байрон заканчивает первую песнь «Дон Жуана».

1819. 20 января. Байрон заканчивает вторую песнь «Дон Жуана»». Апрель. Байрон у графини Бенцони встречается с Терезой Гвиччиоли. Конец мая. Байрон отправляется к графине Гвиччиоли в Равенну. 10 августа. Байрон уезжает в Болонью. 18 сентября. Байрон с графиней Гвиччиоли уезжают в Ла-Мира (Венеция). Ноябрь. Байрон заканчивает третью и пишет четвертую песни «Дон Жуана». 24 декабря. Байрон приезжает жить в Равенну.

1820. Март. Байрон пишет «Пророчество Данте». Апрель. Байрон принимает участие в революционном антипапском и антиавстрийском движении. 12 июля. Папа утверждает развод супругов Гвиччиоли. Тереза приезжает жить к отцу. Байрон продолжает жить во дворце Гвиччиоли в течение пятнадцати месяцев. Ноябрь. Байрон заканчивает пятую песнь «Дон Жуана».

1821. 24 февраля. Провал плана карбонариев. Март. Аллегру отправляют в монастырь Баньякавалло. Май. Байрон заканчивает «Сарданапала». Июль. Байрон пишет «Каина». Изгнание Гамба. 29 октября. Байрон покидает Равенну и приезжает в Пизу к мадам Гвиччиоли. Ноябрь. Байрон в Пизе пишет «Преображенного урода».

1822. 28 января. Смерть леди Ноэл. Лорд и леди Байрон принимают имя Ноэлей. Февраль. Байрон пишет шестую, седьмую и восьмую песни «Дон Жуана». 20 апреля. Смерть Аллегры. 8 июля. Смерть Шелли. 16 августа. Байрон, Трилони и Ли Хент предают сожжению тело Шелли. Август. Байрон пишет девятую, десятую и одиннадцатую песни «Дон Жуана». Сентябрь. Он приезжает жить в Геную.

1823. 31 марта. Приезд в Геную леди Блессингтон с мужем и графом д'Орсей. Май. Байрон получает назначение от греческого комитета из Лондона. 3 июля. Блессингтоны уезжают из Генуи. 13 июля, пятница. Байрон на борту «Геркулеса». 3 августа. Приезд в Кефалинию. 22 ноября. Приезд Стэнхопа в Аргостоли. 28 декабря. Байрон отъезжает в Миссолунги.

1824. 5 января. Приезд Байрона в Миссолунги. 22 января. Байрон пишет «Стихи на завершение моего тридцатишестилетия». 15 февраля. Припадок эпилепсии у Байрона. 9 апреля. Байрон заболевает после прогулки верхом. 19 апреля. Смерть лорда Байрона. 14 мая. Известие о смерти Байрона в Лондоне. 17 мая. Уничтожение мемуаров Байрона. 25 мая. Гроб с телом Байрона погружен на судно «Флорида» в Занте. 29 июня. Прибытие тела в Англию. 12 июля. Похороны Байрона. 16 июля. Погребение тела в Хакнолл-Торкарде. 20 ноября. Смерть леди Оксфорд.

1825. 19 марта. Смерть сэра Ральфа Ноэла.

1826. 4 февраля. Джорджиана Ли, старшая дочь Августы, вступает в брак со своим кузеном Генри Треваньоном.
1828. 25 января. Смерть леди Каролины Лэм.
1831. 15 августа. Хобхауз получает титул баронета, сэра Джона Кэма Хобхауза.
1832. Февраль. Смерть Мэри Чаворт-Мастерс.
1834. 19 мая. Рождение Мэри, незаконной дочери Медоры и Генри Треваньона.
1835. Ада Байрон вступает в брак с Вильямом, восьмым лордом Кингом.
1837. Смерть леди Фрэнсис Уэбстер.
1838. 30 июня. Лорд Кинг становится графом Ловлэсом.
1846. 27 января. Рождение Эли, незаконного сына Медоры и Жана Луи Тайфера.
1848. 23 августа. Медора вступает в брак с Жаном Луи Тайфером. Он усыновляет своего сына Эли и Мэри, дочь Треваньона.
1849. 4 июня. Смерть леди Блессингтон. 28 августа. Смерть Элизабеты Медоры Ли (г-жи Тайфер).
1850. 3 мая. Смерть полковника Джорджа Ли.
1851. 1 февраля. Смерть Мэри Шелли. 26 февраля. Сэр Джон Кэм Хобхауз получает титул лорда Браутона. Апрель. Последнее свидание леди Байрон с миссис Ли в Рейгэте. 12 октября. Смерть миссис Ли.
1852. 27 ноября. Смерть графини Ловлэс (Ады Байрон).
1854. Смерть Генри Треваньона.
1856. Мэри, дочь Медоры и Треваньона, постригается в монастырь.
1860. 16 мая. Смерть леди Байрон.
1863. 19 мая. Уничтожение бумаг Медоры.
1868. Смерть адмирала лорда Байрона.
1869. Смерть лорда Браутона (Хобхауза).
1873. Смерть сестры Сент-Илер (Мэри). Смерть маркизы де Буасси (Терезы Гвиччиоли).
1879. Смерть Клер Клермонт.
1893. Смерть Вильяма, первого графа Ловлэса.
1900. 22 января. Смерть Эли Тайфера.
1906. Смерть Ральфа, второго графа Ловлэса, внука Байрона.

Источники*

Для наиболее часто цитируемых работ даны следующие буквенные обозначения:

L.J. *Letters and Journals,* 6 vol., publ. by Rowland E. Prothero (Lord Ernle) ed. John Murray, 1898 — 1901. Нумерация страниц по изданию 1922 г.

C. *Lord Byron's Correspondence,* 2 vol., ed. John Murray, 1922.

P. *The Poetical Works of Lord Byron,* publ. by Ernest Hartley Coleridge, 1905, 1 vol., ed. John Murray.

H. *Recollections of a Long Life,* Lord Broughton (John Cam Hobhouse) publ. by his daughter Lady Dorchester, 6 vol., ed John Murray. Нумерация страниц по изданию 1910 г.

B. M. Архивы Британского музея (отдел рукописей).

M. *Byron's Life* by Thomas Moore, ed. John Murray. Нумерация страниц по однотомному изданию 1847 г.

J. *The Real John Byron* by John Cordy Jeaffreson ed. Hurst and Blackett.

E. C. M. *Byron* by Ethel Colburn Mayne, 2 vol., ed. Methuen and C°, 1912.

L. B. *The life of Lady Byron* by Ethel Colburn Mayne ed. Constable and C°, 1929.

H. N. *Byron, The Last Journey* by Harold Nicolson ed. Constable and C°. Нумерация страниц по изданию 1929 г.

---

* Печатаются по изданию 1936 года без изменений. — *Примеч. ред.*

V. R. *Le Secret de Byron* par Roger de Vivie de Régie. Émile Paul, editeur. Paris, 1927.

Кроме того, часто цитируются следующие работы:

Astarté by Ralph Milbanke, Count of Lovelace, the grandson of Byron, ed. Christophers.

In Whig Society by Mabel, Countess of Airlie, ed. Hodder and Stoughton, 1921.

Recollections of the Life of Lord Byron by R. C. Dallas, 1824, ed. Charles Knight.

Journal of the Conversations of Lord Byron by Thomas Medwin, 1824, ed. L. Baudry.

A Journal of the Conversations of Lord Byron by the Countess of Blessington, ed. Richard Bentley and Son. Нумерация страниц по изданию 1894 г.

Lord Byron and some of his contemporaries by Leight Hunt, 1828, ed. Henry Colburn.

A narrative of Lord Byron's Last Journey to Greece by the Count Pietro Gamba ed. John Murray, 1825.

The Last Days of Lord Byron by William Parry ed. Knight and Lacey, 1825.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Хартия об основании Ньюстедского аббатства находится в Британском музее (отдел рукописей).

Подробности о реквизиции монастырских имуществ взяты из книги: *Henry VIII and the English Monasteries*, par cardinal Gasquet.

Подробности судебного процесса Злого Лорда взяты из современной брошюры: *The Trial of W., Lord Byron* (**B. M.** 6485-h-2).

Кораблекрушение описано предком Байрона: John Byron *The Wreck of the Wager.*

О разорении Ньюстеда Злым Лордом см. Albert Brecnock *Byron*.

Глава II

О шотландских предках лорда Байрона лучший авторитет J. M. Bulloch *The tragic adventures of the Gordons of Gight.* См. также J. D. Symon *Byron in Perspective* и J. W. Duff *Byron and Aberdeen.*

Письма капитана Байрона не изданы и были предоставлены мне леди Ловлэс.

Письма миссис Байрон к миссис Ли в Британском музее (Add. Man. 31037).

Наиболее точные сведения о физическом недостатке Байрона см. *Symon* (с. 39).

Письмо миссис Байрон к Августе: L. J. I, 19.

Глава III

Об Абердинских школах: L. J. V, 406—407. *Symon,* 49—67.

О Мэй Грэй: L. J. I, 10; J. 36. E. C. M. I, 25; Karl Elze *Life of Lord Byron,* 16—17.

О Зелуко: *Elze,* 20-21.

Как Байрон узнал о том, что он стал лордом, рассказано в записках Хобхауза: «Байрон сам рассказал мне, как учитель позвал его, угостил вином и пирожным и сказал, что его дорогой дедушка умер и теперь он лорд. Байрон прибавил, что это маленькое пиршество и почтительный тон учителя внушили ему высокое представление о его новом звании».

Глава IV

Moore, 10 passim.

Письмо Хэнсона: L. J. I, 10.

О лорде Карлейле: L. J. I, 36.

О Маргарет Паркер: L. J. V, 449.

Глава V

О докторе Друри см. Percy M. Thornton *Harrow School.*

Эпизод с тазом воды: J., 60.

Эпизод с бюстом Наполеона: L. J. II, 324.
Стихи на смерть Маргарет Паркер: Р., 2.

Глава VI

Эпиграф: Р., 33.

О Мэри Чаворт и Джеке Мастерсе см. Grantley Berkeley *Recollections*. У этого автора, близко знавшего Джека Мастерса, все подробности, которые приводятся мною об этой чете.

Рассказ о привидении: М., 27.

Разговор Мэри Энн с горничной: М., 28.

Письма Байрона: L. J. I, 16, 17.

Ссора с лордом Грэем: L. J. I, 63.

Хобхауз по поводу лорда Грэя написал на полях в записках Мура: «В период их дружбы случился факт, который, несомненно, оказал впоследствии большое влияние на поведение Байрона».

Стихи: Р., 2.

Глава VII

О привязанностях Байрона в Харроу заметка Хобхауза: «Мур ничего не знает и ничего не хочет говорить об основной подкладке всех этих детских привязанностей».

Цитируемое стихотворение: Р., 25 *Childish Recollections.*

Переписка с лордом Клэром: М., 24.

Рассказ о том, как он считал: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь: L. J. I, 130.

Первая встреча с Элизабет Пигот: М., 32.

Письмо миссис Байрон к Августе: L. J. I, 19.

Письма Байрона к Августе: L. J. I, 20, 42, 49, 29, 35, 30, 46, 47, 40, 49, 62.

Свадьба Мэри Дюфф: L. J. II, 347.

Прощание с Мэри Чаворт: Р., 386.

Глава VIII

Цитаты из стихов: P., 3, 37.

По поводу отъезда Друри я принял версию, предложенную мне библиотекарем Харроу мистером Дю-Понтэ, согласно которой отнюдь не Байрон помешал своим товарищам насыпать пороху.

О занятиях Байрона в Харроу заметки Хобхауза: «Лорд Байрон вышел из Харроу или, во всяком случае, появился в Кембридже, не сопутствуемый славой о каких-либо блестящих успехах или необыкновенных талантах».

По поводу списка книг, прочитанных Байроном, который приводит Мур, Хобхауз пишет: «Лорд Байрон утверждал, что он читал эти книги. Я склонен этому верить. Но несомненно одно, что впоследствии он никогда не обнаруживал, что они ему знакомы».

Письмо Байрона к Августе: L. J. I, 68.

Об ораторских способностях Байрона: L. J. V, 453.

Об участии Байрона в крикетной команде: L. J. I, 71.

О надписи в *Scriptores Graesi:* M., 30.

Цитируемое стихотворение: P., 6.

Глава IX

Письмо Байрона: L. J. I 81, 76.

О нравах того времени и об их влиянии на складывающийся характер Байрона см. H. J. C. Grierson *Byron and English Society,* p. 167—199 в томе, озаглавленном *The Background of English Literature.*

О жизни с Лонгом: L. J. V, 445, 446; M., 32.

Об Эдльстоне: L. J. I, 130, 132, 133; стихи P., 19.

Письмо Байрона к Августе: L. J. I, 93.

Письмо миссис Байрон к Хэнсону: L. J. I, 95.

Письмо Байрона о Кембридже: L. J. I, 83.

Глава X

Эпиграф. Слова Байрона, цитируемые Медуином Thomas Medwin *Journal of the Conversations of Lord Byron* I, 70.

Письма Байрона о матери: L. J. I, 100, 101, 105.

Пребывание в Харрогите: **М.,** 37, 38.

Стихи Джону Пиготу: **Р.,** 16.

Стихи *Hills of Annesley:* **Р.,** 62.

Разговор между Байроном и Бэкером: **М.,** 45.

Стихи Бэкеру: **Р.,** 31.

Перемены во внешности Байрона: **L. J.** I, 126.

Эпизод с агатом: **М.,** 45.

О Саутуэлле заметка Хобхауза: «Здесь он не только получил первые уроки чувственности, но и имел случай убедиться, до какой низости может довести расчетливость. Одна из семей, о которых он упоминает, поощряла его связь с одной из дочерей в надежде увлечь его в неравный брак».

Письмо к Элизабет Пигот: **L. J.** I, 131.

Письмо миссис Байрон: **L. J.** I, 128.

Письмо Байрона к Элизабет Пигот: **L. J.** I, 142, 137, 141, 144, 147.

Письмо Далласа к Байрону: R. C. Dallas *Recollections of the Life of Lord Byron,* 3, 4.

Ответ Байрона: **L. J.** I, 169, 170, 173.

Рассказ о поплавке: Leigh Hunt *Byron and his contemporaries,* I, 1.

Глава XI

Вновь обретенный Эдльстон: **L. J.** I, 134, 135.

О Мэтьюсе: **L. J.** I, 150—160.

О Хобхаузе, Дэвисе и их взаимоотношениях с Байроном упоминается много в дневниках Байрона (**L. J.** V) и в мемуарах лорда Браутона (John Cam Hobhouse.).

Письмо к Хэнсону: **L. J.** I, 150.

О долгах Байрона: **L. J.** I, 187.

Письмо Бэкеру: **L. J.** I, 184.

Статья в «Эдинбург ревью» приведена полностью в **L. J.** I, р 344. Мур (с. 69) говорит, что чувство унижения, пережитое Байроном, длилось всего мгновение. Хобхауз на полях возражает, что это не так. Он был близок к самоубийству.

Цитируемое письмо: **L. J.** I, 186.

Глава XII

Письмо миссис Байрон: Британский музей. Egerton manuscripts 2611. (Некоторые из этих документов уже опубликованы г-ном Родонакаши.)

Письмо Байрона к матери: **L. J.** I, 192.

Письмо о миссис Мастерс: **L. J.** I, 198.

Стихи, посвященные Мэри Энн Чаворт-Мастерс: **P.,** 81, 82.

Памятник Ботсвайну еще цел в Ньюстеде.

Добавление к надписи, сделанной Байроном в *Scriptores Graeci:* **M.,** 30.

Ссора с лордом Карлейлем: **L. J. I,** 217.

О том, как Байрон занял место в палате лордов, см. Dallas, 50—54.

Письмо о долгах и о Ньюстеде: **L. J.** I, 174, 200, 216, 217.

Письмо миссис Байрон к Хэнсону: **L. J.** I, 205, 206.

Заем у Скропа Дэвиса: **L. J.** II, 11.

Жизнь в Ньюстеде: **L. J.** I, 153—156.

Стихи о черепе: **P.,** 80.

Письмо Байрона к Августе: **L. J.** I, 203.

Равнодушие лорда Делавэра: Dallas, 62—64.

Стансы к Мэри Энн: **P.,** 83.

Глава XIII

Об отъезде: **L. J.** I, 230; см. также **P.,** 1016.

Письмо к миссис Байрон: **L. J.** I, 225.

О Лиссабоне и Португалии: **L. J.** I, 233; **H.** I, 6—10.

Об Испании: **L. J.** I, 238.

Об отсылке Роберта Раштона в Ньюстед: **L. J.** I, 283.

О путешествии с Гибралтара на Мальту: John Galt *The Life of Lord Byron,* 65—74.

Стихи о миссис Спенсер Смит: *Чайльд Гарольд,* песнь II, XXXII.

О миссис Спенсер Смит см. *Duchess of Abrantés,* Memoirs XV, 4, 5.

Об Албании и Али-паше: **L. J.** I, 248, 250, 251.

О буре на море: **L. J.** I, 253.

Об албанцах: **L. J.** I, 254.

Письма Байрона о Флетчере: **L. J.** I, 256, 308.

О пребывании в Греции: **M.** I, 25—27 см. также Harold Spender *Byron in Greece,* где он приводит письма и стихи.

Цитаты: *Чайльд Гарольд,* песнь II, строфа XXIII.

О семье Макри: **L. J.** I, 269; более подробно см. статью M. Camboroglou в *Messager d'Athènes,* 1924; см. также **M.**, 101, 102, 105.

Стихи *Maid of Athens:* **P.**, 246.

Хобхауз о деспотизме: **H.**, 26.

О том, как Байрон переплыл Геллеспонт: **L. J.** I, 285.

О Константинополе: **L. J.** I, 282; H. I, 30.

Байрон матери об отъезде Хобхауза: **L. J.** I, 295.

Хобхауз об этом отъезде: **H.** I, 32.

Хобхауз Байрону и ответ Байрона: L. J. I, 305.

О монастыре капуцинов: **C.** I, 29, 30.

О Николо Жиро: **C.** I, 15.

О госпоже Макри: **C.** I, 16.

Мнение леди Эстер Стэнхоп о Байроне: **J.** I, 190.

Болезнь Байрона: **L. J.** II, 21.

О неблагодарности Делавэра: *Чайльд Гарольд,* песнь II, примечание Байрона.

Письмо к матери: **L. J.** I, 291, 292, 311, 312.

Письмо Байрона к Далласу: **L. J.** I, 313.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава XIV

Рассказ о возвращении: Dallas, 103, passim.

Цитаты из *Чайльд Гарольда,* песнь I, строфы II, III, IV, V, X, VII; песнь II, строфа II.

Письмо Далласа к Байрону: Dallas, 114.

Письмо Байрона к матери: **L. J.** I, 319.

Письма и счета миссис Байрон: Британский музей, Egerton man. Частью неизданные.

Смерть миссис Байрон: **M.**, 121.

Письмо Байрона к Пигот: **L. J.** I, 320, 321.

Письмо Байрона к Хобхаузу: **C.** I, 44.

Прочие письма: **L. J.** I, 338, 324, 325; **C.** I, 44. **L. J.** II, 7, 5, 46.

Замечания Далласа о *Чайльд Гарольде:* Dallas, 124, 125.

Письма Байрона к Августе: **L. J.** I, 332; **L. J.** II, 18.

Письма Августы к Байрону: **L. J.** II, 10, 11.

Письма Байрона к Августе: **L. J.** II, 17, 31.

Завещание Байрона: **M.**, 130, 131.

О пребывании Ходжсона в Ньюстеде см. *Memoir of Rev. Francis Hodgson* I, 219, 221.

Письма Байрона к Ходжсону: **L. J.** II, 21, 22, 36, 100, 90.

Послание к Ходжсону: **P.**, 250.

Письмо: **L. J.** II, 55.

Глава XV

О Джоне Меррее см. Smiles *A Publisher and His Friends.*

О Роджерсе см. Clayden *Rogers and his contemporaries,* и *Table Talk of Samuel Rogers.*

О политических выступлениях Байрона см. Dallas, 188—218; Dora Raymond *The Political Career of Lord Byron,* 34—61.

Об успехе *Чайльд Гарольда* см. Grierson *Byron and English Society.*

Герцогиня Девонширская о *Чайльд Гарольде:* **L. J.** II, 106.

Глава XVI

Об истории рода Мельбурнов см. Torrens *Melburne Papers;* Mabell, Countess of Airlie *In Whig Society.*

Письма Каролины Лэм приводятся в мемуарах леди Морган. Выдержки из дневника Вильяма Лэма и письма леди Каролины к мужу см. Torrens *Melburn Papers.*

О леди Каролине Лэм см. **L. J.** II, 114, 115.

Фраза в кавычках о леди Мельбурн и ее невестке см. Lady Airlie *In Whig Society,* 117.

Байрон о леди Мельбурн: *Conversations of Lord Byron with the Countess of Blessington,* 200.

Письмо Каролины Лэм к Байрону: **L. J.** II, 446.

Встреча с мисс Милбенк изложена по неизданному дневнику мисс Милбенк *(Lovelace Papers)*; см. также Medwin I, 37.

Письмо Байрона к Каролине Лэм: **L. J.** II, 110,117.

Герцогиня Девонширская о Каролине Лэм: **L. J.** II, 136.

О связи Байрона с Каролиной Лэм см. Medwin II, 64—67; Medwin I, 81.

Письмо Байрона к Каролине Лэм: **L. J.** II, 121.

Герцогиня Девонширская о мисс Милбенк: **L. J.** II, 120.

О выходках Каролины и вмешательстве принца-регента см. *In Whig Society,* 127—131.

Письмо Каролины Лэм к Байрону: **L. J.** II, 448.

Леди Ливсэн Гоуэр о леди Каролине Лэм: **L. J.** II, 187.

Письмо Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 71—72.

Письма леди Мельбурн к Байрону: *In Whig Society,* 145, 147.

Письма Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 75, 82.

Письмо леди Мельбурн к Байрону: *In Whig Society,* 146.

Письма Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 79, 87, 88.

Письмо леди Мельбурн к Байрону: *In Whig Society,* 146.

О мисс Милбенк в родительском доме: неизданный дневник *(Lovelace Papers).*

Письма мисс Милбенк к леди Мельбурн: *In Whig Society,* 141.

Глава XVII

Эпиграф: *Дон Жуан,* песнь III, строфа III.

О продаже Ньюстеда: **L. J.** II, 251.

О леди Джерсей см. *Memoir of Sarah, Lady Jersey.*

О леди Оксфорд см. Lady Blessington, 233; Medwin I, 76, 77.

О пребывании в Эйвуде: **C.** I, 98—132.

Леди Каролина Лэм к леди Оксфорд: *In Whig Society,* 151.

Байрон к леди Мельбурн: **C.** I, 104, 145.

Леди Мельбурн к Байрону: *In Whig Society,* 147.

Байрон к леди Каролине Лэм: **L. J.** II, 136.

Стихи леди Каролины Лэм, произнесенные в Броккет-Холле: **L. J.** II, 447.

Замечания лорда Байрона по поводу аутодафе: **C.** I, 123.

Байрон о леди Бессбороу: **С.** I, 137.
Бал у леди Хискот: *In Whig Society,* 152—157.
Заметка в *Satirist:* **L. J.** II, 242, 243.
Стихи *Remember thee...:* **P.,** 258, Medwin II, 68, 69.
Стихи леди Оксфорд: **P.,** 259.
Байрон к леди Мельбурн: **С.** I, 161.

Глава XVIII

Эпиграф: **С.** I, 196.

Очень тонкий психологический портрет Байрона этого периода дает Charles du Bos *Byron.* Точный факт, позволяющий установить, что роман Байрона с миссис Ли начался именно в этот период, — это рождение Медоры 15 апреля 1814 г. Переписка Байрона и леди Мельбурн подтверждает это.

Письмо Байрона к Августе: **L. J.** II, 226, 227.

Фраза в кавычках «Они не воспитывались вместе...» принадлежит лорду Эрнль: *Lady Byron and her Separation,* статья, напечатанная *The Quarterly Review,* 1930.

Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 254, 255.
Письмо Байрона к Муру: **L. J.** II, 151.
О вмешательстве леди Мельбурн см. *Astarté,* 33, 34.
Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 177, 173.
Цитата из *Гяура:* **P.,** 277, стихи 1181—1191.

Глава XIX

Эпиграф: **С.** I, 255.

Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 183, 181, 186, 189, 191, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 203, 204, 209.

Глава XX

Дневник Байрона: **L. J.** II, 321.
Письмо Байрона к Гэлту: **L. J.** II, 305.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 219.
Дневник Байрона: **L. J.** II, 323, 346,319, 348, 345.

Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 226, 232, 233.
Письма Мэри Чаворт-Мастерс к Байрону: **С.** I, 223, 240, 225, 228.
Письмо леди Мельбурн к Байрону: *In Whig Society,* 165.
Письмо Августы к Байрону: *Astarté,* 263.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 228.
О байроническом герое см. Edmond Estève *Byron el le Romantisme français,* 18, 19.
О *Корсаре:* **L. J.** II, 382.
Цитаты из *Корсара,* песнь I, строфа IX.
Дневник Байрона: **L. J.** II, 377.
Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 241, 276, 256, 257.
Цитаты в кавычках: *Astarté,* 34, 35.
Дневник Байрона: **L. J.** II, 339.
Стихи принцессе Шарлотте: **Р.,** 254.
Об успехе *Корсара* см. Mark Rutherford *The Revolution in Tanner's Lane,* 28, 27.
Дневник Байрона: **L. J.** II, 384, 385, 389, 390, 408, 409.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 251.
Стихи Августе: **Р.,** 349 и *Astarté,* 328.
Цитаты из *Лары,* песнь I, строфы XVII, XVIII.
Выражение *ex futur Byron* — в письме дона Мигуэля Унамуно.

Глава XXI

Письма Байрона к мисс Милбенк после помолвки см. посл. изд. *The Life of Lady Byron* by Miss Ethel Colburn Mayne.
Кое-какие выдержки из письма Байрона к невесте появились в новом издании: *Letters and Journals,* vol. III.
Письмо Байрона к Муру: **L. J.** III, 126.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 137.
Дневник Байрона: **L. J.** II, 380.
Письма мисс Милбенк к леди Мельбурн: *In Whig Society,* 160, 161, 163, 162, 137, 138, 140.
Письмо мисс Милбенк к Байрону: **L. B.,** 58.
Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. J.** III, 398, 399, 402, 403, 408.
Письма Байрона к леди Мельбурн: **С.** I, 178, 253, 254.

Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. B.**, 103, 111.
Эпизод с кольцом: **M.**, 264.
Письма мисс Милбенк к Байрону: **L. B.**, 111, 112.
Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. B.**, 112, 113, 444.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 270.
Письмо Байрона к Муру: **L. J.** I, III, 138, 139.
Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. J.** III, 146, 160.
Письмо мисс Милбенк к мисс Эмилии Милнер: **L. J.** III, 148.
Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. B.**, 447, 448, 449.
Письмо мисс Милбенк к Байрону: **L. B.**, 451.

Глава XXII

Эпиграф: *Дон Жуан,* песнь III, строфа VIII.
О брачном контракте Байрона см. **E. C. M.**, 306, 307.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 272.
Песенка Тома Мура: *The English Poets* ed.by Thomas Humphry Ward, vol. IV, 320.
О пребывании в Сихэме (ноябрь 1814 г.): неизданный дневник мисс Милбенк и письма Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 287, 290, 288.
Письма мисс Милбенк к Байрону: **L. B.**, 127, 128, 129, 134, 140, 149.
Письма Байрона к мисс Милбенк: **L. B.**, 150, 151, 153, 154.
О вторичном пребывании в Сихэме и брачной церемонии прекрасно рассказано у Хобхауза: **H.** I, 191—197.

Глава XXIII

Эта глава написана по дневнику леди Байрон. Этот замечательный документ очень точен и хорошо написан. Мисс Майн приводит из него много выдержек в своей книге *Жизнь леди Байрон.* Я привожу много новых выдержек, в частности об отношении Байрона к религии, но эти документы еще не опубликованы. **L. B.**, 194.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **C.**, I, 295.
Письмо леди Мельбурн к Байрону: **C.** I, 297.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: **C.** I, 300.

Письмо леди Мельбурн к Байрону: **C.** I, 303.
Письмо Байрона к Хобхаузу: **C. I**, 306.
Письмо Байрона к Муру: **L. J.** III, 176, 182, 175.

Глава XXIV

Главные источники: дневник леди Байрон; Hobhouse (Lord Broughton) *Recollections of a long life;* Leigh Hunt *Lord Byron and his contemporaries;* E. C. Mayne, **L. B.**

Письмо леди Байрон к миссис Ли: **L. J.** III, 210. **L. B.**, 181.

О встречах с Вальтером Скоттом см. Moore, 280.

Письмо Байрона о падении Наполеона: **L. J.** III, 208, 209.

Фраза в кавычках «В конце концов если сейчас...» принадлежит Шатобриану.

Дон Жуан, песнь III, строфы V, VIII. **L. B.**, 166.

Письмо леди Байрон к миссис Ли: **L. J.** III, 210.

Дневник Хобхауза: **H.** I, 324, 325.

Письмо Байрона к леди Байрон: *Astarté,* 39.

Ответ леди Байрон: *Astarté,* 40.

Письма леди Байрон к Байрону: Fox, 98,99; **H.** II, 203.

Глава XXV

О разрыве см. E. C. Mayne *The Life of Lady Byron,* 199, 232; *Astarté* и тщательно составленную книгу, содержащую большое количество документов, *The Byron Mystery* by Sir John Fox. Источники этой книги, а также и моей, находятся в архивах Ockham Park *(Lovelace Papers).* Хобхауз, который одному этому событию посвящает 164 страницы в своих мемуарах (**H.** II, 191—355), сначала, по-видимому, ничего не подозревает об отношениях Байрона и Августы. В своем экземпляре *Жизнь Байрона* Мура в том месте, где говорится, что любовь Байрона к сестре поддерживалась разлукой, сохранившей его чувства к ней свежими и нетронутыми, Хобхауз пишет на полях: «Дорогой мой Мур, вы ничего не знаете по этому поводу».

Письмо миссис Ли к леди Байрон . Fox, 105.

Письма леди Байрон к миссис Ли: **L. J.** III, 299, 295.

Письма доктора Ле-Манна: Fox, 104.

Письмо леди Ноэл к леди Байрон: Fox, 106.

Письма Байрона к леди Байрон: **H.** II 239, 240 и **L. B.,** 212, 403.

Письмо леди Байрон к миссис Ли: **L. J.** III, 311.

Письмо Байрона к леди Байрон: **L. B.,** 134.

Письмо леди Мельбурн к Байрону: **C.** I, 307.

Письмо леди Каролины Лэм к Байрону: **L. J.** II, 449.

Письмо миссис Ли к Ходжсону: **L. J.** III, 317.

Письмо Байрона к Муру: **L. J.** III, 272.

О вмешательстве Хобхауза см. **H.** II, 225 Fox, III, 112.

Стихи: *Fare thee well...:* **P.,** 377.

Стихи о миссис Клермонт: **P.,** 377 *(The Sketch).*

Отчаяние Байрона со времени его последнего свидания с Августой описано самой миссис Ли в беседе с леди Байрон, которая отмечает это у себя в дневнике. См. *Astarté,* 65.

О вечере у леди Джерсей см. Mooге, 302, 303; *Astarté,* 50.

Прощальное письмо Байрона к жене: *Astarté,* 51; **L. J.** III, 280.

Письма Клер Клермонт Байрону: **L. J.** III, 435, 436, 437

Четверостишие: **P.,** 1027 *(Ayearago...).*

Письмо Натана к Байрону: **L. J.** III, 283.

Дневник Полидори опубликован мистером Россети.

Байрон на могиле Черчилля: **H.** I, 335.

Стихи Тому Муру: **P.,** 1028.

Рассказ о пакете, отправленном мисс Эльфинстон, приводится в книге графини Гвиччиоли *My recollections of Lord Byron,* англ. перевод Hubert Jerningham publ. 1869, p. 184. От лорда Ленсдауна мне известно, что в этом пакете был Вергилий, который сейчас находится в Бовуде.

Отъезд Байрона: **H.** I, 336.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XXVI

Чайльд Гарольд, песнь III, строфа II.

Чайльд Гарольд, песнь III, строфа VI.

Чайльд Гарольд, песнь III, строфа XVI.

Дневник Полидори: Британский музей (010854-df-47).
Беседы Байрона с Полидори: **M.,** 319.
Чайльд Гарольд, песнь III, строфа V, стих 1-й и 4-й.
Чайльд Гарольд, песнь III, строфы XXXVI, XCIX и XXII.
Стихи: **P.,** 385 *(The Dream).*
Стансы Августе: **P.,** 391.
Письма Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 265, 273, 172.
Стихи: **P.,** 393, 394.
Байрон у госпожи де Сталь см. Dora Raymond, 104.
Эпиграф к *Гленарвону: Корсар,* песнь III, строфа XXIV.
Иронические стихи на *Гленарвона:* **L. J.** IV, 79.
Письмо Байрона о *Гленарвоне:* **L. J.** IV, 12.
Письмо Байрона о Шелли: **L. J.** V, 496.
Письмо Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 267.

Глава XXVII

Письмо Хобхауза к миссис Ли: **L. J.** III, 347.
О Байроне и Хобхаузе в Коппе: **H.** II, 26.
Пародия Хобхауза на стансы к Августе: **L. J.** IV, 74.
Байрон и Хобхауз в горах: **H.** II, 19.
Дневник Байрона: **L. J.** III, 349, 355, 356, 360, 362, 364, 365.
Манфред, акт I, сцена I.
Манфред, акт II, сцена II.
Фраза в кавычках «Если бы Августа...» принадлежит лорду Ловлэсу: *Astarte,* 63.
Письма леди Байрон к миссис Вильерс: *Astarté,* 220, 212.
Письмо леди Байрон к миссис Ли: *Astarté,* 210.
Письмо миссис Ли к леди Байрон: *Astarté, 214.*
Письмо миссис Вильерс к леди Байрон: *Astarté,* 238.
Письмо миссис Ли к леди Байрон: *Astarté,* 242.
Записки леди Байрон: *Astarté,* 253.
Письмо леди Байрон к миссис Ли: *Astarté,* 248.
Письмо Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 275.
Дневник Хобхауза: **H.** II, 53.

Письмо Луи де Брема не издано и находится в архивах замка Коппе.

Об этом периоде см. также Стендаль *Расин и Шекспир.*

Глава XXVIII

Письмо Байрона к Меррею: **L. J.** IV, 14.

Письмо Байрона к Муру: **L. J.** IV, 7.

Письма Байрона: **L. J.** IV, 18, 19.

Чайльд Гарольд, песнь IV, строфа VIII.

Письмо Байрона: **C.** II, 23.

Стихи Муру: **L. J.** IV, 29.

Стихи Марианне Сегати: **L. J.** IV, 60.

Письма Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 285, 288.

Письма миссис Ли к леди Байрон: *Astarté* 70.

Манфред, акт III, сцена I.

Манфред, акт III, сцена IV.

Письмо миссис Вильерс к леди Байрон: *Astarté* 69.

Письмо леди Байрон к миссис Ли: **L. B.**, 271

Байрон в Риме см. **M.**, 356 и **L. J.** IV, 122, 123.

О бюсте Байрона скульптора Торвальдсена см. Elze 220, 221

Чайльд Гарольд, песнь IV, строфа CXXXII.

Дневник Хобхауза: **H.** II, 78, 84.

Посвящение четвертой песни *Чайльд Гарольда.* **P.**, 208.

Чайльд Гарольд, песнь IV, строфы CXXI CXXXVII, CIXXXIV, CIXXXV.

Беппо, строфы XLVII, XLVIII (**P.**, 424).

О Маргарите Коньи: **L. J.** IV, 328, 330.

Дневник Хобхауза: **H.** II, 90.

Письмо Байрона к Муру: **L. J.** IV, 262.

Письмо Байрона к Роджерсу: **L. J.** IV, 208.

Письмо Байрона по поводу смерти леди Мельбурн: **C.** II, 1.

Письмо Байрона к леди Байрон: **L. J.** IV, 268.

Леди Байрон в Ньюстеде: **L. B.**, 277, 278.

Письмо Шелли к Байрону: **C.** II, 52.

Письмо Байрона к Киннеру: **C.** II, 65.

Письмо Байрона к Хобхаузу: **C.** II, 71.

Письмо Байрона к миссис Ли об Аллегре: **L. J.** IV, 250.

Глава XXIX

Байрон к Хобхаузу, апокрифическое письмо «Флетчера»: **L. J.** IV, 234.

Дон Жуан, песнь I, строфа CC.

Дон Жуан, песнь I, строфы XII и XVII.

Дон Жуан, песнь I, строфы CCXIV, CCXV, CCXX.

Дон Жуан, песнь I, строфа CXXVII.

Юлиан и Маддало: Собр. соч. Шелли, с. 189.

О приезде Хэнсона в Венецию: **C.** II, 93.

Глава XXX

Рассказ графини Гвиччиоли о ее второй встрече с Байроном — перевод с итальянского текста, написанного рукой госпожи Гвиччиоли. См. Moore, p. 393.

Байрон о любви в Италии: Medwin, 26.

Письмо Байрона к Хобхаузу: **C.** II, 107.

Письмо Байрона: **L. J.** IV, 307, 308, 325, 326.

Беседы графини Гвиччиоли: См. Moore, 400.

Ave, Maria.... Дон Жуан, песнь III, строфа **C.** II.

Паломничество на могилу Данте: см. *Lord Byron a Venezia.*

Письмо Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 291.

Письмо Байрона к Меррею: **L. J.** IV, 349.

Письмо Байрона о Болонье: **C.** II, 121.

Байрон о своих планах путешествий: **L. J.** IV, 357

Донесения полиции о Байроне: **L. J.** IV, 460, 462, 463.

Письмо Байрона к графине Гвиччиоли на ее экземпляре книги *Коринна:* **L. J.** IV, 350.

Письма Байрона: **L. J.** IV, 371; **C.** II, 128.

Письмо Байрона к графине Гвиччиоли: **L. J.** IV, 379.

Письмо Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 85.

Письмо миссис Ли к Меррею: **L. J.** IV, 383.

Письмо Байрона к графине Гвиччиоли: **L. J.** IV, 391.

Глава XXXI

Письма Байрона: **L. J.** IV, 409, 400.

Из бесед графини Гвиччиоли: **L. J.** V, 32.

Письмо Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 307.

Дневник Байрона: **L. J.** V, 152, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 198, 199.

Дневник леди Байрон: **L. B.**, 292.

Письмо Байрона: **C.** II, 136.

Дневник Байрона: **L. J.** V, 181.

Письмо Байрона: **C.** II, 176.

Дневник Байрона: **L. J.** V, 189.

Сарданапал, акт I, сцена II.

Каин, акт I, сцена I; акт III, сцена I.

Письмо Вальтера Скотта Меррею о *Каине:* **P.**, 625.

Дневник Байрона: **L. J.** V, 159.

Письмо Байрона к Гопнеру: **L. J.** V, 74.

Письма Шелли к Мэри Шелли: *Letters of Percy Bysshe Shelley,* edition Ingpen, vol. II, p. 887, 893, 894.

Письмо графини Гвиччиоли к Шелли: *Letters of Shelley,* II, 902.

Письмо Шелли к Байрону: **C.** II, 292.

Письмо Байрона о лорде Клэре: **L. J.** V, 463.

Глава XXXII

Эпиграф: **L. J.** VI, 99.

Письмо Шелли: *Letters of P. B. Shelley,* II, 931.

Беседы Байрона с Медуином: Medwin, I, 65; II, 65; I, 76, 36, 38, 119, 120, 121, 131.

Письмо Мэри Шелли о Трилони: См. Bowden *Percy Bysshe Shelley,* vol. II, p. 462.

Письмо Клер Клермонт к Байрону: **L. J.** V, 498.

Графиня Гвиччиоли о Байроне по поводу смерти Аллегры: **L. J.** VI, 52, 53.

Письмо Шелли к Байрону: **C.** II, 223.

Письмо Байрона по поводу похорон Аллегры: **L. J.** VI, 69.

Письмо Байрона по поводу *Дон Жуана:* **L. J.** VI, 95.

Письмо Байрона к Мэри Шелли: **L. J.** VI, 119.

Глава XXXIII

Чайлъд Гарольд, песнь III, строфа II.

Цитата: Hunt I, 102.

Письмо Мэри Шелли к Байрону: **C.** II, 243.

Письмо Байрона к Мэри Шелли: **L. J.** VI, 174.

Письмо Ли Хента к Байрону: **H. N.,** 29.

Хент о графине Гвиччиоли: Hunt I, 68.

О лорде и леди Блессингтон в Генуе см. статью *A Byron Mystery resolved* by John Gore publ. Cornhill Magazine Jan 1928, p. 39—53.

Дон Жуан, песнь X, строфа IXV.

Дон Жуан, песнь X, строфа IXXXII.

Письмо Байрона к леди Байрон: **L. J.** V, 479.

Цитаты леди Блессингтон: *Conversations of Lord Byron with the Countess of Blessington,* 95, 91, 125, 112, 149.

Дон Жуан, песнь XIV, строфа III.

Дон Жуан, песнь IX, строфы XXIV, XXV.

Дон Жуан, песнь XIII, строфы IX и X.

Дон Жуан, песнь XVI, строфа XCIX.

Глава XXXIV

Дневник Байрона: **L. J.** II, 340. См. также **M.,** 585.

Стихи: **L. J.** VI, 238.

Письмо Байрона: **C.** II, 255.

Письмо Боуринга к Байрону: William Parry *The Last Days of Lord Byron,* p. 188.

Письмо Байрона к Боурингу: **L. J.** VI, 207.

Письма Байрона о графине Гвиччиоли: **C.** II, 258, 260.

О Пьетро Гамба см. **H. N.,** 81.

О касках: **H. N.,** 83.

Байрон к леди Блессингтон: Lady Blessington, 288.

Байрон на борту «Геркулеса»: **H. N.,** 109.

Разговор Флетчера с капитаном Скоттом: **H. N.** III, 112.

О впечатлительности Байрона: **H. N.,** 122.

Письмо Байрона к миссис Ли: **L. J.** VI, 260.

Письмо Байрона о его доходах: **L. J.** VI, 252.

О беседах Байрона с доктором Кеннеди см. James Kennedy *Conversation on religion with Lord Byron*, p. 46, 47, 56, 66, 136, 154, 172.

Письмо Маврокордатоса к Байрону: *A Narrative of Lord Byron's Last Journey to Greece,* extracted from the Journal of Count Petro Gamba, p. 295.

Разговор Байрона с Пьетро Гамба: Gamba, 48.

Письма Байрона: L. J. VI, 291 293, 294.

Глава XXXV

Письмо Байрона к полковнику Стэнхопу: L. J. VI, 297

Разговоры Байрона с Пьетро Гамба: Gamba, 122, 123, 121, 115.

Ссора Байрона с полковником Стэнхопом: Gamba, 138; H. N., 206.

О душевном величии Байрона в этот период см. Grierson 199; H. N., 213.

Письмо Хобхауза: H. III, 62.

Цитата: Grierson, 199.

День рождения Байрона. Стихи: Gamba, 127

Внешность Байрона: Parry, 21.

Байрон и его собака Лев: Parry, 75.

О припадке эпилепсии у Байрона см. H. N., 224; Jilius Millingen *Memoirs of the affairs of Greece with various anecdotes relating to Lord Byron.*

Письма Байрона к миссис Ли: *Astarté,* 313; L. J. VI, 330.

О положении в Миссолунги: Dora Raymond, 265.

Отчаяние Байрона: Gamba, 192.

Мнение Хобхауза: H. III, 35.

Письмо Трилони: H. N., 233.

Последняя прогулка верхом: Gamba, 249.

О болезни Байрона: Millingen, 129; Gamba, 249; Millingen, 131.

Разговор Байрона с Флетчером: H. N., 253.

Разговор с Перри: Parry, 121, 122.

О смерти Байрона: Millingen, 132; H. N., 260; Parry, 126; Millingen, 141; H. N., 265, 266; Gaet, 300, 301; Gamba, 265.

Эпилог

Эпиграф: **L. J.** V, 462.

Письмо Хобхауза к Байрону: **C.** II, 292, 299.

Хобхауз узнает о смерти Байрона: **H.** III, 38, 39.

Миссис Ли Ходжсону: Hodgson II, 148, 149.

Впечатление в Англии: Chew, 194.

Прибытие тела: **H.** III, 65.

Об уничтожении мемуаров очень подробно рассказано у Хобхауза.

О конце жизни леди Байрон см. E. C. Mayne: **L. B.**, 323, 400, 401, 403, 405, 413, 414, 393.

О смерти миссис Ли: *Astarté,* 31, 32.

Об Аде Байрон см. *Ralph, Earl of Lovelace. A Memoir* by Mary, Countess of Lovelace; *The Next Generation, Epilogue to the Life of Lady Byron* by E. C. Mayne, wirtten by Lady Lovelace.

О Медоре Ли: *Medora Leigh, a history and an autobiography* ed. by Maskay 1869 (Br. Mus. 10855-bb-15); Fox, 48—53, **L. B.**, 340—369; **E. C. M.**, 327—334.

О жизни Медоры во Франции и о ее детях см. Roger de Vivie de Régie *Le Secret de Byron.* Я привожу из этой книги несколько выдержек (с 100, 45, 48, 49, 197, 200, 204).

О кончине миссис Чаворт-Мастерс см. Grantléy Berkeley *Recollections.*

О Терезе Макри см. Mr Camborouglou.

Письмо Клер Клермонт к Мэри Шелли см. Chew, 151.

Письмо леди Каролины Лэм к Медуину: **L. J.** II, 454.

О последних годах жизни графини Гвиччиоли см. Lord Malmesbury. *Mémoires d'un Ancien Ministre,* p. 15, 20, 22, 51.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Ньюстедские Байроны 7
II. Гайтские Гордоны 15
III. Предопределение 24
IV. Аббатство 32
V. Харроу-на-Холме 39
VI. Утренняя звезда 43
VII. Романтика дружбы. Вдова-регентша 49
VIII. Боги на холме Иды 59
IX. Тринити-колледж. Кембридж 64
X. Часы досуга 71
XI. Мушкетеры Тринити 81
XII. Отполированный череп 88
XIII. Первое странствование Чайльд Гарольда 101

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XIV. Тимон Ньюстедский 123
XV. Annus Mirabilis 134
XVI. Любовь 145
XVII. Подобно богам Лукреция 165
XVIII. Августа 174
XIX. Ближний насест 181
XX. Корсар 190
XXI. Помолвка 206
XXII. Свадьба 218

XXIII. Паточный месяц 229
XXIV. Пиккадилли,13 244
XXV. «Лишь год назад супругой милой...» 256

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXVI. Шествие сердца, истекающего кровью 273
XXVII. Лавины 288
XXVIII. Венеция — волшебница сердца 303
XXIX. Палаццо Мочениго 322
XXX. Cavalière Servante 329
XXXI. Арсенал во дворце Гвиччиоли 345
XXXII. Крушение 367
XXXIII. Джентльмен тоскует по родине 380
XXXIV. Герой и солдат 392
XXXV. Гамлет и Дон Кихот 410
Эпилог 431
Хронология 449
Источники 456

Андре Моруа — классик не только франкоязычной, но и мировой литературы, один из самых глубоких и тонких писателей XX века. Перу его принадлежит множество рассказов и романов. Особую популярность Моруа принесли его новеллизированные биографии великих людей прошлого.

Лорд Байрон.

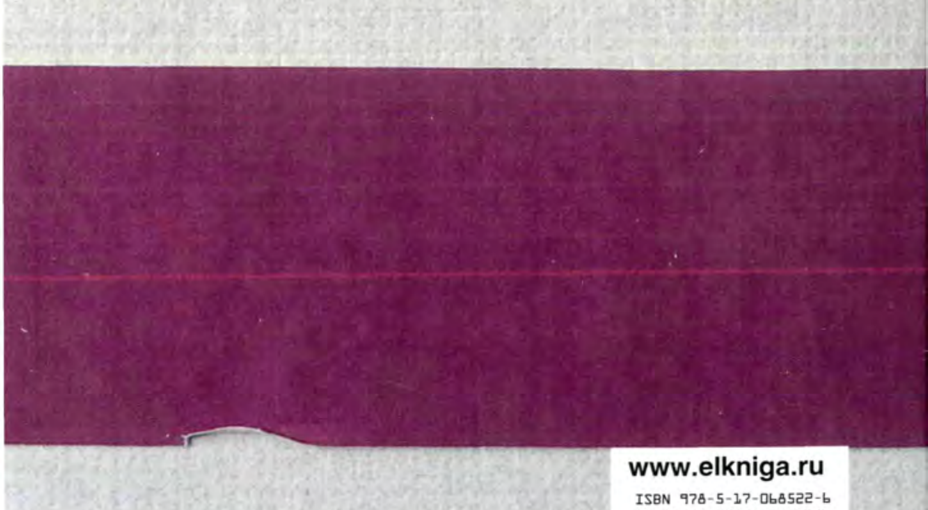
Великий поэт. Основатель романтического направления в английской литературе.

Знаменитый денди, ставший настоящей иконой стиля для своего поколения.

Но прежде всего — самый скандальный ловелас эпохи. Покоритель сердец. Обольститель, власть которого над женщинами считалась поистине дьявольской.

Так ли это было в действительности?

Андре Моруа ищет истину в легенде о жизни и приключениях лорда Байрона — и находит ее, причем зачастую эта истина решительно расходится с мифом...



ISBN 978-5-17-068522-6
9 785170 685226